

НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

6



1977

1977



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РИММА КАЗАКОВА — Набело, стихи	3
АЛЕКСАНДР КРОН — Бессонница, роман. Окончание	8
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Петербургская повесть, стихи	128
МИХАИЛ РОЩИН — Воспоминание, повесть. Окончание	132
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ — Новые стихи	162

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАЛЕНТИНА ЕЛИСЕЕВА — Так оно было. М. Козьмин — Вместо предисловия	164
--	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. МИХАЙЛОВ — Мастер	228
----------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ — Герой и труд	251
В. КАВЕРИН — Рассказы Шукшина	261

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	267
Евгений Осетров. Народная библиотека. — М. Эшштейн. От слова к жизни	
<i>Политика и наука</i>	278
А. Плющ. «Минувшее меня объемлет живо...»	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Г. Степанидин.— Быстрина. Рассказы писателей о друзьях-динамовцах. ✦ Евней Букетов, Сергей Никитин.— Джубан Мулдагалиев. Дойду до горизонта. Новые стихи и поэмы. ✦ Нина Денисова.— Владимир Савченко. Тайна клеенчатой тетради. Повесть о Николае Клеточникове. ✦ В. Фальский.— А. Урсул, Ю. Школенко. Человек и космос. ✦ В. Замковой.— С. П. Трапезников. Интеллектуальный потенциал коммунизма. ✦ В. Война.— О. Степанова. 4 июля 1976	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

РИММА КАЗАКОВА

★

НАБЕЛО

Это выдумка — избыток,
запасные ходы — ложь!
Жизнь — не спорт,
и не с попыток —
сразу набело живешь.

Коль химичил, да портачил,
да швырял на пробу дни,
тем и был и то и значил
и — попробуй зачеркни!

Душу поделом помучай
за погибший день пустой
с поцелуями на случай,
с показушной добротой.

И себя в свой воз впряги ты —
не в случайный тарантас!
Не отпущено прикидок.
Набело! И — только раз.

ЗАВЕЩАНИЕ

Не помяну всех дней и ночек —
тебя укором донимать...
Но будет бог в тебе, сыночек,
и этим богом будет мать.

В какую-то шальную полночь,
в какой-то полдень без тепла
ты разговоры наши вспомнишь
и дом, где жизнь твоя текла.

И, пусть обид немало было,
ты, вдруг счастливым став навек,
поймешь, что я тебя любила,
ты был любимый человек!

Горюем — поделом и зряшно,
от одиночества скорбим...

Но ничего тому не страшно,
кто хоть однажды был любим.

Ты, как с огромного экрана,
увидишь (память лет сильна) —
идешь ты в школу рано-рано,
а я маячу у окна.

В тех сумерках московских вьюжных,
почти невидимы, впотьмах, —
о, поцелуя два воздушных,
двух рук прощающихся взмах!

Ты будешь помнить, будешь помнить
необъяснимый тот покой,
которым можно жизнь наполнить
лишь материнскою рукой.

И даже с той, кого полюбишь,
познав любви восторг и скорбь,
моей любовью мудр ты будешь,
моей любовью будешь добр.

Болтаешь, думаешь, молчишь ли,
загадываю наперед,
как из любимого мальчишки
мужчина любящий растет.

И от себя не отделяя
ничем все, что мое пока,
целую перед сном тебя я,
целую — вдаль, издалека...

ЗВЕНИГОРОД

Одной любовью я права...
Звенигородский храм.
Какой был дождь на Покрова
со снегом пополам!

Звенела старых сосен медь,
дождь звонко моросил,
и колоколенке звенеть
хотелось что есть сил.

Взгляни, народ, смени, народ,
на милость гнев смени!
Звенигород, Звенигород,
звени во мне, звени!

Не важно, что не тот звонарь,
что не туда зашла, —
когда колокола звонят —
звонят колокола!

Звени, предзимняя земля,
в снежинки душу брось,
себя по-русски веселя,
как с прадедов велось.

Звени, замерзший дух листка,
звени, ледок в крови,
звени во мне, моя тоска
по правде и любви.

..*

Лето благостной боли,
постыженья печального света...
Никогда уже больше
не будет такого же лета.

Лето, где безрассудно
и построили — и поломали.
Лето тягостной суммы
поумнения и пониманья.

Для чего отогрело,
что осенним листом отгорело?
Но душа помудрела,
и она, помудревши, узрела

кратковременность лета,
краткость жизни, мгновенность искусства
и ничтожность предмета,
что вызвал высокие чувства.

..*

О, какая доверчивость в том,
как ты спишь беззащитно и сладко,
и становится домом палатка,
и случайное лежбище — дом.

Нас безгрешностью детства святой
сладкий миг пробуждения метит,
и забыто младенчество светит
гуттаперчевой наготой.

Так спокойно слетает листва
с веток зрелой осенней порою.
Так пронзительно брату с сестрою
открывается тайна родства.

На крови этот Спас, на крови.
Но — дитя всех, бедой погребенных, —
замираю, твой трудный ребенок,
под отцовской ладонью любви.

* * *

Далеко уехать выпало,
выпасть — пулей в молоко...
Никакого больше выбора —
вечно будет далеко.

Далеко... А как отважиться,
все сомненья истребя?
Далеко... Так это кажется,
потому что — от тебя.

Далеко! — безмолвно сетую.
Раньше было так легко!
И на улицу соседнюю
нынче будет — далеко.

* * *

Б. Ахмагулиной.

Голосок серебряный, метельный,
голосок свирелевый, смертельный,
песня лебединая сквозная —
как ты ухитряешься, не знаю,
вплыть во все, что за броней и ватю,
быть во всем, что невпопад, впопад
и мою дудочку хрипловатую
перестроить на скрипичный лад!

Голосок,
не марш, а вальс-бросок,
умудри наивностью висок,—
теплый холод, темнота в крови
огненного таинства любви.

Голосок,
недобродивший сок,
перевоплотивший туесок
простенький, что из лесу несут,
в божий суд,
в торжественный сосуд.

Голосок,
высокий колосок,
юности отважный поясок,
научи, наставь, нашелести,
светом став, до неба снизойти.

Голосок серебряный, метельный,
голосок селеновый, смятенный,
века бойнь, урвавших свой кусок,
победивший
детский голосок!

По-старорусски говорю: «Пошто?!»
Зачем тоска по прошлогодней травке?
Воистину, что было — то прошло,
не подлежит ни правке, ни поправке.

И, как ни складно день ко дню притерт,
нас прочь неумолимый путь уводит.
И я узнала: прошлое пройдет,
и даже из души оно уходит.



АЛЕКСАНДР КРОН

★

БЕССОННИЦА *

Роман

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XV. Я — мсье Барский

Париж обрушился на нас внезапно, так на юге наступает ночная тьма. За десять минут до прибытия на Гар дю Нор в окнах вагона мелькали вполне сельские картинки, аккуратные коровки кушали газон. И только в самые последние минуты поезд ворвался в узкую щель между городскими строениями, отчего в купе сразу стало темнее, замелькали бетонные стены складов, закопченные рекламные щиты, грубое железное кружево эстакад.

Даже сегодня, роясь в своей памяти, я не могу вспомнить в поведении Успенского ничего необычного. Двое суток мы были неразлучны. Конечно, мы разговаривали, но как-то несущественно. У Паши было нижнее место, но он сразу оккупировал верхнюю полку, там он подолгу лежал без движения, иногда листал какую-то книгу, кажется, это был английский словарь. По-английски Паша говорил плохо, но отважно, и когда бывал в ударе, производил на англичан и американцев неотразимое впечатление. За всю дорогу он не выпил ни рюмки, даже за обедом в вагоне-ресторане пил только минеральную воду. Я не заметил, чтоб он готовился к своему выступлению, вероятно, решил положиться на вдохновение.

Прежде чем окончательно остановиться, поезд мучительно долго полз вдоль мокрого перрона, а у меня, стоявшего с чемоданом в узком коридоре, екало сердце: узнаю ли я вокзал, с которого сорок пять лет назад уезжал на свою неведомую родину? И мне показалось, что я его узнаю, может быть, потому, что вокзал был старый, закопченный, почти не тронутый модернизацией.

Нас встречали. Точнее было бы сказать — встречали Успенского. Среди десятка вежливо улыбающихся людей не было никого, кто бы меня знал, и все-таки было неуютно оттого, что, пожимая мне руку, эти люди смотрели мимо меня, как бы не признавая во мне собрата. Представляя меня, Успенский говорил о моих талантах и научных заслугах в тех заведомо преувеличенных выражениях, которые в устах старшего почти всегда носят неприятно-покровительственный характер и как бы рассчитаны на то, чтоб их не принимали слишком всерьез. Но по-настоящему рассердился я, когда суетившийся вокруг нас энергичный молодой человек с лицом и манерами театрального администратора неожиданно назвал меня мсье Барский. Тут я все уразумел.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

Александр Яковлевич Барский, сотрудник отдела внешних сношений министерства, тот самый лысенький и отутюженный, кто переводил беседу Петра Петровича с доктором Нгуеном на памятном мне новогоднем балу, часто ездил на Запад с различными учеными делегациями. Насколько мне известно, он кандидат наук, работ его я не читал, но это скорее моя вина. Скромнен, тактичен, прилично владеет тремя европейскими языками. Несомненно, Успенский собирался ехать с ним, но перед самым отъездом что-то произошло и срочно понадобился другой переводчик. Я поехал бы и переводчиком, но меня разозлило вранье. Мсье Барски? Ну что ж, спасибо, буду знать свое место. Не уверен, смогу ли я полностью заменить мсье Барски, но переводить я буду, во всяком случае, не хуже.

У меня хватило юмора не делать кислой физиономии, и по дороге в гостиницу я как ни в чем не бывало поддерживал общую беседу с сопровождавшим нас членом оргкомитета профессором Дени. Ив Дени, известный у нас своими работами по микробиологии, оказался очень веселым белозубым южанином, он все время смеялся, иногда без достаточного повода, но французы вообще смешливее нас. Сидя в закрытой машине, я плохо видел улицы, по которым нас везли, иногда я вытягивал шею, чтоб получше рассмотреть дома и уличную толпу, меня по-прежнему занимала мысль — сохранилась ли в каких-то клеточках моего мозга память о чужом городе, в котором по капризу судьбы я появился на свет. Сидевший рядом с шофером энергичный молодой человек, поймав мое движение, ухмыльнулся и подмигнул, и только когда справа от нас промелькнули неподвижные крылья «Мулен Руж», я понял смысл ухмылки — мы ехали по пользующимся дурной славой бульварам, между которыми расположена знаменитая Пигаль, при свете дня эти вместилища порока ничем не отличались от любой торговой улицы, и молодой человек совершенно превратно истолковал мое любопытство.

На площади Клиши мы попали в затор — привычные ко всему парижские шоферы терпеливо ждали, — и наши спутники предложили выйти из машины поразмяться. Мы вышли, и я залюбовался двумя разбегающимися в стороны рядами неповторимых в своем своеобразии парижских домов, сплошь семиэтажных, со скошенными назад лбами мансард, в черном кружеве железных балконычков и оконных решеток, с яркими навесами выплеснувшихся на тротуары кафушек и пивнушек и зазывными плакатами дешевых кинотеатров. Над убегающими в гору крышами я увидел голубовато-розовый, отливающий керамическим блеском холм Монмартра и белую грибовидную шапочку Сакре-Кёр. Освещенная нежарким утренним солнцем, сбрызнутая недавно прошедшим дождем, площадь показалась мне мучительно знакомой, но помнил ли я все это своей детской памятью или видел уже взрослым на цветных репродукциях, бесчисленных слайдах, наконец, просто в кино? Мои сомнения еще усилились, когда в конце нашего пути нас провезли вокруг Триумфальной арки на площади Звезды, я узнал ее мгновенно, но что из того — ведь миллионы людей, никогда не бывших в Лувре, знают в лицо Джоконду. К тому же мне, да и моему отцу, вряд ли приходилось часто бывать в этом фешенебельном округе, по моим сведениям, мы жили где-то в районе Порт д'Орлеан. Оставалась надежда, что когда я попаду на эту не столь захватанную глазами парижскую окраину, в моей памяти что-то оживет.

Отельчик, где нам предстояло жить, мне сразу же понравился и расположением и патриархальным уютом. Толкнув стеклянную дверь, мы вошли в длинный, узенький и совершенно безлюдный вестибюль. Ни швейцара, ни портъе. Слева над конторкой доска для ключей и ручной коммутатор, справа — шахта старинного подъемника (лифты су-

ществуют настолько давно, что к ним уже применимо понятие старины) и начало узкой — в ширину половика — крутой лестницы. В глубине вестибюля я увидел пеструю занавеску; звякнули кольца, и нашим глазам открылось мирно завтракающее семейство. Сидевший во главе стола мужчина лет пятидесяти с приятным, несколько меланхолическим лицом разливал вино, полноватая, но подтянутая брюнетка заправляла салат. Я сразу догадался: хозяева. Кроме них, за столом сидели еще две женщины в одинаковых серо-голубых платьях, обе худенькие и белокурые, одна постарше, а другая молодая и хорошенькая, я принял их за сестер хозяина и ошибся — это были горничные, вместе с хозяевами они составляли основной штат семизэтажной гостиницы. Заметив нас, хозяин вышел из-за стола и с достоинством поклонился. Пока я заполнял регистрационные бланки, он успел проводить Успенского в отведенный ему люкс, вернувшись, подхватил мой чемодан, и мы вознеслись в подрагивающей тесной кабине на самый верхний этаж. Поднявшись еще на несколько ступенек, мы очутились на тесной площадке с тремя расположенными покоем дверьми. Хозяин распахнул среднюю и, поставив чемодан на ременную банкетку, пожелал мне приятно провести время в Париже.

В лифте я еще был полон суетными размышлениями: ну конечно, мсье академисьен, оставив своего переводчика выполнять формальности, проследовал в свои роскошные апартаменты, а мсье Барски записались в каморку под крышей. Но каморка мне неожиданно понравилась. В ней было все необходимое: широкая и низкая, очень удобная кровать, игрушечный телефонный аппарат без диска, стеной шкаф, заменяющая стол откидная доска и два мягких стула. Из крошечной площади номера строители ухитрились выкроить туалетный уголок, вместивший душевую кабину, раковину для умыванья и вполне бесполезный агрегат, именуемый биде. Стоя под душем, я услышал через приоткрытую дверь резкий гудок, напомнивший мне зуммер полевого телефона. Это гудел игрушечный аппаратик, и поскольку звонить мне мог только один человек, я рассудил, что даже мсье Барски имеет право не бежать нагишом на звонок и спокойно домыться. Телефончик порычал еще немного и угомонился. Я не спеша растерся мохнатым полотенцем, натянул пижамные штаны и уже в совсем благодушном настроении выглянул в раскрытое окно, выходявшее на одну из широких улиц, то бишь авеню, расходящихся, как лучи, от площади Звезды; высунувшись наружу, можно было разглядеть краешек Арки. На другой стороне авеню я увидел дом, поразивший меня своей остроугольностью, он был похож на волнорез или на океанский пароход, узкая торговая улочка пересекала авеню под непривычным для московского глаза косым углом. Присмотревшись, я понял, что дом зеркально подобен нашему, в довершение сходства прямо против моего окна распахнулось окошко верхнего этажа и в нем появилась человеческая фигура. Мне показалось, что фигура всматривается в мое окно, я помахал ей рукой, и она мне ответила. Развеселившись, я опять помахал и опять получил ответ. За этим вздорным занятием меня застал Успенский, дверь была не заперта. Вид у Паши был бодрый и как будто чуточку смущенный.

— Это просто хамство, что тебя сунули в эту голубятню, — сказал он заранее заготовленную фразу, на голубятню он даже не взглянул. — Бери свой чемодан и идем.

— Куда? — спросил я как можно безмятежнее.

— Ко мне. Номер двойной, места хватит. К тому же ванна. У тебя есть ванна? — Он дернул дверь в туалетную каморку и разъярился: — Вот видишь, даже стульчака нет. Собирайся.

— Спасибо, Паша,— сказал я.— Я к твоим услугам в любой момент, но жить я люблю один.

Успенский несколько опешил.

— Ну как хочешь. Тогда подожди раскладываться, я заставлю их дать тебе другой номер.

— Мне не нужен другой номер.

— Почему? — вскинулся Паша.

— Потому что мне нравится этот.

Паша посмотрел на меня недоверчиво.

— Зачем ты мне врешь?

— Нисколько. Здесь я как дома. И наверняка у тебя нет такого вида из окошка.

Паша подошел, выглянул.

— Вид у тебя действительно лучше. Зато в моем номере оставался мсье Анри Айнэ.

— Кто?

— Эх ты, француз! Генрих Гейне. Так сказал хозяин. Может, и не врет. Есть табличка. Черт с тобой, оставайся. Но ты меня все-таки не бросай.— Это прозвучало почти жалобно.— Я понимаю, у тебя как у уроженца города Парижа в этом городе свои интересы. Поедешь — возьми меня с собой.

— Тебе-то зачем мотаться?

— Из чувства братской солидарности. А могу и пригодиться. Завтра после заседания разыщем могилу твоей матушки и дом, на котором когда-нибудь будет доска — иси этэ нэ селебр саван русс экс-генераль Юдинь...

Шутка повисла в воздухе — я молчал. Паша посмотрел на меня с любопытством.

— Что с тобой? А ну — начистоту.

Я еще немного помолчал. И вдруг мне стало смешно.

— Как здоровье мсье Барски? — спросил я в упор.

Паша запылся только на секунду — из-за непривычного удара. Собрался он быстро. Сообразив, захохотал.

— Заболела теща. Отказался, затем позвонил, что согласен. Но я подумал о тебе — и не принял жертвы.

Я промолчал. Паша посмотрел на часы.

— У тебя есть четверть часа. Ровно через двадцать минут за нами заедет один занятный тип и повезет нас завтракать в самое что ни на есть капище Молоха. Зайдишь за мной?

— Хорошо, я спущусь в вестибюль.

— Как хочешь. Только не опаздывай. Ты же видел, что здесь творится — машине не подойти.

После ухода Паши я задумался. Не слишком ли быстро я оттаял? Но встреча в капище Молоха могла быть только деловой, а от участия в деловых встречах я считал себя не вправе уклоняться. Оставалось решить вопрос об одежде. Я выбрал темно-синюю пару, белую рубашку и одноцветный галстук — корректный и непритязательный костюм переводчика.

Успенский не зря просил быть точным, маленький вишневый «ягуар» так и не пробился к подъезду, и мы залезли в него чуть ли не на ходу. Сидевший за рулем седой и морщинистый человек в возрасте, который современная геронтология любезно трактует как второй пожилой, улыбнулся нам, обнажив два ряда зубов слишком белых, чтоб быть настоящими. После первых приветствий я понял, что переводить мне не придется, человек говорил по-русски свободно и даже без акцента, точнее сказать, без какого-либо определенного акцента. На перекрестке он обернулся, чтоб пожать мне руку, и про-

бормотал: Вагнер. Успенский пояснил: Дэниэл Вагнер, город Акрон, штат Огайо. Медицинское оборудование.

Ехать пришлось, включая стоянки перед светофорами, не больше пяти минут, капище помещалось неподалеку от нашего отеля, на широкой и малолюдной улице в районе Елисейских полей. Здесь не было пестроты и сутолоки парижских улиц, ни киношек, ни бистро, только очень толстые и очень чистые стекла витрин и накладные позолоченные буквы над входами в банки, конторы авиакомпаний и ювелирные магазины. Я не успел разглядеть вывеску капища, как только мы подъехали к тротуару, мальчишка в голубой форменной курточке кинулся открывать дверцу машины, а швейцар в такой же голубой, но расшитой золотым шнуром ливрее распахнул перед нами сверкающую стеклом, начищенной медью и лаком тяжелую дверь. В застеленном мягкими коврами вестибюле к нам бросился третий представитель голубого племени, длинноногий юнец в тесном жилете с золотым аксельбантом, и куда-то уволок наши плащи. Затем нас подвели к лоснящемуся от мебельного лака глухому барьеру, где, как в ложе бенуара, сидели почтенный старый галл с густой седой шевелюрой и слишком черными усами, а чуть поодаль остролицый прилизанный блондинчик; на них были темно-синие костюмы, белые рубашки и одноцветные галстуки, и только голубой овал с золотым ободком на лацканах напоминал об их принадлежности к клану голубых. Мы были представлены как *les savants russes, connus dans le monde entier*¹, старый галл привстал и слегка наклонил тяжелую голову, остролицый оскалил мелкие зубки и выбросил на барьер две регистрационные карточки вроде тех, какие я заполнял в отеле, но на роскошной меловой бумаге с голубым овалом в верхнем углу. Заметив мое недоумение, Вагнер улыбнулся:

— Чистая формальность. В клубе идет большая игра, и полиция требует...

На зеркально глянцевои доске барьера стояла тяжелая бронзовая пепельница с эмблемой клуба и разбросано несколько плоских корбков со спичками и голубых авторучек. Я взял одну, чтобы заполнить бланки, ручка была отличная, не шариковая, а нейлоновая, оставлявшая на бумаге тонкий влажно-блестящий след. Занятый своим делом, я все время ощущал на себе пристальный взгляд остролицего, и меня это немножко сердило — неужели этот тип думает, что я способен сунуть ручку в карман? Заполненные карточки я нарочно возвратил вместе с ручкой. Остролицый сделал отстраняющий жест:

— *Oh non, monsieur, c'est notre souvenir*².

Он взглянул на карточку, затем опять на меня, как бы сверяя текст с оригиналом. Чувствовалось, что глаз у него наметанный.

— Приехали изучать контрасты капитализма?

Это было сказано по-русски. Негромко и очень чисто. К тону было невозможно придраться. Если и ирония, то самая невинная, только по отношению к затасканному обороту. Любезнейшая улыбка.

Я прикинул: судя по речи, вряд ли потомок довоенных эмигрантов. Моложе меня, но вполне мог воевать. Весь вопрос — на чьей стороне. Русский? Поляк? Скорее всего фольксдейч.

— *Oh nein, mein Herr,* — сказал я, улыбаясь еще любезнее. — *Ich war in Krieg und ging bis Berlin*³. Контрастами я сыт по горло. Мне удалось на секунду загасить его хорошо отработанную улыбку.

¹ Русские ученые с мировым именем.

² О нет, сударь, это наш сувенир.

³ О нет, сударь. Я был на войне и дошел до Берлина (нем.).

ку. Взгляд стал жестким. Но дрессировка взяла верх, и улыбка вновь засияла.

— *J'espère, monsieur, que votre séjour chez nous sera utile et agréable*⁴,— говорит он.

— *Sans doute, monsieur*⁵,— отвечаю я и поворачиваю спину.

Мне показалось, что Вагнер слышал наш обмен любезностями — и не без удовольствия. Он даже подмигнул.

Покончив с формальностями, мы поднялись по очень широкой и полой мраморной лестнице на второй этаж. Здесь все, начиная со светлых, очень пушистых ковров, до картин на стенах и лепнины на потолке, было добротное, ухоженное и, по всей вероятности, очень дорогое. Пока мы поднимались по лестнице, навстречу нам по двое и по трое спускались люди первого и второго пожилого возраста. Они шли не спеша, осторожно неся свои потерявшие гибкость, отяжелевшие или высохшие тела, вид у них был плотно перекусивших людей, они явно шли из ресторана, закрытого клубного святилища, куда не придет человек с улицы. Поравнявшись с Вагнером, они приветствовали его медленным кивком, опытный глаз разглядел бы в этих кивках оттенки — от фамильярного до почтительного. Вагнер всем отвечал одинаково — дружелюбно и небрежно. На площадке он остановился.

— Завтракать мы будем здесь.— Он показал на низенькую дверь ресторана.— Но сначала зайдём на минутку в бар, выпьем аперитив и заодно покончим с делами. Во Франции не принято говорить о делах за едой.

По пути в бар мы прошли через комнату, где в мягких креслах дремали несколько стариков. Перед ними на низеньком столике лежали навалом журналы в пестрых гляцевых обложках, в огромном цветном телевизоре мелькали полуголые человеческие тела — показывали «кетч», препротивное спортивное зрелище, борьбу без правил, старики смотрели на это побоище вполглаза, выключив звук, чтобы не слышать хрипов и воплей.

Клубный бар очень мало походил на мое традиционное представление о европейских барах, это был просторный светлый зал, вдоль стен стояли тяжелые дворцовые стулья с высокими спинками, примерно на каждые два стула приходился один круглый столик с пепельницей. Была, конечно, и стойка, за которой, как капитан на мостике, стоял раскормленный молодец в голубом смокинге с белыми отворотами, но полированный прилавок был пуст, а за спиной бармена вместо полка с бутылками и рекламных плакатов висела абстрактная картина, состоявшая из белых пятен и спиралей на ядовито-лиловом фоне. Вагнер сказал, что при длительном рассматривании картины у посетителя возникает неудержимое желание выпить, но у нас оно почему-то не возникло, мы решительно отказались от спиртного, и быстрый гарсон в голубом фрачке с погончиками принес нам по маленькому пузырьку какой-то слабо газированной воды колодезного типа и высокие, отмытые до радужного сияния стаканы с кубиками льда и кружком лимона. Я выпил свой стакан единым духом и лишь потом понял свою ошибку — здесь не пили, а пригубливали. Вагнер сразу же вынул из внутреннего кармана пиджака бумажник — большой, потертый, до отказа набитый — и положил его перед собой.

— Вот видишь, Леша,— сказал Успенский с серьезным видом.— Перед тобой типичный толстосум. Вот он вынул бумажник, битком

⁴ Надеюсь, вы проведете время у нас с пользой и удовольствием.

⁵ Без сомнения, сударь.

набитый долларами. Но ему все мало, и знакомство с ним обойдется нам в полмиллиона золотом.

— Ваш друг, — сказал Вагнер, повернувшись ко мне, — живет усталыми представлениями. Синемá тридцатых годов. Ажиотаж на бирже, беснующиеся маклеры, вкладчики, осаждающие лопнувший банк... Я держу свои деньги в очень скучном банке, он никогда не лопнет, правда, там не платят процентов, наоборот, я сам плачу за управление вкладом. В наш век только неимущие носят при себе наличные деньги. А здесь, — он похлопал по бумажнику, — вся моя бухгалтерия. Настоящие дела делаются без шума, за чашкой кофе или рюмкой мартини. Вот, например, сейчас в том углу, — он понизил голос, — назревает крупная сделка. Посмотрите-ка. (Я посмотрел, и Паша тоже повернул голову.) Тот, что помоложе, слева, — Жан-Марк Эпстайн, король кинопроката. Маленький толстячок справа — Бутри. Про него не знаю, что сказать, он занимается всем понемножку. Богат и скуп. Тратится только на врачей, и зря, здоров как бык, просто стареет...

Двое немолодых людей, сидевших за столиком в дальнем углу, напоминали шахматистов, из которых один склонился, задумавшись над очередным ходом, а другой, вперив глаза в потолок, рассчитывает варианты. Однако доски перед ними не было, а только маленькие блокноты и кофейные чашечки. Король кинопроката — темноволосый, со лбом интеллигента — несомненно был в свое время красивым мужчиной, но лицо изможденное, с застывшей на нем скучливой гримасой, под глазами лежали темные тени, свидетельствующие о почечном заболевании. Его партнер, совершенно седой, наоборот, был младенчески розов и свеж, над пухлым детским ротиком росли редкие, как у азиата, седые усики, и только веки были старые — тяжелые и бурые. Он написал что-то в своем блокноте тоненьким карандашиком и показал запись королю кинопроката. Тот взглянул на блокнот — через очки, не надевая, — и кивнул головой. Затем, все так же держа очки как лорнет, сделал какую-то отметку в своем блокноте, растянул тонкие губы в улыбке и протянул руку. Поманил к себе пробежавшего мимо гарсона, царственным жестом отклонил попытку толстячка заплатить за кофе, поднялся и расслабленной походкой пошел к выходу.

— Видели? Вот сделка и заключена.

— Вероятно, друзья? — спросил я.

— При случае утопят в ложке воды. Но никогда не надуют — себе дороже. Уверен — сделка на большую сумму.

— Что за сделка?

— Не знаю. Бутри — делец широкого профиля. Может вложить деньги в кино, но главное для него кожа, меха, химия, медикаменты. Да и Жан-Марк, если подвернется хорошее дело, может изменить прокату. Нет, не знаю. Зато могу точнейшим образом сказать, куда сейчас поедет Жан-Марк. К любовнице. Любовнице двадцать два года, и он пытается сделать из нее звезду экрана. Не думайте, что я выдаю чужую тайну, он для того и ездит, чтоб об этом говорили. Когда-то он был великий ходок, это ампула, а в шестьдесят лет менять ампулу опасно, начинают говорить: такой-то сдает, он уже не тот. И тому, про кого это говорят, лучше уходить от дел. Я давно уже не тот, но об этом только начинают догадываться... Смотрите дальше.

Седой младенец, допивавший свой кофе, сполз со слишком высокого для него стула и стоял в раздумье.

— Сейчас он будет здесь.

Раздумье продолжалось недолго. Мсье Бутри принял решение и медленно двинулся прямо на нас. Он носил детского размера ботинки на очень толстой подошве, с почти дамскими каблуками. Порав-

нявшись с нами, он кивнул Вагнеру и скрылся за не замеченной мною раньше тяжелой, как театральная занавес, портьерой.

— Пошел играть в баккара,— пояснил Вагнер.— Его амплуа — игрок. Играет крупно, но головы не теряет и часто выигрывает. Другой на его месте давно бы пошел по миру. (Я заметил, что Вагнер с особым удовольствием произносит русские идиомы.) Вот взгляните на ту пару, за последним столиком у самого входа. Только как-нибудь понезаметнее, он только и ждет, чтоб на него обратили внимание. Это русский. Просадил здесь целое состояние, теперь у него нет ничего, но во внимание к его прошлым заслугам ему пожизненно открыт вход.

Пару у входа я заметил с самого начала. Экс-миллионер был велик и грузен, его спутница худа и показалась мне изящной. Они все время препирались. Мы с Успенским посмотрели на них с любопытством и, быть может, недостаточно осторожно, потому что гигант поднялся и решительно направился к нам.

— Наконец-то я слышу настоящую московскую речь,— сказал он так громко, что на нас стали оборачиваться.— Эй, Даня! Почему ты прячешься от меня москвичей?

Когда-то это был мощный бас. Но время, табак и эмфизема сделали свое дело — гигант хрипел, в груди kloкотала мокрота. Вагнер поморщился.

— Познакомьтесь,— сказал он.— Академик Успенский, профессор Юдин, Институт онтогенеза, Москва. Граня Солдатенков, ресторатор «Гайда тройка», Париж.

Гигант рассмеялся.

— Сволочь ты, Данька,— сказал он беззлобно.— Вы поосторожнее с ним, господа. Очень хитрая каналья. Шучу! — завопил он, заметив, что Вагнер хмурится.— Это я любя. Разрешите присесть на минутку? — Не дожидаясь разрешения, он одной рукой выдернул из ряда тяжелый стул и приставил к нашему столику.— Змей, змей... — бормотал он, садясь и переводя дух.— Мудр и ядовит. Но не жулик, нет.

— Шел бы ты, Граня,— со скукой сказал Вагнер.— Нехорошо оставлять женщину одну.

— Никуда она не денется. Ты не бойся, я теперь про политику ни слова.

— Почему же,— вяло сказал Успенский.— Можно и про политику.

— Нет уж, выдрессировали. Да и не понимаю я в ней ни хрена. Ну как там белокаменная,— обратился он к Паше,— стоит?

— Зачем же ей стоять? Растет. Строится.

— Говорят, в Кремль пускать стали.

— Пускают.

— А Сухареву башню снесли,— укорил Граня.

— Поторопились.

— Ну, а «Яр» существует?

— Не знаю, давно не был. Что там теперь, Леша?

— Гостиница, кажется.

— Как? А ресторан? — взвился Граня.

— Раз гостиница, то и ресторан.

— А! Харчевня. В «Яре», милостивые государи мои, не питались.— Он произнес это слово с отвращением.— В «Яре» кутили. Уходили в большой загул. Во всю ширь русской души, тревожной и ищущей. Шампанское лилось рекой. А какие люди там бывали, какие женщины... А пели как! Три хора было — цыганский, малороссийский, венгерский. Одна венгерка была — тысячу за ночь, и не жаль. А потом на заре по снежку... Вы мальчишки против меня, вы всего этого не застали.

— Ошибаетесь,— сказал Успенский с опасным блеском в глазах.— Именно это самое я и застал.

Граня блеск заметил, но расценил по-своему.

— Верю! — закричал он.— Вы один меня поймете! Я человека за версту чую. По глазам вижу — огурчик острого засола. Вот он,— Граня выкатил на меня диковатые глаза,— ученый человек, интеллектуал высокой марки, но он нас с вами — не поймет. Душа у него есть, а порыва, отчаянности этой — нету. Извините великодушно. (Я охотно извинил.) Вот что,— зашептал он в неожиданном приливе восторга,— приезжайте нынче ко мне в «Тройку». Доедете до Пасси, а там вам любой ажан покажет...

— Ваш ресторан? — спросил Успенский без особого интереса.

— Мой? — Граня горько засмеялся.— Разве на этом свете есть что-нибудь мое? Жена и гитара. Жену кормлю я, гитара кормит меня. Ресторан давно уже не мой. Хозяин — сосьете аноним. Компрене? Управляющий — хорват, притворяется русским, повар — алжирец, звать Мохамед, гостям врем, что татарин. Гарсоны, то бишь половые,— щенки, одно звание что русские, Васья, Петья, Смирнофф, Орлофф, а послушаешь, как этот Васья картавит, и плюнешь... Я — никто, но все держится на мне. Я — консейер ан шеф де загул е кутёж рюсс. Компрене? Консультирую Мохамеда на кухне. Учю мальчишек носить рубахи с пояском и кланяться, сам стригу их под горшок, ни один здешний фигаро этого не понимает. Заправляю всей эстрадой. И сам пою — не в зале, конечно, а за столом, в кабинете, для приличной компании. Пою цыганские таборные, старый русский романс, и шуточные, и такие, знаете, с перчиком, для любителей... Голоса у меня уже нет, но есть манера, знатоки это сразу чувят. Но знатоков все меньше. А я — Последний-Кто-Еще-Помнит!

— И вы ни черта не помните,— неожиданно сказал Успенский, оторвав глаза от разложенных перед ним бумаг.— Ночи безумные, шампанское рекой,— передразнил он с холодной усмешкой.— Ни одной ночи вы уже не помните, а помните свои рассказы, записали на пластинку и крутите. Да и пластинка-то поистерлась...

Это было жестоко, и я всерьез опасался, что гигант вспыхнет. Но он промолчал. И даже как будто съезжился, стал меньше.

— Справедливо,— сказал он после паузы, во время которой Паша вновь уткнулся в бумаги.— Больно слышать, но пас. Забывать стал. Под восемьдесят уже. Много прожито, много выпито, силушка-то — ау! Было время — подковы ломал, кочерги гнул. А пел как! Школы никакой, а ведь с Юрием Морфесси сравнивали. Бывает и теперь,— он вновь оживился,— редко, но бывает: подберется хорошая компания, выпьешь в самую меру, распалишься — и прошлое встает передо мной... И тогда пою вдохновенно, так пою, что слезу вышибаю. Но — редко. Не для кого стараться. Русские к нам мало ходят — дорого, да и офранцузились: а миди дежене, ан сет ер — дине, а ужинать ни боже мой, иль фо консерве ля фигур, тьфу!.. Французы, те ходят — из любопытства. Придут, полчаса меню читают, выпьют вшестером бутылку смирновской, съедят по ложке икры и по порции осетрины, да еще пой им! Ненавижу французишек, скаредный народ. Только с американцами душу и отведаешь.

— Богаче? — спросил я.

— Шире. Американец — он заводится. Разгуляется — ему море по колено. Вот Данька, он, конечно, жид и немчуря — не сердись, не сердись, я любя! — но в нем размах есть. Не то что эти лягушатники...

— Послушайте,— сказал Успенский, хмурясь.— Если вы так ненавидите французов, зачем вы здесь живете?

— Голубчик мой, а куда деваться? Кому я нужен? А тут я привык, балакаю по-ихнему, и ко мне привыкли. Француз чем хорош — не тронь его, и он тебя не тронет. И не все ли равно, где подышать? На родной земле? А хрен ли мне в ней, в родной земле, если никто на мою могилку не придет? Я не Куприн. Эх, братцы, приходите лучше ко мне в «Тройку». Угощу на славу. Понимаю, — он замахал руками, — кестьон де девиз? Хоша вы и академики, а валюты небось с гулькин нос? Ничего не надо! Придете, спрсите Граню. Будете мои личные гости. Имеет право Евграф Солдатенков в кой-то веки отвести с земляками свою израненную душу?!

Он так шумел, что бармен за стойкой забеспокоился. Спутница Грани, уже давно нетерпеливо ерзавшая за своим столиком, встала и быстрыми шагами направилась к нам. Худая, черная, сильно накрашенная — издали она обманывала, и только вблизи я разглядел подлинный возраст — дело шло к семидесяти. Подойдя к нам, женщина умерила мрачный антрацитовый блеск своих глаз и раздвинула малиновые губы в светскую улыбку.

— Bonjour, messieurs⁶, — сказала она. — Евграф, представь меня москвичам.

Гигант вскочил.

— J'ai l'honneur de vous présenter mon épouse⁷. — Он нарочно произнес немое «е» на конце, получилось «эпүзе». Ему доставляло злобное удовольствие коверкать французские слова и произносить их с замоскворецкой растяжкой. — La belle Nina Soldatenkoff⁸, в девичестве княжна Эбралидзева, в первом браке маркиза де Лос Росас. Все в прошлом, включая «la belle».

— Замолчи, дурак, — сказала старуха, смеясь. — Здравствуйте, господа.

Мы поздоровались. Вагнер мигнул бармену.

— Мон эпух (эроух — догадался я), вероятно, уже зазывал вас в «Тройку»? — Она присела на подставленный мужем стул и ловко опрокинула в малиновый рот принесенную гарсоном рюмку. — Не ходите, господа. Евграф разволнуется, напьется и заснет где-нибудь на диване, а когда его разбудят, начнет плакать, и платить по счету придется вам. А не заплатите — Джагич его выгонит. Но если вы согласны поскучать в обществе старой женщины (фраза показалась мне знакомой), то приходите ко мне обедать. Мы обедаем рано, в седьмом часу, в семь Евграф уходит. Я еще не разучилась готовить хинкали по рецепту моей бабушки, это было ее pièce de résistance⁹. Евграф вам сплет. Когда он в ударе — увы, все реже, — он еще может...

Я взглянул на Граню. Граня иррачнел все больше.

— Не ходите, господа, — сказал он с неожиданной злобой. — Ничего хорошего не получится. По случаю вашего визита моя эпухе купит бутылку своего милого перно, налижется, почувствует себя одалиской и будет вас обольщать. Ужасно, когда женщина не понимает своего возраста!

— И твоего, — яростно вставила она.

— И моего.

— Ладно, не будем мешать деловым людям. Идем домой.

— Иди, если хочешь. Я хочу заглянуть туда. — Он мотнул головой в сторону портьеры.

— Только посмей. Я войду за тобой.

⁶ Здравствуйте, господа.

⁷ Честь имею представить мою супругу.

⁸ Прекрасная Нина Солдатенкова.

⁹ Коронное блюдо.

— Ого! — сказал Вагнер. — Это будет второй случай за всю историю клуба.

— А мне наплевать. Если его совсем перестанут пускать сюда, я не заплачу. Прощайте, господа. Не поминайте лихом.

Они ушли, ссорясь. После их ухода Успенский, внимательно изучивший разложенные перед ним листки, поднял глаза на Вагнера.

— Это большие деньги, доктор.

— Большие, — спокойно подтвердил Вагнер. — Но дешевле вы нигде не купите. Редкий случай, когда сделка выгодна всем — моим доверителям; вам, потому что без моей помощи американцы вам этой аппаратуры не продадут; и даже мне, хотя я на ней ничего не зарабатываю. Но я хочу поехать в Москву прощупать возможности советского рынка и заодно разыскать кой-какую дальнюю родню. В проигрыше окажутся только несколько ястребов из сената, которым угодно считать новейшую медицинскую аппаратуру стратегическими товарами.

— Я не уполномочен подписывать договоры.

— Мне довольно вашего слова.

— Весьма польщен. Но у нас монополия внешней торговли. Может возникнуть ситуация, при которой я не сумею его сдержать.

— Ваши слова только увеличивают мое доверие к вам и к вашему государству. Итак, договорились. Договор подлежит ратификации.

Вагнер бережно уложил листки в бумажник и сунул его во внутренний карман.

— Хотите взглянуть на игру? Тогда зайдём. Только на минутку. Нас и так заждались в ресторане.

За портьерой оказалась тяжелая резная дверь, Вагнер толкнул ее, и мы очутились в большом продолговатом зале с зашторенными окнами, освещенном только скрытыми лампами дневного света. Слева от входа стояли рядами обычные ломберные столики, все до одного пустые, в центре зала — стол побольше, затянутый парусиновым чехлом, и, наконец, прямо перед нами — очень большой, крытый зеленым сукном стол, вокруг которого сидело в молчании человек двенадцать игроков. Перед ними лежали игральные карты и разноцветные пластмассовые кружочки. Все или почти все собравшиеся у стола были немолодые люди, я не сразу узнал мсье Бутри, при мертвенном свете неоновых ламп его розовое личико приобрело зеленоватый оттенок, но заострился. В своей сосредоточенности они были похожи на химер, только химерами Нотр-Дам владела центробежная сила, здешними — центростремительная. Они были прикованы к разбросанным по зеленому сукну картам и фишкам. Может быть, время от времени они и произносили какие-то кодовые слова, я слышал только шепот Вагнера:

— Маленькие столики — для бриджа. В бридж играют вечерами, это игра спокойная, коммерческая, с умеренными ставками. Средний стол — для шмен-де-фер. Эти начнут часов с четырех. За большим столом — баккара. Игра идет круглые сутки. Вчерашнюю игру кончили в восемь утра, и дирекция распускает слух, что банк был в проигрыше на пятьдесят миллионов.

— Сколько?

— Пятьдесят миллионов франков. Что вас так удивляет? Видите вон ту фишку перед Бутри? Большую, двухцветную. Она стоит миллион франков.

Именно в этот самый момент над столом взметнулась рука крупье в желтой манжете и белая лопаточка — нечто среднее между ланцетом и мастерком штукатура — ловко подцепила фишку. Успенский крикнул.

— И вы тоже играете, доктор? — спросил он почти враждебно. Вагнер засмеялся.

— Иногда ставлю карточку. По тем же соображениям, по которым Жан-Марк ездит к любовнице. Пойдемте.

По пути в ресторан мы опять прошли через комнату с телевизором. Кетч кончился, на экране мелькали воздушные хитоны и обтянутые трико балетные ляжки. Звук был по-прежнему выключен, старички дремали.

Мы завтракали в неурочное время, ресторан был пуст. Пожилой метрдотель встретил нас в дверях и провел к накрытому столику. Скатерть была бумажная, столовые приборы самые простые — меня это несколько удивило, в капище Молоха должны были есть на серебре. Кормили нас вкусно. Мы ели спаржу и какую-то очень нежную рыбу, запивая все это белым вином. За едой говорили только о еде, но когда принесли фрукты и деревянный круг с сырами, мне захотелось разговаривать Вагнера. В качестве мсье Барски я должен был уступить инициативу патрону, но Успенский был до невежливости молчалив, и я счел своей обязанностью проявить интерес к личности нашего амфитриона.

— Скажите, мистер Вагнер, — начал я, но он меня прервал.

— Меня зовут Дэн. Или Даня.

— Это уж очень по-американски. Айк, Джек... Как звали вашего отца?

— Оскаром.

— Так вот, Даниил Оскарович... Можно мне вас так называть?

— Пожалуйста, мне это будет только приятно. Что вы хотели спросить?

— Чем вы сейчас занимаетесь?

Поясняю: я не так дурно воспитан, чтобы спрашивать семидесятилетнего человека, чем он вообще занимается. Я спрашивал его, как принято между коллегами, и рассчитывал услышать, что доктор Вагнер занят сейчас проблемой устойчивого анаболизма или возрастной гипоксии. Надеюсь, Вагнер это понял. Я был потрясен тем более, когда он, помолчав, ответил:

— В основном — проституцией.

Ослышаться я не мог. Оставалось на всякий случай переспросить:

— Проблемой проституции?

— Нет, проституцией в самом точном смысле этого древнего установления. Когда бесценный божий дар, будь то красота или талант, продается за деньги — это и есть проституция. Я имею наглость предполагать, что у меня был талант. Я мог лечить людей или сделать что-то для науки. Вместо этого у меня есть счет в банке, два дома в Акроне, штат Огайо, и вилла в Каннах. А счастья нет. И даже нет людей, ради которых стоило портить себе жизнь.

Это было сказано настолько серьезно и грустно, что Успенский, лениво чертивший на скатерти геометрические фигуры, взглянул на него с участием.

— Вы родились в России?

— В Витебске. Как Шагал. Мой отец был русский немец, католик, мать — еврейка. Чтобы пожениться, им пришлось стать лютеранами. Образование получил в Цюрихе. Как Эйнштейн. Работал в Пастеровском институте. Как Мечников. Но не стал ни Шагалом, ни Эйнштейном, ни Мечниковым. Женился на американке и переехал в Штаты. Получил лабораторию. Опубликовал несколько работ. Это был период, когда медицина бурно осваивала технику, на смену трубке и молоточку пришла электронная аппаратура. Я понял это немножко раньше других и оказался на гребне волны. Я преуспевал.

У меня была красивая жена, подрастал сын. И вот тогда явился змей-искуситель. Способный делец, ни уха ни рыла не понимающий ни в медицине, ни в электронике. Зато он обладал чутьем к рынку. Он предложил объединить наши способности, мы создали нечто вроде посреднической конторы между электропромышленностью и практической медициной и за несколько лет разбогатели. Но потерял я больше, чем приобрел. Сначала змей отнял у меня жену. Деньги тут, пожалуй, ни при чем, змей был парень хоть куда, а я, как вы, наверно, заметили, и в молодости не был Антиноем. С потерей жены я примирился сравнительно легко. Гораздо хуже, что у меня отняли сына. Сейчас сыну сорок лет, он правая рука одного крайне правого сенатора, родством со мной отнюдь не гордится, но внимательно следит за тем, как я расходую свои деньги.

Вагнер откашлялся, чтоб скрыть дрожь в голосе.

— Я мог быть в числе созидателей, а оказался в клане игроков. Это происходит постепенно, незаметно...— Увидев наши внимательные глаза, он пояснил: — С некоторых пор я делю людей на созидателей и игроков. Я знаю, вы делите людей иначе, но у всякого барона своя фантазия, и как знать, может быть, ваше деление не исключает моего. Есть люди, которые создают новые ценности и тем самым противостоят мировой энтропии. Игроки перебрасывают их из рук в руки. Созидатель открывает новые законы, игроки подчиняются правилам, которые выдумали такие же, как они, игроки.— Он еще раз взглянул на нас и засмеялся.— Вы небось уже прикидываете: два мира, две системы, «мы» — это созидатели, «они» — игроки. Будь это так просто, спор систем был бы давно решен в вашу пользу. И среди нас есть созидатели, и среди вас есть игроки. Каждому человеку дано сделать выбор. Понимаешь это не сразу, иногда слишком поздно.

Он посмотрел на часы. Часы были старинные, серебряные, вероятно, отцовские, держал он их так, как держит врач, считающий пульс, и смотрел чуть дольше, чем это требуется, чтоб узнать, который час.

— Вам надо отдохнуть,— сказал Вагнер.— Сейчас я отвезу вас в отель, а без двадцати пять за вами придет машина. Шофера зовут Роже... Нет,— он угадал наш вопрос,— на открытии я не буду. Или появлюсь к самому концу. Дело в том, что я отчасти финансирую эту затею. Одним покажется, что мое участие в этом деле компрометирует меня, другим — что оно компрометирует идею. Мне приходится считаться и с теми и с другими.

— А вы верите в эту затею? — неожиданно спросил Паша.

— Не очень. Начинания такого рода обычно угасают из-за отсутствия средств. Энтузиазм — прекрасная вещь, но он не покрывает расходов. Капиталистам предприятие покажется слишком красным, а у красных нет лишних денег, чтоб вкладывать их в нечто бледно-розовое и не сулящее реальных результатов. Правы и те и другие. Но все-таки я не жалею, что ввязался. Пусть поговорят. Капля камень точит.

Мы вышли из ресторана, провожаемые поклонами и любопытными взглядами. Надо думать, посланцы из Советской России не часто завтракали в капище Молоха.

— А он неглуп,— сказал Успенский, когда вишневым «ягуар», высадив нас на перекрестке у отеля, затерялся в потоке машин.

Насколько я помню, больше ничего сказано не было. Я тоже не был расположен к разговорам.

XVI. Пер-Лашез и Шаго-Мюзт

В гостинице вместе с ключами мы получили по толстому пакету, и, поднявшись в подрагивающей клетушке лифта на свою верхотуру,

я первым делом вытряхнул на кровать с десяток полиграфических шедевров — здесь был и основной мандат — *Carte d'invitation*. — отпечатанный на каком-то особенном рыхловатом, стилизованном под старинный пергамент картоне, программа конференции, цветные рекламные проспекты и приглашения для бесплатного посещения музеев и выставок, краткий путеводитель с планом города Парижа и, наконец, нечто вроде визитной карточки в пластмассовой рамке с булавкой для прикалывания к лацкану пиджака. На карточке четким машинным шрифтом было напечатано: «O. Udine, URSS». Не могу понять, зачем мне понадобилось выдернуть карточку из рамки. На обратной стороне карточки я увидел строку, густо замазанную фломастером. Проще всего было предположить, что некто, печатавший, ошибся в написании моей фамилии и, перевернув карточку, напечатал снова, уже без ошибки. В обычное время меня вполне удовлетворило бы такое объяснение, но моя чувствительность была обострена. Если это просто описка, то какая нужда была так тщательно ее замазывать? Строка оказалась мне длиннее незамазанной, совсем чуточку, на одну букву, на ту единственную букву, на которую фамилия *Bagzky* длиннее моей фамилии. Проклятая доминанта сделала свое черное дело: я тут же вспомнил, что в пятьдесят втором году в Париже был интересный для меня симпозиум. Получив персональное приглашение, я имел все основания надеяться, что с Успенскими и Барским четвертым поеду я. Поехал Вдовин. Паша объяснил это как-то сложно: не успели оформить, не было визы; я думал иначе: хочет показать Бете Париж и я ему там ни к чему. Оба объяснения ничего не стоили, я понял это только теперь. И вновь разъярился.

«Какого черта, — сказал я себе. — Открытие назначено на пять часов, и долг велит мне за несколько минут до начала быть на месте. Но у меня еще куча времени и я вправе располагать им по своему выбору. Почему бы мне не поехать сейчас на кладбище и не попытаться разыскать могилу матери? И, наконец, почему я должен в солнечный день париться в темном костюме и галстук, в то время как я терпеть не могу этих удавок? Иностранные ученые, приезжая к нам, ходят в чем им заблагорассудится, почему же я должен придерживаться каких-то неизвестно кем установленных европейских стандартов?»

Я со злорадным удовольствием переоделся, прицепил к лацкану летнего пиджака рамку с карточкой и, расстегнув ворот своей любимой шерстяной рубашки, спустился вниз. В вестибюле дежурил у миниатюрного коммутатора меланхолический владелец отеля. Я спросил его, как лучше всего проехать на Пер-Лашез.

— Нет ничего проще, мсье. Метро «Этуаль», направление на Насьон. Только не через «Денфер-Рошро», а через «Барбе-Рошешуар»...

Даже этим кратчайшим способом я добрался до знаменитого кладбища не скоро. От метро у меня осталось ощущение дореволюционной старины, причем не парижской — ее я не помнил, а именно московской, вспомнились дачные поезда моего детства с неизменным запахом сернистой гари и неторопливые московские трамваи, по старой памяти еще именуемые «конкой», мерно позванивающие, с неярким желтоватым освещением внутри. Даже в рекламных щитах, мелькавших на каждой станции, было что-то знакомое, я был готов поручиться, что с детства помню эти названия и шрифты парфюмерных и кондитерских фирм. И только встречавшаяся мне на каждой остановке полуголая девица в кружевном нейлоновом бюстгальтере, мечтательно рассматривавшая свой розовый живот, напоминала, что я в Париже конца пятидесятых годов. Около «Барбе-Рошешуар» поезд выскочил на поверхность, я с жадностью прилип к окошку — за ок-

ном пролетали серые будничные дома рабочего квартала, и сердце мое екнуло — мне вновь показалось, что я их припоминаю, но, прежде чем я разобрался в своих ощущениях, поезд снова нырнул под землю, замедлил ход, и передо мной опять возникла задумчивая барышня в лифчике.

Выйдя на «Пер-Лашез», я не сразу нашел вход на кладбище, затерявшийся среди фруктовых ларьков и афишных тумб. Конечно, это был не единственный вход, и притом не главный. Я поднялся по каменным ступеням. Солдатского вида привратник в синей форменной каскетке предложил мне купить листочек с планом кладбища, я купил и, пройдя сотню шагов, понял, что без этого листочка я бы наверняка пропал.

Это было не кладбище, а настоящий город, раскинувшийся на территории в несколько сот гектаров, со своими авеню и бульварами, пыльной зеленью скверов и пожелтевшим мрамором часовен и монументов. Некоторые улицы имели названия, на перекрестках стояли столбики с номерами кварталов. Как в настоящем городе, здесь были кварталы аристократические и буржуазные, одни могилы походили на феодальные замки, другие на оеобняки финансистов. Город был перенаселен и совершенно пуст. Наверняка есть дни и часы, когда сюда приходят люди, но, углубившись в центральную аллею, я вскоре почувствовал себя в полном одиночестве и невольно убыстрил шаги. Мне хотелось убедиться, что в узких поперечных рядах кто-то бродит или копошится в земле, но нигде не встретил ни одной живой души, это стертое выражение приобретало здесь обновленный и несколько жутковатый смысл. Такая мертвенная пустота при ярком свете дня наталкивала на мысль, что город оживает с темнотой, мысль, недостойную представителя позитивной науки, устыдившись, я представил себе, будто я нахожусь в вымершем городе на другой планете солнечной системы, с большей плотностью вещества, где каждая маленькая часовенка весит столько, сколько Нотр-Дам; в результате такого переключения я почувствовал, как мои ноги наливаются свинцом и надо где-нибудь присесть, чтоб отдохнуть и сообразить, как действовать дальше. Даже имея на руках план, нелегко разыскать среди тысяч фамильных склепов герцогов и миллионеров священные могилы Элоизы и Абельяра, Бальзака и Шопена и совсем нелепо пытаться без посторонней помощи найти могилу безвестной женщины, умершей почти полвека назад.

Я присел на каменную скамеечку, разложил на коленях листок с планом и вынул из бумажника свою единственную реликвию — любительский снимок, изображающий моего отца у могилы матери. Снимок неважный, сильно пожелтевший от времени, отец был в долгополом пальто и ужасно не идущем к его мягкому среднерусскому лицу черном котелке, врытая в землю под наклоном белая могильная плита плохо видна, надпись на ней неразличима. В глубине кадра виднелось еще несколько надгробий, а на переднем плане белел краешек мраморного крыла. На обратной стороне снимка не было ничего, кроме полустертой цифры, то ли 97, то ли 94, я сверился с планом и обнаружил, что 97 и 94 — это номера самых дальних кварталов кладбища, примыкающих к Стене коммунаров. Где же и быть похороненной жене русского революционного эмигранта?

У меня было достаточно времени, чтоб добраться до любой точки кладбища, но на поиски его оставалось мало, разумнее было вернуться в отель, а розыски отложить до более подходящего случая. Но этого более подходящего случая могло и не оказаться, и я, рискуя опоздать к открытию конференции, решил остаться. Больше того, решил не спешить, первая заповедь всякого исследователя — не суеть-

титься. Несколько минут я отдыхал. Перед моими глазами, застывая перспективу, высилась стена большой фамильной усыпальницы в виде часовни, внушительное здание из белого камня, в котором при желании можно было поселить многодетную семью.

«Je sais, que mon Redempteur est vivant et que je ressusciterai au dernier jour,— было вырезано на стене.— Je serai revêtu de ma peau et verrai mon Dieu dans ma chair»¹⁰.

— Вы верите во второе пришествие, мсье?

Я резко обернулся и увидел перед собой старика. Он показался мне очень хрупким, хотя держался прямо и с неподдельным изяществом. У него было высохшее породистое лицо с крупным хрящеватым носом, седыми усами и маленькой эспаньолкой — лицо придворного эпохи регентства. Старик был одет в прекрасно сшитый, но заметно поношенный костюм из легкой ткани, в руке он держал соломенную шляпу. Синие глаза, живые и не по возрасту яркие, смотрели на меня весело и дружелюбно.

— Нет, мсье,— сказал я вежливо, но сухо. Честно говоря, мне не хотелось вставать.

— Однако надпись заставила вас задуматься настолько, что вы не заметили, как я подошел. Сидите, пожалуйста, и разрешите мне тоже присесть. Простите, я не представился,— добавил он поспешно с пленительно-любезной улыбкой,— но мое имя почти наверняка вам ничего не скажет. Извините мне мое любопытство. Нынешние парижане нелюбопытны, но я принадлежу к уходящему поколению, мы были любопытны, как обезьяны. Скажите, вас не поражает эта наивная и могущественная вера в бессмертие души?

— Нет, мсье,— сказал я.— Если б эта вера была действительно присуща людям, они не вбивали бы столько денег в мертвые камни. Когда я смотрю на эти часовни и монументы, прекрасные или безвкусные, я всегда думаю, что вместо них можно было построить дом для живых и бездомных. Во всем этом великолепии я вижу не веру в свое бессмертие, а панический страх. Страх бесследно исчезнуть с лица земли, не остаться в памяти живых. Народы ставят памятники немногим, большинство этих сооружений — памятники самим себе, я не вижу принципиальной разницы между надписями, которыми украшают скалы досужие туристы, и кладбищенскими эпитафиями. И пушота вокруг говорит о тщетности усилий.

Старик слушал меня со сдержанной улыбкой. Затем спросил:

— Вы, конечно, поляк, мсье?

— Нет, русский. Почему вы решили, что я поляк?

— Здесь неподалеку могила Шопена, ее часто посещают поляки. Вы прекрасно говорите по-французски, но в вашем выговоре все-таки угадывается славянин. Для меня чрезвычайно любопытно ваше мнение, мсье, потому что мы сидим перед усыпальницей моих предков, и я последний человек, имеющий право быть похороненным в ней. Нет, нет, мсье,— улыбнулся он, заметив мое смущение,— вы не совершили никакой бестактности, я сам вызвал вас на откровенность! Мало того, я почти готов с вами согласиться, говорю «почти», ибо согласие мое чисто умозрительное, я никогда не решусь сделать из него выводы. Представьте себе, мсье, если не считать этой фамильной собственности, я нищ, как Иов, и не уверен, будет ли у меня завтра крыша над головой. Если б я решился продать только мраморные плиты облицовки или вступил в сомнительную сделку, благодаря которой две буржуазные семьи получили бы право хоронить в нашем ро-

¹⁰ Я верю, что мой Искуситель жив и я вновь воскресну, обрету свою плоть и увижу бога в моем сердце.

довом склепе своих мертвых, я был бы обеспечен до конца моих дней. Но предрассудки сильнее меня, и я предпочитаю заключить собой погребальное шествие предков, хотя прекрасно понимаю, что с моей смертью уйдет последний человек, для которого эти камни одухотворены.

— У вас нет ни детей, ни внуков, мсье?

— Была дочь. Она погибла в нацистском лагере за то, что укрывала еврейскую семью. Двое моих внуков погибли в Сопротивлении. Могилы всех троих неизвестны, хотя именно эти трое больше, чем кто-либо в нашем роду, заслуживали памятника. А у вас есть дети, мсье?

— Нет,— сказал я.

— И не было? Мсье, скажу вам словами Талейрана — это больше чем преступление, это ошибка. Мы живы в наших детях. Только призвание может служить оправданием бездетности. Но призвание — удел немногих избранных, за свою долгую жизнь я не увековечил себя ничем, и — о, как вы правы, мсье! — поэтому-то меня и тешит прибавлять к своим семидесяти семьсот лет древнего рода, в котором можно назвать несколько славных, или скажем скромнее — заметных в истории Франции имен.

Старик был мил и забавен, но мое время истекло, я ждал только паузы, чтоб сказать какую-нибудь любезную фразу и двинуться дальше. Он заметил это.

— Не хочу вас задерживать. Вы приезжий, и у вас нет времени на бесплодные разговоры. У меня его сколько угодно, но я еще не потерял способности чувствовать ритм, в котором живут другие. Прощайте, мсье.

Он легко поднялся, поклонился и пошел по узенькой тропке вдоль могил. Через минуту двинулся в путь и я. Шел я долго, на каждом перекрестке сверяясь с планом, и все-таки вышел не к *mur des fédérés*¹¹, а левее, к северной стене кладбища, за которой шуршал автомобильными шинами и вонял бензином город живых. По сторонам я видел несколько человеческих фигур, они бродили между могилами или рылись в земле, но никого не встретил. Выйдя на пролегающую вдоль стены аллею и свернув направо, я понял, что блуждания кончились и я на верном пути. От стены аллея отгорожена деревьями, с правой стороны теснятся свежие надгробья. Здесь нет часовен и монументальных склепов, но на гранитных плитах я увидел венки, живые, еще не увядшие цветы и тронувшие меня надписи. На одной из плит я прочел: «Когда на земле перестанут убивать, они будут отомщены». Это было так неожиданно и хорошо, что я остановился. Надо отдать должное современным французам — они не потеряли афористического блеска своих предшественников. Это были надгробья бойцов Сопротивления и жертв фашистских лагерей, некоторые из них на вкус Николая Митрофановича Вдовина могли показаться недостаточно реалистическими, но я не мог от них оторваться. А оторвавшись, увидел в глубине аллеи две вполне реалистические фигуры — кладбищенский служащий в синей каскетке, оживленно жестикулируя, о чем-то беседовал с рослым туристом. Человек в синей каскетке! С этой минуты я не спускал с него глаз, боясь, что он куда-нибудь скроется, и меня мало занимал его рослый собеседник. По выправке я принял его за англичанина, а подойдя ближе и услышав английскую речь, еще больше уверовал в свою наблюдательность. И только приблизившись вплотную, убедился в своей ошибке — англичанин очень

¹¹ Стена коммуваров.

плохо знал свой родной язык, а когда я уже разинул рот, чтоб в самых изысканных выражениях объяснить свою нужду, он не спеша повернулся, и я увидел ехидно ухмыляющуюся физиономию Павла Дмитриевича Успенского. Шеф был в своем репертуаре — удивлять и ничему не удивляться.

— Познакомься, Леша,— сказал он, вдоволь насладившись моей растерянностью.— Мсье Тома, или правильнее будет сказать камрад Тома. Мы как раз говорили о тебе.

Я пожал руку мсье, то бишь камраду Тома. Это был человек лет шестидесяти, скорее всего северянин, у него было славное лицо.

— В каком году скончалась ваша матушка? — спросил он, и я понял, что обо мне действительно говорили.

— В девятьсот десятом.

— В девятьсот десятом,— задумчиво повторил он.— Могла ваша семья иметь concession à perpétuité¹²? Штука довольно дорогая.

— Не знаю. Не думаю.

— В таком случае могла вряд ли уцелела. Неужели у вас в семье не сохранилось никаких документов?

— Нет. Только вот это.

Я вынул фотографию. Тома смотрел на нее, щурясь и морща лоб. И вдруг заулыбался.

— Пойдемте.

Минуту или две мы шли, лавируя между памятниками, Тома впереди, я следом, последним, нарочно поотстав, шел Успенский. После нескольких поворотов я полностью потерял ориентацию. Наконец наш проводник остановился позади плоской чаши на мраморном цоколе. Над чашей стояла крылатая фигура в рост человека.

— Вот,— сказал камрад Тома.— Узнаёте?

Снисходя к моей тупости, он деликатно взял меня за плечи, потянул назад и слегка развернул вправо. Несколько секунд я еще сопротивлялся и вдруг четко, как в видеокамере, увидел знакомый кадр: мраморное крыло и угол чугунной ограды, а в створе между ними кусочек светлого неба и освещенная солнцем тропинка. Фотография десятого года и действительность пятьдесят седьмого расходились в самом существенном — наклонной белой плиты не было, а на ее месте торчал из земли какой-то черный обелиск.

Подошел Успенский, и мы немножко постояли. У Тома был сочувственный и даже как будто немножко виноватый вид.

— Не огорчайтесь, товарищ,— сказал он.— Две мировые войны. Люди все реже умирают в своей постели. Мир стал тесен, и кладбища не составляют исключения. Мы живем в эпоху крематориев и братских могил. И все-таки не огорчайтесь. Вы нашли то, что искали. Ваша мать похоронена в священной для французов земле, вблизи от Стены коммунаров.

Тома вывел нас на аллею, и мы дружески распрощались. Оставшись наедине с Успенским, я мог наконец спросить, что привело его на Пер-Лашез. Но не спросил. Он шел задумавшись, скользя взглядом по памятникам. Спрашивать не имело смысла — огрызнется или отшутится. Расспросы почти всегда настраивали его агрессивно, все, чем ему хотелось поделиться, он рассказывал, не дожидаясь, пока его спросят.

Мы молча спустились по каменным ступеням на скучную улицу, похожую на загородное шоссе, мимо нас пролетали машины, тротуары были пусты. Ожидавший нас вишневым «ягуар» я узнал сразу — это была машина доктора Вагнера. Около машины околачивался дол-

¹² Право вечного владения.

говязый юнец с матадорскими бачками. Увидев Успенского, он затупил о каблук недокуренную сигарету, распахнул перед нами заднюю дверцу и, усевшись за руль, повернул к Паше смазливую мордочку, выражавшую равнодушную готовность.

— Скажи этому обалдую,— сказал Паша,— пусть едет через Ситэ. Посмотришь Нотр-Дам не на картинке. И чтоб вез по набережным, а не по своим вонючим бульварам...

Я взглянул на Успенского и чуть не прыснул. Он уже успел возненавидеть нашего водителя. Надо было знать Пашу — он мог простить все, кроме равнодушия. Он привык сидеть рядом с неизменным Юрой, обсуждать с ним маршрут и дневные планы, ругать за неаккуратность и жлобские ухватки, случалось, он орал на него и грозился выгнать, но никогда не выгонял, потому что знал — при всех своих недостатках и даже некоторой жуликоватости Юра свой, преданный ему человек, больше того, искренне привязанный к Институту и знавший об институтских делах даже больше, чем следовало. И Успенского злил вежливый юнец, не куривший при пассажирах, заученно распахивавший перед ними дверцы машины, но всем своим видом декларировавший: мне совершенно все равно, кто вы такие, куда и зачем вы едете, я везу вас потому, что мне приказал старый доктор, и когда кончится мой рабочий день, я забуду ваши лица навсегда.

Выслушав меня, юнец сказал: «Comme vous voulez»¹³ с интонацией, из которой явствовало, что ему нет никакого дела до наших желаний, и тронул машину. Мы проехали площадь Бастилии, выскочили на набережную Сены около острова Сен-Луи, перебрались по старинному мосту в Ситэ и затормозили перед Нотр-Дам. Если не считать десятка экскурсионных автобусов, площадь была почти пуста, но вход в собор напомнил мне летку пчелиного улья, одна вереница, сложивши крылышки, вползала внутрь, другая, выползая, готовилась их расправить. Большинство было несомненно туристами — рослые белокурые скандинавы и англосаксы, темнокожие индийцы со своими закутанными в пестрые сари женами, огромный африканец в коричневой рясе и сандалиях на босу ногу — единственный несомненный католик среди всей этой разношерстной компании. Я вышел из машины, чтоб полюбоваться собором, но Успенский чуть не силой втолкнул меня обратно.

— К черту эту толкучку. Если хочешь, приедем сюда ночью. Ночью собор во сто раз лучше. А сейчас скажи этому прохиндею, чтоб подогнал машину к мемориалу des Martyrs de la déportation¹⁴, он должен знать.

Все это Паша мог сказать и сам, но, как видно, он уже зашелся. Выслушав меня, юнец опять сказал: «Comme vous voulez», вынул из ящика для перчаток толстенький справочник и углубился в него с видом жертвы. Это окончательно разъярило моего патрона.

— Так мы до вечера проканителиться,— зашипел он на меня.— Это же здесь, рядом, только что проехали. Сет иси, ля-ба, компрене? — Это относилось уже прямо к водителю. И так как Роже явно не понимал, Паша выскочил из машины, залез на переднее сиденье и скомандовал: — А гош!¹⁵

Мемориал действительно оказался совсем рядом. С птичьего полета Ситэ похож на бросившую якорь посередине Сены гигантскую остроносую ладью. Мемориал — в корме. У его бетонных стен плещутся волны от пробегающих мимо моторок. Мы оставили машину у

¹³ Как вам угодно.

¹⁴ Мучеников депортации.

¹⁵ Налезо!

ограды и прошли несколько десятков шагов до входа по вымощенной плитами дорожке вдоль невысокой, обсаженной зеленеющим кустарником ограды.

Я не запомнил внешнего вида здания. По-моему, у него вообще не было внешнего вида, архитектура начиналась внутри.

Можно описать, и точнее, чем картину или статую, элементы, из которых складывается здание, но как описать потрясение? Я был потрясен.

«Cette crypte est dédiée au Souvenir des Deux Cent Mille Français, sombrés dans la nuit et le brouillard, exterminés dans les camps nazis de 1940 à 1945»¹⁶.

Прежде чем я прочел эту надпись, я уже понимал, где я нахожусь, стены были красноречивее высеченных на них слов. Серый шероховатый плитняк под ногами, мертвенная белизна стен — склеп, а не мавзолей, — узкие проемы и лесенки, наводящие на мысль о застенке, и черное, как будто покрытое окалиной железо, оконные решетки и дверцы из железных полос, с тюремными замками и массивными висячими кольцами, за окном виден мост и мирно ползущие по нему автомобили, зрелище, только подчеркивающее трагическую обреченность тех, за кем захлопнулась решетка. Нигде ни фрески, ни барельефа — и живопись и скульптура были бы здесь бессильны и даже бестактны, только архитектура и, может быть, еще музыка — самые отвлеченные из искусств — способны, не погружаясь в гиньоль, передать безмерность преступления и общечеловечность скорби живых. Единственным орнаментальным мотивом были черные железные острия, длинные и тонкие, как вертела, или широкие и плоские, как первобытные орудия, они то выстраивались в ряд, как конвойная стража, то слипались в причудливые гроздья. Острия эти преследовали нас на всем пути до собственно склепа, поразившего меня своей простотой. Посередине серого бетонного пола тяжелая бронзовая крышка, как бы прикрывающая братскую могилу, говорю «как бы», потому что архитектор и не думал скрывать, что под крышкой нет никакого люка, нет подземелья, кости мучеников лежали не в этой древней земле — прах их вышел дымом из труб десятков фабрик смерти, рассеянных по всей Европе. Прямо против входа распахнутые настежь железные двери позволяли заглянуть в узкий и длинный полутемный коридор. В коридор вели ступени, стены его отливали матовым металлическим блеском, а в самой глубине, в замыкающей коридор глухой черной стене жутковато поблескивала круглая металлическая крышка, светила она отраженным светом или за ней угадывалось пламя, я не разобрал, но она притягивала, как шарик гипнотизера. Это не было изображением крематория, это была материализованная мысль; отсюда не возвращаются. Нет, даже музыка была бы здесь неуместна — живым прилиествовало молчание.

Мы простояли молча несколько минут. В эти минуты, кроме нас и безмолвного служителя с военной медалью на груди, в склепе никого не было. А затем появилась молодая пара, он и она, в одинаковых обтягивающих ягодицы грязноватых, но несомненно дорогих джинсах, одинаково розовые и белокурые, с сонными лицами, они стояли рядом с нами, потом подошли поближе, вплотную к ступеням, ведущим в небытие, вероятно, им хотелось рассмотреть, что там светится в глубине. Он обнимал ее за плечи, она прижималась к нему бедром, они вдвоем курили одну сигарету. Я оглянулся на Успенского, он кипел, и можно было опасаться взрыва. Я тоже был возмущен, но не

¹⁶ Этот склеп посвящается памяти Двухсот Тысяч Французов, ушедших в мрак и туман, уничтоженных в фашистских лагерях с 1940 по 1945 г.

считал возможным вмешиваться, тем более что почтенный страж предпочитал не замечать кощунственной сигареты.

Взрыв все-таки произошел. Постояв минуты две перед воротами современного ада, парочка синхронно, как по команде повернулась и пошла к выходу. У выхода парень бросил окурок, и этого Паша уже не вынес. В два прыжка он догнал парня и опустил руку ему на плечо. Парень вздрогнул и обернулся, вероятно, хотел спросить, в чем дело, но встретив взгляд Успенского, сразу понял, что от него требуется. Как ни хотелось ему выгладеть молодцом перед своей спутницей, пришлось нагнуться и поднять окурок. Молчание не было нарушено, мы так и не узнали, на каком языке разговаривают между собой эти половозрелые особи. К машине мы шли молча, притихшие. В кустах у ограды взасос целовалась какая-то совсем юная парочка, но, против ожидания, это зрелище нисколько не раздражило Пашу, он подмигнул и улыбнулся:

— «И пусть у гробового входа...» — как там дальше, Леша?

— «Младая жизнь», — сказал я.

— Вот, вот. Скверно только, что эти молодые ничего не помнят и ни о чем не задумываются. Если они не задумаются, то дети, которых они наделают, будут воевать.

Сказано это было лишь по видимости ворчливо, глаза смотрели мягко. Даже к Роже он подобрел и, когда мы сели в машину, сам скормандовал: «Шато-Мюзэ!»

Без пяти минут пять мы подкатили к Шато-Мюзэ. Ничего, заслуживающего названия Шато, я в нем не нашел: очень чистенький, светло-желтых тонов, как будто слепленный из сливочного масла буржуазный особняк, построенный не позже начала нашего века. Кругом много зелени, и воздух не такой отравленный, как в центре, чувствуется близость Булонского леса. Машину за ограду не впустили, и мы прошли по выложенному каменными плитами дворику к распахнутым настежь дверям парадного входа. В просторном вестибюле и на широчайшей внутренней лестнице мы увидели несколько десятков людей с такими же, как у нас, карточками на груди, привычный типаж международных конгрессов; люди курили, смеялись, перебрасывались фразами, одни стояли, образуя небольшие кружки, другие медленно бродили, ища, куда бы примкнуть, я знал, что среди этой массы незнакомых людей есть несколько ученых с мировым именем, академиков и нобелевских лауреатов, некоторых я знал по книгам, но никого в лицо. Наверху людей было еще больше, к нам сразу же подошел Дени и повел знакомить с главой оргкомитета профессором Баруа. Баруа — крупный биолог и обаятельный человек, он примерно одних лет с Успенским и даже чем-то похож на него — стройностью, ранней сединой, непринужденностью манер. Рядом с ним стояла худенькая девушка, Баруа представил: моя дочь, филолог, славистка, — и сразу же стал уговаривал Успенского выступить в первый день. Паша, улыбаясь, просил его не торопить. Разговор шел по-английски; пока они спорили, я поболтал с дочкой, так, ни о чем, и получил удовольствие — девочка совсем некрасивая, но манера у нее прелестная; я предложил говорить по-русски, она, засмеявшись, покачала головой и тут же ввернула комплимент моему французскому произношению. Я попросил ее сказать откровенно, в самом ли деле я так хорошо говорю. Она опять засмеялась: «Слишком хорошо. Чутьку старомодно. Сегодняшние французы, особенно молодые, говорят ужасно...»

Подошел поздороваться наш старый знакомый профессор Блажевич из Краковского университета, с ним был молодой венгерский физик, вчетвером мы представляли весь мир социализма, и нет ничего удивительного, что на нас посматривали с любопытством.

Ровно в пять минут шестого негромко прогудел гонг и распахнулись двери в зал заседаний. Зал был рассчитан на людей, привычных к комфорту: кресла низкие, обтянутые мягкой кожей, с плавно опускающимися под тяжестью тела удобными сиденьями, в таких креслах можно сидеть развалившись и между ними не надо пробираться боком. В передних рядах расположились участники и немногочисленные представители прессы, сзади гости, в том числе десятка два нарядно одетых женщин из знакомой породы посетительниц ученых и литературных дискуссий, для них конференция такое же зрелище, как театр или коррида, а удачливый оратор такой же объект поклонения, как матадор или оперный баритон; на их лицах написан несколько преувеличенный интерес и готовность увенчать победителя. Ученые их слегка презирают, но терпят, все-таки они вносят оживление и будят в ораторах желание говорить не слишком скучно. И наконец, в самой глубине зала, отделенные от избранных символическим бархатным шнуром, немногие просочившиеся студенты и несколько неприменных чудаков, вдохновенных старцев и нестриженных субъектов с маниакальным блеском в глазах, такие есть везде, это жертвы науки, люди, отравленные средствами массовой информации, завсегда и публичных библиотек и популярных лекций, начетчики и авторы фантастических проектов, человеколюбцы и человеконенавистники, объединяемые лишь общей страстью к науке, страстью безнадежной, ибо сегодня наука еще беспощаднее к прожектерам и дилетантам, чем в дни моей юности.

Я спросил у Блажевича, кому принадлежит здание. Оказалось, какому-то международному акционерному обществу, оргкомитет снял его на два дня. Слева от меня у прохода сидел Успенский, мне показалось, что он несколько удивлен: нет ни трибуны, ни стульев для президиума, только небольшая председательский столик на возвышении, к нему поднялись трое — Баруа, Дени и пожилой японец, как объяснил мне Блажевич, крупный патолог, известный своими работами о последствиях атомного взрыва в Хиросиме. Дени объявил регламент: докладов не будет, всем поровну по пятнадцать минут, как для научных сообщений, на каждом заседании председательствуют двое, завтра будет два заседания — утреннее и вечернее, на третий день с утра заседание оргкомитета в холле гостиницы «Мажестик», днем посещение Пастеровского института и вечером банкет в ресторане «Андре». Затем Баруа открыл конференцию кратким вступительным словом и предоставил слово первому оратору.

Я не собираюсь пересказывать здесь услышанное мною на заседании, это увело бы меня слишком в сторону. Да и стоит ли? Мой гипотетический читатель уже достаточно наслышан об опасностях, угрожающих жизни на земле, и о загрязнении окружающей среды, и о нарушении экологического равновесия, и о пагубном влиянии радиации на наследственность. Но в то время многое было для меня вновь, а известное живо перекликалось с весьма еще робкими, но тем не менее сурово осужденными печальной памяти «антинеомальтузианской» сессией выступлениями некоторых наших ученых. Самым привлекательным из того, что говорилось в тот день, была для меня деловитость. Каждый из выступавших говорил о предмете, ему досконально известном, и это позволяло ему быть кратким. Похожий на капитана дальнего плавания швед говорил об угрозе, нависшей над Балтийским морем. Язвительный французский фармаколог — «о лекарственной болезни» и об опасности неконтролируемого использования препаратов с неизученным действием. Шотландский лорд, ботаник и философ — о губительном для планеты сокращении растительного покрова; самое сильное впечатление произвел японец — очень сухо, как лечащий

врач на консилиуме, он доложил об итогах своей десятилетней работы в госпитале для детей, пораженных лучевой болезнью и родившихся от облученных родителей. Лохматый гуманитарий экзистенциалистского толка, выступивший до него с пылкой, но маловразумительной речью и имевший успех, был сразу же забыт.

После выступления японца — он говорил по-английски — встал Дени и объявил, что на завтрашнем утреннем заседании, которое начнется ровно в одиннадцать часов, председательствуют академик Успенский из Москвы и отец Гайяр из Дижона, первым выступает профессор Кэжден (США). На этом заседании кончилось. Я посмотрел на часы. Было десять минут восьмого.

Успенский задержался в зале, а я вышел во дворик подышать и собраться с мыслями. Было еще совсем светло. Обгоняя меня, шли к выходу участники конференции, за оградой мягко урчали заведенные моторы, вспыхивали желтые и красные стеклышки задних сигнальных фонарей.

Я сказал «собраться с мыслями». Вернее было бы сказать «разобраться в своих ощущениях». Ощущение у меня было двойственное. В самом грубом приближении я определил бы его так: произошло нечто очень значительное. И в то же время ничего не произошло. Было бы наивно предположить, что в нашем открытом всем вихрям мире произойдут хотя бы крошечные изменения от того, что в снятом на два дня буржуазном особняке собралась сотня разномастных интеллигентов, в большинстве своем несомненно незаурядных и порядочных, проникнутых искренним стремлением понять друг друга и подняться над социальным и национальным эгоизмом, но практически разобщенных, организационно бессильных, не обладающих даже минимальной властью что-либо предписать. А с другой стороны — я присутствовал при зарождении мысли, а мысль не есть нечто нематериальное, подобно квантам света она не имеет массы покоя, но будучи приведена в движение и овладевая умами, превращается в могущественную силу. Маркс говорил это об идеях, и история подтвердила его правоту. Похоже на то, что мы вступаем в эру, когда такой же материальной силой, производительной и разрушительной, становится знание.

Успенский вышел одним из последних, его преследовала какая-то не в меру экзальтированная дама. Увидев меня, он быстро отделился от нее и подошел:

— Нас зовут обедать в китайский ресторан. Поехали?

Я сказал, что если во мне нет нужды как в переводчике, я предпочел бы быть свободным. Паша посмотрел на меня внимательно.

— Что такое?

— Ничего. По моим понятиям, я уже обедал.

— Что же ты собираешься делать?

— Не знаю. (Я прекрасно знал.) Может быть, попробую разыскать дом, где родился. Тебе это непонятно...

— Нет, очень понятно. Но нужно быть полным кретином, чтоб на ночь глядя отправиться к черту на кулички, даже не зная точного адреса. Поедешь?

— Поеду.

Паша промолчал. Он хмурился и о чем-то раздумывал. Потом сказал «подожди» и исчез. Через несколько минут он вышел из здания вместе с Вагнером, Баруа и его дочерью и, наскоро попрощавшись с ними, вернулся ко мне.

— Я еду с тобой.

— Зачем? — Я сам не понимал, тронут я или рассержен.

— Затем, что без меня ты пропадешь. А у меня есть идея. И машина.

За воротами нас ожидал вишневый «ягуар». Умирающий от скуки матадор распахнул перед нами заднюю дверцу и сел за руль.

— Alors?

Паша сердито запыхтел. Он рылся в карманах.

— Вот,— сказал он, передавая мне бумажку с адресом.— Скажи ему.

Я прочитал: 4, Marie-Rose.

Прошло еще несколько минут, прежде чем мы тронулись. Матадор с несчастным видом листал автомобильный справочник.

— Скажи ему, чтобы вез как-нибудь поинтереснее,— свирепо сказал Успенский.— Через эспланаду, что ли.

Я сказал и получил в ответ: «Comme vous voulez».

Мы уже пересекли Сену, когда я догадался спросить, куда же все-таки мы едем. Зная характер своего учителя, я был готов к любому ответу. Но на этот раз Паша и не думал меня интриговать.

— Куда мы едем?—повторил он.—Мы едем на квартиру Ленина.

XVII. На улице Мари-Роз

Мы не сразу нашли улицу Мари-Роз. Она показалась нам серой и пустынной. Ни лавчонок, ни кафушек. Дом типично парижский, в железном кружеве балкончиков и даже более чистенький, чем дома в центре, но какой-то беспородный, и только прибитая на уровне второго этажа мемориальная доска выделяла его из ряда таких же безликих доходных домов.

Соседнее с доской окно светилось. С минуту Успенский стоял посреди улицы, задрав голову и что-то прикидывая, затем решительно зашагал к подъезду.

Парадная дверь была не заперта, мы беспрепятственно миновали логово консьержки и поднялись по крутой лестнице на второй этаж. На тесную площадку выходили совершенно одинаковые двери без каких-либо опознавательных знаков. Пашу это не смутило. Он позвонил в крайнюю слева.

— Ты уверен, что это та самая? — робко спросил я.

— Как будто так.— Он позвонил еще и еще.

— Там никого нет,— сказал я.

— Не может быть. Во Франции, уходя, не забывают тушить свет. Это не принято.

Он постучал, и, вероятно, громче, чем это принято во Франции, потому что лязгнули железные запоры и открылась дверь, но не та, а соседняя, и на пороге показался жирный человечек в полурасстегнутых брюках. У него было блинообразное лицо с рыжими пятнышками бровей и усов, он смотрел на нас выпученными глазами, выражавшими одновременно ярость и страх. Паша несколько опешил, и я понял — пришла моя очередь действовать. В самых изысканных выражениях я принес человечку наши извинения, человечек слушал молча и, казалось, начал оттаивать, но когда я попытался выяснить у него, где находится музей-квартира Ленина, он вновь разъярился:

— В этом доме нет никаких музеев, мсье. Это частное владение, и здесь живут частные лица. Кой черт музей! Музеи не работают по ночам! Если вы не уберетесь отсюда, я позвоню в полицию..

Железо вновь лязгнуло. Я обернулся к Успенскому, он смеялся.

— Ну и тип! И все-таки я не ошибся. Стой, слушай.

Я прислушался. Где-то в глубине квартиры тоненько прозвенел

телефон, что-то сердито пробормотал низкий женский голос, после чего телефон, звякнув, отключился.

— Ты понял? — Несмотря на мои протесты, Паша нажал кнопку звонка несколько раз подряд, властно и нетерпеливо, в ритме, который означал: какого черта, я же знаю, что там кто-то есть.

И добился своего — послышались шаркающие шаги, дверь открылась на длину цепочки, и мы увидели недовольное женское лицо:

— Что вам нужно?

Я замялся и только укрепил подозрения женщины.

— Никого нет дома. Уходите, — сказала женщина сердитым шепотом.

Она собиралась уже захлопнуть дверь, но Паша молниеносно протянул длинную руку и, рискуя остаться без пальцев, вцепился в наличник. На своем невозможном французском языке он отважно вступил в переговоры с сердитой женщиной, они препирались шепотом и шипели, как рассерженные коты. Я уже подумывал об отступлении, когда раздалась шага и на площадку легко взбежал человек небольшого роста с хозяйственной сумкой в руках. Подойдя к нам вплотную, он очень вежливо осведомился, кто мы такие и что нам угодно. Я объяснил: ученые из Москвы, хотели бы видеть директора музея. Человек улыбнулся на слово «директор», скользнул глазами по карточке на лацкане моего пиджака и приказал женщине впустить нас. В передней женщина — немолодая, с утомленным лицом — долго и сердито что-то шептала ему на ухо. Он слушал и кивал головой. Затем улыбнулся — улыбка у него была милая, ясная, как у ребенка.

— Прекрасно, Розали, — сказал он. — Благодарю вас. Вы можете идти. — И когда женщина, все еще ворча, собралась и ушла, улыбнулся нам. — Вы должны ее извинить, товарищи. Мы не пользуемся правами музея, квартира снята на мое имя, стоит кому-нибудь из жильцов пожаловаться, что сюда ходит слишком много людей, и у меня начинаются неприятности. Я могу принимать посетителей только в дневные часы и только по звонку из ЦК. Но, разумеется, для москвичей я сделаю исключение.

Мы забормотали извинения. Наш хозяин улыбнулся.

— Пустяки. Откуда вам знать наши заботы? Приходится соблюдать осторожность. У нас есть свои фашисты, и за последнее время они очень распоясались. Звонят по телефону, грозят, ругаются. Недавно два молодчика ворвались сюда и испортили стенд, к счастью, это были только фотокопии... Будем знакомы. Меня вы можете звать товарищ Антуан.

Несмотря на раннюю седину, товарищ Антуан показался мне человеком примерно моих лет, а живостью заметно меня превосходил. Я назвал себя и представил Пашу, после чего товарищ Антуан с дружеской фамильярностью обнял нас за плечи и протолкнул в довольно большую, но узкую комнату. В комнате не было ничего, кроме стендов и расставленных вдоль стен тонконогих застекленных музейных витрин. Пол был ярко начищен и блеснул.

— Товарищ Ленин, — начал товарищ Антуан, подведя нас к первому стенду, — переехал из Женевы в Париж в декабре тысяча девятьсот восьмого года. Сначала он остановился у своей сестры Марии Ильиничны, жившей на бульваре Сен-Марсель, затем перебрался на улицу Бонье и наконец шестого июля тысяча девятьсот девятого года прочно обосновался здесь, в доме четыре по улице Мари-Роз. Здесь он прожил три года. Квартира включает в себя рабочий кабинет Владимира Ильича, комнату Надежды Константиновны, комнату ее ма-

тери, где мы сейчас находимся, и кухню, где хозяйка квартиры обедали и даже принимали гостей...

Количество синснимов ограничено, и несомненно товарищ Антуан уже не раз почти слово в слово произносил все это, и все-таки я был тронут — интимностью интонации, тем, как он, чтоб сделать приятное нам, старательно выговаривал трудные русские отчества. Этот француз, никогда не видевший Ленина, говорил о нем как о добром знакомом, он обходился без громких эпитетов, которые от частого употребления превращают живого и обаятельного человека в величественную абстракцию, не сопоставимую с обычными людьми. Французский ум склонен к абстракции, но любить француз умеет только конкретное, соизмеримое с ним; человек, которого он любит и уважает, для него мой, наш, мон шер, мон вье, мон женераль, нотр Морис (это и о Шевалье и о Торезе). И даже богородица у него Нотр-Дам. В отличие от нас у французов некоторая фамильярность не убивает почтения. Быть может, потому, что товарищ Антуан привык разговаривать с иностранцами, не поспевающими за стремительным и неразборчивым парижским говором, мне почти не пришлось переводить — Успенский все понимал. Но когда темперамент пропагандиста увлек товарища Антуана в область философии и он заговорил о борьбе Ленина с эмпириокритицизмом, я увидел, что Паша не слушает. Сперва это заметил я, а за мной и товарищ Антуан, он замолчал и посмотрел вопросительно. Этого было достаточно, чтоб Успенский вышел из протрации, он улыбнулся товарищу Антуану и дружески похлопал по рукаву его серенького пиджака. Затем нагнулся ко мне.

— Объясни ему как-нибудь поделикатнее — пусть не рассказывает нам, кто такой Ленин. Пусть лучше покажет вещи, рукописи... — Лицо при этом у него было скорее смущенное, но со стороны могло показаться недовольным. Товарищ Антуан следил за нами с некоторой тревогой.

— Что говорит товарищ? — спросил он меня.

Я как можно мягче, чтоб не обидеть милого человека, передал общий смысл сказанного, добавив от себя, что товарищ Успенский восхищен эрудицией товарища Антуана, но вряд ли есть смысл рассказывать о школе в Лонжюмо человеку, который не только читал Ленина, но, будучи участником Десятого съезда, видел и слышал его. Услышав это, товарищ Антуан схватился за голову:

— Проклятие! Я говорю, в то время когда надо слушать! Вы его видели? Вы с ним говорили?

У него были такие сияющие глаза, что Паша заулыбался.

— Не хочу вас обманывать, — сказал он. — С Лениным я не говорил. Да и видеть-то его не близко. А то, что говорил он, вы, вероятно, знаете не хуже меня. Вот он, — Паша покосился на меня, — видел его гораздо ближе. И притом в Париже.

Этого, пожалуй, не следовало говорить. Товарищ Антуан с такой радостной надеждой впился в меня своими сияющими глазами, с такой знакомой нам жадностью исследователя приготовился слушать, что мне стало неловко. Я заставил себя улыбнуться.

— Должен вас разочаровать, — сказал я. — Мне было три года. Но мой отец несомненно видел и говорил.

Если товарищ Антуан и был разочарован, то только на секунду.

— Ваш отец? — Он забросал меня вопросами. Затем задумался.

— Мы только начинаем по-настоящему изучать парижское окружение Ленина. Приходится собирать по крупицам. Юдин, Антон Юдин?.. Я еще проверю по спискам, но вряд ли я мог забыть человека, которого зовут так же, как меня. Где, вы говорите, он жил? На

улице Бизе? В этом районе нет улицы Бизе, есть улица Безу. Это недалеко, если хотите, я вас туда проведу. Но не возлагайте особенных надежд, с тех пор как метро довели до Порт д'Орлеан, здесь стало выгодно строиться. Мы еще поговорим... А теперь,— он повернулся к Успенскому,— я должен вас разочаровать. Здесь нет ни одной вещи, принадлежавшей Ленину. Это печально, но правда превыше всего. И все-таки он здесь жил, ходил, думал, работал, встречался с людьми, и мы счастливы, что эта квартира принадлежит нам и сюда стекаются сведения о жизни и деятельности товарища Ленина в нашей стране. Мы существуем только год и еще только разворачиваем экспозицию, но уже сейчас можем рассказать вам кое-что такое, чего вы не прочтете в книгах. Пойдемте!

Заглянули в комнаты Ленина и Крупской, по сути дела это была одна комната, разделенная на спальню и кабинет. Пустота, но не запустенье, дверь на балкон приоткрыта, пол блестит, нигде ни пылинки. От чистоты и свежего воздуха — ощущение обжитости, обитаемости. Стоит какая-то нейтральная мебель — она и не притворяется подлинной, а только обозначает места: вот здесь он работал, а здесь отдыхал. Скупое, зато честное. Оттуда перешли в кухню, тоже тесную и тоже необыкновенно чистую, с бело-голубыми изразцами вокруг фаянсовой раковины. Слева от входа над простым столом я увидел неполированную деревянную полочку, наглухо приколоченную к выбеленной стене. На полочке лежало несколько папок.

— Вот эта полочка,— сказал товарищ Антуан,— единственная достоверная реликвия. Кухня изменилась меньше других комнат. Теперь состоятельные люди отделяют кухни по эскизам художников, двери туда открыты для всех. Но в то время принимать гостей на кухне могли только люди, для которых мещанские условности ничего не значат.

На кухне мы задержались. У товарища Антуана действительно было что рассказать. Он не только отлично знал деятельность Ленина в годы парижской эмиграции, но и быт, обиход, привычки, те мельчайшие детали облика великого человека, которые, нисколько не отнимая величия, подчеркивают его человечность. Успенский слушал молча, временами он медленно обводил глазами стены кухни и при этом щурился.

— Странно,— сказал он вдруг.— Не могу представить себе Ленина за картами.

— Почему? — удивился Антуан.— Он и в шахматы играл.

— Шахматы — это совсем другое. Как по-вашему, товарищ Антуан, Ленин был азартный человек?

Антуан посмотрел на меня с недоумением, и я понял почему. Паша сказал «*homme de hasard*». Русское слово «азарт» происходит от того же корня, что и французское «*hasard*» — случай. Азартные игры по-французски — *jeux de hasard*, то есть игры, основанные на случае. Но для того чтоб сказать «азартный человек», «азартный характер», нужны другие слова; «*homme de hasard*» значит «человек случая» или даже «случайный человек». С моей помощью недоразумение выяснилось, и товарищ Антуан опять засиял улыбкой.

— Ваша оговорка,— обратился он к Паше,— только углубляет заданный вами вопрос. Несомненно, Ленин был человеком страстным, увлекающимся. Спортсмен, охотник... Но это был человек великой цели, а такой человек никогда не вверяется случаю, им движет воля, а не азарт. Азартный человек лишь с виду похож на волевого, он воображает себя хозяином положения, в то время как он только игрушка в руках других людей. А что до карт,— товарищ Антуан радостно засмеялся,— товарищ Ленин любил играть и при этом, ска-

жу вам по секрету, частенько плутовал. Нарочно поддавался своей belle-mère¹⁷ — старушка очень огорчалась, проигрывая,— и делал это так ловко, что она никогда не замечала. Об этом есть достоверные свидетельства...

Успенский тоже улыбнулся, но ничего не сказал и в течение всего дальнейшего разговора вид имел задумчивый. Оживился он, только когда были произнесены имена Поля и Лауры Лафаргов. Узнав, что мы были на Пер-Лашез, товарищ Антуан полюбопытствовал, зашли ли мы на могилу Лафаргов. Я уже приготовился признаться за нас обоих, что не подумали об этом, но Паша молча кивнул и сразу же, чтоб перевести разговор, задал какой-то вопрос, какой — я не запомнил, так поразил меня этот торопливый кивок. Для меня до сих пор загадка — был ли Паша в то утро на могиле Лафаргов? Я решил спросить об этом Пашу, но когда мы остались вдвоем, раздумал. Инстинктивно я понял, что вопрос будет ему неприятен. Он вообще не любил расспросов. Если и бывал откровенен, то по своему почину.

О свидании Ленина и Крупской с четой Лафаргов в Дравейле, о самоубийстве Поля и Лауры Лафаргов и речи Ленина на их могиле товарищ Антуан рассказал очень живо, с подробностями, которых мы — я, во всяком случае,— не знали. К стыду своему, я не знал, что Лафарг был не только врач, но и ученый-физиолог, не знал, что выступлению Ленина на кладбище Пер-Лашез предшествовали две встречи с Жоресом — в кафе «Глория» и в редакции «Юманите». Товарищ Антуан рассказывал об этих встречах так, как будто сам при них присутствовал. Он даже слегка перевоплощался в собеседников — я услышал сквозь гул времен звонкий тенор Ильича и роко-чущий органный бас Жореса. Дар перевоплощения особенно присущ тем, кто любит и восхищается. У нас в Институте редкий аспирант, передавая свой разговор с Успенским, не умел хотя бы намеком изобразить короткую судорогу, иногда пробежавшую по его лицу, его слегка синкопирующую речь с обаятельными запинками, не от скованности, а, наоборот, от полной свободы, Паша не любил заготовок, а как бы размышлял вслух. Эта манера сохранилась у него и в те годы, когда у меня были серьезные основания предполагать, что он говорит не совсем так, как думает.

Успенский сидел у стола, опустив голову, но слушал очень внимательно. Затем качнулся ко мне:

— Спроси его как-нибудь потолковее, у меня не получится: не было ли у Лафарга других причин для самоубийства, кроме надвигающейся старости? Или вернее сказать — она была главная? Ты понял меня? — И пока я переводил вопрос, смотрел не на меня, а на товарища Антуана очень пристально, как бы подпирая меня взглядом.

Товарищ Антуан задумался.

— Самоубийства редко имеют одну причину,— сказал он наконец.— Чаще всего их несколько, и достаточно выпасть одной, чтоб оно не состоялось. У Лафарга решение не жить дольше семидесяти лет было давно выношенным решением. Он любил жизнь и потому боялся не смерти, а беспомощности и деградации. Других причин я не знаю. Во всяком случае, совесть у него была чиста.

— Ему было ровно семьдесят?

— Да.

— Но жена, Лаура... Она была моложе.

— Ненамного.

— Последний вопрос. Владимир Ильич...— Успенский запнулся, ища точного слова, но так и не нашел.— Он осудил Лафаргов?

¹⁷ Теща.

Паша сказал «avait condamné». Condamner — приговаривать. Вероятно, надо было сказать avait blâmé, avait désapprouvé. Но товарищ Антуан понял.

— Нет,— сказал он.— Товарищ Ленин был глубоко опечален их смертью. Нет, он не осуждал.

Паша решительно поднялся.

— Спасибо, товарищ Антуан. стыдно отнимать у вас столько времени, но вы еще обещали помочь моему другу.

Товарищ Антуан ответил не сразу. Он соображал.

— Это ваша машина стоит там, внизу?

— Да.

— Пойдемте.

Мы спустились по лестнице и вышли на улицу Мари-Роз. Уже заметно стемнело. В вишневом «ягуаре» под звуки джаза томился матадор Роже.

Меньше чем за четверть часа мы объехали десяток соседних улиц, застроенных однообразными домами. Несколько раз мы останавливались и выходили из машины, а улицу Безу прошли пешком, и, пока мы шли, меня не оставляло чувство неловкости. Я ничего не узнавал. То ли я не жил на этой улице, то ли от нее осталось одно название. Я уже начал что-то виновато блеять, но товарищ Антуан заставил меня замолчать.

— Не спешите. Сделаем еще одну последнюю попытку.— Он сел рядом с Роже и скомандовал: — Монсури.

Через несколько минут машина затормозила у ворот парка. Мы вошли в ворота и двинулись вглубь по широкой аллее. Уже темнело, и гуляющих было немного, несколько старух с собачонками и голенастых школяров, размахивавших легкими портфельчиками. Все они направлялись к выходу, и я понял, что мы попали к самому закрытию парка.

С первых шагов я разволновался. Волнение было поначалу безотчетным. Широкая аллея пролегла вдоль берега большого овального пруда, и дойдя до середины аллеи, я уже твердо знал, что бывал здесь, не видел на картинке, а был сам, пусть во сне, в бреду, но был. Сны я вижу редко, запоминаю еще реже и за всю свою жизнь не видел ни одного сна в цвете. Но цвета не было и здесь, он только угадывался, сгустившиеся сумерки притушили зелень, живопись померкла, выступила графика. Чернели, как будто прочерченные жидкой тушью, стволы и почти параллельные земле толстые ветви каких-то не похожих на наши скромные сосенки хвойных аристократов. Справа тускло поблескивала темная, как старинное металлическое зеркало, поверхность пруда, на противоположном берегу виднелась намеченная тончайшими вертикальными штрихами, ниспадающая до самой воды текучая листва прибрежных ив, и, наконец, на самом дальнем плане белели хрупкие колонны какого-то увенчанного куполом замка в мавританском стиле. Великолепная декорация, где даже деревья произрастают по эскизам художника, прелестный городской парк, разбитый с присущим французским мастерам умением делать малое масштабным, а просторное обозримым.

Я остановился и с минуту простоял в оцепенении, мучительно пытаясь восстановить в памяти ускользающую картину. В одном я не сомневался: я здесь бывал, и не один, а много раз. Ошибиться в этом было так же невозможно, как невозможно спутать свое полустертое четырьмя бурными десятилетиями потрясение от «Сказки о царе Салтане» в Большом театре с купленным мною в прошлом году комплектом долгоиграющих пластинок. Мои спутники тоже остановились. Я не смотрел на них, но понимал, что они следят за мной. Наверно,

я походил на медиума. От меня чего-то ждали, и от этого я чувствовал себя особенно неловко.

— Et les cygnes? — пробормотал я, беспомощно оглядываясь на товарища Антуана. — Здесь должны быть лебеди...

Конечно, я был смешон. Но товарищ Антуан не смеялся. Он сиял.

— Eh bien, eh bien, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Вспоминайте, вспоминайте. Правильно, лебеди. Не хочу вам подсказывать, но вы на верном пути...

Чтобы вытащить искомый факт из архивов памяти и перевести его в действующий оперативный фонд, нужно было выстроить длинную логическую цепочку, а она не выстраивалась, не хватало слишком многих звеньев. Оставалось пассивно впитывать окружающее в надежде, что неизвестным мне путем, минуя все промежуточные этапы, в моем мозгу вспыхнет размытое и погребенное под позднейшими наслоениями, почти исчезнувшее изображение. «Лебеди, лебеди, здесь должны быть лебеди...» Откуда я это взял? Понятно, почему их нет сейчас — поздно, но ведь и я никогда не бывал здесь в это время, в это время дети спят, было же солнце...

И вдруг вспыхнуло...

Я стою на берегу. Все то же — зеркальная гладь озера, склоненные над водой нерусские ивы, игрушечный замок вдали, но небо ярко-синее, трава зеленая, листва серебрится, а озеро, залитое солнечным светом, искрится так, что больно глазам. Мои ноги в белых носочках и желтых кожаных сандалиях стоят на серо-голубых торцах аллеи, от озера меня отделяет низенькая ограда из воткнутых в землю проволочных полукружий и засеянная газоном отлогая прибрежная полоса. Туда нельзя. У ограды толпятся люди: грузные седовласые французские бабушки в черных наколках и тяжелых юбках до пят, усатые мсье в котелках и верткие беспokoйные парижские детишки, здесь есть и русские, но по-русски они говорят дома, звучит только быстрая и картавая французская речь. Они бросают в воду куски хлеба, и подплывающие вплотную к суше огромные, похожие на сказочные корабли белые птицы не торопясь хватают эти куски, важно изгибая сильные шеи. Я мал, мне плохо видно, я рвусь вперед, меня удерживает сильная рука отца. Я сержусь, и он наконец понимает: меня надо поднять и посадить на плечо. Сверху мне хорошо видно, но от этого еще больше хочется быть там, внизу, и самому кормить лебедей. Я начинаю ерзать и болтать ногами, кончается это тем, что рассерженный отец ссаживает меня на землю, я с неожиданным проворством пролезаю между юбками, переваливаюсь через проволочную ограду и падаю на траву. Кто-то пытается меня схватить, я вырываюсь и неудержимо бегу к воде, начинается переполох, кто-то большой и сильный перехватывает меня у самой кромки, я взлетаю как на качелях, описываю дугу и вновь оказываюсь на руках у отца. Кругом хохочут, отец почему-то не сердится, а смеется вместе со всеми, а я горько плачу. Мое самолюбие уязвлено.

— Владимир Ильич, — говорит товарищ Антуан голосом диктора за кадром, — любил Монсури и в свободное время бывал здесь. Здесь он встречался с товарищами из революционной эмиграции. В парке Монсури Ленин всегда был окружен детьми...

И, может быть, потому, что эти заученные фразы экскурсовода предназначены мне одному, они звучат покоряюще интимно и рожают новую вспышку.

Все то же и все там же. Я стою на каменных торцах аллеи рядом с отцом. Отец невнимательно придерживает меня левой рукой, он занят разговором с мсье, с которым у меня давние счеты. Я не знаю, кто он такой, знаю только, что он вечно окружен мальчишка-

ми, они выются вокруг него и ласться к нему, хотя он не кормит их конфетами и не показывает фокусов. На меня он ни разу не обратил внимания, вероятно потому, что я слишком мал, и я могу только завидовать и ревновать. Он говорит с моим отцом по-русски, но с французской живостью, он смеется и жестикулирует и, как всегда, не обращает на меня ни малейшего внимания. Я настойчиво дергаю отца за палец в знак того, что мне надоело стоять, я хочу домой, а может быть, мне надо куда-то еще, но отец увлечен разговором, он рассеянно поглаживает мне волосы, и я сержусь на отца, обычно такого внимательного, и еще больше на незнакомца. Вероятно, я издаю какой-то боевой клич, потому что отец и тот, другой, как по команде обрывают свой разговор, отец дергает меня за руку, а тот, другой, с высоты своего огромного роста нагибается ко мне, я сердито мотаю головой, тогда он ловко присаживается на корточки, и я вижу его лицо совсем близко и так ясно, что мог бы теперь, через сорок пять лет, нарисовать его по памяти — большой, высокий, но не лысый лоб, узковатые, очень веселые и настойчивые глаза, от которых никуда не спрячешься, лицо скорее продолговатое, очень чистое, без единой морщинки, пересеченное довольно широкой полоской рыжеватых, слегка загибающихся книзу усов, не профессорская щеточка, как у моего отца, а победительные усы воина, такой взгляд и такие усы я видел впоследствии на старинных портретах, изображавших героев двенадцатого года, прекрасные лица, сочетающие в себе покой, доброту и необходимый вызов. Незнакомец смотрел на меня хитровато и дружелюбно, мне предлагался почетный мир, надо только протянуть руку и сказать, как меня зовут, но из упрямства я какое-то время всеми силами сопротивляюсь влиянию этого человека, морщусь нос и даже жмурю глаза, но, конечно, не выдерживаю завораживающего взгляда и расплываюсь в счастливой улыбке.

Вслед за озарением оторопь. Неужели?

Огромный рост? Отец тоже казался мне большим, а он был моего роста. Не похож? Да, не похож на тот привычный, навсегда врезавшийся в наше сознание, тысячекратно повторенный в бронзовых памятниках и гипсовых бюстах, туркменских коврах и палехских шкатулках, орденах и значках, плакатах и пригласительных билетах, денежных знаках и почтовых марках внешний облик. Но в то время он и не был похож. И уж наверно не был похож на почтенного лауреата, приезжавшего к нам в Институт на такси, не снимая розового парика и рыжеватой бородки. Он играл в праздничном концерте сцену из пьесы известного драматурга вместе с другим артистом, тоже народным и лауреатом, ловко грассировал, часто запуская большие пальцы за проймы жилета и во всем соглашался со своим энергичным собеседником. Я сидел в первом ряду рядом с Успенским и боковым зрением видел его окаменевшую щеку — она у него каменила всегда, когда он был недоволен, но почему-либо не хотел, чтоб это видели.

Не знаю, сколько времени я простоял, погруженный в себя. Специалисты утверждают, что самый остросюжетный сон протекает в мозгу за доли секунды. Если это верно для сновидений, то должно быть верно и для озарений. Я обернулся к своим спутникам, тревожно ожидая какого-нибудь шутливого замечания, но Успенский смотрел на меня сочувственно, а товарищ Ангуан сиял.

— Держу пари, вы бывали здесь...

Я молча кивнул и продолжал рассматривать почерневшее зеркало пруда и лохматые ивы. Я больше не напрягал свою память, да и не смог бы, если б захотел. Просто не хотелось уходить.

Пробежали, хихикая, две юные парочки, вслед за ними шагал

рослый страж в круглой каскетке с твердым козырьком, какие во Франции носят все люди мужественных профессий — от маршалов до сторожей. Страж шел не торопясь, широко раскинув длинные руки, мягко, но неумолимо сгребая к выходу последних посетителей. Подойдя к нам, он поздоровался с Антуаном.

— Эти господа ваши гости?

— Это товарищи.

— Всё равно, я должен закрывать. Сегодня мы и так запираем позже обычного.

Успенский полез было в карман. Товарищ Антуан чуть заметно покачал головой.

— Пять минут, старина,— сказал он.— Люди приехали издалека.

Я взглянул на лицо сторожа и восхитился. Это был настоящий старый гренадер. Высокие скулы и впалые щеки, обтянутые дубленой кожей, густые брови, нависающие над зоркими глазами стрелка, и бурые с проседью усы. Я видел, что он уже готов сдаться, но эти лишние минуты уже ничего не могли мне дать. И я первым двинулся к выходу.

За воротами стоял наш «ягуар» с включенными фарами, возле него околачивался совершенно истомившийся матадор. Паша взглянул на него и засмеялся.

— По-моему, у парня срывается любовное свидание. Пусть довезет нас до ближайшего метро и адъё ко всем чертям.

На Мари-Роз мы дружески распрощались с товарищем Антуаном, а еще через несколько минут у пахнущего сыростью спуска в метро «Алезия» расстались с матадором Роже, который заметно повеселел, узнав, что он свободен. Как я потом узнал, у него был приказ возить нас, если понадобится, до самого утра.

Час пик давно кончился, и на перроне и в подошедшем поезде было совсем немного народа. Вагон посередине, почти пустой и чуть-чуть ярче освещенный, чем другие, гостеприимно разверз свои двери, я сунулся было туда, но Успенский, смеясь, ухватил меня за локоть.

— Это первый класс,— разъяснил он, когда мы уселись в соседнем вагоне и поезд тронулся.— А мы заплатили за второй. Не знаю, откликнется ли буржуазная печать на мою завтрашнюю речь, но если контроль обнаружит, что два московских профессора едут зайцами в парижском метро, то штрафа с нас, может быть, и не возьмут, зато карикатура во «Франс суар» нам обеспечена.

Я сказал, что не вижу особенной разницы между первым и вторым классом. Паша улыбнулся.

— Там всегда свободнее, даже в часы пик. Когда французский буржуа едет в метро, а ездить ему приходится, потому что во многих случаях это удобнее и быстрее, он хочет сохранять дистанцию. Сегодня ты пил водичку в деловом клубе на Елисейских полях. Эта бутылочка стоила впятеро дороже, чем точно такая же в любом бистро. Люди, платящие втридорога за квартиру по соседству с Триумфальной аркой, не всегда живут спокойнее и удобнее, чем жители менее шикарных районов, но зато на их визитной карточке стоит цифра «17». 17-й арандисман — это звучит. В универмагах можно купить вполне добротные вещи, ничуть не хуже, чем в роскошных магазинах, но толкаться в универмагах буржуа не позволяет престиж, надо, чтоб и этикетка и упаковка соответствовали его месту в обществе и его мнению о себе. А впрочем,— он засмеялся и подмигнул,— мы напрасно грешим на французского буржуа, жажда привилегий — черта, увы, общечеловеческая. Ее можно наблюдать у людей, никогда не живших при буржуазном строе.

— И даже боровшихся против него,— сказал я.

Паша посмотрел на меня остро:

— Это обо мне?

— Ты как раз неудачный пример.

— Почему?

— И ты и мой бывший тесть замешаны на хороших демократических дрожжах.

— И временами эти дрожжи дают пузыри? Спасибо. Но имей в виду — ощущение своей привилегированности порождается не только деньгами или близостью к власти. У интеллектуалов его тоже хватает. Только проявляется оно стыдливее, чем у буржуа, который хочет жить фешенебельно. Кстати, где сейчас Алешка?

— Не знаю.

— Что так? Вы же были друзья?

Я промолчал. Что я мог ответить?

— Ты понял, почему я о нем вспомнил?

— Конечно. Это было его любимое слово. Помнишь, как он говорил: «Фе(ха!)шенебельно, черт побери!».

— Тише ты, на тебя оглядываются... Да, любимое. И самое к нему неподходящее. Я много раз пытался повлиять на его внешность и манеры, но без всякого успеха. Для работы в Институте он не очень подходил, но по-человечески мне его очень не хватает.

— Это не помещало тебе уволить его.

Разговор в парижском метро явно принимал опасный характер, но меня это даже радовало. Я устал от недомолвок. Успенский отозвался вяло:

— Никто его не увольнял.

— Как это так?

— Вот так. Алексей сам подал заявление.— Паша улыбнулся одними губами.— Знаю, что ты хочешь сказать. Нет, его никто не заставлял. На другой день после увольнения Славина он пришел ко мне и подал.

— Это что же, в знак протеста?

— Как будто нет. В заявлении вообще не было мотивов. А мне он сказал, что не создан для научно-исследовательской работы и хочет переменить профессию.

— И это накануне защиты?

— Ну, не накануне, но близко к тому.

— Как можно было его отпустить!

Это вырвалось непроизвольно, без желания задеть, но Паша переменился в лице.

— Скажи, пожалуйста,— спросил он очень спокойно, но это было опасное спокойствие,— где ты был, когда я подписывал приказ об увольнении твоего друга и ученика Ильи Славина? Учти, вопрос не риторический, а деловой. В какой географической точке?

— Не помню.

— А я помню. Вы, ваше превосходительство, были в Хабаровске и что-то там инспектировали. А я был в Москве и хлебал все это... Я был одновременно молотом и наковальней. А ты приехал через месяц, узнал про наши дела и замкнулся в гордом молчании. Тогда ты мне не задавал вопросов.

— Я и сейчас не задаю.

— Ну так... восклицаешь. Будь справедлив и вспомни то время, газетные статьи, свистопляску вокруг нашего Института и признай — мы еще дешево отделались. Подумай, мог я удерживать Алешку, когда от меня требовали решительного освежения научных кадров, другими словами увольнений и увольнений... Тут уж приходилось

стоять насмерть. Тебе повезло, твои руки чище моих, но я никогда не убегал от ответственности и не бегу сейчас. Ну-ка скажи мне по чести. Почему ты заговорил об Алешке, а не об Илье?

Я не сразу нашелся ответить. Успенский сердито хмыкнул.

— То-то и оно. Уговорил себя, что позиция Ильи была незащитима, что Илья неправильно себя вел, и это меня в какой-то мере оправдывает. А оправдав меня, попутно оправдал себя. Так?

— Не знаю. Может быть.

— Конечно, не зная удобнее. А я считаю, что Шутова было отпустить можно, Алешка — добрая душа, но никакой экспериментатор, а вот выгонять Славина при всех его ошибках, действительных и мнимых, было преступлением. Преступлением прежде всего перед наукой, потому что он талантлив, а талант всегда ищет и, следовательно, не может не ошибаться.

— Ты это понимал и тогда?

— Глухо. Только когда приходило протрезвление. — Он посмотрел на меня и усмехнулся. — Не понимай слишком буквально. У каждого свой способ обретать трезвый взгляд на вещи.

— Тогда почему же ты...

— Что «почему»? Почему я не разыскиваю его, чтоб вернуть в Институт, устроить ему защиту и успокоить свою совесть? Это не так просто, как тебе кажется. Что сделано, то сделано, осуждать проще, чем переделать. Большинство процессов, происходящих в сложных организациях, в том числе и общественных, необратимы, паровоз истории не имеет заднего хода. На освободившиеся места приходят новые люди, и они не хотят их уступать. Многие ученые мужи приложили руку к тому, чтоб не допустить Илью до защиты; по какой бы причине они это ни сделали — из трусости, недоброжелательности или даже по некомпетентности, — в этом очень трудно сознаться. Страсти еще не улеглись. Это ведь только твоему другу Сергею Николаевичу кажется, что все проблемы уже решены... Ну ладно, хватит, по-моему, тип в зеленых очках, что так внимательно смотрит в окно, понимает по-русски.

Я тоже посмотрел в окно, поезд замедлил ход, мелькнула железная калитка и синяя стрелка с белыми буквами «Correspondance»¹⁸, автоматы с жевательной резинкой и карамелью и задумчивая девица в кружевном лифчике... Пассажиры потянулись к двери вагона, здесь выходили многие. Паша не шелохнулся.

— «Денфер-Рошро», — сказал он. — Можно пересесть и здесь, но лучше на «Шатле».

Затем вплоть до «Шатле» мы не сказали ни слова. Я не умею читать в душах, но не сомневаюсь, что наши мысли витали где-то поблизости, его на улице Мари-Роз, мои в парке Монсури. И, вероятно, его мысли были так же смутны, как мои. По мере приближения к центру города вагон наполнялся, и временами я отвлекался, чтоб по старой привычке рассматривать пассажиров, но без большого успеха, я слишком мало знаю современных французов, чтоб уверенно определять профессию, физиологический тип и даже возраст. Лишнее доказательство того, как тесно переплетены физиологические и социальные критерии.

Я приготовился к выходу на «Шатле», но Успенский опять не пошевелился.

— Сиди, — сказал он с коварной улыбкой. — Слушайся старших.

Тон был безапелляционный, и я подчинился. На следующей оста-

¹⁸ Пересадка.

новке Паша вскочил, ухватил меня за локоть и почти вытолкнул на перрон. Я едва разглядел название станции: «Halles».

Мы вышли на слабо освещенную городскую площадь. Рядом с выходом из метро высились угрюмые, в черных потеках, с узкими, как крепостные бойницы, окошками стены старинной церкви. Площадь, прямоугольная, почти квадратная, была безлюдна. Часть площади занимало огромное сооружение, чем-то напоминавшее ангар, за грубой железной решеткой мелькали огни и двигались человеческие тени. Пахло бензином и еще чем-то кухонным. На совершенно черном небе горели яркие звезды.

— Куда ты меня приволок? — спросил я отвратительно сварливым голосом. — Я устал и хочу домой.

Я не так уж устал, но мне хотелось побыть одному и начинала сердить обаятельная бесцеремонность патрона. Но Успенский как будто не заметил тона.

— Если тебя интересует, где мы находимся, могу ответить совершенно точно — мы в чреве.

— В «Чреве Парижа»?

— Сразу видно образованного человека. Сознайся, ты представлял себе его несколько иначе. Но это потому, что мы забрались сюда слишком рано. Спектакль еще не начался.

Насчет спектакля было сказано очень точно. У меня все время было ощущение, что я нахожусь на еле освещенной служебными огнями театральной сцене, где готовится какая-то костюмная пьеса. Часть декораций уже поставлена, другая часть — явно из другой пьесы — еще не убрана. Быть в Париже и не побывать на Центральном рынке! Мое сопротивление гасло, но я еще ворчал:

— Я есть хочу!

— Я тоже. За этим сюда и ездят. Сейчас мы с тобой будем есть всесветно знаменитый луковый суп. Надо только узнать, какое из этих заведений открывается раньше. Пойдем-ка...

Мы прошли по площади. По пути нам встретился рослый полицейский в каскетке и кокетливой пелерине на плечах, но Паша к нему не обратился, а уверенно направился к похожему на ангар железному сооружению. Это были мясные ряды. Сквозь кованые прутья ограды я увидел влажные бетонные плиты и длинные ряды железных стоек с крючками, часть крючьев пустовала в ожидании товара, на других тесно, как в театральной гардеробе, висели сотни освеженных бычьих и бараньих туш, между рядами неспешно бродили люди в фартуках, они курили и смеялись. Я не решился переступить черту, отделявшую ряды от площади, почему-то я был уверен, что нас без всяких церемоний попросят о выходе, но Успенский знал местные нравы лучше, через минуту он уже угощал сигаретой смуглого красавца с фигурой несколько отяжелевшего борца, рукава его красной трикотажной рубашки были засучены и открывали волосатые руки, как будто созданные, чтобы ломать подковы. Выслушав Пашу, он понимающе кивнул и, оглянувшись, щелкнул пальцами. Подошел развалистой походкой парень в матросской тельняшке, за ним маленький быстрый араб, и все трое начали совещаться. Через минуту Паша вышел ко мне.

— Хорошие ребята, — сказал он. — Рекомендуют какого-то дядюшку Баяра. Пошли, я умираю от голода. И от жажды тоже.

Заведение дядюшки Баяра помещалось за мясными рядами, в одном из окружавших рынок обшарпанных домов и на фешенебельность не претендовало. Мы поднялись по грязноватой лестнице на второй этаж и попали в тускло освещенное помещение, состоявшее из двух составлявших прямой угол длинных комнат, в первой, выхо-

дядеши окнами на площадь, стояло шесть грубо сколоченных столов без скатертей, во второй, предназначенной, по-видимому, для заведателя, — два. Столы были большие, человек на двенадцать каждый, на голых, но чисто вымытых столешницах стояли глиняные солонки и бумажные салфетки в пластмассовых стаканчиках. Мы присели за одним из столов в первом зале и довольно долго сидели одни во всей харчевне, вдыхая доносившиеся откуда-то со стороны лестницы кухонные запахи и поминутно оглядываясь в ожидании гарсона. Наконец откуда-то из кухонных глубин возник, вытирая руки о салфетку, краснолицый старикан в детской распашонке, прикрывавшей круглый живот. Вид у него был несколько озадаченный, мы не подходили ни под одну из привычных категорий. Он поклонился и объявил: суп еще не готов, но если господам угодно, можно подать напитки и сэндвичи. Нам было угодно.

В ожидании супа мы немножко перекусили. Мне не хотелось разговаривать, Успенский тоже почти все время молчал. Может быть, думал о своем, а вернее, не хотел мешать мне. Чуткость его была поразительна, никто так безошибочно не угадывал настроение собеседника; качество, впрочем, обоюдоострое, когда он хотел уколоть, он столь же безошибочно выбирал наименее защищенное место.

Примерно через четверть часа вновь появился дядюшка с закопченными горшочками на деревянном подносе, и одновременно, как бы проведая, что суп готов, ввалилась, стуча ногами, большая компания, предводительствуемая смуглым красавцем из мясных рядов. Вошедшие шумно приветствовали хозяина, предводитель помахал нам рукой, и вся компания устремилась в тупичок, откуда они не были нам видны, но слышны отлично, еще не выпив ни рюмки, они уже хохотали и галдели так, как мы, северяне, шумим, только хорошенько хвативши.

Мы принялись за суп — великолепное варево, щедро заправленное тягучей массой расплавленного острого сыра. Мы еще хлебали этот суп, когда появился дядюшка Баяр с подносом. На подносе стояли две бутылки красного вина. Я не сразу понял, откуда на нас свалились эти дары, а сообразив, рассердился. Это было ни к чему и уж очень по-кавказски. Но у Паши заблестели глаза.

— А что ты думаешь? — сказал он, разливая вино по стаканам. — Луковый суп в Париже и хаши в Тбилиси — явления одного порядка. И едят их одни и те же люди — работяги, чтоб подзаправиться, и гуляки, чтоб опохмелиться. Только хашные открываются позже — часу в пятом утра...

Мы чокнулись, и я пригубил. Пить мне не хотелось.

— Будь здоров, Леша, — сказал Паша, вздыхая. — Хороший ты мужик, только...

— Только отчаянности в тебе нету, — подсказал я.

— Что? — Паша удивленно вскинулся, но тут же вспомнил, откуда это, и захохотал. — Ну и тип этот Граня! Ты заметил, как естественно такой вот упырь, когда ему пообрежут крылья, превращается в холуя? А ну его к дьяволу, я не то хотел сказать. Уж очень ты того... закрытый.

— А ты?

— Я — лицо руководящее. Ноблес облич. И то... А ты вот даже не пьешь. — Он сердито ткнул пальцем в мой стакан. — Знаешь что, пойдуча я чокнусь с тем парнем в красной фуфайке. Надо соблюдать политес. — Он взял свой стакан и скрылся за занавеской. Судя по приветственному гулу, он сделал именно то, чего от него ждали.

Мне даже хотелось побыть несколько минут одному, но Успенский не возвращался, и я почувствовал себя неловко. Зал постепенно

заполнялся, пришла большая компания волосатых юнцов со своими девицами, затем десятка полтора рабочих в резиновых сапогах, и дядюшка Баяр, суетившийся между столами, все чаще поглядывал в мою сторону — посадить ко мне незнакомых людей он не решался. А Успенский все не шел и не шел, и по доносившимся до меня громким голосам и взрывам смеха я уже понимал, что он ввязался в дискуссию. В полемике, научной или политической, он не знал удержу, и я предвидел, что выгнать его будет трудно. Я еще колебался, когда из-за занавески выглянул маленький араб, он делал мне призывные жесты и умоляющие гримасы. Я взял свой стакан и пошел. Меня встретили приветливо, кто-то подставил табуретку, кто-то отобрал стакан и долил до краев, все это не отрываясь от веселой перепалки между Успенским и смуглым красавцем в красной фуфайке. На них с любопытством посматривала расположившаяся за соседним столом компания богатых туристов. О том, что это были именно богатые туристы, я догадался не по одежде, скорее небрежной, чем богатой, а по хозяйской самоуверенности и по тому, как суетился вокруг них дядюшка Баяр. Я думал, что Паша зовет меня на подмогу хотя бы как переводчика, и ошибся — он отлично управлялся сам и даже ухитрялся острить. Его понимали, и я лишний раз убедился в способности моего учителя покорять самых разных людей. Паша представил меня как участника Великой войны, генерала, награжденного многими боевыми орденами (о том, что я не водил полки в бой, он, конечно, умолчал), все глаза обратились ко мне, дядюшке Баяру было приказано принести новые бутылки, и мне пришлось выпить полный стакан. Затем вся компания разом поднялась, чтоб идти на работу, а мы с Пашей вернулись за свой стол. Ресторанчик был уже полон и гудел, но к нам никого не посадили, а через минуту подошел дядюшка Баяр со своим деревянным подносом. На подносе лежала визитная карточка — мистер Дж. Э. Траубетнот из штата Южная Каролина желал познакомиться с русским конгрессменом и приглашал его за свой стол. Успенский внимательно выслушал дядюшку, улыбнулся на «конгрессмена», но тут же его лицо отвердело.

— Леша, объясни ему: если мистер, как его там, из Южной Каролины хочет познакомиться с нами (он подчеркнул «с нами»), пусть подойдет к нашему столу.

Я перевел Пашины слова в точности, и несколько смущенный дядюшка отправился выполнять поручение. Не прошло и минуты, как из-за занавески появился крупный рыжеватый блондин примерно моих лет и, с трудом подбирая французские слова, повторил свое приглашение. Успенский отвечал ему по-английски. Сперва он представил американцу меня, затем предложил присесть. А еще через несколько минут мы сидели за нашим столом уже восьмером. Американец оказался плантатором, королем хлопка, звали его Джо, его жену Мэг, ее подругу Клэр, остальных тоже как-то очень коротко. Джо поманил было дядюшку Баяра, но Паша немедленно его осадил:

— Простите, за моим столом заказываю только я. Вы мои гости. Что вам угодно, господа?

Он заказал вина — слишком много, на мой взгляд. Вызванная дядюшкой на подмогу тощая девица перенесла со стола американцев початые бутылки, у мужчин оказались в задних карманах брюк плоские флажки, и я забеспокоился. Паша любил всякое застолье, к тем, кого он считал своими, проникался мгновенной симпатией, к чужим — любопытством. Вероятно, нечто подобное было в характере мистера Траубетнота из Южной Каролины, ему хотелось посмотреть вблизи на живого русского большевика, вряд ли он рискнул бы кутить с ним в бродвейском ресторане, но харчевня на Центральном

рынке — совсем другое дело, здесь мы были такой же экзотикой, как луковый суп с сыром. Я тоже любопытен и, несмотря на усталость, был не против провести часок в этой необычной компании. Рядом со мной сидела хорошенькая Клэр, и мы с ней очень приятно болтали о теннисе и предстоящем конкурсе пианистов, и о том и о другом она судила со знанием дела. Успенский был весел и не задирался, Джо тоже был настроен дружелюбно, беспокоило меня другое. Назревал загул. На столе появилось настоящее спиртное, и я понимал, что плоскими флягами дело не ограничится. Я знал также, что при мне и даже без меня с Пашей ничего не случится, пить он умел, опасность была в другом: начав, он уже не мог остановиться, а завтра надо было выступать, и к выступлению он даже не начинал готовиться. Я пытался уговорить его не налегать на виски, Паша хмуро кивал, но уже не мог отстать от американцев, лихо хлопавших стопку за стопкой, на столе появилась кем-то (вероятно, все-таки Пашей) заказанная литровая бутылка «Джимми Уокера», неизвестно откуда возник худой морщинистый гитарист, он затянул песенку, и через минуту все сидевшие за столами, включая наш, положив руки на плечи соседей, раскачивались в такт, некоторые подпевали. Из всей нашей компании, вероятно, я один хорошо разбирал слова, и меня забавляло, что Джо так радостно раскачивается в такт песенки, не сулившей толстосумам ничего доброго. Приблизился час, когда перестает работать метро, я раза два мигал Успенскому, показывая ему на часы и наконец, отозвав его в сторону, прямо спросил — не довольно ли? Паша посмотрел на меня неприязненно:

— Хочешь уходить? Уходи. Мне сегодня не нужны ни переводчики, ни надзиратели.

Прямо скажем, это было крайне неудачно. У меня хватило самообладания не торопясь расплатиться с дядюшкой Баяром, откланяться и не сломать себе ногу на крутой и скользкой лестнице. Выйдя на рыночную площадь, я был еще взбешен и не сразу заметил, как она преобразилась. Стало теснее, светлее и шумнее, ночную черноту разрезали желтоватые лучи автомобильных фар, визжали тормоза, хлопали откидные борта грузовиков и фургончиков. Площадь погромыхивала, позванивала, перекликалась на разные голоса. Съезд только начинался, но, проходя между грузовиками и павильончиками, я уже видел горы ранних овощей: уложенные в плоские ящики нежно-зеленые артишоки и отливающую янтарной желтизной спаржу, оранжевую морковь, тугие кочаны цветной капусты, кудрявые савойской, похожие на полураскрывшиеся бутоны кочешки брюссельской, штабеля продолговатых сетчатых мешков с отборной картошкой, она просвечивала сквозь черный капрон, как бархатистая кожа мулатки сквозь ажурный чулок. В рыбном ряду я проходил мимо бесчисленных бочек, чанов, банок и ведер, где копошилась живая рыба, извивались угри и шевелили клешнями ракообразные, мимо деревянных ящиков с аккуратно выложенными и присыпанными снежком и битым льдом драгоценными шейками лангустов. Столкновение с природой, даже в виде ее рыночных даров, всегда умягчает мою душу — я успокоился. О том, чтобы вернуться, не могло быть и мысли, но злость моя утихла и меня уже точила тревога.

В метро было малоллюдно, перекрикивались через пути расположившиеся на перронных скамейках клошары — явление нам незнакомое, это не нищие и не безработные, а добровольные бродяги, отказавшиеся от утомительной борьбы за обеспеченное существование и живущие чем бог пошлет, то эпизодической работенкой, то подающим. С одним таким субъектом, веселым стариканом, я разговорился настолько, что пропустил поезд, а затем на коротком перегоне до

«Шатле» имел возможность обсудить моего клошара со своими соседями по вагону. Один пожилой и усатый мсье сказал, что эти клошары — неплохие ребята, среди них почти нет ворюг, и они обладают своеобразным чувством чести, другой мсье, тоже усатый и очень похожий на первого, проворчал, что самое лучшее было бы собрать этих клошаров и выслать в какую-нибудь Гвиану, пусть бы они там передохли, а я лишний раз убедился, сколь разнообразны мнения даже у внешне схожих людей.

Выйдя на «Этуаль», я понял, что все равно не засну, и забрел в третьеразрядную киношку рядом с нашим отелем, где показывали на редкость глупый и подлый фильм о Джеймсе Бонде, и досмотрел его до конца, испытывая нечто вроде клинического интереса. В отель я притащился, еле волоча ноги. Стеклопанельная дверь не была заперта и отозвалась на мое появление музыкальным звоном. За хозяйской конторкой сидел молодой негр и решал кроссворд. Он улыбнулся мне и спросил, есть ли в России большая река из пяти букв. Я взял свой ключ, на доске оставался еще один, и негр сказал, что для мсье из второго номера есть пакет, но сам он еще не возвращался.

XVIII. *Fluctuat nec mergitur*

Спал я плохо и проснулся рано. Позвонил на коммутатор и услышал голос хозяина. Прежде чем заказать *petit déjeuner* («Un café, s'il vous plaît») ¹⁹, я спросил, на месте ли ключ от второго номера. Хозяин ответил, что мсье из второго у себя, но вернулся поздно и просил не будить.

После душа и чашечки горячего кофе, которую принесла немолодая горничная («*Bonjour, monsieur, avait vous passé une bonne nuit?*») ²⁰, вялость прошла. Я растворил окно, высунулся, чтоб взглянуть на торчащий из-за деревьев уголок Триумфальной арки, затем поглядел на дом напротив и даже развеселился. Сверкавшее на утреннем солнце стекло вдруг погасло, и в прямоугольнике окна показалась все та же фигура. Она помахала мне рукой, и я ответил ей тем же.

После некоторого колебания я решил спуститься к Успенскому. Если спит — разбудить и напомнить, что он председательствует на утреннем заседании.

— Какого черта ты меня будишь? — сказал Паша. Дверь он открыл слишком быстро для человека спавшего.

Номер был двухкомнатный, обставленный старинной красной мебелью, на стене висел гравированный портрет Гейне в рамке, за честь жить в номере, где останавливался великий поэт, несомненно брали дорожку. Сквозь закрытые окна и задернутые шторы пробивался дневной свет и доносился шум улицы. Паша был в трусах и дневной рубашке, аккуратно сложенная пижама лежала на письменном столе. Покрутившись по комнате, он налил в стакан воду из графина и бросил туда белую таблетку величиной с пятак, отчего вода сразу зашипела и запузырилась.

— Я пойду лягу. — Тон был виноватый.

— Но ты помнишь?..

— Я все помню, — сказал Паша ворчливо. Он всячески давал понять, что не придает значения вчерашней размолвке, ему не хотелось углублять ссору, но виниться он тоже не хотел. — Все прекрасно помню. Пойми, я плохо себя чувствую.

¹⁹ Первый завтрак («Кофе, пожалуйста»).

²⁰ Доброе утро, сударь, как вам спалось?

— Тогда надо вызвать врача...

— Ни в коем случае. Запрещаю, слышишь? — Он делал героические усилия, чтоб это не прозвучало грубо. — Подумай сам, на кой леший мне здешние эскулапы, когда мы с тобой врачи. Лекарь-то я, положим, плохой, но зато хорошо знаю пациента. Единственное, что ему нужно, чтоб его оставили в покое.

— Мне-то ты можешь сказать, что с тобой?

— Сердчишко. Все это уже много раз было и пройдет. Бета наговорила мне в дорогу кучу лекарств. Кстати, Бете — ни слова. Обожди, я лягу, и мы поговорим. — Он вошел в спальню и, кряхтя, залез под одеяло, я сел рядом с кроватью. — Давай, Леша, рассуждать реально. Ни председательствовать, ни тем более выступать я сегодня не в состоянии. Вот видишь... — Он провел рукой по однодневной серебристой поросли на щеках, и я вспомнил, что за все время нашего знакомства ни разу не видел Успенского небритым. Седина в волосах его не старила, но небритость сразу набавляла лишний десяток лет. — Даже побриться не могу.

— Я тебе дам свою электрическую.

— Твоя электрическая годится только кофе молоть. От молодых усов бреюсь опасной. Сам точу, сам правлю. Не сочти за труд, прикрой шторы поплотнее, неохота глядеть на божий свет...

— Скажи честно: ты много выпил?

— Э, пустяки.

— Ну, что твои плантаторы?

— А кто их знает? Вроде детей не едят. — Он фыркнул. — Я им изменил с испанцами.

— Откуда ты взял испанцев?

— Зашли к дядюшке в шалман, и им не нашлось места. Они, собственно, не испанцы, а баски. Отличные ребята, но по-французски почти не говорят.

— Как же вы объяснялись?

— Так вот и объяснялись. Они почти не говорят, и я почти не говорю. Это облегчает понимание. Повели меня в какую-то трущобу, где живут их семьи. Угощали настоящей мансанильей, бутылка хранилась для чьей-то свадьбы, а для меня раскупорили — они еще помнят, как мы помогали им лупить фалангистов. Пели свои песни. Очень тоскуют по родине. И по бою быков — вот этой гадости я не понимаю.

— Я тоже. Как ты расстался с Джо?

— Прекрасно. Пригласил меня с семьей погостить у него в поместье. Написал на визитной карточке, как ближе проехать. Теперь все дело только за госдепартаментом. Однако вернемся к нашим баранам. Без моего председательства они как-нибудь обойдутся, но выступить кому-то необходимо. Так что говорить будешь ты. Говоришь ты хорошо, а тут еще будешь говорить без переводчика, это всегда производит впечатление.

Я молчал. Предложение было слишком неожиданным.

— Ну, что молчишь? — сказал Успенский, уже чуточку сердясь. — Отлично справишься. Вот что: возьми-ка там на столе листок бумаги и запиши, что непременно надо сказать...

Нет, нам решительно не везло. Начиная с прибытия поезда на Гар дю Нор, какой-то дьявол stalkивал нас лбами.

— А теперь слушай меня, — сказал я, стараясь быть очень спокойным. — Если ты хочешь, чтоб я излагал твои мысли, дай мне текст твоей речи, я его тщательным образом переведу и прочитаю на конференции. Но это будет твоя речь. Если же ты хочешь, чтоб выступал я, то шпаргалка мне не нужна.

Наступила опасная пауза. За ней мог последовать взрыв, и я приготовился к отпору. Но Паша улыбнулся.

— Ого! Я все еще по старой привычке разговариваю с тобой как с мальчиком. А мальчик-то, оказывается, вырос.— Он помолчал, губы его улыбались, глаза изучали.— Ладно. Будь по-твоему. Но не забывай — ты представитель великой державы...

— Не более, чем любой советский человек. Я доктор Юдин и не представляю даже Института. Быть может, я провалюсь, но у меня есть только один шанс на успех: если вся эта разноперая аудитория поверит, что человек, приехавший «оттуда», действительно размышляет вслух, а не толкает согласованный текст.

— Ну, смотри, смотри... Тебе виднее.

За полчаса до начала утреннего заседания за нами заехал непроницаемый Роже. Узнав, что я поеду один, он молча распахнул передо мной заднюю дверцу и сел за руль. Перед воротами Шато собралась порядочная толпа, пришлось протискиваться. Я успел предупредить Баруа и Дени о нездоровье главы делегации, конечно, они были огорчены, но, как вежливые люди, не только не обнаружили своего разочарования, но тут же предложили мне заменить Успенского и в председательском кресле. От председательства я отказался, сказав, что должен подготовиться к выступлению, и осторожно посоветовал польского коллегу Блажевича.

Из-за неожиданного наплыва гостей — званных и незванных — начало заседания задержалось минут на десять. Подозреваю, что эти чопорные стены еще не видывали такой кощунственной толчеи. В первых рядах, отведенных для делегатов, еще соблюдался порядок, но за красным бархатным шнуром студенты запросто устраивались вдвоем в кресле, не нашедшие себе места садились в боковых проходах прямо на обитый бобриком покатый пол. Стоявшая в дверях зала строгая дама в синем форменном платье быстро поняла, что ей не сладить со стихией, и замкнулась в молчаливом осуждении. Наконец жизнерадостного вида маленький священник и коллега Блажевич заняли свои места, священник позвонил в колокольчик, и заседание началось.

Я не берусь передать содержания всех речей, да это вряд ли необходимо. Обычно я делаю заметки, но на этот раз я даже не взял блокнота и полностью положился на свою память, автоматически отбравшую то, что так или иначе могло послужить строительным материалом для моей будущей речи.

Если говорить об общем впечатлении, я сформулировал бы его так: единство и пестрота. Несомненно единым было стремление всех этих ученых, принадлежащих к различным поколениям, национальностям, сферам знания, сохранить жизнь на нашей планете и предотвратить гибельные для человечества издержки научно-технического прогресса. Единой была приверженность этих людей гуманистическим идеалам, несколько по-разному понимаемым, но тут уж ничего не поделаешь, в особенности если учесть, что мы с доцентом Вдовиным тоже понимаем гуманизм не всегда одинаково. Наконец, все они, включая людей религиозных, были позитивистами, большинство составляли представители точных наук, присущей некоторым западным гуманитариям склонности к мистицизму я ни у кого не обнаружил.

Наличие некоторого единства среди людей, собравшихся для общей цели, естественно, но всякий раз, когда речь заходила о средствах и путях осуществления этих целей, выступала наружу чрезвычайная пестрота точек зрения. Сидя в своем удобном, дышащем подомной кресле, я принял целый парад. Здесь были пессимисты, в том числе один такой заядлый, что было непонятно, зачем он сюда при-

шел, и прекраснотушные оптимисты, и осторожные прагматики, были люди, влюбленные в научно-техническую революцию, были и скептики, но все, или, во всяком случае, большинство, были настоящими учеными, строившими свою аргументацию не на базе страстей и верований, а на основе научного опыта. Опыт был различный и по-разному преломлялся в сознании выступавших, но ни человеконенавистников, ни расистов среди них не было. Только у одного из ораторов, к слову сказать, крупного французского ученого, прозвучали неприятные нотки, и я уже подумывал, не потратить ли несколько минут на полемику с ним, но это великолепно сделал выступавший последним коллега Блажевич. Как только был объявлен перерыв, я вышел из зала, пешком добрался до метро и через полчаса был в отеле. Занавеска в глубине вестибюля была полуоткрыта, и накрывавшая стол хозяйка сказала мне, что мсье из второго у себя, но просил его не беспокоить и не соединять по телефону. Я спросил, завтракал ли мсье, и она, несколько замямвшись (как я понял, давать любые справки о постояльцах не в обычаях французских отелей), сказала, что мсье отказался от кофе, но, вероятно, перекусил в соседнем бистро. Туда, не заходя в номер, я и отправился, отчасти чтоб поесть самому, отчасти дабы убедиться, что мой старший собрат и учитель действительно там был и завтракал.

Бистро помещалось в том же здании, что и отель, но, по-видимому, представляло собой независимое от отеля предприятие. Хотя входная дверь и большое, как магазинная витрина, окно выходили на широкий тротуар авеню — ни навеса, ни уличных столиков. Внутри все, как уже много раз описано и видно во французских кинофильмах: десяток высоких стульев перед стойкой, именуемой комптуаром, сзади полки, заставленные рядами бутылок, полки зеркальные, вероятно, для того, чтоб бутылок казалось больше, некоторые бутылки укреплены горлышком вниз, как склянки с физиологическим раствором. Тут же холодильник и электрическая плитка на две конфорки. За стойкой бармен, молодой парень в жилетке, которую он носит, чтоб походить на барменов из фильмов с Жаном Габеном. Перед ним кофейная машина и сверкающий никелем пульт управления, кнопки, рычаги и краны, из которых под напором бьют струи ледяного пива или кока-колы. Почти все табуреты заняты посетителями, и бармен лихо управлялся со своими разнообразными обязанностями, нажимал кнопки и рычаги, жарил яичницы, вылавливал из кипятка горячие сосиски, откупоривал маленькие бутылочки и отмеривал что-то из больших, получал деньги, возвращал на блюдечке сдачу, вытирал губочкой мокрый пластик комптуара, при этом он успевал перешучиваться с завсегдатаями, улыбаться случайным посетителям, переключать мурлыкавшую вполсилы радиолу и высказывать из-за прилавка, чтоб обслужить сидящих за столиками у окна.

Войдя, я остановился в нерешительности. Вариантов было два: первый — залезть на единственный свободный табурет у комптуара, взять с никелированной подставки вареное яйцо и целлофановый пакетик с жареной картошкой, запить все это чашкой кофе, после чего немедленно отправиться к себе на верхотуру, где и обдумать свою будущую речь; второй, чисто парижский, — расположиться за одним из столиков у окна, заказать что-нибудь посущественнее, например яичницу с ветчиной, спросить у бармена лист чистой бумаги и не спеша поработать, как, по свидетельству мемуаристов, работали в публичном одиночестве парижских кафе Жорес, Луначарский и многие другие великие ораторы. Второй вариант представлял известный риск — не исключено, что мои сведения, почерпнутые из художественной и мемуарной литературы, устарели, и как только я разложу свои

заметки, ко мне за стол вопрутятся со своими бокалами и вонючими трубками какие-нибудь симпатичные горлопаны, и я только даром потеряю драгоценное время. Но меня всегда привлекал эксперимент, и я решился. Бармен принес мне несколько листов почтовой бумаги и даже предложил послать мальчика в соседний киоск за газетами. Пока жарилась моя яичница, я успел набросать небольшой планчик и тут же его похерить. Поначалу мне мешали сосредоточиться разговоры у комптуара, хлопанье входной двери и доносившееся с улицы шуршание автомобильных шин, но как только я уверился, что этот шум не имеет и не будет иметь ко мне никакого отношения, я сумел отключиться от всех внешних помех не хуже, чем в моей московской башне. Я отвлекся лишь на минуту, чтоб спросить подошедшего ко мне бармена, не завтракал ли здесь высокий мсье в сером костюме, с карточкой на лацкане пиджака. На какое-то мгновение взгляд бармена стал жестким и испытующим. Но, вероятно, я все-таки мало похож на агента полиции, потому что в следующую секунду он уже улыбался и доверительно сообщил: описанный мной мсье несомненно был и завтракал, если можно считать завтраком сырое яйцо, которым мсье закусил двойную порцию джина с тоником. Это был плохой признак, но тут я был бессилён. Я постарался сосредоточиться на неотложной задаче, и это мне удалось. Не то чтоб я перестал видеть и слышать, напротив, мне доставляло удовольствие рассматривать прохожих через чисто вымытое толстое стекло и даже прислушиваться к разговорам у комптуара. Однако все эти зрительные и слуховые впечатления оставались только фоном для той основной работы, которая совершалась во мне. Прежде чем выступать на большой и незнакомой аудитории, мне надо было поговорить с самим собой. Разобраться в услышанном и определить свое отношение. Привести в действие механизм памяти и извлечь из своего опыта то, что может представить общий интерес. И, наконец, ответить на главный вопрос, который по-французски звучит «*que faire?*»²¹ и в той или иной форме задается всеми людьми планеты без различия языка и племени.

Итак, что же я скажу сегодня всем этим людям? Для меня не представляет труда, не заглядывая в бумажки, рассказать им, что в современной цивилизации способствует увеличению продолжительности жизни человека, а что его преждевременно старит и убивает. На эту тему я могу говорить часами. Но в моем распоряжении ровно пятнадцать минут. Европейский регламент строже нашего. К тому же из этих пятнадцати я могу потратить на профессиональный разговор не более шести-семи. Надо быть кратким. Чехов сказал: краткость — сестра таланта. Сказано прекрасно, не надо только думать, что талант — брат краткости.

Пожалуй, стоит сказать несколько слов о цифре, которой определяется средняя продолжительность жизни у нас и в других развитых странах. За последние десятилетия она значительно возросла. Цифрой этой можно гордиться, но нельзя бездумно хвастаться. Как-то я похвастался, и наша районная врачиха Софья Михайловна (разговор был с ней) ответила мне грустной улыбкой: «Дольше живут — дольше болеют». Она права. Даже на примере своего дома я вижу, сколько старых людей не живут, а существуют. Их существование, искусственно поддерживаемое средствами современной медицины, мучительно для них самих и ложится тяжким грузом на близких им людей и на общество в целом. Следовательно, ближайшая задача науки — продлить не условное биологическое существование, а полноценную жизнь.

²¹ Что делать?

Полезно было бы сказать несколько слов о генетических последствиях алкоголизма родителей, но, кажется, у меня на это нет времени. Пусть об этом скажут генетики.

Приближаюсь ко второму кругу вопросов, условно обозначенных мной «*que faire?*». Здесь у меня далеко не все так четко продумано. Чтоб навести порядок в своих мыслях, избираю наиболее лапидарную форму — интервью. Только вопросы себе я задаю сам. И редактировать себя на трибуне буду тоже сам.

Вопрос первый. Что я считаю самым главным?

О том, что нельзя допустить гибели нашей планеты в результате атомной войны и радиоактивного заражения, сказано уже достаточно и гораздо компетентнее, чем мог бы сказать я. Мне кажется, что столь же преступно преждевременно старить нашу планету. Не хочу присваивать себе авторства, раньше меня это сказал Хемингуэй, с болью сердца писавший, что его страна быстро старится в руках корыстных эксплуататоров. С эксплуататорским классом у нас давно покончено, но незачем ханжить — и мы не без греха. Правда, у нас есть серьезные оправдания: в годы первых пятилеток и во время войны, когда стоял вопрос о жизни и смерти, нам было не до плановых порубок и не до очистных сооружений. Зато теперь у нас есть немалые преимущества, и у нашего правительства куда больше возможностей призвать хозяйственников к порядку, чем у Запада повлиять на аппетиты монополий.

Не надо старить нашу планету даже в теории. Вчера у кого-то промелькнуло: «Наша старушка Земля». Протестую. Вопреки библейскому летосчислению, определяющему возраст Земли в семь с чем-то тысяч лет, Земля существует много миллиардов лет, из коих примерно три миллиарда (всего только три!) на ней происходит чудо из чудес: возникновение и эволюция жизни, венцом которой является мыслящий человек. Сотвори нас господь бог, это было бы, с моей точки зрения, гораздо меньшим чудом. Судя по тому, как стремительно развивается человеческая мысль, наша планета еще очень молода. Молода и прекрасна, и я люблю ее именно такую, с голубым небом, синими морями и зеленым покровом, земные женщины мне кажутся прекрасными, и я убежден, что наша Земля такая, какой мы ее знаем, при разумном отношении людей к природе и более совершенных социальных отношениях еще бесконечно долго может служить пристанищем для людей, кормить, обогревать и способствовать их счастью.

Признаться ли? Я равнодушен к космосу и к внеземным цивилизациям. Конечно, я понимаю ценность космических исследований, но научно-фантастическую литературу с астральным уклоном я откровенно не люблю, а модная идея насчет того, что человечество в обозримом будущем ринется на освоение других планет, меня несколько не увлекает. Превратить наш чудесный шарик в загаженную смертоубийственными отбросами стартовую площадку для звездолетов человечество, возможно, и сумеет, но я об этом несколько не мечтаю. Вероятно, это консерватизм профессиональный, а может быть, и возрастной. Но не лучше ли объединенными усилиями всего человечества постараться сохранить нашу юную и прекрасную планету, Планету людей, как ее называл Экзюпери, для будущих поколений, которым мы передадим свои положительные знания и постараемся удержать от наших ошибок.

— Человечество, Олег Антонович? Прежде чем говорить про объединенные усилия, своевременно задать себе вопрос: а существует ли это самое человечество как нечто единое? Мир разделен, в нем бушуют антагонистические страсти и интересы...

— Понял. Существует. Нильс Бор говорил, что есть определения,

исключающие друг друга и вместе с тем теряющие смысл одно без другого, причем не только в физике, но и в весьма далеких от нее областях. Есть аспекты, в которых человечество едино. Отбросим сразу чисто физиологический аспект — он ясен для всех, кроме расистов. Но когда на Нюрнбергском процессе судили военных преступников, когда мир вздрогнул от взрывов первых атомных бомб над японскими городами, большинство людей на земле, может быть, впервые ощутило, что фашизм и термоядерная война угрожают не отдельным странам, а человечеству и человечности. С тех пор прошло немного лет, но и за эти годы (относительно мирные) в мире произошли необратимые изменения. Выяснилось, что атомные испытания, происходящие на необитаемом атолле в тысячах миль от ближайшего материка, опасны для здоровья рыбаков всех стран этого бассейна, а ловить рыбку в океане во избежание истощения мировых запасов надо с учетом требований современной ихтиологии. Земная атмосфера и мировой океан стали местами общего пользования, в которых надо поддерживать чистоту и порядок, и мне невольно вспоминается огромная коммунальная квартира, в которой я жил когда-то. Сравнение кощунственное и вряд ли понятное для парижан, но совсем не все, что приходит мне в голову, когда я сижу в бистро («Un boque de bière, s'il vous plaît...»²²), понадобится мне на трибуне. Но меня оно забавляет: в нашей квартире жили представители всех когда-либо существовавших в Российской империи классов и группировок, не все они были связаны взаимной симпатией, но их заставляла сотрудничать и соблюдать известные нормы естественная забота о здоровье и безопасности. Возникает все больше проблем, которые человечество, даже разобщенное, может разрешить только сообща.

— Но если существует человечество, то должна существовать и общечеловеческая мораль?

— Конечно. Даже в библейских «десяти заповедях», сформулированных несколько тысяч лет назад, если соскрести с них кое-какие архаизмы вроде «ни раба его, ни осла его» (цитирую по памяти), есть несколько пунктов, не потерявших актуальности и сегодня. В наше время научное сознание вытесняет религиозное, и если раньше человек задумывался, совместимы ли его деяния с религией, теперь он все чаще думает, совместимы ли они с разумом. На смену социализму чувства — утопическому — пришел научный социализм, и если я предпочитаю социалистическую мораль буржуазной, то прежде всего потому, что считаю ее наиболее близкой к общечеловеческой. Идет соревнование идеологий, соревнование не в силе, а в научности, в соответствии с объективными законами развития, в том, какая система, какой строй, какая мораль больше способствует сохранению жизни на Земле, материальному и духовному расцвету человечества.

— И последний вопрос. Какова роль науки и ученых в решении этой основной задачи?

— Огромная. Наука все больше становится материальной силой. Сотни лет мы были по отношению к природе взломщиками. Наука дает людям в руки ключи и пропуска. Но должен сразу оговориться. Я не верю, что власть над миром перейдет к ученым, как говорил вчера лохматый оратор, фамилии которого я не расслышал. Не верю и тому, что люди науки отличаются особым, несвойственным другим людям нравственным чувством. Они такие же люди, как и все. Большинство великих ученых были людьми высокой нравственности, но это потому, что они были крупными личностями, а не в силу своей профессии. Нет святых профессий. Учитель и врач издревле поль-

²² Кружку пива, пожалуйста...

зуются особым уважением людей, еще бы, учителю мы доверяем душу, врачу — тело. Как врач и педагог; я смею утверждать — и та и другая профессия обязывает к нравственности, но не гарантирует ее. Вспомним Беликовых и Передоновых, Фогельзангов и Менгеле... (где моя картотека!). С моей точки зрения, самые низкие преступления — это те, что связаны с обманом доверия. Ученый, по злому умыслу или по невежеству назвавший черное белым, здорового больным, а больного здоровым, негодное достойным, а доказанное ложным, не заслуживает звания ученого. В годы, когда учащаются опыты по пересадке органов у человека, когда расширяются возможности влиять на человеческую психику, а способы наблюдать его интимную жизнь становятся доступными даже частным лицам, ученый должен бесстрашно говорить о том, что с точки зрения нормального развития личности возможно и полезно и что безнравственно и опасно. Ученый — гражданин своей страны, и главнейшая его обязанность всегда и при всех условиях говорить правду своему правительству.

— Тогда самый последний вопрос. Разве это трудно?

— Да, не всегда легко. Консервативные правительства желают, чтоб наука подтвердила неизменность всего сущего, и гnevаются, когда наука утверждает, что природа изменчива. Прогрессивные стремятся к быстрым преобразованиям и сердятся, что природа консервативнее, чем им хочется. Но «где, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?».

Я просидел за столиком больше часа и измарал много бумаги. За все время меня никто не потревожил. Уходя, я небрежно скомкал свои записи и сунул их в брючный карман — я знал, что они мне больше не понадобятся. Больше того, я постарался о них забыть, чтоб на трибуне чувствовать себя ничем не связанным.

До начала вечернего заседания оставалось еще много времени, достаточно, чтоб принять душ и полежать вытянувшись и ни о чем не думая. Так я и сделал. Единственное, о чем я подумал: надо ли переодеваться. И решил, что не надо. Галстуки меня душат, а сегодня мне как никогда нужно быть самим собой.

Перед уходом я подошел к окну, чтоб закрыть, и увидел знакомую фигуру. Она помахала мне рукой, и я воспринял это как доброе напутствие.

Затем я спустился вниз. На медной ручке второго номера висела картонка, предлагавшая на трех европейских языках не стучать и не беспокоить. Я потрогал ручку, дверь была заперта. В вестибюле за конторкой у коммутатора сидела мадам. Увидев меня, она как-то странно дернулась, мне показалось, что она хочет что-то сказать, но, как видно, раздумала, и я вышел на еще залитую вечерним солнцем улицу бодрой походкой юного Растиньяка, твердо решившего покорить Париж.

До Шато я добрался без приключений и вовремя. Мне показалось, что желающих проникнуть внутрь стало еще больше, но даже в голову не пришло, что это оживление хоть как-то связано с моей особой. А между тем ничего удивительного в том не было, если для участников конференции имя Успенского значило несравненно больше, чем мое, то для большинства гостей замена была почти нечувствительна — интересно было послушать представителя советской науки, кто бы он ни был, и все ждали моего выступления без особой предвзятости, равно готовые создать успех или поднять на смех. Вообще-то французы нелюбопытны к приезжим, в Париже можно встретить чужестранцев всех мастей, но для Парижа-57 советские ученые были зрелищем более занимательным, чем какая-нибудь королевская чета, и стоило послушать, как они понимают будущее цивилизации.

Встретивший меня у входа в зал Дени спросил, устраивает ли меня выступить вторым, и только после этого заговорил об Успенском, — это была деликатность. Я сказал, что готов выступать когда угодно.

Вечернее заседание началось под председательством лорда Гарольда Кемпбелла. Кемпбелл — крупный ученый и одна из самых уважаемых фигур в мировой научной общественности. Он очень стар, но держится прекрасно, никаких признаков дряхлости, на его большое, резко очерченное лицо с короткими, но пышными белыми усами под крупным носом приятно смотреть. Кемпбелл — лорд родовитый, а не свежее испеченный, это значит, что его предки были обыкновенными шотландскими разбойниками, но сам сэр Гарольд несомненно человек гуманный в самом высоком понимании этого слова, и меня даже не очень волнует вопрос, владеет ли он каким-нибудь поместьем, у Льва Николаевича Толстого тоже что-то такое было. Я нарочно сел с краю, среди совершенно незнакомых людей, чтоб побыть одному. Выступавшего передо мной оратора я слушал почти внимательно. Я бы солгал, сказав, будто совсем не волновался, но это было волнение хирурга перед операцией, что бы ни происходило у него на душе, руки дрожать не должны. Поэтому когда председатель с некоторым затруднением произнес мою всю жизнь казавшуюся мне очень простой фамилию, я встал и подошел к председательскому столу так же, как привык входить в операционную, не спеша, со спокойной уверенностью в каждом движении, чтоб ни у помощников, ни у сторонних наблюдателей, спаси боже, не возникло даже тени сомнения в успехе. Я оглядел зал. По опыту лектора я знал, что надо отыскать в первых рядах несколько внимательных и симпатичных лиц и время от времени посматривать на них. Я сразу нашел глазами своих восточноевропейских коллег, милый Блажевич смотрел на меня дружески и поощрительно, но я тут же понял, что на этот раз мне следует поискать более точный контрольный прибор. Передо мной была типичная парижская аудитория, отзывчивая и капризная, с незапамятных времен избалованная красноречием всех оттенков, эта аудитория не простит мне ни скуки, ни неловкости, ее надо сразу брать за рога. Поэтому надо смотреть не на Блажевича, а на коллегу Дени, наблюдающего за мной с веселым любопытством, его ноздри слегка раздуты, полуоткрытый рот готов и засмеяться и деликатно зевнуть. Или на ту кислотицу лимонноволо-сую даму в золотых очках с квадратными стеклами и тянущимся из уха тонким проводочком слухового аппарата, по виду англичанку или скандинавку, она глуховата и французский язык для нее не родной — достаточно, чтоб перестать слушать, если начало ее не заинтересует. Кроме того, надо не забывать и о задних рядах. Пусть там нет делегатов, а только гости, причем в большинстве незваные, но это молодежь, а молодежи принадлежит будущее.

Я выдержал небольшую паузу. Она была нужна не только мне, но и слушателям. Они ведь еще и зрители, прежде чем начать слушать, они любят посмотреть на нового человека и даже обменяться с соседом критическими замечаниями насчет его внешности и костюма.

— Есть что-то знаменательное, — сказал я, — в том, что одна из первых международных встреч ученых, посвященных защите жизни, происходит в городе, начертавшем на своем щите «*fluctuat nec mergitur*» — гордый девиз, который в наше время мог бы стать девизом всей нашей планеты...

Сведения о гербе Парижа — гонимый волнами кораблик с латинской надписью, обозначающей «колеблется, но не тонет», я почерпнул из путеводителя. Не бог весть какое начало, но оно понравилось. Аудитория мгновенно оценила, что человек, прибывший «оттуда», свободно говорит по-французски, улыбается, шутит и, кажется, не собирается

никого поучать. Мне удалось походя польстить городскому патриотизму парижан, по белозубому оскалу коллеги Дени я понял, что началом он доволен. Лимоннокислая дама поправила в ухе слуховой прибор и подалась грудью вперед. В задних рядах шло сочувственное шевеление.

Сегодня я уже не помню, что из намеченного за столиком быстро я успел сказать. Что-то, вероятно, расширил, что-то упустил. Стенограмма не велась, организаторы предпочли магнитофонную запись. Меня хорошо слушали и проводили аплодисментами. Кажется, я превысил на несколько минут отведенное мне время. Обычно в таких случаях председательствующий поднимался и, не прерывая выступления, слушал стоя, молчаливо взывая таким образом к совести оратора. Сэр Гарольд не встал — он слушал, приставив ладонь к большому, заросшему седым волосом уху. Сходя по ступенькам в зал, я чувствовал себя выпотрошенным и рухнул в мягкое кресло рядом с коллегой Дени, который смеялся и аплодировал. Мне он шепнул:

— Прекрасно. Вы имели абсолютный успех.

— Почему абсолютный? — спросил я. Честное слово, не из кокетства.

Дени засмеялся.

— Абсолютный, потому что одни верили в вас и благодарны за то, что вы их не подвели. Другие не верили, и вам удалось их удивить, а чтоб иметь успех в Париже, это чуть ли не самое главное.

Однако аплодисментами дело не ограничилось. Прежде чем объявить следующего оратора, председательствующий произнес несколько сочувственных слов по поводу моей речи. Он сказал, что мое выступление укрепило его в убеждении, что взаимопонимание и сотрудничество между учеными различных стран не только возможно, но и необходимо. Это, пожалуй, было поважнее комплиментов.

После меня говорили еще многие, говорили интересно, я старался слушать внимательно, но все время отвлекался мыслями от происшедшего в зале, меня все больше и больше беспокоил Успенский. Вместо заключительного слова Баруа объявил, что заседание оргкомитета состоится завтра в отеле «Мажестик» сразу после посещения Пастеровского института, где нас ждут к тринадцати часам. Мне хотелось как можно скорее выбраться из Шато, мне был нужен Успенский, может быть, и я ему. Но это оказалось не так просто, я переходил из рук в руки, меня поздравляли, какой-то репортер пытался взять у меня интервью, и в зале, и в фойе, и на лестнице ко мне подходили незнакомые люди, одни хотели пожать руку, другие протягивали гостевые билеты, чтоб получить автограф. Во дворе какая-то рослая девица ни с того ни с сего чмокнула меня в щеку, судя по тому, как заржали стоявшие неподалеку парни, она сделала это на пари. Наконец мне удалось выбраться на улицу, полутемную, освещенную только лучами автомобильных фар, пахнущую весенней листвой и бензином. Я стоял, соображая, как лучше пройти к метро, когда за моей спиной смеющийся голос сказал: «Eh bien, monsieur! Comment ça va?»²³ Это было до оторопи неожиданно. Я обернулся и увидел Успенского, свежего, элегантного, ничего общего с тем небритым субъектом, который напутствовал меня поутру. Насладившись моей растерянностью, он обнял меня за плечи.

— Молодец! Ты был великолепен.

Я ошалел еще больше.

— Как? Ты меня слушал?

— Конечно.

²³ Ну, сударь! Как дела?

- Я тебя не видел.
- И не мог видеть.
- Где же ты был? В кинобудке?

— Почти. Современные замки по части тайн не уступают средневековым. А Данила Оскарович здесь свой человек. Он, благодетель, меня и вытащил сюда. Пойдем.

Успенский подтолкнул меня к знакомому «ягуару». За рулем сидел доктор Вагнер. Когда мы с Пашей забрались на заднее сиденье, он сразу тронул машину. Правил он левой рукой, а правую не оборачиваясь протянул мне.

— Примите мои поздравления. Сейчас я завезу вас в гостиницу, чтоб вы могли сменить рубашку, и поедем на банкет.

— Банкет? — Меньше всего мне хотелось быть на людях и говорить по-французски.

— Банкет, поздний обед или ранний ужин, назовите как хотите. Много пить необязательно, но поесть вам надо. У «Андре» хорошо кормят. И вообще — нельзя пренебрегать кулуарами.

О банкете, происходившем в общем зале скромного, но дорогого ресторана, у меня осталось смутное воспоминание. Было жарко, шумно и многолюдно. «Андре» — ресторан, куда ездят есть, а не танцевать, столы стоят так тесно, что официантам приходится искусно лавировать. Я не без умысла хотел сесть рядом с Успенским, но устроители банкета позаботились, чтоб мы сидели врозь — на нас был спрос. Меня усадили между юной слависткой m-lle Баруа и милейшим каноником из Дижона, к счастью, во Франции никого не заставляют пить силой, и я не чувствовал неловкости оттого, что по части выпивки уступаю девушке и священнику. Успенский пил много, но был в отличной форме и, как всегда, в центре внимания. Можно было только поражаться, как человек, с грехом пополам изъяснявшийся по-английски и еще хуже по-французски, ухитрялся и здесь вносить в застолье дух праздника, ловить на лету реплики, шутить и мгновенно завоевывать симпатии самых разных людей. Были тосты, в том числе и в нашу честь, отвечал Успенский по-русски, а я переводил, за всю поездку это был первый и единственный случай, когда я выполнял обязанности переводчика.

После мороженого с ранней клубникой встал старый Кемпбелл, за ним поднялись еще несколько человек, и я понял, что могу, не нарушая приличий, незаметно исчезнуть. Но Успенский поймал мое движение.

— Хочешь уходить?

— Если я тебе не нужен.

— У тебя усталый вид. Вот что, — он задумался, — иди в гостиницу, это рядом, прими душ и полежи. Вытяни ноги и расслабь мышцы. Я к тебе зайду.

— Когда?

Паша сделал неопределенный жест.

— Скоро.

Я с удовольствием прошелся по широкой авеню. Прохожих было мало,людно было только в кафе и в барах. У тротуаров плотными рядами стояли машины.

Вчерашний негр был не один, с ним был товарищ, и они играли в ма-джонг. Мне он улыбнулся как старому знакомому.

Я уже задремывал, когда ко мне ворвался Паша. Он был весел, возбужден, но не пьян.

— Пошли.

— Куда?

— Куда глаза глядят. Посидим где-нибудь и поболтаем. Посмотришь ночной Париж.

— Который fluctuat?

— Вот именно.

Я оделся, и мы вышли.

ХІХ. «Мулен-Руж»

Всего, о чем мы говорили в тот вечер, я уже не помню. Началось с того, что заспорили о Наполеоне.

Мы сидели в игрушечных креслицах за вынесенным на тротуар столиком кафе, от ярко освещенного входа в кабаре «Мулен Руж» нас отделяла только мостовая. Над вполне современным входом возвышается архаического вида башенка, к которой приделано некое подобие мельничных крыльев, лопасти расположены так, что никакой ветер вращать их не может, крутит их мотор. Крылья мельницы унизаны яркими лампочками, лампочки весело мигают, но вычурные окошки башенки и цокольного здания темны, как глазницы черепа, и это придает всему сооружению угрюмоватый вид. Вплотную к мельнице прилепились высокие здания, до самых крыш заляпанные световой рекламой, здесь все оттенки красного от молочно-розового до багрового, все это переливается и пульсирует. Голая танцовщица из аргонных трубок застыла в экзотической позе, она рекламирует способствующую пищеварению минеральную воду «Vitel».

— В пятьдесят втором мы сидели здесь и смотрели, как вертится эта штука, — сказал Успенский. — Ничего не изменилось, как будто смотришь второй раз старую хронику.

— Кто «мы»? — спросил я.

Паша нахмурился.

— Мы с Бетой. И Вдовин. И еще этот... Александр Яковлевич. Почему ты спрашиваешь?

Я промолчал.

— Я знаю, о чем ты молчишь, — свирепо сказал Паша. — На том симпозиуме ты был нужнее, чем Вдовин. Даже чем Бета и я. Но в то время я не мог взять тебя. И не мог не взять Вдовина. Только кретины воображают, будто человек, обладающий властью, всегда делает, что ему хочется.

Это было совершенно в стиле Успенского — обстоятельства не раз заставляли его быть уклончивым, и все-таки уклончивость была не в его характере — и в научной полемике и в личных отношениях он охотно шел на обострение.

— Сейчас легко рассуждать, — проворчал он. По его лицу мелькали красноватые отсветы, и оно казалось воспаленным. — Сегодня даже старик Антоневи́ч знает цену Вдовину, а тогда...

— Ошибаешься, — сказал я. — Старик Антоневи́ч — единственный, кто знал ему цену уже тогда.

— Не считая тебя, конечно?

— Нет. Я тоже не знал. Хотя должен был знать. Он вышел из моей лаборатории.

— Хорошо, что ты принимаешь на себя хоть часть вины. Утомительно жить среди людей, у которых на совести нет ни пылинки. Ты никогда не видел Вдовина с бородой?

— Нет, — сказал я, удивленный.

— А я видел. Он там, в заповеднике, отрастил окладистую бородицу, и она выдает его с головой. Купец! Настоящий такой волжский купчина из крепких мужичков, с европейской хваткой и азиатской хитрецей. Знаешь, — Паша захохотал, — если кое-кому из наших

пририсовать настоящие бороды, на кого они стали бы похожи? Петр Петрович — на директора гимназии.

— На протоиерея.

— Верно! Именно на протоиерея. На архиерея не потянет? Нет, не потянет, какую бороду ни клей. Возглашать — это все, что он может. А Вдовин — дай ему настоящий подряд...

— Он его и получил.

— Что ты этим хочешь сказать? (Фраза, которую мы все говорим, когда прекрасно понимаем смысл сказанного.)

— Он был тебе нужен.

— Полезен.

— Вот этого я как раз и не понимаю.

— Чего тут не понимать? Я проводил определенную кампанию, обсуждать мы ее сейчас не будем, это увело бы нас слишком в сторону. В этой кампании Вдовин делал то, что, к слову сказать, ты делать не хотел и не умел, но что с моей точки зрения делать было необходимо. Жизнедеятельность любого организма обеспечивается деятельностью различных органов, выполняющих всякого рода функции... Наполеону и то приходилось пользоваться услугами Фуше.

— Почему «и то»? Для меня Наполеон немыслим без Фуше. Так же как Гитлер без Гимmlера, так же как...

— Ого! Я вижу, у тебя с императором старые счеты.

— Никаких. Просто я его терпеть не могу. И яснее чем когда-либо я понял это здесь, в этом городе, где все полно им, от Триумфальной арки до пепельницы на нашем столе.

— Любопытно. А я когда-то даже увлекался Наполеоном. Почитывал кое-что. За что ты его так не любишь?

— Коротко?

— Если сумеешь.

— Чтоб не искать новых слов — за бонапартизм.

Паша засмеялся.

— Это, пожалуй, уж слишком коротко. А если не шутя?

— Скажи, пожалуйста, — сказал я, — ты был на могиле Наполеона?

— У Инвалидов? Был, конечно.

— А на могиле Пастера?

— Нет, не был. Но завтра мы с тобой будем в Пастеровском институте и попросим, чтоб нас сводили в гробницу. Почему ты заговорил о Пастере?

— Потому что Пастер великий француз и один из величайших ученых мира. Ученый, чье значение с годами не отходит в область истории, а непрерывно возрастает. Пастер серией блестящих экспериментов доказал невозможность самозарождения живых существ, а что доказал Наполеон? Что уничтожение живых существ в огромных масштабах — дело не только возможное, но выгодное и почетное. Пастер, применив асептику, спас людей больше, чем погубил Наполеон, а погубил он много, мне говорил один социолог, что после наполеоновских войн французы стали в среднем на пять сантиметров ниже, еще бы — гвардия умирала, но не сдавалась. Пастер заслужил вечную благодарность человечества, победив микроб бешенства, а что осталось от побед Наполеона? Он выиграл несколько сражений, а все основные кампании проиграл: египетскую, испанскую, русскую, пытался взять реванш и кончил Ватерлоо. И какова историческая несправедливость! Храбреца Нея за то, что во время Ста дней он стал под знамена своего императора, расстреляли, а виновника всех бед, по теперешней терминологии военного преступника, человека, начавшего свою карьеру с расстрела революционного народа, с почетом препро-

вождают на остров, чтоб он мог там писать мемуары, а когда он отдает концы, его прах переносят в центр Парижа, в дом, где когда-то жили свои век семь тысяч инвалидов войны, а теперь разрезают рты туристы со всего света. А на могилу воистину великого француза изредка заглядывают считанные люди, в путеводителе так и сказано: посещение музея и гробницы — по договоренности. О сподвижниках я уж не говорю. Есть улочка, которая носит имя доктора Ру, это всё. Каждый из наполеоновских маршалов отхватил по бульвару длиной в километр, все без разбора — и честный Ланн, и ничтожный Мюрат. А кому не хватило бульваров, тем достались авеню. Я вчера обошел кругом площадь Звезды и нарочно посмотрел на таблички всех авеню, что сходятся к Арке. Кого там только нет! И верный Клебер, которого дорогой вождь оставил подыхать в Египте, и палач Коммуны Мак-Магон. Не хватает только Петена...

— Ну, ну, не бреши. Есть авеню Виктор Гюго.

— А кто этот Гюго, ты знаешь?

— Лешка, не задавайся. Кто такой Гюго, я знаю.

— Нет, не знаешь. Ты думаешь — писатель?

— А кто же?

— Генерал. — Мне удалось-таки ошеломить Успенского, и, каюсь, это доставило мне удовольствие. — Можешь мне поверить. *Hugore*²⁴. Я не сомневаюсь в военной доблести французов, но меня бесит, что народ, давший миру Декарта, Лавуазье, Паскаля, Ампера, так носит с этим корсиканским выродком и его шайкой. Наполеон везде — от Вандомской колонны до коньячных бутылок. А имя Пастера перестали писать даже на бутылках с пастеризованным молоком. Ну что ты ржешь? — заорал я, заметив, что Успенский трясется от беззвучного смеха.

— Извини, — сказал Паша, все еще фыркая. — Сидеть на бульваре, среди кабаков и борделей и обсуждать мировые проблемы — на это, кажется, только русские способны...

Мне тоже стало смешно.

— А к маленькому капралу ты несправедлив, — сказал Паша уже серьезно. — Ты знаешь, что Наполеон был членом Института? То есть по-нашему академиком?

— Подумаешь! Дай нашему Вдовину настоящую власть, через пять лет он будет академиком. Разница только в том, что Наполеон действительно имел данные, чтоб заниматься наукой. Ты знаешь, что сказал о нем Курье?

— Ну?

— «Он мог быть ученым, а стал императором. Какое падение!»

— Честное слово? — Успенский захохотал так громко и восторженно, что привычные ко всему французы за соседними столиками впервые обратили на нас внимание. И вдруг помрачнел. — Ладно. Давай пройдемся по бульварчику до Пигаль. Тебе это просто необходимо. А то спросят, был ли ты на Пигаль, — и будешь хлопать ушами.

— Естественнее предположить, что меня спросят, был ли я в Лувре.

— В Лувр по ночам не ходят. И если хочешь знать, для тебя как физиолога Пигаль куда поучительнее Лувра.

Мы не торопясь двинулись по тротуару в направлении, обратном тому, в каком ехали вчера с вокзала, но по той же стороне, она показала нам любопытнее — ярче освещение, гуще и пестрее толпа. Мы быстро усвоили походку парижских фланеров. Обычный прохожий идет куда-то, фланер — куда-нибудь, он в любую секунду готов изме-

²⁴ Гюго-отец.

нить свои планы, если они у него есть, под влиянием любой приманки, вся эта судорожно переливающаяся всеми оттенками неона и аргона световая реклама рассчитана именно на него, и единственная причина, почему он не клюет на самую первую приманку, та, что рядом блесстит, мелькает и манит наживка еще более яркая. Навстречу нам шла такая же разношерстная толпа, как выползавшая вчера из Нотр-Дам, но там во всем — в выражении лиц, в походке, в приглушенности речи — видна была умиротворенность, даже самые равнодушные считали своим долгом сохранять сдержанность хотя бы в радиусе пятидесяти метров, здесь, наоборот, в каждом движении, в громком смехе, в блеске глаз читалась разнузданность, тоже, может быть, несколько наигранная, просто у церкви и в увеселительных заведениях разные правила игры. Большинство шедших навстречу нам были мужчины — европейцы, арабы, негры, они глазели на изображения женщин полуголых и совсем голых; смуглотелая индуска с двухэтажного плаката приглашала завернуть в ночную киношку, где за несколько франков обещала посвятить в таинство древнего эротического культа Камасутры, розовые грудастые девки с освещенных изнутри цветных диапозитивов завлекали в плохонькие стриптизы, лезли в глаза с глянцевого обложки в витринах секс-шопов. Чем, кроме торговли порнографией, занимаются эти почтенные учреждения, я так и не понял, стоило мне на несколько лишних секунд задержаться у одной из витрин, чтоб заглянуть в ярко освещенное нутро, как из двери вынырнула какая-то гнусная личность и, любезно оскалившись, предложила войти. Кроме этих капищ современной Астарты, бойко торговали десятки пивнушек и забегаловок, африканцы ели кус-кус, китайцы трепангов, несмотря на поздний час, шла торговля в галантерейных и парфюмерных лавчонках, а в щелевидных растворах у игорных автоматов в тщетной надежде перехитрить теорию вероятности толпились старики и мальчишки. За исключением двух или трех вышедших в тираж матрон, обслуга везде была мужская, женщина — не рисованная, а во плоти — ощущалась где-то рядом, за стеклом, за занавеской. За по́смотр здесь надо было платить. От залитого электрическим светом бульвара ответвлялись полутемные переулочки, где шныряли какие-то тени, а на углах под фонарями стояли по двое или по трое подгримированные юноши в тесно облегающих ляжки расклеванных штанах и в низко вырезанных на груди тельняшках.

Мы с Успенским шли не торопясь, но нигде не задерживаясь, изредка сторонясь, чтоб пропустить какую-нибудь человеческую развалину, но не уступая дороги атлетического сложения нахамам и их разрисованным бабам. Раза два мы переглянулись, и я понял, что нам доставляет удовольствие одно и то же — неожиданно возникшее в этом сомнительном месте чувство общности. Нам было приятно, что мы смотрим на всю эту круговерть совершенно одинаково, со спокойным интересом патологов. Нам нравилось и то, что при некоторой разнице в возрасте и сложении мы два еще крепких парня, которые при случае сумеют постоять друг за друга.

— Тыфу, сволочь! — буркнул Паша. — Как живая..

Я оглянулся. В стеклянном киоске за столиком сидела седая женщина с соевой на плече. У женщины было строгое, породистое лицо, ее тонкие розовые пальцы шевелились над разложенными перед ней картами. Действительно, с первого взгляда было трудно догадаться, что это кукла. Успенский, хмуро посмеиваясь, вынул из кармана монетку и бросил ее в вертикальную прорезь автомата. Внутри что-то пошипело, как в кассовом аппарате, и из горизонтальной прорези высунулся билетик размером чуть побольше кассового чека. На билетике я

разглядел изображение какого-то из знаков зодиака и отпечатанный убористым шрифтом текст. Я протянул руку.

— Дай переведу.

— Потом.— Паша и хмурился и смеялся. Билетик он сунул в карман.— Ты суеверен, Леша?

— Не больше, чем любой хирург. Но механическая гадалка — это что-то уж чересчур глупое.

— Глупость не знает слово «чересчур». Люди верили и в более глупые вещи... Ах, скоты! — Он больно сжал мое плечо.— Погляди-ка. Вон на ту книжицу...

По соседству с гадалкой, в вынесенном на тротуар застекленном стенде очередного секс-шопа стояли выставленные для продажи томики. Стоили они гораздо дороже, чем хорошие книги, это и понятно, отравы во все времена стоила дороже хлеба. Человек, которому в качестве инструкции нужны «Сто различных способов любви», — белван и заслуживает, чтобы с него драли шкуру. Но Успенский тыкал пальцем не в «Сто способов», а в глянцевого томик с эсэсовскими молниями на обложке. Литеры-молнии тут же расшифровывались: СС — секс, садизм, а картинка изображала стоящую на коленях голую женщину, со страхом взирающую на рослого эсэсовца в лакированных сапогах и с длинной плетью в руке. Женщина была розовая, а эсэсовец темно-зеленый, как кузнечик. Рисунок был сделан совершенно в той же манере, в какой рекламируются сигареты «Лайки страйк» и хвойный экстракт для ванн.

— Пойдем,— подтолкнул меня Паша. Из двери шопа уже высунулась какая-то мерзкая рожа, и мы поспешно ретировались.— Пойдем выпьем пива, у меня аж в горле пересохло от злости.

Пиво мы пили у ближайшего стояка.

— Ты понимаешь, в чем гнусность такой книжонки? — Паша еще кипел.— Автор, конечно, делает вид, будто он разоблачает жестокости фашистских концлагерей. Вранье. Все это на потребу самому гнусному обывателю. Обыватель задавлен своей вечно озабоченной женой, источен завистью к тем, кто талантом, силой или деньгами захватил лучших баб. А тут такая неограниченная власть над десятками обреченных женщин, власть над телами и даже над душами. Эта книжица — порнография не потому, что она слишком откровенна, а потому что она — услада стареющего мещанина и учебное пособие для начинающего сутенера. Всякий сутенер — это потенциальный фашист...

Стоявший рядом с нами франтоватый субъект неприязненно зашевелился. Успенский его не видел, и мне пришлось подмигнуть.

— Ты что? — удивленно спросил Паша.

— Ничего. Здесь понимают по-французски.— Паша продолжал недоумевать, и я пояснил: — Это французское слово.

Наконец-то Паша понял. Он засмеялся и, круто повернувшись к франтику, не таясь осмотрел его всего — от надвинутой на лысеющий лобик каскетки до сиреневых мокасин. Франтика я заметил с самого начала, он пришел раньше нас и, судя по тому, как медленно он тянул свое пиво, не собирался скоро уходить. У франтика была нечистая кожа на лице и впалая грудь, красоту и силу ему заменяло написанное на его роже недоступное рядовому человеку выражение крайнего бесстыдства, вряд ли для этого субъекта существовали какие-нибудь запреты, кроме полицейских. Бесцеремонность, с какой его разглядывал иностранец, ему явно не нравилась, но у иностранца был слишком внушительный вид, к тому же иностранцев было двое, и он предпочел не связываться. Побушив опасный блеск в глазах, он притворно зевнул и стал смотреть на улицу. Паша тоже отвернулся.

— Вот такой сукин сын,— сказал он,— такая мокрица, такой по-донок — надеюсь, здесь все слова русские? — такое мерзкое насекомое имеет неограниченную власть над душой и телом двух-трех несчастных девчонок, он собирает свою дань с каждого коитуса, и обмануть его опаснее, чем налоговое управление.

— Но ведь во Франции запрещена проституция? (Я совсем забыл, что это тоже французское слово.)

— Запрещена, да что толку! Как будто во время сухого закона в Америке не пили. Зло не уничтоженное, а отмененное не перестает существовать, а только становится лицемернее. Запрет чаще всего признак слабости, а не силы.

Мы допили свои бокалы и, нарочно еще раз, как подопытное животное, осмотрев нашего соседа, двинулись дальше в сторону Пигаль.

Толпа становилась все гуще и пестрее. Пьяных я не видел, но все лица казались воспаленными, а падавшие на них отсветы люминесцентных ламп и рекламных огней еще усиливали это впечатление.

Из толпы вывернулся мальчишка лет двенадцати и, сунув нам в руки по рекламному листку, понесся дальше. Паша полез было в карман за очками, но потом раздумал.

— Что там такое?

— «Strip-tease permanent de 14 h 30 à l'aube. Avec les nus les plus jolie et les plus sexy de Paris»²⁵,— прочел я.— С полтретьего дня и до зари. Представляю себе этот конвейер!

— Пропади они пропадом, эти шлюхи! Детей бы хоть не трогали. Что хорошего может выйти из такого вот зазывалы? Давай выпьем еще чего-нибудь. Только сидя.

— А не хватит?

Успенский посмотрел на меня внимательно.

— Вот что, Лешенька, условимся. Не хочешь — не пей. А контро-ля мне и дома хватает.

— Ну хорошо. Только немного.

Каюсь, я быстро сдался. Хуже того — мне самому захотелось выпить. На Пигаль мы нашли подходящее заведение и сели так, чтоб видеть толпу. Паша заказал мартини.

— Хоть бы детей не трогали,— передразнил он сам себя.— И не заметишь, как ляпнешь пошлость. А как их не трогать, когда все связано одной веревочкой. И ругать Париж как рассадник всяческого греха тоже пошлость. Французы не хуже других. Шведов, например. И на месте наших я бы тоже не очень заносился. У меня большая депутатская почта, иногда узнаешь такие факты—оторопь берет. Газеты если и пишут о них, то непременно с подвыванием: казалось бы, невозможно, казалось бы, немислимо... Дескать, исключение... Но ведь мы с тобой экспериментаторы и знаем, как опасно сбрасывать со счета исключения, мы-то должны понимать, что исключение это чаще всего сигнал. Человек все еще довольно жестокая и разнузданная скотина, и не надо забывать ленинские слова о том, что переработка всех тысячелетних навыков — дело десятилетий. Конечно, можно изобразить дело таким образом, что для нас эти десятилетия давно пройденный этап, но за самодовольство потом приходится расплачиваться... В последний раз я был в Париже осенью. И попал в эти места днем. Днем здесь скучно и почти благопристойно, ты видел, мы проезжали вчера. И вот где-то между Бланш и Пигаль меня захватил дождь. Веселенький такой дождичек, вроде грибного. Все попрятались кто куда, и я тоже стал

²⁵ Стриптиз непрерывно с 14-30 до зари. С самыми красивыми и сексуальными обнаженными женщинами Парижа.

под навес. Оглядываюсь, сзади меня крыльцо, отгороженное от улицы раздвижной решеткой. От нечего делать заглядываю внутрь: солидная входная дверь, как в банке или в министерстве, а по бокам два матовых стекла в человеческий рост. Ничего интересного. Вдруг появляется из какой-то боковой щели миловидная женщина с ведром и тряпкой, а с ней кудрявый мальчуган лет пяти и тоже с ведром. Мать щелкает выключателем, матовое стекло освещается, и что же я вижу: это не стекло, а цветной диапозитив, а на нем в самой скотской позе изображена голая девка, пес ее знает, может, она сама. И эти двое как ни в чем не бывало принимаются мыть и протирать, мать где повыше, а сын где пониже. Так вот скажи мне, Олег, что может получиться из этого мальчонки?

— Как знать,— сказал я.

Успенский рассердился.

— Это вы весьма глубокомысленно... Теоретически не исключено, что из него выйдет новый Пастер. Или Ромен Роллан. Но гораздо вероятнее — гангстер. Стриптиз — плохой детский сад.

— А ты был в стриптизе?

— Был. Только не здесь.— Успенский вдруг захохотал.— Ты знаешь, кто нас повел? Покойный Лапорт. Ну да, тот самый знаменитый Лапорт, член Института и командор. В свое время он был нашим гостем, и мы водили его в «Арагви» и на «Лебединое озеро». А в Париже он пригласил нас к себе домой, и это на весь вечер избавило нас от Вдовина и Барского. Мы прекрасно провели время, а затем старик сам предложил нам поехать: «Для вас это запретный плод и может позабавить. Только не думайте о французах плохо, как явствует из самого слова, *strip-tease* не наше изобретение». И мы поехали всей компанией: мсье, мадам (ох, надо позвонить старушке...), дочь-разводка и мы. Конечно, не на Пигаль, а в самое дорогое заведение для богатых американцев, где можно не опасаться никаких эксцессов.

— Ну и что это такое?

— Кабаре. В темном зальчике понатыканы столики и диванчики так тесно, что временами я чувствовал, как какая-то сволочь дышит мне прямо в шею. А в остальном все как в любом кабаре — подмости, световая аппаратура и бархатный занавес. Номера с раздеванием вперемежку с обычными. Один номер поразил меня в самое сердце. Клоун на батуте. Ты знаешь, что такое батут? Мягкий трамплин. Такой узкий, туго натянутый ковер, он пружинит. И на нем клоун. А вернее сказать, не клоун, просто грустный человек. Вроде Чаплина, только очень сегодняшний, прилично одетый, похожий на коммивояжера, с тростью и чемоданчиком. Он хочет пройти по этой зыбкой дороге, но спотыкается, падает, взлетает в воздух и уже не может стать на ноги. Батут заставляет его прыгать, и он уже не в силах остановиться, он приземляется то боком, то лбом, то чемоданчиком, который он не смеет выпустить из рук, а батут швыряет его все сильнее и бьет так, как может бить судьба. А сзади на декорации мелькает огнями большой город, не понял какой, Париж или Нью-Йорк, город корчит рожи, а на губах человечка застывшая улыбка и в глазах даже не страх — покорность. Черт знает как талантливо! Но — страшно. И еще страшнее оттого, что многие смеялись. И я тоже. Только Бета окаменела.

Паша допил свой бокал и сделал знак гарсону: *répétez!*²⁶. Я не очень сопротивлялся.

Пока гарсон бегал за новой порцией, мы разглядывали толпу. Людей стало еще больше, тротуара уже не хватало. Не отдельные

²⁶ Повторите!

прохожие, а вязкая пузырящаяся челсвеческая лава расплзлась по бульвару. Пестрая, глазастая, подчиненная сложным и невычислимым законам движения и соударения. Яркие освещенные неоновыми трубками реклам и цветными фонариками лица казались лакированными, как карнавальные маски, да и в одеждах было что-то маскарадное, мелькали чалмы и тюрбаны, кричаще-яркие рубашки африканцев и узкие белые штаны индокитайцев, бурнусы и бубу арабов, тирольские шапочки и замшевые шорты западных немцев, джинсы и мохнатые техасы. Прошагал какой-то иссохший субъект в цилиндре, он вел под руку белесую девицу в вельветовых брюках и кедах, на плечах у девицы был овчинный тулуп шерстью наружу, только, кажется, без рукавов.

— Ну, а насчет этого самого,— вяло сказал Паша.— Не знаю, как тебе объяснить. По-моему, малоинтересно. Мы с тобой медики и анатомии проходили не по атласу. Для меня обнаженная женщина — возлюбленная или пациентка. Третьего не дано.

— Ты забыл про искусство.

— Ну да, ты прав,— так же вяло согласился он.— Но там искусством даже не пахнет. Вот клоун — это искусство...— Он задумался, вспоминая, и вдруг захохотал.— Представляешь себе картину — кончается первое отделение, время уже далеко за полночь, поглядел я на наших хозяев и вижу: профессор дремлет, мадам вяжет на спицах, у дочери сводит скулы, но хорошее воспитание не позволяет зевнуть. Мы встали, поблагодарили, сославшись на усталость... Нет, эта пастеризованная эротика не по мне. Уж лучше повели бы нас в какой-нибудь гнусный вертеп, но как можно... А впрочем, знаешь что?..

С минуту Паша раздумывал, но я уже отлично понимал, что за этим последует.

— Пошли,— сказал он, вставая.

— Стоит ли?

— Боишься провокаций? Брось. Неужели два таких парня, как мы с тобой, оплошают в любой переделке?

Подходящий вертеп мы нашли не на бульваре, а в начале темного, упирающегося в гору переулка. Вышедший нам навстречу огромный негр — висевший на груди карманный фонарик освещал устремляющей мощи подбородок — взял с нас за вход сущие гроши и так аккуратно отсчитал сдачу, что у меня шевельнулась мысль: если здесь не режут или хотя бы не раздевают людей, предприятие должно быть совершенно нерентабельным. Затем мы, сопровождаемые негром, спустились на несколько ступенек вниз, негр отдернул тяжелую, пахнущую столетней пылью портьеру, и мы увидели длинный и узкий, чуть побольше обычного вагона-ресторана полутемный подвал. Освещен был только пятачок — крошечная эстрада, расположенная в средней части, впритык к правой стенке. За эстрадой помещалась закулисная часть, отделенная от публики размалеванной парусиной, оттуда доносились какие-то хриплые джазовые звуки. Но все это мы разглядели потом, в первую минуту наше внимание было отвлечено двигавшейся по узкому проходу голой женщиной. Она шла прямо на нас, очень медленно, закинув руки за голову, глаза ее с очень длинными, вероятно, наклеенными ресницами были полузакрыты. Подойдя к нам почти вплотную, она мягко повернулась и так же медленно, слегка покачивая бедрами, прошла обратно, поднялась на возвышение, еще медленнее повернулась вокруг своей оси и ускользнула в прикрытую разрисованной парусиной щель. Раздалось несколько вялых хлопков, пьяный женский голос выкрикнул нечто невнятное, мужской заржал. Когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидел, что все столики, кроме одного у самого входа, заняты. Мы присели за этот столик и только

начали осваиваться, как перед нами возник мерзкого вида субъект в смокинге, с прямым пробором в сальных от бриолина волосах. Склонившись перед нами, он торжественно заявил, что дирекция и труппа «Парадиза» счастливы приветствовать иностранных гостей и показать им свое искусство. Затем более будничным тоном спросил, что мы будем пить. И уже совсем интимным шепотом добавил: если уважаемым господам будет угодно разделить компанию с двумя прелестными артистками труппы, то дирекция примет все меры, чтобы устроить нас поудобнее. Это уже попахивало вымогательством, но Успенский только усмехнулся и кивнул. Через несколько минут к нам подошли две молодые женщины, поклонились и, взяв нас за руки, повели к столику, расположенному против служившего эстрадой пятачка и захватанной занавески, прикрывавшей ход за кулисы. Мы уселись вчетвером на мягкий, сомнительной чистоты диванчик, я рядом с Успенским, наши дамы по краям. Человек-пробор принес нам четыре высоких стакана, где было много льда и совсем немного виски. По правилам «Парадиза» платить надо было немедленно, Паша не моргнув глазом заплатил десятикратную цену и сердито оттолкнул мою руку, когда я попытался сунуть ему свои франки.

Как мне теперь кажется, ни я, ни Паша не ощущали никакой неловкости. Посещение «Парадиза» было экспериментом, а экспериментаторы этого чувства не знают. К тому же моя соседка оказалась своей бабой, некрасивой, но свежей, с милым крестьянским лицом. Она сразу же объявила, что я «sympatique» и «bon gars»²⁷, и после первого глотка обняла меня за плечи, впрочем, скорее по-товарищески, чем с целью обольщения. Болтала она без умолку.

— Вы славный. И говорите почти как настоящий француз. Нет, вы в самом деле из России? У нас тут рассказывают про вас всякую чепуху. Да ну, не важно... У вас тоже, наверное, говорят, что все французенки шлюхи. Не говорят? Очень рада. Давайте выпьем... А потом вы закажете шампанского, правда? Я люблю «Veuve Cliquot». А ваш друг, наверно, важная шишка. Ну-ну, не врите мне, у меня глаз наметанный. Видели последний номер? Ах, только самый конец? Это Ортанс, она из Марселя. Видели, как она шла по проходу? Мы так не ходим, только она. Ее никто не заденет, даже самый пьяный. Почему? Потому что у нее такой друг — вон он сидит в том углу, поглядите, только незаметно, — с ним лучше не связываться, и это все знают. Он — как бы это сказать? — очень вспыльчивый. Вам повезло, сейчас будет гвоздь программы — Надя Камерун. Русская? Ха! И не русская и не африканка, такая же нормандская корова, как я. Теперь так модно. Надя — челнок. Не понимаете? Ну, гастролерша. За ночь она объезжает на такси все площадки от Бланш до Анвер два, иногда три раза, я бы так не могла. Зато и зарабатывает!

Пока моя соседка болтала, я успел рассмотреть и вспыльчивого друга Ортанс, сидевшего в компании двух таких же чернявых молодчиков итальянского типа, и компанию подающих надежды подростков, притворявшихся завсегдатаями, и пожилого араба с девчонкой лет пятнадцати, у девчонки были пухлые губы и испуганные глаза. Здесь же оказалась та странная пара, которую я углядел еще на бульваре, — иссохший субъект и белесая девица. Девица дурила, пыталась нахлобучить старику цилиндр на его голый череп, а когда тот начинал сердиться, хохоча целовала в морщинистую щеку.

Я привык к легкости, с какой Паша умел находить общий язык с самыми разными людьми, и тем более был удивлен, что ему никак не удавалось разговаривать свою даму. Она сидела очень прямо, сложив

²⁷ Симпатичный; хороший парень.

на коленях тонкие обнаженные руки, и на все вопросы отвечала односложно, ни разу не улыбнувшись. У нее было прелестное лицо — классически правильное, точеное, а при этом довольно темное, суровость этого лица и привлекала и настораживала. Я никак не мог угадать ее национальность. Пришлось спросить Веронику. К этому времени я уже знал: мою соседку зовут Вероника, но это артистическое имя, а крещена она как Жанна-Мари, имя подходящее, чтоб доить коров, но не для «Парадиза». Вероника очень оживилась.

— Ага, понравилась? Ладно, ладно, я не ревнива. Тереза — моя подружка. Фу, совсем не в том смысле, просто она очень хорошая. Нагнитесь, я не хочу говорить громко. Тереза — креолка. Ну да, с Антильских островов. Тут у нас говорят, что для креолки она уж очень черна, но мне на это наплевать, вам тоже, да? Дирекция ее не любит, хочет уволить. За что? Будто она недостаточно — как вам это объяснить? — недостаточно sexu и потому не имеет успеха. По-моему, это подло так говорить, а впрочем, увидите. Конечно, увидите, она выйдет сразу после Нади. Тереза очень гордая, не умеет выпрашивать угощение, приходится мне по дружбе стараться за двоих. И еще дирекции не нравится, что у нее есть жених. Смешно, правда? Нет, он сюда не ходит, но всегда встречает или провожает — это смотря по тому, в какой он смене работает. Очень симпатичный, только слишком молодой, ему девятнадцать — это еще не мужчина, правда? Мне больше нравятся мужчины вроде вас — вы же еще не старый... У меня жених? Ох, насмешили! Женихов полно, только жениться не хотят. Зато у меня есть сын. Сколько ему? Скоро три. А вы сколько думали — двадцать? Его зовут Ги. Знаете, какой у меня сын!.. Солнышко...

Я взглянул на Веронику, то бишь Жанну-Мари, и поразился. Она даже похорошела.

Вскоре над пятачком вспыхнул яркий свет, и человек-пробор объявил выступление Нади Камерун. Надя оказалась очень рослой и статной блондинкой в расшитом черным стеклярусом вечернем платье. В ответ на аплодисменты она царственно улыбнулась и не теряя времени начала раздеваться. При этом она принимала весьма смелые позы, долженствующие изображать призыв и томление, но меня почему-то с самого начала разбирал неприличный смех.

Человек так устроен, что самая скорбная мольба, самый жизне-радостный призыв от бесконечного повтора выхолащиваются. Исчезают обертоны — независимые от нашей воли свидетели искреннего чувства, стираются тончайшие, как ворс, призвуки, остается только звуковой скелет, затем и этот безжизненный скелет искажается, превращается в карикатуру. В криках уличных торговцев, в дьячковском бормотании, в возгласах профессиональных нищих и в имитирующих страстное томление движениях Нади было нечто неуловимо общее, и меня позабавила мысль, что ослепительная Надя среди своих конвульсий, вероятно, ни на минуту не забывает об ожидающем ее в переулке такси с включенным счетчиком.

Публика была в восторге. Белесая девица все время мешала своему спутнику смотреть и даже пыталась завязать ему платком глаза. В конце концов она схлопотала пощечину, взвизгнула, но сразу успокоилась и начала бешено аплодировать. Финал выступления шел под барабанную дробь, как смертельный номер. Затем свет вырубил, и тут мы с Пашей отвели душу. Мы беззвучно сотрясались и толкали друг друга локтями. Единственное, что нас сдерживало — не хотели обижать наших спутниц. Свет долго не включали, у входа шла какая-то возня, мимо нас пробежал вездесущий человек-пробор, на помощь ему явился светящийся негр, вдвоем они выволокли наружу кого-то,

не слишком сопротивлявшегося. Когда порядок был восстановлен, мы трое — Вероника, Паша и я — чуточку позлословили о Наде-челноке, пока молчаливая Тереза не сказала: «Боже, о чем вы говорите. Здесь не Гранд-Опера. Она — то, что нужно». И вновь замолкла.

На нас давно уже поглядывал человек-пробор, и Вероника опять заговорила о шампанском, гордая Тереза ее не поддержала, мы с Пашей промолчали, и она сдалась.

— Ну шут с вами, вы такие симпатичные, и мне лень вас обирать. Закажите еще виски — и точка.

— Скажите, Вероника, — спросил я. — Виски не мешает вам работать?

Вероника посмотрела на меня с нескрываемой иронией.

— Помогает. Тереза правильно сказала — здесь не Гранд-Опера.

Успенский в это время пытался выяснить у Терезы, нравится ли ей работа в «Парадизе», но Тереза то ли не понимала его, то ли не хотела понимать, и мне пришлось перевести вопрос. Тереза вспыхнула. Это было видно даже сквозь ее темную кожу.

— Нравится, — сказала она с вызовом. — Очень нравится. Знаете, кем я была у себя на островах? Судомойкой, потом официанткой. И всякий скот от хозяина до последнего забудьги считал, что я всеобщая подстилка и он может надо мной измываться. А здесь я хоть и дерьмовая, но артистка, и если какой-нибудь балбес даст волю рукам, Большой Пьер выбросит его на улицу.

Она нервно поднялась с места, ее маленькие ноздри раздувались. Впрочем, она сразу же взяла себя в руки и впервые улыбнулась. Улыбкой она извинялась за вспышку. Больше она не присела — пора было готовиться к выступлению.

Минут через пять она появилась на возвышении, закутанная в длинную черную мантилью. Для ее выхода в прожекторную лампу, освещавшую пятачок, была вставлена рамка с оранжевым целлофаном, а сама лампа сдвинута вбок. Из-за занавески доносился глухой гитарный рокот, одна многократно повторяющаяся и почти неизменная фраза, скорее фон, чем аккомпанемент. С минуту Тереза стояла как каменное изваяние, обратив к целлофановому солнцу свой суровый и прекрасный профиль, затем неуловимым движением плеч сбросила к ногам мантилью и осталась в длинном хитоне из шелкового газа. Лицо ее по-прежнему было обращено к светилу, ни мы, ни притаившийся в полутьме зал для нее не существовали, она никого не видела и, казалось, не помнила, что ее видят другие. Она была наедине с солнцем, с древним божеством, искони почитаемым людьми как источник всего живого, и я был готов поверить, что вместо подвальной сырости и табачного смога она дышит соленой влагой тропического моря. Все, что я увидел потом, меньше всего было похоже на раздевание, это было священнодействие, обряд, медленная смена скульптурных поз, наверняка никем не подсказанных, а закодированных в подсознании, унаследованных от далеких индейских или африканских предков. Может быть, именно так, наедине с солнцем, посвящали себя богам юные жрицы, может быть, у каких-то ныне исчезнувших языческих племен достигшие брачного возраста девушки совершали этот несложный и целомудренный обряд благодарения, не знаю, здесь я профан. Скажу только, что театральная Саломея, танцующая с дозволения реперткома танец семи покрывал, по сравнению с Терезой показалась бы мне пожилой шлюхой. Я ни разу не уловил момента, когда спадали покрывала, казалось, они таяли и облетали под действием солнечных лучей, на короткий миг мы увидели Терезу обнаженной, и я искренне пожалел, что свет так быстро погас, — я никогда не видел более совершенного человеческого тела.

Администрация была права — Тереза не имела никакого успеха. Хлопали только иссохший субъект и белесая девица в овчине. Я тоже хлопнул несколько раз, и то потому, что огорченная чуть не до слез Вероника дернула меня за локоть — хлопать не хотелось. Хотелось помолчать.

Через несколько минут вернулась Тереза в том же простеньком платьице из лилового поплина, и мы с Успенским не сговариваясь разом поднялись и стали прощаться. Большой Пьер осветил нам фонариком, и мы вышли наружу. После «Парадиза» отравленный бензином воздух бульвара показался нам райски-благоуханным.

— Славные девки,— пробурчал Паша. И вдруг ухмыльнулся.— Вот что значит быть в плену предвзятых представлений. У себя в лабораториях мы бубним, что нет ничего опаснее предвзятых мнений, но стоит нам выйти за дверь... Знаешь что, Леша? Ну ее к бесу, эту Пигаль. Пойдем посидим четверть часика насупротив чертовой мельницы, выпьем — не пугайся! — по чашечке кофейку. И подадимся до хаты.

— Здесь тоже чрево,— сказал Успенский.— Центральный рынок — пищевод и желудок. Выделительные органы — здесь.

Паша был прав — площадь разительно напоминала залитую беспощадным светом бестеневых ламп вскрытую брюшную полость. У мельницы был цвет тронутой циррозом печени, наполненные светящимся газом тонкие и толстые трубки реклам свивались в гигантский кишечник, залитый светом вход в кабаре блестел, как оттянутая сверкающими корнцангами брыжейка, за тугим, как переполненный мочевой пузырь, желто-розовым фонарем над входом угадывалась увеличенная, грозящая аденомой предстательная железа. Я сказал об этом Паше. Он захохотал.

— Вот уж чего никогда не подозревал у тебя — поэтического пафоса. Признайся, пописываешь?

— Некогда,— сказал я.— Так, иногда, когда не спится.

— Что же ты пишешь?

— Могу ответить, как наш великий собрат доктор Чехов. Все, кроме стихов и доносов.

Паша посмотрел на меня внимательно.

— Вот как, у тебя тоже бессонница? Что ты принимаешь?

— Ничего.

— Понимаю: прогулка перед сном и тому подобное? Честь и хвала. А я вот жру всякую отраву. И ничто меня не берет.

— Зачем же ты пьешь кофе?

— Именно поэтому.

Мы сидели в том же кафе, за тем же вынесенным на тротуар столиком. Толпа, мелькание рекламных огней и вращение мельничных крыльев уже не воспринимались порознь, а слились в пестрый звучащий фон. Мы были только вдвоем и впервые за много лет чувствовали себя легко. До вражды между нами никогда не доходило, но существовало напряжение. Теперь оно ушло. Было ли это только мимолетным ощущением общности, которое возникает даже у случайных спутников, когда они оказываются на чужбине? Этого я никогда не узнаю. Паша смотрел на меня ласково.

— Ты хорошо говорил сегодня, Леша. Я почти все понял, а чего не понял, мне растолковал Вагнер. Отлично, я бы так не смог.

— Перестань.

— Ты ведь знаешь — я не мастер на комплименты. Это мое искреннее мнение. Неофициальное — **учти**.

— Оно может измениться?

— А ты как думал? В политике важны оттенки. И общая ситуация. Не поручусь, что при некотором изменении ситуации тебе не припомнят кое-какие формулировочки.

— Например?

— Ну, мало ли... Насчет общечеловеческих интересов.— Он посмотрел на меня и засмеялся.— Да ты что — всерьез? Шучу. Уж если нагорит — так нам обоим. Нет, ты молодец. Раньше я думал, что я взрослый, а ты все еще мальчик. Оказывается, ты уже большой. А я — старый.

— Перестань. Ты здоровенный мужик. На тебя еще девки заглядываются.

— На здоровье я и не жалуюсь. Правда, бывают перебои с сердечником, но я к этому давно приспособился, все это в конечном счете ерунда. Дело совсем в другом. Наша сознательная жизнь движется по спирали, которую большинство по дурусти принимает за прямую линию. На долю каждого приходится примерно два витка. Это мало, очень мало, никто не знает этого так, как мы, геронтологи. И редкие люди, находясь на середине этого витка, способны пересмотреть себя и от чего-то отказаться. Старость — это прежде всего неспособность начать новую жизнь. Умница Дау сказал мне когда-то, что в современных пьесах его больше всего смешит старый профессор, который целых три акта не хочет признавать какую-то очевидную для автора истину и травит опередившего свое время новатора, а в четвертом вдруг прозревает и лезет с ним обниматься. А в жизни обычно бывает так: профессор помирает, его с почетом хоронят, а истина торжествует — потому что таково уж свойство истины — без его участия. Своевременно или несколько позже. Ты знаешь, когда я впервые понял, как я стар? На своем юбилее. Представляешь себе, Лешка, какая ирония судьбы — именно тогда, когда у товарища есть меньше всего оснований для самодовольства, подкатывает круглая дата и устраивается нечто вроде генеральной репетиции его будущих похорон: клянутся в любви и уважении и хвалят, хвалят за все чохом — и за то, чем можно гордиться, и за то, чего надо стыдиться, хвалят истинные друзья, которым ведомы мои пороки, и тайные недоброжелатели, которым не по душе мои достоинства. При этом непременно говорится, что товарищ находится в самом расцвете творческих сил, но звучит это совершенно так же, как «покойный был чутким и отзывчивым товарищем». Все это, голубчик, тебе еще предстоит.

— Ну нет. Мой юбилей не выйдет за стены лаборатории. Мне противопоказан этот жанр.

— Недаром ты отказался выступать на моем юбилее. Отговорился, будто не умеешь говорить на большой аудитории.

Я почувствовал, что краснею.

— Кто тебе это сказал?

— Донесли,— спокойно сказал Паша.— Но ведь правда?

— Правда.

— Хорош гусь. Это ты-то не умеешь.

— Не умею, когда я не свободен. Я восхищаюсь тобой и многим тебе обязан, но наша дружба последнее время была слишком трудной, чтоб мои славословия прозвучали искренне. Все бы это заметили. И ты — первый.

— Ну что ж, ты, пожалуй, прав.— Паша раздумывал и хмурился. Затем подмигнул.— А все это, Леша, потому, что ты не привык выступать по-писаному. Напиши заранее что-нибудь вроде «меня глубоко взволновало выступление предыдущего оратора», и на трибуне остается одна забота — правильно ставить ударения.

Паша шутил, но шутливый тон у него не получался, и он сам это почувствовал.

— А если не шутя, я всегда знал, что ты искренний человек.

— Но не всегда считал это достоинством?

— Не всегда. В определенных условиях...

— Это мне знакомо. Нет такого хорошего существительного, которого нельзя испортить прилагательным.

— Лешка, ты обнаглел! Сегодняшний успех вскружил тебе голову. Хорошо, давай начистоту. Трудная дружба... Трудная — это ведь тоже прилагательное? Что стало между нами? Бета?

Это был выпад совершенно в стиле Успенского. И поначалу я немного растерялся.

— При чем тут Бета? Вернее, при чем тут ты?

— Не увиливай.

— Бета — совершеннолетняя. У меня могли быть счеты с ней. Но не с тобой.

Паша задумался, соображая.

— Правдоподобно. Но неправда.

— Почему?

— Потому что так не бывает. Ты обязан был считать меня сукиным сыном. Совратителем и погубителем. Иначе ты не мужчина.

— Может быть, так оно и было. Первое время. Сейчас нет.

— Тогда что же?

Я подумал: стоит ли? И устыдился.

— Скажу. Дискуссия. Илюша. Вдовин.

Даже в обезличивающем неоновом мелькании я увидел, как у Паши окаменела щека. У него всегда каменела щека, когда ему задавали вопросы, на которые он не хотел отвечать, и в таких случаях лишь немногие решались повторить вопрос. Но я его ни о чем и не спрашивал. Спрашивал он и получил ответ. Я считал уже тему закрытой, когда Паша неожиданно улыбнулся:

— Ты, кажется, ждешь от меня исповеди?

Я промолчал.

— Душевный стриптиз,— сказал Паша,— ничем не лучше физического. Дело не в том, что я боюсь открыться, а в том, что это заведомо бесцельное предприятие. Ты меня просто не поймешь.

Я опять промолчал.

— Если ты обиделся (я в самом деле немножко обиделся), то ты болван. Я совсем не хочу сказать, что я сложная натура и твоих примитивных мозгов не хватит, чтобы в ней разобраться. Но нельзя требовать от тебя, чтоб ты понимал то, в чем недостаточно разбираюсь я сам. Я сегодняшний уже с трудом могу восстановить ход моих мыслей и логику поступков десятилетней давности, и к моим свидетельствам о самом себе надо относиться так же, как к любым свидетельским показаниям. Мы проникли в космос, овладели сложнейшими методами познания, но еще плохо понимаем других людей и самих себя. Тут мы остаемся схоластами. Нам по-прежнему кажется, что наиболее естественным состоянием человека является равномерное и прямолинейное движение, а сами мы на любом отрезке равны себе. Для себя еще делают исключения, для ближнего никогда, собственная траектория всегда кажется нам единственно возможной. А ведь вычислить путь человека труднее, чем ход светил или траекторию ракеты, меняемся мы, меняются обстоятельства, и не существует простой формулы вроде эйнштейновской, которая определяла бы меру зависимости свободной воли от обстоятельств.

Я опять промолчал. После такой преамбулы не имело смысла подавать реплики. Если захочет — заговорит сам. Так оно и вышло.

— Мы с тобой знаем друг друга добрых тридцать лет, но это только так говорится «знаем». Мы движемся в одном направлении, но в разных плоскостях, у нас неодинаковые точки отсчета. Мы пришли в науку в разное время и с разным багажом. Что ты знаешь о времени, когда научная интеллигенция саботировала, а идеи материалистической философии открыто поносились с университетских кафедр? И я ощущал себя прежде всего партийным бойцом. Революцией призванным. В Колтушах я был для многих анфан террибль, бешеный огурец, шутка ли — спорил с самим Павловым. А ведь спорил! Стоя навтыжку перед гением, ужасаясь своей дерзости, — но спорил. Он меня любил. Ты видел Сталина только на Мавзолее, а я так, как вижу сейчас тебя. Видеть Сталина так близко, это значит видеть и больше и меньше других.

— Ты с ним тоже спорил? — У меня не было намерения съехидничать, и Паша это понял.

— Нет. А впрочем... — Он усмехнулся. — Началось как раз со спора. Мы познакомились у Горького. Он там бывал, а я попал случайно. Сталин спросил, не из духовных ли я, я сказал, что нет, мой отец был сельский учитель. «Вас выдает ваша фамилия». Что-то меня задело, и я ответил, что за дедов не ручаюсь, но сам я получил образование не в духовной семинарии, а на рабфаке. Кругом обмерли, но Сталину это почему-то понравилось, он стал меня спрашивать, кто я и что я. Заговорили о физиологии, и опять вышел спор. После этого я видел его много раз, и превращением нашей лаборатории в Институт я целиком обязан ему. Но ты прав — больше я никогда с ним не спорил. Хотя спорить любил. Было время, когда я считал, что нет ничего важнее и увлекательнее политической борьбы. Больше всего я любил открытую полемику, я искал идейного противника, чтобы помериться силами. Я упустил тот момент, когда, нанося удары, перестал получать сдачи. Мсье! — закричал он пробегавшему гарсону и пояснил: — Хоть убей, не могу называть взрослого мужика гарсоном. В Германии официанта зовут Негг Обер — это как-то солиднее.

— Ты хочешь еще кофе? — спросил я.

— Да, и с коньяком. Иначе я не засну.

— Ты говоришь — дискуссия, — продолжал он, когда официант принес заказанное. — Сегодня я не хуже тебя понимаю, что она не сплотила, а разъединила научные силы, разожгла темные страсти и надолго отравила атмосферу в Институте. С моей стороны было бы низостью утверждать, что кто-то меня заставлял провести ее именно так. Я все сделал своими руками. И то, что хотел, и чего не хотел. После войны у нас в Институте началось великое брожение умов и переоценка многих ценностей, люди как будто задалась целью пережеголять друг друга новизной и парадоксальностью суждений. Всех обуяла жажда гласности, наши мальчики стали выступать везде, где их хотели слушать, все это, на мой тогдашний взгляд, приобрело совершенно разнужданный характер. В инстанции начали поступать сигналы, меня стали вызывать: дескать, ваши мальчики проповедуют философский идеализм, низкопоклонствуют перед буржуазными авторитетами и покушаются на престиж столпов советской биологической науки. Ну, ты понимаешь, кто имелся в виду. Кто-то из наших, говоря о Мальтусе, вместо того чтоб предать его установленному проклятию, ляпнул, что при всей порочности его выводов старик заслуживает благодарности хотя бы за острую постановку демографических проблем. Матушки, что тут началось! Вывод с моей точки зрения мог быть только один — надо навести порядок в мозгах, свободная, но умело направляемая дискуссия озонирует воздух, а наличие противника поможет нам отточить наше идейное оружие. Поначалу я подумывал сделать это на

нашей обычной ежегодной сессии, затем в ходе консультаций масштабы выросли, стал вопрос о всесоюзном форуме, а на это, как ты догадываешься, надо получить «добро» в весьма высоких инстанциях. И вот в одной из этих инстанций я мерзко смалодушничал.

Он замолчал и отвернулся. С минуту он неотрывно следил за вращением усыпанных лампочками мельничных крыльев и хмурился. Можно было предположить, что он раскаивается в том, что наговорил лишнего, и на этом разговор оборвется. Заговорил он неожиданно, когда я уже не ждал продолжения.

— Вероятно, докладывая, я несколько сгустил краски. Мне нужны были деньги, большой городской зал, гостиничная и билетная броня и многое другое. Чтоб получить все это, надо было убедить, что игра стоит свеч. Меня слушали внимательно. Когда я кончил, председательствующий, человек в то время могущественный, сказал: «Мы хотим знать, товарищ Успенский, это в самом деле так серьезно? Если не очень, то вы напрасно отнимаете у нас время. У вас достаточно средств и полномочий, чтоб решать ваши внутренние вопросы самостоятельно. Если же да, то половинчатые формулировки здесь недопустимы, надо ставить вопрос со всей политической остротой, так, как ставят его в сельскохозяйственной науке». Вопрос был поставлен ребром: да или нет.

— И ты сказал «да».

— Ты очень догадлив. Я сказал «да» и с этого момента попал в ловушку, которую сам себе расставил. Пока шла подготовка к сессии, ситуация внутри и вовне заметно изменилась, небо стало грозовым, начиналась холодная война...

— И на этом фоне возникает скромный кандидат наук Вдовин.

Признаю, это было сказано неудачно. Левая щека у Паши сразу окаменела.

— Вот что, Лешенька,— сказал он очень медленно, и в этой медленности таилась угроза стремительной атаки.— Давай посчитаемся. Явление, именуемое кандидатом наук Вдовиным, мы с тобой породили вместе. Так что — грех пополам.

Это было неожиданно, и я растерялся. Паша посмотрел на меня сочувственно.

— Может быть, обратимся к фактам? Позвонил в Институт некий крупный периферийный деятель и попросил разрешить скромному провинциалу защитить кандидатскую под нашим высокоавторитетным руководством. Наш милейший Петр Петрович против таких звонков беззащитен и, пользуясь нашим с тобой отсутствием, сунул Вдовина в твою лабораторию. Ладно, будем считать, что это только мой грех. Примерно через месяц ты снова становишься полновластным хозяином в своей лаборатории. Новый сотрудник тебе не нравится, его так называемая диссертация — еще меньше. У тебя была полная возможность избавиться от него, но не прошло и двух недель, как ты обнаружил в своем новом сотруднике по меньшей мере два ценных качества — энергию и преданность. Нам нравятся энергичные подчиненные, а преданность заставляет предполагать, что энергию удастся направить в желательную для нас сторону. Проходит год, и скромный провинциал успешно защищает. Чудес не бывает, соискатель ничем не оплодотворил отечественную науку, но я сразу заметил, что чья-то щедрая рука придала этому хилому опусу некоторое наукообразие, или, как теперь выражаются, довела его до кондиции. Я обнаружил в нем несколько здравых мыслей, добавил изложенных с завидным изяществом. Стиль — это человек, и что-то в этом стиле показалось мне знакомым. Короче: твоя работа? Признавайся уж, не ты первый, не ты последний... Твоя?

— Отчасти.

— Баба Варя тоже руку приложила?

— Все понемножку.

— Бабка за дедку, дедка за репку? Ну конечно, у вас было ощущение, что вы делаете благородное дело... Как не помочь практически-му работнику из глубинки. Я все понимаю — научный руководитель может от щедрот своих подбросить диссертанту какую-нибудь питательную идейку, может и даже обязан исправить очевидные ошибки, но вы с бабой Варей полностью переписали ему всю диссертацию, то есть совершили акт научной фальсификации.

Это было типичным для Успенского полемическим преувеличением. Возражать — значило идти на дальнейшее обострение. Я промолчал. Но молчаливое несогласие Пашу тоже не устраивало.

— Не изображай из себя оскорбленную невинность. Я ведь не говорю, что ты фальсифицировал факты. Ты сделал гораздо хуже — ты фальсифицировал ученое. Я тебе больше скажу. — Разгорячившись, он повысил голос. — Ты участвовал в плагиате. Нечего ухмыляться, плагиат бывает всякий. Бывает навыворот. И оттого, что он полюбивный и легальный, он не перестает быть плагиатом.

Наконец я разозлился.

— Ты что же — не знал об этом? — сказал я нарочно грубо. Меня уже больше устраивала ссора, чем эта планомерная атака.

Но Успенский только усмехнулся.

— Догадывался. Я же и говорю: грех пополам. Но не пытайся меня сбить, я еще не кончил. Итак, появился новый кандидат наук, и очень скоро ты стал замечать, что творение начинает выходить из подчинения творцу. Заметно поубавилось личной преданности, а энергия переключилась на общественную деятельность. И когда твой протезе стал секретарем институтского партбюро, ты охотно пошел на то, чтоб он продолжал числиться и получать зарплату у тебя в лаборатории. Не протестовал ты и тогда, когда он стал ученым секретарем Института, а затем моим ближайшим помощником в подготовке и проведении достопамятной сессии, — больше всего ты боялся, чтоб я не попросил об этом тебя. Что, я не прав?

Конечно, он был прав. Но я еще не был готов признать это без оговорок.

— Возможно, — сказал я. — Но тогда тем более непонятно, почему мой опыт тебя ничему не научил. Ты что же — не понимал, что такое Вдовин?

Успенский ответил не сразу. Он нисколько не был смущен, смотрел на меня прямо и даже с оттенком издевки.

— Понимал ли я? На том этапе — достаточно. Именно такой он мне и нужен был. И не задавайся, Олег, я только учел твой опыт.

Ему удалось-таки меня удивить.

— Может быть, ваше превосходительство вспомнит свои первые шаги в изучении влияния стрессорных моментов на старение организма?

Начало не предвещало ничего хорошего. Паша любил поддразнивать меня моим недолгим генеральством, кажется, это было единственное, в чем он мне немножко завидовал, не званию, конечно, званиями он, слава богу, не был обделен, а фронтовой биографии. Ехидство было не в «превосходительстве», а во вкрадчивом, обманчиво-академическом тоне.

— Эти исследования, сочетающие смелую теоретическую мысль с рядом изящных экспериментов, уже принесли автору заслуженное признание. — Тон был по-прежнему безмятежный. — Сложность подобного экспериментирования заключается прежде всего в том, что поня-

тие стресса применимо только к живым существам с высокоразвитой нервной организацией. Сознательно вызвать стресс у человека — преступление, опыты на животных трудны и почти не имеют precedентов. Тем не менее лаборатория провела ряд таких опытов на собаках, и вот в ходе этих опытов среди прочих трудностей выяснилась одна чисто психологическая. Отважный экспериментатор, привыкший к виду крови на полях сражений, уверенно шедший к сияющим вершинам физиологической науки через горы собачьих трупов, вдруг обнаружил, что усыпить подопытную собаку — это одно, а злоупотребить собачьей преданностью, заманить лаской, чтоб вызвать неожиданный стресс и шоковое состояние, — нечто совершенно другое. И хотя мы как истинные павловцы знаем, что собаку невозможно оскорбить, ибо, не будучи личностью, она не обладает чувством чести, нам по-прежнему свойственно экстраполировать свои человеческие качества на животных, это ненаучно, но человечно, и нам ближе люди, способные невинно заблудиться насчет меньшого брата. И вот исследователь замечает, что под его началом зря болтается сотрудник, не имеющий опыта экспериментальной работы, но зато не обремененный предрассудками. В наш слабонервный век подписать приговор умеет всякий. Труднее найти человека, который приведет его в исполнение.

На этом отвлекающая часть маневра закончилась. Теперь он бил прямой наводкой:

— Ты спихнул на Вдовина самые тягостные для тебя обязанности. Не спорю — ты с ним щедро расплатился. Я поступил так же, как ты. Оставил себе высокие материи, а всю черную работу свалил на него. Ты сделал ему диссертацию, а я — карьеру.

— И все-таки ты не учел моего опыта, — сказал я со злостью. — Творение и тут вышло из подчинения создателю.

Мне хотелось взбесить Пашу. Но он не поддался.

— Неверно. Вышел из подчинения не Вдовин, стал неуправляемым весь ход сессии. Вырвались наружу всякие подспудные страсти, и химическая реакция пошла лавинообразно. Я предвидел, что Вдовин с особой яростью накинется на Илюшу Славина, и даже готовился самортизировать удар, но я никак не предполагал, что полезешь в драку ты.

— Ты считаешь, я должен был промолчать?

— Давай лучше скажем «считал». Да, я считал, что своей защитой Славина ты порядком спутал мне карты. Вместо того чтоб защищать Славина от Вдовина, мне пришлось защищать Вдовина от тебя. Допустить поражение Вдовина я не мог.

— И поэтому Илюша должен был уйти накануне защиты?

Успенский нахмурился.

— Илья сам во многом виноват. Он талантлив, но талант налагает ответственность, а не освобождает от нее. Не согласен?

— Нет.

— Почему?

— Потому что на основании этого явного софизма талантливых ругают чаще, чем бездарных.

— Ну что ж, это естественно. И потом, — он вдруг рассердился, — я не мог отстоять вас обоих.

— Вот как? Меня тоже надо было отстаивать?

— А ты думал! — все еще сердито буркнул он. — Не воображай, что твои красные лампы в то время создавали тебе хоть какой-нибудь иммунитет. Они только привлекали внимание. И уж коли на то пошло... — Он крикнул и оборвал фразу на середине, я так никогда и не узнал, что и на что пошло. — Эй, мсье! — закричал он пробежавшему мимо гарсону. — Юн бутей дю Наполеон!

Вероятно, мне следовало вмешаться, но в увлечении спора я как-то пропустил мимо ушей странное слово «бутей».

— Ну а Алешка? — настаивал я. — Почему должен был уйти Алексей?

У меня было такое впечатление, что Паша не сразу понял, о ком идет речь.

— Алешка? Алешка ушел по собственному желанию.

— Перестань, Паша. Ты, кажется, меня совсем за дурака считаешь. Я знаю, как это делается...

— А я тебе повторяю: он ушел сам. Вскоре после сессии он явился ко мне и, похохатывая, объявил, что сделал величайшее открытие.

— Какое же?

— Что у него нет ни малейшего призвания к чистой науке. И попросил отпустить — потолкаться среди людей. Цитирую почти буквально.

— И ты отпустил?

— Не такое было время, чтоб отговаривать. Меня и так попрекали, что я недостаточно освежаю научные кадры. Я люблю Алешку, это моя молодость, но, к великому сожалению, он так и остался вечным студентом — ученого из него не вышло... Послушай-ка! А почему ты меня обо всем этом спрашиваешь теперь? Спросил бы тогда.

Удар был точен, и я прикусил язык. Паша смотрел на меня сочувственно.

— Не гордись, Лешенька, — сказал он, невесело усмехаясь. — Гордость — великий грех. Ты хороший парень, не шкура и не мещанин, многие тебе благодарны и за дело: выручить человека деньгами, положить в хорошую больницу, прооперировать больного, от которого все отказались, — это ты можешь. Ну а насчет сессии — не обольщайся, Лешка. Ты проявил ровно столько независимости, сколько мог себе позволить, чтоб остаться на плаву. Ну, может быть, чуточку больше. Тебе это было нужно для самоутверждения. Не сочти за попрек — есть люди, которые самоутверждаются по-иному. Но ты никому не помог и ничего не изменил.

Он обернулся, ища глазами пропавшего гарсона. Вид у него был усталый.

— Пойдем-ка спать, — сказал я.

— Сейчас пойдем. Куда же этот запропастился?

Гарсон не появлялся, и Паша опять повернулся ко мне.

— Ты знаешь, — сказал он странно помягчевшим голосом. — Я ведь всерьез подумываю вернуть обоих в Институт.

— И Алешку тоже? — обрадовался я.

— При чем тут Алешка? Илью и Вдовина.

Я ахнул:

— Вдовина?

— Да, Вдовина. Что тебя так удивляет? Он талантлив.

— Вдовин?

— Не пугайся. В науке он нуль. Но он человек дела. В Америке он был бы боссом, продюсером или как там они называются... Занимался бы наукой как бизнесом, не претендуя на ученость, с него хватило бы и денег. Но у нас деньги не дают славы и устойчивого положения, он будет стремиться к сияющим вершинам и может быть опасен. Но времена переменились. Пусть Илья и Вдовин ходят в одной упряжке.

— Понимаю, — сказал я. — Консолидейши?

— Йес. На принципиальной основе.

— А ты уверен, что у Коли Вдовина есть хоть какие-нибудь принципы?

— Есть. К поискам истины он равнодушен, но в делах у него есть свои правила и даже своя каторжная честность. Вспомни, когда твои акции пошатнулись, не пришлось ли тебе разочароваться в поведении некоторых коллег, которых ты считал друзьями? Вдовин тебя не трогал, пока ты сам не полез в драку. А в пятьдесят пятом, когда на него дружно накинулись все кому не лень, он принял на себя взрыв всеобщей ненависти, ни на кого не валил и не капал.

Меня подмывало сказать «и ты ему за это благодарен?», но не решился. К тому же мы оба очень устали. Разговор угасал, на новый заход уже не было сил. Мы посидели еще немного, вытянув под столом усталые ноги, и лениво рассматривали толпу. Мне показалось, что толпа стала реже и крылья мельницы вращаются медленнее. Зато в кафе народу заметно прибыло, все столики на улице и внутри были заняты, и гарсоны сбивались с ног.

— Пойдем,— решительно сказал Паша.— Кес кесе? —напустился он на гарсона, разлетевшегося со стаканом, на дне которого плескалась скудная европейская порция коньяка.— Я же, кажется, ясно сказал: юн бутей!

Гарсон растерянно хлопал глазами, затем показал два пальца: deux fois? Паша окончательно рассердился:

— Не дё фуа, а юн бутей. Бутылку, понял? Айн флаш. А ля мезон. Объясни ему, Леша.

Я объяснил гарсону: мсье хочет взять с собой целую бутылку. Даже меня он понял не сразу, вероятно, ему показалось нелепым покупать в кафе то, что можно дешевле купить в ночном магазине. Уразумев, он покорно поставил на поднос принесенный стакан, чем опять раздосадовал Пашу.

— Ассе! — закричал он.— Да нет, не ассе. Атанде. Леша, как сказать по-ихнему «оставьте»? А, черт! — Он схватил стаканчик и разом опрокинул себе в рот.— Се ту! — Хлопнув ошеломленного гарсона по плечу, он залился своим разрушавшим все языковые барьеры обольстительным смехом, после чего оба — рослый северянин и маленький южанин — еще целую минуту продолжали охлопывать друг друга и хохотать. На них уже оборачивались. Затем сквозь витринное стекло я видел, как гарсон, все еще смеясь, что-то рассказывает бармену, а бармен, улыбаясь, тянет шею, чтоб разглядеть диковинного посетителя. А когда вновь посмотрел на Пашу, поразился мгновенной перемене. Оживления хватало ненадолго, его лицо посерело, на лбу пролегла глубокая вертикальная морщина. Гарсон принес коробку, мы расплатились и вышли.

Нам повезло, мы сразу поймали такси, и только вытянув ноги в пропахшей табакотом и духами кабине, я понял, что я — на излете.

В освещенном вестибюле нашего отельчика два молодых негра — вчерашний и еще один, вероятно, сменщик,— решали кроссворд, и мы появились очень кстати — нужен был город в России из шести букв. Один из них встал, чтоб передать Паше записку на бланке отеля: звонил Дени, в десять часов деловой разговор в отеле «Мажестик», после завтрака посещение Пастеровского института.

Лифт почему-то не работал. Мы поднялись по узкой и крутой гостиничной лестнице.

— Спокойной ночи, Леша,— сказал Успенский у двери своего номера. Он поставил коробку на пол и на ощупь вставил ключ в скважину.— Ты говорил прекрасно. Знаешь, что самое лучшее из того, что ты сказал? Ученые должны говорить правду своим правительствам. Не чужим — это нетрудно...

— «И истину царям с улыбкой...»,— вяло пошутил я.

— Правду. Правда и истина — понятия близкие, но не тождест-

венные. Правда — это истина в нашем субъективном преломлении. Большинство конфликтов основано на том, что у каждой стороны есть своя правда. А истина — одна, и ученый, который не стремится к истине, недостоин имени ученого. Наука — суровое божество. Однако прощай. — Он качнулся ко мне в темноте, кажется, он хотел меня поцеловать, но в это время за дверью соседнего номера кто-то сердито закашлял, и Паша, комически зашипев, поспешил убраться, а я потащился к себе на верхотуру.

Добравшись до кровати, я рухнул на нее и долго лежал, парализованный накопившимся за день утомлением, без чувств, без мыслей, не в силах пошевелить рукой, чтоб взглянуть на часы. В конце концов я все-таки поднялся, но только для того, чтоб раздеться и залезть под одеяло. Заснул я мгновенно, как давно уже не засыпал, каменным сном без сновидений, сном глубиной в несколько этажей, от которого нельзя проснуться сразу, а надо выходить поэтапно, как из барокамеры.

Разбудили меня длинные настойчивые гудки телефона. Звонил доктор Вагнер. Вагнер сказал, что Павлу Дмитриевичу нездоровится, ничего страшного, но не могу ли я спуститься, и по возможности скорее?

Я вскочил и отдернул занавеску на окне. Было совсем светло.

Против ожидания я застал Успенского не в постели и не в пижаме. На нем был твидовый пиджак и даже галстук. У него сидел доктор Вагнер.

— Ты еще не завтракал, Леша? Тогда садись и пей кофе.

Я посмотрел на Пашу. Вид у него был почти бодрый. Посередине комнаты стоял на ременной разnojке раскрытый чемодан.

— Не удивляйтесь, коллега, — сказал Вагнер. — Сейчас Павел Дмитриевич вам все объяснит.

— Ничего страшного, Олег, — сказал Успенский тусклым голосом. — Ночью мне действительно было немножко не по себе...

— Что же ты меня не позвал?

— Не позвал, потому что незачем. Но сегодня по здравом размышлении я решил податься домой. Кстати, и okazия есть. Подписан договор между Аэрофлотом и Эр Франс, и нам с тобой предлагают быть почетными участниками первого рейса.

Я промолчал.

— Наша миссия в основном закончена, — продолжал он, так и не дождаввшись моей реплики. — Мы не входим в оргкомитет, так что ехать в «Мажестик» для меня необязательно. А для тебя необязательно лететь со мной. Оставайся, поезжай в институт, поклонись праху великого Пастера. Приедешь поездом.

Пока он говорил, я успел внимательно рассмотреть его лицо. Свежевыбритое, еще влажное после умывания, оно показалось мне серым и нездоровым. Не понравились мне и глаза — пустые, со стекляннм блеском.

— Вздор, — сказал я. — Я тебя не брошу. Даже ради Пастера.

Успенский кивнул.

— Я так и думал. Не огорчайся. — Он попытался улыбнуться. — Понимаю, тебе как уроженцу города Парижа двух дней свидания мало. Но мы поправим это. В ноябре здесь будет международный конгресс по возрастной физиологии, и я даю тебе слово...

— Если вы решили лететь, — прервал Пашу Вагнер, — то советую поторопиться. У вас есть на сборы, — он взглянул на часы, — максимум двадцать минут.

Я сказал, что мне довольно десяти.

— Вот и отлично. На аэродроме у вас еще будет время купить сувениры.

Свой чемодан я собрал за две минуты и успел еще позавтракать. Вместо горничной завтрак принес сам хозяин. Он выразил сожаление по поводу столь скорого отъезда и пожелал счастливого пути. После его ухода я раскрыл окно. Мне хотелось помахать рукой фигуре в окне напротив. Стекло блестело, отражая солнечные лучи, но окно не отворилось.

Вишневый «ягуар» стоял у подъезда. Вагнер сел за руль, и через сорок минут мы были на аэродроме Ле Бурже.

XX. Все дальше на восток

Поезд идет на восток, старенький вагон поскрипывает, позванивает, но почти не трясет — после европейских дорог начинаешь ценить нашу широкую колею. В горизонтальной щели между неплотно задернутой шторой и оконной рамой изредка пролетают белые станционные огни. В купе стало теплее и даже уютнее — от стоящих на потертом коврикке туфель Бета, от медового запаха ее сигарет, от домашнего позвякивания чайных ложечек.

— Ну а в самолете? — спрашивает Бета. Ее голос звучит глухо, третий час, а она еще не прилегла. — В самолете вы разве ни о чем не говорили?

— Нет. Паша всю дорогу дремал. И потом — моторы так ужасно ревут...

— Ты уверен, что ничего не забыл?

— Существенного — нет.

Мой гипотетический читатель, вероятно, догадывается, что я произвел необходимый отбор. Делиться своими парижскими впечатлениями — это одно, а рассказывать подавленной горем женщине о последних днях жизни ее мужа — нечто совершенно иное. Впрочем, во всем, что касалось Успенского, я был скрупулезно точен. Бета слушала меня не перебивая и почти не переспрашивая — это был несомненный признак доверия. Как исследователи мы с ней принадлежим к одной школе — школе Успенского, и остались ей верны даже тогда, когда сам Успенский начал ей понемногу изменять. Школа эта под страхом научной смерти запрещает группировать и окрашивать факты применительно к своей заданной версии.

— А теперь скажи, Олег, — говорит Бета. Голос ее звучит почти бесстрастно, но я-то знаю, чего ей стоит этот кажущийся покой. — Неужели после всего, что ты сам рассказал, тебе не ясно, что я права?

Она смотрит на меня в упор. Я молчу.

Положение у меня сложное. Я совсем не убежден, что она права, но не могу скрыть от себя, что некоторые незначашие, на мой прежний взгляд, оттенки поведения именно теперь, когда несчастье произошло, приобретают пугающую многозначительность. В своем рассказе я вполне мог их обойти, но это было бы предательством. На безоговорочное доверие можно отвечать только такой же безоговорочной откровенностью. И я избираю другой путь.

— Что ты имеешь в виду? — спрашиваю я, когда молчать дольше уже невозможно. — Разговор о Лафаргах?

— Не только. Но и это тоже. Неужели ты не придаешь ему никакого значения?

— Придаю. Но вспомни, как настойчиво Паша предостерегал нас от ошибок в духе древнего силлогизма *post hoc ergo propter hoc*²⁸.

²⁸ После этого — следовательно, поэтому.

— Что ты хочешь сказать своей дурацкой латынью?

— Представь себе, что за тем разговором ничего не последовало. Решительно ничего. Ты расценила бы его как вполне естественное любопытство. Точно такие же вопросы мог задать и я.

— Однако почему-то задал он, а не ты.

— Потому что я не был на могиле, а он был. Скажи, пожалуйста, похоже это на Пашу, чтоб он дал слово, зная наверняка, что он его не сдержит?

— Нет, конечно. Но к чему это?

— А вот к чему: как это свойственно всем людям, ты слышишь то, что нанизывается на твою доминанту, и пропускаешь мимо ушей остальное... Паша дал мне слово, что осенью непременно пошлет меня в Париж на конгресс. Разве это не доказательство того, что меньше чем за сутки до своей смерти он ни о чем подобном не помышлял?

Бета задумывается.

— Пожалуй. Но очень косвенное.

— Как и все твои...

В таком духе мы разговариваем около часа. Почти не спорим, вернее спорим лишь постольку, поскольку это помогает нам лучше понять друг друга. Наша задача не убедить, а разобраться. Ни к какому окончательному выводу мы не приходим, да это и невозможно, все наши *pro* и *contra* — косвенные, ни бесспорно подтвердить, ни категорически опровергнуть их не в наших силах. Мне показалось все же, что Бете стали доступны сомнения. Наконец мы умолкаем и на какое-то время остаемся наедине со своими мыслями. Не знаю, о чем думает Бета, что до меня — я не исключаю полностью ни одной из возможных версий, и единственное, во что я не могу поверить, — в неотвратимость случившегося. И я спрашиваю себя: если б во мне так прочно не засела самолюбивая отчужденность, если б я тогда остался у него ночевать и не позволил пить, если б мы не улетели утром, а поехали поездом и вернулись двумя днями позже, когда Бета была бы уже дома, если бы...

— О чем ты думаешь? — резко спрашивает Бета.

Лгать ей я не умею. Выслушав, Бета грустно улыбается.

— Знаешь, я тоже все время думаю: если б я не поехала к маме, а ждала его дома и была бы с ним в эту ночь... Все эти «если» так со мной и останутся. — Она привстает и начинает рыться в своем чемоданчике. Роемся подозрительно долго. Достает халатик, мыльницу, полотенце и, рывком открыв дверь, выскальзывает в коридор.

После некоторого колебания я тоже вытаскиваю пижаму. Переодеваясь, спешу — и попусту, Бета пропадает надолго. Выглядываю в коридор — никого. Это меня беспокоит, но не ломиться же в уборную. Вынимаю карманные шахматы и безуспешно пытаюсь оценить позицию Таля в его незаконченной партии.

Наконец Бета возвращается. Увидев мое перепуганное лицо, смеется:

— Извини. Захотелось постоять в тамбуре.

После умывания ее лицо посвежело и кажется удивительно молодым. Наверно, есть седые ниточки в волосах и морщинки у глаз, я их не вижу, а если б и видел, они ничего для меня не значат, решает линия шеи и подбородка, а она такая же, как у высокой девушки в черном свитере, с которой меня разлучила война. С годами это прекрасное лицо не отвердело и не погрубело, как у большинства «хорошо сохранившихся» женщин, а стало женственнее. Впрочем, я тут не судья, а свидетель, и притом пристрастный.

Переключаю верхний плафон на ночное освещение и забираюсь

под одеяло. Со мной свежий номер толстого журнала, и я не прочь его полистать, но лампочка над изголовьем не зажигается, то ли перегорела, то ли наша проводница не одобряет чтения по ночам. Остается закрыть глаза и притвориться спящим. Слышу, как Бета безрезультатно щелкает своим выключателем, затем поворачивается и едва слышно бормочет «спокойной»... Я догадываюсь: спокойной ночи. После этого она надолго затихает. Из-за стука колес я не слышу ее дыхания, но, по моему, она не спит.

Я так долго притворяюсь спящим, что в конце концов впадаю в некое подобие сна. От бодрствования меня отделяет тончайшая пленка, стоит поезду остановиться, и она рвется. Сквозь вагонную обшивку до меня доносятся хриплые голоса и жесткое металлическое постукивание — смазчик проверяет буксы. Я прислушиваюсь к дыханию Беты и скорее угадываю, чем слышу сдерживаемые из последних сил рыдания. Она делает огромные усилия, чтоб не выдать себя, но я все равно не сплю и больше не хочу притворяться. Встаю и сажусь у нее в ногах. Бета лежит, уткнувшись лицом в жесткую вагонную подушку, плечи ее вздрагивают, но стоит мне прикоснуться, как они каменеют — последняя попытка скрыть свою слабость, попытка обреченная, Бета со стоном приподнимается, обхватывает меня обеими руками и, уткнувшись мокрым лицом мне в шею, плачет, уже не скрываясь, и прижимается ко мне все теснее. В своем горе она трагически одинока. Много сочувствующих, и никого, кроме меня, кто бы знал всю глубину ее отчаяния.

Так, прижавшись друг к другу, мы несемся сквозь тьму навстречу восходящему солнцу, с каждой минутой Москва и Париж становятся на целый километр дальше, и это независимое от наших усилий движение постепенно нас убаюкивает. Бета притихает и лишь изредка судорожно всхлипывает. Я целую ее волосы и мокрые от слез глаза, это вполне братские поцелуи, такими они мне кажутся, вероятно, Бете тоже, она доверчиво прижимается губами к моей щеке, и от этих сестринских прикосновений у меня начинает кружиться голова. При синеватом свете ночника я вижу растрепавшиеся темные волосы и уже плохо отличаю доктора биологических наук Успенскую от хмурой девчонки, с которой мы ссорились и целовались под завывание лабораторных насосов. Разница только в том, что теперь мы ближе. То, что связывает нас сегодня, гораздо значительнее и неразрывнее, чем наши самолюбивые страсти тех лет, и я прекрасно понимаю: стоит мне потерять голову, и Бета будет совершенно беззащитна против меня не потому, что не сумела бы постоять за себя, а потому, что у нее на короткое время отпущены все тормоза, ей нужно человеческое тепло, она парализована своим обновленным доверием ко мне, а того естественного физиологического заслона, заставляющего автоматически отталкивать чужие руки, — его нет, руки знакомые. Наши губы как бы невзначай встречаются, и это переполняет меня счастьем, перемешанным с ужасом: того, что может сейчас произойти, Бета никогда не простит ни себе, ни мне, и как только мы опомнимся, она возненавидит меня навеки. Что бы ни подумала она сейчас о моем позорном бегстве, это все же в тысячу раз лучше того, что она будет думать обо мне завтра, если я останусь.

И я бегу. Мягко высвобождаюсь из объятий и решительно нажимаю на дверную ручку. Дверь откатывается, гремя разболтанным роликом, и я выскакиваю в коридор. С трудом задвигаю дверь и с минуту стою, привалившись к ней спиной и тяжело дыша, вид мой способен внушить самые худшие подозрения, но, к счастью, коридор пуст и все двери, кроме служебного купе, закрыты. Я заглядываю туда: проводница спит одетая, лицом в подушку, как Бета, может быть,

у нее тоже какое-то свое горе. Пью тепловатую воду из кипятильника, долго и бессмысленно изучаю расписание в привинченной к стене деревянной рамочке, затем отправляюсь в тамбур — единственное место, где опущена оконная рама, и стою там, подставив ветру разгоряченное лицо. Остынув, иду умываться. За полотенцем идти не хочется, и я утираюсь носовым платком. И опять тяну время.

Вернувшись, застаю Бету спящей. Лицо у нее измученное, но спокойное. На столике я замечаю стеклянную трубочку и вопреки всем своим принципам вытряхиваю на ладонь беленькую таблетку.

Просыпаемся мы поздно и то потому, что в дверь стучат. Проводница привела нового пассажира, судя по погонам, лейтенанта-пограничника. Лейтенант оказывается деликатным парнем, не дожидаясь, пока ему принесут белье, он стаскивает с себя сапоги, забирается наверх и сразу засыпает. Его присутствие нам нисколько не мешает, мы пьем чай и тихонько разговариваем. О вчерашнем, конечно, ни слова, но что-то в наших отношениях сдвинулось, мы стали еще ближе — и дальше, доверчивее — и осторожнее.

Для меня полная неожиданность, что в заповеднике я увижу дочку Ольги. Ей семнадцать лет, держала испытания в художественное училище и, как теперь выражаются, не прошла. Гостит у своей подруги Гали Вдовиной, Бета везет ей посылочку от матери.

— Ты хоть знаешь, как ее зовут? — спрашивает Бета.

— Конечно. Так же, как Ольгу.

— Не совсем так. Ольга Александровна. По Институту ходили упорные слухи, будто она Пашина дочь. Знаю, что неправда, и все-таки мне было неприятно и я косилась на Ольгу. От бабьей логики не избавляет даже докторская степень.

— Ты когда-нибудь видела девочку?

— Никогда. Нет, видела один раз, давно. Ты же знаешь, какая Ольга скрытная.

После полудня мы обедаем: сосиски и кефир из поездного буфета. Вечером в окна замелькали огни большого вокзала, там сходили многие, и поезд стоял долго, а еще минут через сорок мы сами выходим на том самом безымянном разъезде, где, кроме нас и прабабки с правнучкой, не вышел ни один человек. Ненадежный внук, как и следовало ожидать, не явился, и я вспоминаю о своем обещании — помочь бабке-прабабке при посадке. Проводница машет нам рукой, поезд трогается, и мы остаемся вчетвером на осклизлой деревянной платформе, среди дремучего леса. Тьма, холод, хлещет дождь. По другую сторону полотна на такой же голой, неприятной платформе — крошечная избушка, вероятно, билетная касса. Тяну шею — не светится ли окошко, но ничего не могу разглядеть.

Первое ощущение — мы крупно влипли. Переносим бабкино имущество и свои чемоданчики через пути, поближе к избушке. Бабка охает и клянет ненадежного внука, девочка всхлипывает, Бета спокойна, и я тоже, по фронтовому опыту знаю — безвыходных положений не бывает. План мой таков: постучаться в билетное окошко, если оно откроется, первым делом сунуть кассирше документы и, убедив ее, что мы не собираемся грабить кассу, попросить приюта до утра. Я уже приготовился к штурму избушки, когда услышал за спиной жизнерадостный бас: «Эй, кто тут есть живой?!» Оборачиваюсь и вижу возникшую из мрака дюжую фигуру в громоздком брезентовом дождевике.

Наткнувшись на бабкины пожитки, фигура чертыхается.

— Есть тут кто в Юрзаево? Бабка, ты что — ночевать тут задумала? Давай собирайся, не задерживай движения местного транспорта. За трешку я тебя до самой печки доставлю. А вам куда, уважаемые?

Это уже относится к нам. Объясняю и попутно намекаю, что трешка для нас не предел. Водитель крикает:

— И рад бы, да не имею права. Мы — колхозное такси, от маршрута ни на шаг, нас за это греют. Мой вам душевный совет — езжайте до Юрзаева, переночуете, а завтрашний день позвоним из правления к им в контору, пусть присылают чего ни есть...

— У нас и переночуете, — подает голос девочка.

— Прекрасно, — говорит Бета.

Мы подхватываем бабкины сумки и тянемся гуськом вслед за водителем. На песчаной площадке, превратившейся из-за дождя в сплошную лужу, стоит крытый брезентом фургончик вроде «пикапа». Вход сзади, ступенькой служит железная скоба, и мы с трудом втаскиваем бабку. Внутри уже сидят какие-то невидимые люди, чтобы принять еще четырех пассажиров с грузом, им приходится потесниться, и они ворчат. Прежде чем тронуться в путь, наш бодрый водитель заводит мотор и включает задние фонари, при их злобешем свете он берет с нас положенную плату и даже выдает какие-то квитки. Бабка охает и ругает ненадежного внука. Наконец водитель садится за руль, и фургончик, разбрызгивая лужи, трогается.

Я сижу у самого входа-выхода и поэтому раньше других замечаю идущий вслед за нами неизвестно откуда взявшийся мотоцикл. Обогнуть нас он не пытается, да это вряд ли и возможно, дорога лесная, проселочная, вся в глубоких, полных воды рытвинах, когда мы торозим, тормозит и он. На повороте наш водитель неожиданно останавливает машину, вываливается из кабины и шлепает по лужам навстречу мотоциклу. Мотоцикл сбавляет ход и останавливается так близко, что при свете укрепленной на руле сильной фары я различаю слезшего с седла мужчину, такого же крупного, как наш водитель, и одетого в такой же брезентовый малахай с капюшоном. До меня доносится:

— К нам? Феноменально! Кто такие?

— Не скажу, Алексей Маркельч. Городские...

Алешка? Я выскакиваю из фургончика и попадаю в мокрые объятия друга моей юности Алексея Шутова. Бета выходит тоже, и мы четвером держим совет. Вариантов несколько, но мы находим оптимальный: едем с юрзаевскими до развилки, а там пересаживаемся к Алешке — Бета в коляску, а я на багажник.

Знакомство с Алексеем Маркельчем заметно поднимает нас в мнении юрзаевских, его знают все, даже глухая бабка. Голоса теплеют, и когда мы на развилке сходим, все наши случайные спутники, сколько их, я так и не понял, дружно желают нам счастливого пути.

— Экипаж, пардон, не слишком фешенебельный, — говорит Алешка, укрывая Бету кожаными фартуком. — Уж вы не обессудьте, вчера в этой самой коляске племенного козла на случку возили, устойчивый аромат дает каналья. Вы зачем же с пассажирским?

— Так получилось, — говорю я. — А ты откуда?

— Ездил интриговать. Воспользовался, что к моему боссу приехали поохотиться какие-то чины, и подорвал когти в обком для нанесения встречного удара.

— Как? На мотоцикле?

— Боже сохрани. Еду на пригородном, а машину оставляю возле кассы. Все три кассирши — мои приятельницы и конфиденстки. Знаю все их обстоятельства и консультирую по вопросам семейной педагогики и секса. Вот и сейчас пил чай у Антонины. Муж — красавец, золотой мужик, но вот — начал запивать. А вообще-то народишко здесь приятный, дружелюбный и сравнительно мало вороватый. Первое время с непривычки удивлялся: идешь по селу, с тобой все здорова-

ются. Я одного деда спросил для интереса, дескать, чего здороваешься, знаешь меня, что ли? А он мне: «А зачем мне тебя знать? Я про тебя плохого не слышал, ты про меня тоже, стало быть, ты добрый человек и я добрый человек. Вот и будь здоров!» С тех пор я тоже здороваться стал.

— Теперь объясни,— говорю я,— чем ты тут занимаешься и почему воюешь?

— Не торопись.— Алешка устраивается в седле.— Всему свое время. Приедем, моя Евдокия истопит вам колонку, помоешься, согреешься, и я все вам доложу. А пока садись верхом на багажник, держись за меня крепче и на ходу не разговаривай, тут недолго и язык прикусить.— Он жмет на акселератор и поднимает такой треск, что мы с Бетой зажимаем уши.

Едем молча. Лужи, тряска, потемки. Дождь немного приутих, становится светлее, мы останавливаемся на невысоком, но отвесном берегу, и на несколько мгновений я становлюсь жертвой оптического обмана.

Перед нами река, широкая, желтовато-мутная, быстрая, вся в мелких бурунчиках. У кромки берега виднеются подмытые, вывороченные течением корни, несколько крупных сосен упали в воду и вот-вот уплывут. У противоположного берега пригнулись какие-то неясно угадываемые суденышки и светится розовый конус бакена. Зрелище внушительное, но отчего-то неприятное, примерно так я представлял себе мифическую Лету, и я не сразу отдаю себе отчет, почему эта река вызывает у меня такое странное ощущение мертвенности. Но проходит несколько секунд, наваждение рассеивается, и я вижу...

Река никуда не течет.

Волны окаменели, как на остановленном кинокадре.

Это вообще не река.

То, что я принял за волны,— сырой песок. Строится шоссе

Люди, вооруженные механическими пилами, вырубали в заповедной чаще эту широкую просеку, выкорчевали пни, содрали, как кожу, верхний живородящий слой, оголив песчаную подпочву. У того берега не суденышки, а мощные дорожные машины, земснаряды и бульдозеры, притихшие на ночь и укрытые от непогоды, да и бакен не бакен, а какой-то неведомый мне предупредительный огонь. Пройдет еще много времени, прежде чем по гладкому и упругому асфальтовому покрытию зашуршат шинами тяжелые «МАЗы» и стремительные «Волги», по обочинам выстроятся указатели, но лесные жители уже отводят своих детенышей подальше от опасной человеческой тропы, которую не всякая зверюга решится перебежать даже ночью. Сейчас это еще не дорога, а открытая рана, и у меня, городского человека, убежденного в неотвратимости технического прогресса и связанных с ним коренных преобразований, тоскливо сжимается сердце. Бета молчит, но ей тоже как-то не по себе. Алешка бурчит:

— Видели? Запомните.

Переправа через будущую магистраль мало чем отличается от переправы вброд. Мотоцикл перестает быть средством передвижения, мы тащим и пихаем его, как заупрямившегося ишака. Перебравшись на другой берег, то бишь сторону, мы еще с полчаса едем по сравнительно сносному проселку и наконец въезжаем на открытую поляну. Луч нашей фары скользит по кирпичной трансформаторной будке и упирается в прибитую к столбу дощечку с выцветшей молнией и лапидарным предупреждением: «Не влезай, убьет!» Я оглядываюсь на Бету, она улыбается.

— Слезайте, приехали,— говорит Алешка.

Верховая езда никогда меня не привлекала, я с удовольствием сползаю с багажника и, пошатываясь, бреду за Алешкой и Бетой в темный проем между будкой и каким-то одноэтажным строением. Мы поднимаемся на мокрое крыльцо, старательно чистим подошвы о железный скребок, Алексей толкает незапертую, несмотря на поздний час, входную дверь. За дверью яркий свет, печное деревенское тепло, навстречу нам, запахивая на ходу халат, бежит милая женщина.

— Принимай гостей, Евдокия! — возглашает Алексей дьяконским басом и, спохватившись, хлопает себя по губам. — Есть у тебя кто?

Женщина смеется. Она лет на пятнадцать моложе Алешки и на голову ниже ростом, желтоволосая, с веснушками.

— Как есть никого. Олечка у Гали, а студенты разве придут в такой дождь? На опытном заночуют. Добро пожаловать. — Она кланяется нам с Бетой. — Колонка топится, как помоешь, и самовар будет готов.

— Пирамидально! — орет Алешка. — Знакомьтесь: жена моя Дуся, директор-распорядитель странноприимного дома для недостаточных студентов и соискателей ученых степеней. Таких знатных гостей, как вы, полагается размещать не в нашей ночлежке, а в Доме с рогами, но, поскольку вы явились энкогнитó (это слово Алексей произносит тоном завязтого пшюта), придется вам одну ночку провести среди племса. Николай Митрофанович раньше утра не вернется, ибо сопутствует двум чинам из области в их высокой забаве. Пристрелили какую-нибудь наполовину прирученную тварь и теперь празднуют победу.

Дуся, смеясь, хлопает мужа по губам и ведет Бету в душ, а мы с Алексеем идем осматривать отведенные нам комнаты. Две чистенькие клетушки, в каждой стол, табурет и заправленная по-солдатски железная койка. Одна из клетушек кажется мне попросторнее, и я оставляю в ней чемоводанчик Беты.

— Апартаменты, конечно, не ахти фешенебельные, — говорит Алешка, мыча и похохатывая совершенно так же, как в те времена, когда мы с ним торговали собаками. — Но ты, Лешенька, уж извини. Мы простые советские бушмены, живем без затей.

— Знаешь что, Леша, — огрызаюсь я. — Хоть ты с боссом и воюешь, но стиль его усвоил.

Удар попадает в цель. Алешка смущен.

— Прости, брат, — говорит он. — Я кретин. Вдруг меня разозлило, что ты приехал к нему, а не ко мне. Ведь так?

— Что верно, то верно.

— Так, может быть, я напрасно с тобой разоткровенничался? — Алешка ловит мой укоризненный взгляд и поправляется: — Шучу, сам понимаешь. Да и бесполезно скрывать. О том, что мы с Николаем Митрофановичем живем, как кошка с собакой, знают даже деревья в лесу. Делить нам нечего, кроме власти, а она уже поделена, он — директор, я — парторг. Задачи у нас как будто общие, но я для него — кость в горле, и он давно бы меня выпер, если б за мной не стояли широкие массы избирателей. Босс уже все кнопки нажимал, но не так-то просто найти человека на мое место. Должность, доложу я тебе, весьма хлопотливая, люди разбросаны по фермам и лесничествам, в контору приходят только за зарплатой, собрание провести — это у нас целое дело...

В ожидании душа заходим в просторную комнату рядом с входной дверью. Там накрывает на стол захопотававшаяся и раскрасневшаяся Дуся. От нее исходит такой ласковый покой, что я физически ощущаю, как ослабевают напряжение, в каком я жил все эти дни. Я гость ее мужа и, может быть, даже какое-то начальство, но могу пору-

читься — точно так же она улыбается проходящим здесь практику шумным и вечно голодным студентам. Попутно прихожу к мысли, что будущее нашего сервиса, если у него есть будущее, где-то рядом, не в заученных улыбках парижских горничных и гарсонов, а в этой опирающейся на материнский инстинкт радости гостеприимства. А впрочем, я не хочу сказать ничего дурного о парижских гостиницах, кафе и магазинах, там есть чему поучиться.

Комната веселенькая и уютная. За кисейным пологом кровать с горой подушек, на стенах репродукции из «Огонька» и приколотые веером открытки, комод накрыт вышитой салфеткой, а на ней слоники, расписное фарфоровое яйцо и вазочка с бумажными маками на проволочных стебельках. Моя бывшая жена наверняка заклеимила бы все это как злейшее мещанство, хотя если вдуматься, нет большего мещанства, чем привычка механически зачислять в мещане по таким признакам, как вышитые салфеточки или бумажные цветы. Автоматизм мышления — вот единственный стабильный признак мещанства.

— Служебная резиденция моей августейшей супруги, — комментирует Алешка, и я замечаю стеклянную горку, где под замком хранятся с десятков аптечных пузырьков и столь же несложная бухгалтерия в потрепанных скоросшивателях. — Здесь же на правах принца-консорта проживаю и я. В Юрзаеве у меня собственный дом, теща и двое парней, Котька и Андрейка, — все это я оторвал в приданое. С домишкой и с женой меня малость поднадули, но теща и ребята — золото...

Дуся смеется, сует Алешке полотенца и гонит нас мыться. В сенцах мы сталкиваемся с идущей из душа Бетой. Она улыбается нам, и я рад, что она вырвалась из своего заточения и приехала к этим легким и доброжелательным людям.

В душевой — тесовой, пахнувшей свежей сосновой стружкой — мы не спеша раздеваемся. Раздетый и без очков, Алешка выглядит моложе. В студенческие годы он казался старообразным, теперь, постарев, сохранил что-то студенческое. Костяк у него грубоватый, но мощный, жира ни капли, кожа, поросшая рыжими волосами, чистая и гладкая, а над правым соском и на спине полустершиеся рубцы — следы сквозного пулевого ранения.

Я смотрю на Алешку с нежностью и нарастающим чувством вины. Как я мог потерять его так надолго? Стыд и срам, надо было поехать в Париж, чтоб наконец узнать, почему мой друг ушел из Института. Нужно немалое мужество, чтоб в сорок лет сказать «я не создан для науки». Я спрашиваю Алешку, точно ли он сказал Успенскому эти слова. Алешка смеется.

— Точно.

— И ты вправду так думал?

Алексей отвечает не сразу. Он становится под душ, намыливает голову и рычит от удовольствия.

— Не совсем. Точнее было бы сказать — не создан для Института.

— Но ты ведь так его любил!

— Я любил другой Институт. Где директор ходил в чукьяках и шерстяных носках поверх галифе, а по вечерам все сотрудники собирались у него в кабинете и пили чай из большого жестяного чайника...

— Прости, Леша, — перебиваю я. — Наивно предполагать, что Институт может вечно оставаться таким, каким он рисуется в твоём романтическом воображении.

— Совершенно справедливо, Лешенька, темпора — они мутантур, и ни хрена с ними не поделаешь. Но — заметь! — я не сказал, что плох Институт. Я, я для него не гожусь. И в том, что я не стал новым

Пастером либо Сеченовым, я никого не виню. Да и себя-то не особенно.

— Почему же ты все-таки ушел?

Алексей опять отвечает не сразу. Он вытирает полотенцем свои охряные, слегка заседевшие патлы и соображает.

— Да так как-то, одно к одному пришлось... За неделю до сессии — ну, той самой — вызывает меня к себе Вдовин, он уже тогда был в силе, и спрашивает, не пойду ли я вместо Доры Петровны в виварий, дескать, слабый участок, руководство надо освежить, нужен мужчина, коммунист, чтоб поставить дело, а ты животных любишь... И смотрит мне в глаза честным взглядом. А я смекаю: получай две сотни прибавки и убирайся на задворки, у нас теперь начальство бывает, иностранцев возят и твое рыло никак не вписывается в этот фешенебельный антураж. Подумал я и говорю: зверей я действительно люблю, но только на воле, а если ты считаешь, что в виварии так нужна мужская рука и партийное влияние, то почему бы тебе самому туда не пойти?

Я представляю себе физиономию Вдовина и не могу удержаться от смеха. Алешка тоже смеется. Теперь я стою под душем, а Алексей, крихтя, натягивает на себя чистые носки, старенькие, но аккуратно заштопаные.

— Ну а потом, понимаешь, начинается сессия и из Ильи начинают делать мартышку...

— Прости, пожалуйста. — Нехорошо перебивать, но я не могу удержаться. — Где Илья?

Алексей таращит на меня близорукие без очков глаза. Такое впечатление, что он не сразу понял вопрос.

— Как где? Здесь, конечно.

— Здесь?!

— Ну да, здесь. А где ему еще быть? — Он хочет еще что-то сказать, но удерживается и кротко поясняет: — С той сессии мы не расставались. В первый же день я понял: Илюшке хана, выпрут. Я хоть и слышу неудачником, но живуч, как кошка, как меня ни швыряй, всегда падаю на все четыре лапы, а Илья — обыкновенный гений, чувствителен и беспомощен.

— Илья воевал. И, говорят, хорошо.

— Война — особь статья. Для войны, Лешенька, годится любой честный человек. Короче говоря, я прикинул всю ситуацию: без меня Илья сопьется или записхует, мне тоже не расчет дожидаться, пока Николай Митрофанович меня наладит...

— А сюда как вы попали?

— Старые связи. Есть здесь старейший егерь Владимир Степанович Лихачев, Дуськин отец, он и сейчас работает, — это, брат, человекище самого что ни на есть первейшего сорта... Прижились мы с Илей. Я и вовсе корни пустил и, откровенно скажу, нашел свое место в жизни.

— А Илья?

— С Илей сложнее. Нет-нет да и заскучает. Как заскучает — тянется пить, не даешь — злится. И потом... А, ладно! Захочешь, разберешься сам. А насчет меня — послушай. История поучительная. В пятьдесят пятом достиг я высшей власти — назначили меня временно исполняющим. Здесь моя рожа как-то больше корреспондирует с пейзажем, так что через полгода могли и вовсе утвердить. Директор здесь — фигура. Но тут, как всегда в моей жизни, начинается фантазмагория. В стране происходят события исторического значения, в Институте начинается брожение умов, чтоб утихомирить страсти, Николаю Митрофановичу дают под зад коленкой, и он, описав параболу,

приземляется на этой заповедной почве. И немедленно выясняется, что он прямо создан для роли директора, у него степень, а у меня шиш, он местный, прирожденный администратор... В общем, решил я не ждать знамения свыше и сам предложил приять от меня венец вместе с круглой печатью, чем немало его озадачил. В чем дело, спрашивает. Ни в чем, говорю, не чувствую призвания, а почести меня утомляют. Не поверил, одначе приял. Утвердили его сразу. Надо отдать ему должное, полгода мы с ним жили душа в душу, он мужик деловой, широкий, если может помочь — сделает. Ну, а с зимы у нас пошла война. По всем правилам, а теперь даже без правил.

Мы уже одеты и можем идти. Но я все-таки спрашиваю — из-за чего? Алексей чешет в затылке.

— Это длинный разговор. Из-за всего. Стоит нам посмотреть друг на друга — и наши организмы начинают вырабатывать антитела. И вот парадокс: он уже тут многих подмял и пошустрее меня, а со мной ничего поделатъ не может.

— Почему?

— Потому что мне от него ничего не надо. Что он может? Прогнать? Я лицо выборное и облеченное. Отобрать мотоцикл? Вся общественная работа станет. Опять же, уйду я — Илья тоже со мной уйдет. Воленс-ноленс, хошь не хошь, а приходится меня терпеть.

— Илья-то ему за чем?

Алешка вздыхает.

— Об Илье — особый разговор.

— Задаешь загадки?

— Не загадки, а... Слушай, Леха. Мы с тобой не виделись лет семь, говорят, за это время в человеческом организме сменяются все клетки, а ты хочешь, чтоб я тебе в двух словах... Ты надолго к нам?

— Не знаю. Дня на два.

— Колоссально! А с какой целью, если не тайна?

— Тебе как — в двух словах?

Алешка фыркает.

— Ладно, Олег, — говорит он уже серьезно. — Завтра у вас начнутся переговоры на высшем уровне, но если ты не разучился вставать пораньше, мы с тобой еще обменяемся полезной информацией.

В Дусиной резиденции нас ожидает вкусно пахнущий березовым углем самовар и накрытый стол. Я ахаю: редиска и зеленый лук в сметане, свежий творог, мед и дымящаяся вареная говядина на деревянном блюде — все то, чего жаждет моя измученная городской цивилизацией душа. Посреди стола заткнутая чистой тряпочкой темно-зеленая бутылка. Поймав мой взгляд, Дуся вспыхивает:

— Уж извините. Это местное...

Мы с Алешкой наваливаемся на еду, и я с удовольствием отмечаю: у Беты тоже прорезался аппетит. От «местного» мы отказываемся и согреваемся чаем.

В сенцах шуршанье и грохот, кто-то снимает дождевик и сбрасывает сапоги. Через минуту появляется маленький человек в туго подпоясанном ватнике, белоголовый, с белыми, по-солдатски подкрученными усами, и хотя по росту он скорее человек, чем человечище, я сразу догадываюсь, что это Алешкин тесть. Мал он не потому, что ссохся или сторбился, вид у него молодцеватый, яркая синева глаз не разбавлена старческими белилами. Завидев новых людей, он с достоинством представляется: «Лихачев Владимир Степанович» — и отправляется мыть руки. Вернувшись, присаживается к столу, но от еды отказывается.

— Выпей стопочку, тещюшка, — говорит Алексей. — Для сугреву.

— Не хочу.— Голос у тестя совсем не стариковский, а скорее мальчишеский.— Грелся уже.

— Поднесли?

— Директор поднес какого-то шнапсу. На манер трофейного. Чувствуй, говорит, это шотландская виска.

— Хороша?

— Градус есть. А в чем сласть — не разобрал. Я ведь не шотландец.

Владимир Степанович сердится, но так забавно, что все улыбаются.

— Что больно гневен, тещушка? — любопытствует Алексей.

— С чего ты взял? — вскидывается старик.

— Мне-то не ври...

Несколько секунд Владимир Степанович смотрит на нас с Бетой, потом переводит глаза на дочь. Получив какое-то видимое только ему подтверждение, делает непередаваемый жест.

— Ладно. Налей.

Выпив, он аккуратно вытирает губы, закусывает редиской и наконец признается:

— С директором полаялся.

— Из-за чего?

— Из-за всего. Я егерь, стало быть, на охоте хозяин. Не знаешь порядков, слушай, что егерь скажет. Так он же директор! С самим-то грех один, а те двое еще хуже. Ружья дорогие, зауэровские, зависть берет глядеть, а стрелять ни один не может. Загнали оленька, а на кой ляд его гонять? Ты его помани, он сам к тебе подойдет. А как зачали по нему палить — ох! Свезли бы лучше на бойню, там и то более гуманной подход. И сразу же в Дом с рогами — пировать. Николай Митрофанович говорит: Володька, мы тут о делах потолкуем, а ты покуда поджарь нам язык и печень по-охотнички, знаешь как?

— Володька? — переспрашивает Бета. Тон такой: я не ослышалась?

— Точно так, Володька, — хмуро подтверждает старик. — Моду взял: при людях Володькой звать. Вроде шутка. Раз пошутил — я смолчал. Надо бы сказать: постыдись, Николай Митрофанович, я тебе в отцы гожусь, какой я тебе Володька... А как скажешь? Ах вон вы как заговорили? А не угодно ли вам в уважение ваших преклонных лет на заслуженный отдых? На ногу вы еще легки, а вот шутки понимать разучились. Годы-то и впрямь не маленькие. А для меня, уважаемая, — он обращается почему-то к Бете, — это хуже смерти, я природный егерь, меня из лесу прогнать, все едино что рыбу из воды вытащить...

— Ладно плакаться-то, — грубо говорит Алешка, но я по морде вижу, как он страдает за тестя. — Из-за чего скандал?

— Никакого скандалу не было. Они себе пируют, я в сенях дожидаю. Ну, правда, вынесли мне всего — и ветчины и рыбы копченой. Потом слышу — зовет. Захожу. Он ничего, веселый. Приглашает за стол, подносит этого шнапсу. Вот, говорит, обратите внимание — Лихачев Владимир Степанович, личность историческая, егерь-охотовед, пятьдесят лет стажа. Те ничего, головами покрутили: порядочно, мол. Наш не унимается: а ну, Володька, расскажи товарищам, как ты с самим Лениным на охоту ходил. Те враз на меня уставились, будто до того не видели. Расскажите, говорят, интересно. Посмотрел я на них и не знаю, как вам получше объяснить, — не захотелось мне ничего рассказывать. Да и рассказывать-то нечего, никаких таких фактов, чтоб, например, в газету поместить, у меня нету, а чувства мои — пусть они при мне и останутся. Молчу. Вижу, хозяин мой надувается,

как же так, обещал гостям. Давай, говорит, не ломайся, рассказывай. А нечего, говорю, рассказывать. Сопровождал, как положено егерю. Харчи были похуже, а обращение получше, звал по имени-отчеству, а по привычке, стал тезкой звать. А больше ничего такого не припомню.

— И что же? — ахает Дуся.

— Ничего, съел. Вроде — не заметил. Ты, говорит, нам не про себя давай, а про Ильича, каков он был. И этак твердо, будто допрос снимает. А я им: каков он был, желаете знать? Как охотник, не хочу врать, ничего особенного из себя не представлял. А как человек... да что говорить, только расстраиваться... Взял и вышел вон. Тихо, без скандалу. Выхожу на крыльцо, вижу, дождь поутих, подхватил я свое ружьецо, дай, думаю, поброжу окрест дома, пусть из меня газ повыйдет, а там видно будет. Иду и в мыслях с хозяином доругиваюсь, он мне слово, я ему два, так незаметно километров шесть отмахал. А тут опять дождь. И до родной дочери рукой подать.

Он машет рукой и смеется. Смеемся и мы, хотя веселого мало. Старику Антоневичу Вдовин не простил одного только взгляда. Дуся смотрит на отца с тревогой.

— Ох, выгонит он тебя.

— Может. Одна надежда — руки не дойдут. Он, кажись, сам уходить собрался.

Мы с Алешкой переглядываемся. Владимир Степанович поднимается.

— Я в общей переночую, ладно?

Поднимаемся и мы. И в этот момент в дверях неслышно появляется Илья.

Конечно, я узнаю его сразу, хотя изменения разительны. От неаполитанского мальчишки не осталось и следа. Другой человек. Волосы не поредели, но потеряли свою упругость и блеск, лицо обострилось и стало жестче. Увидев нас с Бетой, он не выражает ни радости, ни удивления, а только молча кивает.

— Здравствуй, Илья,— говорю я.

— Здравствуй, Олег.

Наступает пауза, трудная для нас обоих.

— Е-два, е-четыре,— говорю я. По лицу Илюши проходит тень, похожая на бледную улыбку.

— Е-семь, е-пять. Только ведь я больше не играю. Дусенька, радость моя,— ображается он к хозяйке, и в его голосе впервые слышится что-то от прежнего Илюши.— Выдь ко мне на минутку.

Минуты две они шепчутся в сенях. Затем я слышу, как хлопает дверь и гремит засов. Алексей нервничает.

— Зачем приходил? — набрасывается он на жену.

— А тебе что? Не к тебе приходил.— Она притворяется сварливой женой.

— Я знаю зачем. Смотри у меня, Евдокия! — рычит Алешка. Он тоже притворяется — грозным мужем.

С этими людьми удивительно хорошо, но время позднее и Бета еле жива. Мы расходимся по своим комнатам. Сквозь тонкую перегородку я слышу, как щелкает замочек ее чемодана. Переодеваюсь и ложусь в надежде, что дорожная усталость поможет мне заснуть.

Я ошибся. Эта ночь оказалась самой бессонной из моих ночей.

XXI. Самая бессонная

В доме и вокруг — мертвая тишина. Ни дождя, ни ветра. Ни скрипа, ни шороха, ни сонного бормотания. Через подушку я слышу стук собственного сердца.

Именно это мешает мне заснуть. Тишина кажется неправдоподобной.

Читать нельзя. Единственный источник света — слабенькая лампочка под самым потолком. Рядом, за тонкой, не доходящей до потолка перегородкой — Бета. Она уже давно потушила свет, ее не слышно. Лежу с закрытыми глазами и пытаюсь разобраться во впечатлениях дня. О предстоящем разговоре со Вдовиным я почему-то не думаю. Меня занимают Алексей и Илья.

Стыдно сознаться, но я обижен. Мое убеждение в собственной безупречности заметно поколеблено, однако факт остается фактом — когда с Ильей стряслась беда, я был единственным, кто его открыто защищал. И вот проходят годы, мы встречаемся, и он, скользнув по мне равнодушным взглядом, поворачивает спину. Для Алешки я не сделал даже этого, и все-таки он встретил меня как брата.

Впрочем, в Алешкином отношении ко мне тоже произошла какая-то перемена. И я уже начинаю понимать какая. В студенческие годы у меня не было друга ближе. Алексей на год или два старше меня, но в те далекие времена, когда зарождалось наше братство, старшим братом был я. Алешку восхищало во мне все — мои способности, моя начитанность, даже мой характер. В Институте мы продолжали дружить, хотя временами Алешка порядком меня раздражал. Я человек дела и не люблю халдеши. Пока я работал как вол, да еще в двух упряжках — ставил эксперименты, инспектировал госпитали, писал книги, выступал на дискуссиях, бывал бит и сам давал сдачи, Алешка жил вольной пташкой, увлекаясь и остывая, за все хватаясь и ни к чему не прикипая, так и не удосужившись сдать кандидатский минимум. Мы ругались, вернее сказать, ругался я один, а Алексей неизменно обезоруживал меня смиренным признанием несовершенства своей природы. Перемена, по всей вероятности, заключается в том, что здесь, в запоевнике, меня встретил человек, ощущающий себя равным мне. Дружелюбный, но отнюдь не восхищенный, а может быть, за что-то и осуждающий. Не слишком сурово, быть суровым он вообще не способен, а с оттенком ласкового снисхождения. Придраться не к чему, но меня это задевает.

Элементарная добросовестность исследователя, распространяющаяся также на все случаи самоисследования, обязывает меня задать себе вопрос — а нет ли тут моей вины? Задаю и отвечаю: есть, и несомненная. Когда Илюша и Алексей исчезли из Москвы, я даже не пытался разыскать их. Это несомненная вина, и на посторонний взгляд ей нет оправдания.

Однако кое-какие оправдания я все же нахожу.

Primo: Почему никто из них ни разу не обратился ко мне за помощью? Меня разыскивать не надо, мой адрес известен. Ко мне несколько раз приходила мать Погребняка, тоже оставшегося без работы, и я давал ей деньги, а когда заболел он сам, устроил в хорошую больницу и доставал дефицитные лекарства. Хвалиться тут особенно нечем, но — тут я незаметно для себя перехожу в контратаку — они тоже хороши. Бывали же они в Москве, хоть изредка? Почему никто из них ни разу мне не позвонил?

Secundo: Пусть тот, кто хочет бросить в меня камень, попытается хотя бы приблизительно представить себе мою жизнь за последние несколько лет. Ребятам, нечего и говорить, пришлось туго, но так или иначе они выбыли из игры. А я остался и продолжал бороться против Вдовина и его компании. Много раз балансировал на краю пропасти и в конце концов победил. Если на памятном всем общеинститутском партсобрании среди прочих решений был принят специальный пункт, осуждавший Вдовина за избиение научных кадров, то в этом есть и моя

заслуга. Если добавить сюда мою неудачную семейную жизнь и мучительную процедуру развода, то легко понять, что у меня едва хватало времени на самое неотложное, властно требующее внимания, на то, что само напоминало о себе. А позже, вселившись в свою «башню из слоновой кости», одержимый мыслью наверстать упущенное время, разве не подчинил я себя жесточайшему режиму? Я отдыхал и занимался спортом ровно столько, сколько было необходимо для восстановления сил, за все время я только два или три раза был в консерватории и ни разу в гостях, растерял многих милых людей, в том числе Великого Хирурга, по-моему, он немножко обижается, и ведь прав, прав...

Успокоив таким образом свою совесть, вытягиваюсь на койке и начинаю заниматься дыхательной гимнастикой по системе йогов. Упражнения, облегчающие переход ко сну. Мне они никогда особенно не помогли, но больше надеяться не на что. Я уже начинаю задремывать, когда издалека до меня доносится отвратительный вопль, от которого сразу пропадает сон и холодеет в позвоночнике. Похоже, что вопль исходит от живого существа, он начинается как крик боли, разрастается до ярости и бессильной угрозы и разрешается недовольным ворчанием. Насколько мне известно, в средней полосе России не водятся зверей или птиц, способных издавать такие ужасающие звуки, но ощущение все-таки жутковатое. Проходит минута, и вопль повторяется. На этот раз явственнее ощущается металл: я слышу скрежет цепей, лязгание засовов, грохот сгружаемого железа на фоне джазового трепыхания и звенящей вагнеровской меди. Если и птица, то механическая, со стальными перьями и медной глоткой. Еще минута, и окаянная птица вновь издает свой воинственный клич, но на этот раз я, отбросив всякую фантазию, отдаю себе ясный отчет: всю эту жуть нагоняет на меня механическое устройство, машина, производящая какую-то регулярную целенаправленную работу, и, следовательно, эта попытка надолго. Вспоминаю, что граница заповедника проходит по реке с нерусским названием, летом по ней ходят рейсовые катера, и, наверно, перед началом навигации специальное судно чистит фарватер и выбирает со дна гравий. Как называется эта машина? Кажется, драга. Кстати, неплохое название для мифического существа. Птица-драга. Женский род от дракона. С мистикой покончено, но сознание, что эта сволочь не успокоится до утра, лишает меня всякой надежды на сон.

Осторожный стук в дверь. Встаю, чтоб отпереть, и отступаю — Бета.

— Ты спал? — спрашивает она. — Извини.

В темноте я не вижу ее лица, но по голосу чувствую, как она напряжена. Раздается очередной вопль, и Бета больно хватает меня за руку.

— Господи... Что это?

— Чепуха, — бормочу я. — Драга.

— Драга, — тупо повторяет она. — Что такое драга?

— Машина.

— Какая машина? А впрочем, что мне за дело... Кажется, ей суждено меня доконать. Можно, я посижу у тебя?

— Конечно. Свет зажечь?

— Не надо. Слушай, зачем эти щели под потолком?

— Для тепла, наверно. Чтоб не ставить лишних печей. Ты спала?

— Пыталась. Господи, опять... — Новый вопль заставляет ее вздрогнуть. — Будь она проклята, эта драга. В том, как она воет, есть что-то человеческое. И ужасно злобное.

— Пустяки, — бормочу я. — Старая привычка очеловечивать все —

силы природы, животных, а теперь вот даже машины... Вспомни свои вакуумные насосы, они были пострашнее.

— Сказал тоже. Они были ручные, как котята.

В голосе уже улыбка.

— Знаешь что,— говорю я.— Ложись на мою койку. А я посижу на табуретке.

— Зачем? Здесь хватит места на двоих.

На секунду меня посещает подлая мужская мысль: что это? Но я тут же стряхиваю ее, как гусеницу. Провожая Бету до кровати, укладываю и укрываю. Затем ложусь рядом поверх одеяла и вытягиваюсь. Какое-то время мы лежим молча. Бета понемногу успокаивается. Она еще вздрагивает, когда доносится очередной вопль, но уже овладела собой. И ко мне тоже приходит покой.

— Тебе удобно? — спрашиваю я.

— Вполне. А тебе?

— Могу еще подвинуться.

— Свалишься. И наделаешь шуму.— Я слышу в ее голосе смешок, и это меня радует.

Затем мы долго шепчемся.

— Правда, он очень изменился?

— Кто? Илья?

— Алексей. Он всегда был мне мил, но все-таки мы в Институте как-то не принимали его всерьез. И жена его тоже прелесть. И Владимир Степаных... Володька! — По тому, как она втягивает в себя воздух, я угадываю гримасу.— Паша бывал резок, даже груб, я терпеть не могла, когда он кричал на Сергея Николаевича, но вот этого... этого бы он никогда себе не позволил. Ни с кем. Правда, Олег?

— Правда.

— Мне вдруг стал так противен Вдовин, что захотелось сразу уехать. Понимаешь, не дожидаясь встречи. Но это было бы уж очень глупо. И тебя я очень прошу — не поддаваться эмоциям. Смотри на вашу встречу как на чисто поставленный эксперимент.

— Постараюсь.

Все это с паузами. Дракон, то бишь Драга, через правильные промежутки взывает, но уже потише и не так угрожающе. То ли он примирел, то ли мы притерпелись. Мы не спим, но отдыхаем. Я горд тем, что Бета спокойно дышит рядом, и сам совершенно спокоен.

— Как хорошо,— неожиданно говорит Бета.— Как хорошо, что есть хоть один человек, которому я могу абсолютно довериться.— Она слегка похлопывает меня по руке в знак того, что я и есть тот самый человек.

— Абсолютно? Не советую. Абсолютно я даже себе не доверяю.

— Это ты серьезно?

— Абсолютно.

— Ладно, учту.— И вдруг фыркает.— Хороши бы мы были, если б сейчас появился Вдовин.

Я тоже хмыкаю, хотя, если вдуматься, это было бы совсем не смешно. Оправдаться невозможно, да мы и не стали бы.

По законам водевиля после слов Беты самое время появиться Вдовину. Он и появляется, только не сразу, а минут через десять. За эти минуты мы не произносим и десяти фраз. Бета уже собирается уходить к себе, когда снаружи раздается властный стук. Мы замираем. Стук повторяется, и по слабому отсвету на потолке я догадываюсь, что в сенях вспыхнул яркий свет. У нас еще есть время разойтись, но мы медлим. Есть надежда, что это вернулись студенты, в таком случае торопливо выпихивать Бету как-то неловко. Прислушиваюсь и убеждаюсь в тщетности надежды. Половицы скрипят под тяжелыми сапогами, это

шаги хозяина. Шаги останавливаются около моей двери, и я скорее угадываю, чем слышу, как напрягается слабенький крючок из алюминиевой проволоки, обеспечивающий мой habeas corpus²⁹. Положение откровенно водевильное, но с примесью гиньоля.

- Он здесь?
- Кажется.
- Думаешь, спит?
- С дороги-то? Как убитый. Придется уж тебе потерпеть до утра... (Молодец Алешка, знал бы он, как он меня выручает!)
- Ты что же — знал, что они приезжают?
- Понятия не имел.
- А встречать ездил. (Пауза.) Что молчишь?
- Отвечаю только на прямые вопросы.
- Ездил?
- Встречать? Нет.
- Будто?
- А это уж дело твое.
- Что?
- Верить или не верить... Мыться будешь? Колонка теплая.

Шаги удаляются.

Алешка, конечно, молодец. Держится достойно. Но еще больший молодец Бета. Она еле сдерживает смех. Свет в сенях гаснет, и она бесшумно поднимается.

— Спасибо, милый. Спокойной ночи.

Пожелание искреннее, но заснуть не помогает. С полчаса я ворочаюсь, прислушиваясь к каждому шороху. Слышу, как уходит Вдовин, как шепчутся в сенях Алексей и Дуся. Затем все затихает. Дракон тоже совсем притих и только изредка жалобно вздыхает. За окошком, наполовину прикрытым зарослями вьюнка, угадывается рассвет.

Чтоб убить время, пытаюсь создать в уме рабочую модель взаимоотношений между Алешкой и Вдовиным. Данных у меня маловато, но, как известно, Кювье восстанавливал скелет бронтозавтра по одной кости. Этой костью служит мне виденная вчера строящаяся автомобильная дорога. Недаром же Алексей обронил насчет нее многозначительную фразу. Сопоставляя ее с другими промелькнувшими в наших разговорах частностями, пытаюсь выстроить логическую лесенку. Итак...

Сделаем основное допущение: дорога угрожает целостности заповедника. Только что назначенный директором Вдовин достаточно умен, чтоб это понимать, и с присущей ему энергией сопротивляется напору заинтересованных организаций. На этом этапе они с Алексеем составляют единый фронт.

Следующий этап — проходит слух о переводе Института на территорию заповедника. Надо думать, Вдовин не хуже всех нас понимает бессмысленность этого переселения, но Вдовину оно на руку (гора идет к Магомету), он выжидает, колеблется, отношения с Алексеем становятся сложными и неискренними.

Последний этап — перед Вдовиным возникает перспектива возвращения в Институт. Он больше не заинтересован в переводе Института в заповедник и вообще в заповеднике. В момент, когда решается его собственная судьба, ему меньше всего хочется конфликтовать с местными властями, и если раньше он с полным убеждением называл антигосударственным всякое покушение на заповедную территорию, то теперь... Версии не откажешь в стройности. Но есть в ней слабое звено: я исхожу из неизменности характера Вдовина. Если это действи-

²⁹ Личная неприкосновенность (лат.).

тельно так и прошедшие годы его ничему не научили, то наш приезд вряд ли имеет смысл.

Я пытаюсь также представить себе, как сложились отношения между Вдовиным и Ильей, но отступаю по причине полного отсутствия фактов, а без них бессильно даже самое смелое воображение.

Покончив с умственной гимнастикой, я встаю и, стараясь не шуметь, делаю зарядку. Затем натягиваю поверх пижамных брюк шерстяные, обуваюсь и крадучись выхожу из дома. Дом стоит на самой опушке леса, крыльцом к чаще, какие-то хозяйственные строения прячутся между деревьями. Огибаю дом и выхожу на поляну, вокруг которой подковой расположен поселок. Еще темно, но уже можно различить очертания домов. По сторонам трансформаторной будки стоят два почти одинаковых дома, одноэтажных, шестиоконных, с резными наличниками. Отличаются они главным образом расположением входов: левый, странноприимный, обращен лицом к лесу, правый, окруженный низеньким забором из штакетника, смотрит на поляну и имеет парадное крыльцо с навесом и вывеской. Это несомненно контора. Перед входом в контору традиционные стенды для стенгазет и диаграмм и совсем нетрадиционная деревянная скульптура, вырезанная из цельного бревна. Это сказочного вида старец с посохом. Подхожу поближе. Лицо у старца грубое, но на редкость выразительное, звероватое и дьявольски хитрое. Откуда сие? Не найдя ответа, выхожу за калитку и иду дальше, срезая поляну. Остальные домики поменьше и мало чем отличаются от деревенских изб. Нигде ни души. Прохожу вдоль влетней, на заостренных колыях стеклянные банки и целлофановые мешки, ворота приперты кое-как, сторожевых собак не видно. Дохожу до крайней избушки и вижу на врытой рядом с калиткой узенькой скамейке человеческую фигуру. Человек сидит в странной и неудобной позе, опираясь обеими руками на сиденье и задрвав подбородок к посветлевшему небу, на котором еще догорают последние звезды. Подойдя вплотную, узнаю Илью. Он тоже меня узнает и воспринимает мое появление так же равнодушно, как в первую встречу. Разговор начинаю я.

— Ты здесь живешь?

Кивок и утвердительное мычание.

— Что не спишь?

— Так. Дышу.

Дышит он трудно. Впечатление такое, что он чем-то отравлен. Нетрудно догадаться чем.

— Извини,— говорит Илья и скрывается за калиткой. Я слышу скрип колодезного ворота, звон ведра и жадное хлюпанье. Затем он возвращается, утираясь рукавом и шумно сплевывая.— Мутит,— признается он.— Не могу пить эту самодеятельную бурду. А за «столичной» надо ехать в Юрзаево.

— Тебе вообще не надо пить,— говорю я.

— Вот как? — Тон у Илюшки издевательский.— Может быть, ты попутно объяснишь почему?

— Во-первых, потому что не умеешь. А во-вторых, потому что в результате сцепления ряда генетических и социальных факторов тебе, дураку, достался не совсем заурядный мыслительный аппарат. И разрушать его — вандализм, преступление.

Я зол и поэтому наверняка искренен. А искренность редко остается безответной. Илья вздрагивает и приближает ко мне искаженное болью и яростью лицо:

— Аппарат, говоришь? А если он мне — ни к чему?

Молчу, потому что нечем крыть. Илья — прирожденный экспери-

ментатор, без лаборатории он обречен. Действующий генератор должен быть включен в сеть, иначе ему грозит короткое замыкание.

— Илюша, — говорю я, — ты хочешь вернуться в Институт?
Илья смеется.

— Почему-то никто не спрашивал меня, хочу ли я из него уходить. Допустим, хочу. Ты что же — приглашаешь?

На такой вопрос надо отвечать сразу. И — ответственно. Отвечать ответственно — тавтология, но в данном случае вполне уместная. Если Бета станет во главе Института — успех обеспечен. Если нет — предстоит борьба. Петр Петрович об Илье до сих пор слышать не может. Странно, не злой человек, но тут он как скала. Среди членов ученого совета у Ильи тоже есть противники, явные и тайные. Вот почему я медлю с ответом. Но Илья воспринимает мое молчание по-своему, он убежден, что поставил меня в тупик.

— Ладно, — говорит он небрежно. — Подожду, когда наш босс станет директором Института. Кстати, и недолго ждать.

Я настораживаюсь. Неужели Илье что-то известно? Или это очередной Илюшкин эпатаж? Я слишком хорошо знаю его непревзойденное умение молоть с невозмутимым видом любой вздор и, наоборот, подносить в ернической форме вполне здравые, хотя и неожиданные мысли.

— Директором? Не меньше?

— Да уж никак не меньше.

— Ты что это — всерьез?

— Конечно. Остричь у меня давно отбили охоту.

— Располагаешь информацией?

— Ни в малейшей степени. Прозрение в чистом виде. Одна из тех идей, которая кажется безумной, пока не становится банальной.

— Я вижу, ты изменил свое мнение о нем.

— Мнение — нет. Только отношение. Благодаря моему шефу я имею верный кусок хлеба, крышу над головой и кое-какие перспективы. Достаточно, чтоб не поминать его имени всуе. Ладно, Олег... — Он потягивается и зеваает. — У меня к тебе единственная просьба.

— Да?

— Не проболтайся кому-нибудь, что видел меня под газом. В принципе я завязал окончательно, но сегодня на меня почему-то нашло... Никому, даже Алексею. Алешка — друг, но ему тоже не надо...

Он неловко поднимается и, пошатываясь, уходит в калитку. Я тоже бреду обратно. Добравшись до своей клетушки, снимаю брюки и забираюсь под одеяло.

Во мне еще бродит постыдное раздражение. Подходишь к человеку с самыми добрыми чувствами, хочешь поговорить по душам, а наталкиваешься на равнодушие и язвительные шуточки. Откуда такая странная озлобленность?

Вопрос, конечно, чисто риторический. Днем я, пожалуй, оставил бы его без ответа, но ночь еще не кончилась.

То есть как это — откуда? Неужели так уж нет оснований? Почему-то об озлобленных людях мы часто говорим неприязненнее, чем о злых. Не потому ли, что подспудно ощущаем какую-то свою вину перед ними? Мы готовы им посочувствовать, но заранее лишаем их права на пессимизм, на разочарованность, на недоверчивость, на все, что прямо или косвенно создает для нас душевный дискомфорт. Озлобление не украшает, оно часто делает человека несправедливым, но еще чаще бывает несправедливой судьба, породившая озлобление.

И уж если говорить начистоту — на что другое я мог рассчитывать? Отправляясь в заповедник, я даже не знал, что мы встретимся, а

до того ни разу не сделал попытки разыскать своих друзей и вмешаться в их судьбу. Да, да, я был в постоянном цейтноте, тащил на себе лабораторию и целое ведомство, писал, преподавал, натаскивал аспирантов, вскрывал трупы, оперировал людей и животных, налетал десятки тысяч километров, только благодаря железному режиму и выработанной с годами организованности я успевал делать все положенные ходы. И почему бы моим друзьям самим не напомнить о себе? Существуют же почта, телеграф... Ведь мне временами бывало не легче...

Все эти доводы логичны и убедительны при том неременном условии, что против них никто не возражает.

Как бы ни был я занят, у меня всегда находилось время найти нужного человека. Нужного мне. Для того чтобы разыскать человека, которому нужен я, требуется не больше времени. И разве не знаю я по собственному горькому опыту, как трудно в критические моменты искать помощи даже у близких людей, как ждешь от них самого простижного сигнала «заходи, поговорим...», каким мнительным и легкоранимым становишься, теряя привычную опору. Стыдно даже сравнивать — я был нарасхват, Илья без работы, я соблюдал диету, Илье попросту нечего было жрать. Подумаешь, вел борьбу! Сказал бы лучше — дождался изменения климата.

И наконец — я подхожу к самому тяжелому признанию — не было ли здесь влияния моей бывшей жены? Лида ненавидела все, что призывало меня к Институту. Для Успенского она еще делала исключение, но Бета, Ольга, Илья и Алексей были для нее врагами, она насмеялась над Алешкой, а об Илюше кричала, что он сам виноват, его губит самомнение и дурацкая фронда, своих доброхотов он только подводит, ну и прочее в таком же роде. Мне это было неприятно, я спорил и даже ссорился с Лидой, но наивно предполагать, что мы обладаем абсолютным иммунитетом к доводам наших оппонентов; требуя, чтобы они замолчали, мы это только доказываем. Ночью я способен признать, что я не избавился от влияния Лиды даже после нашего развода, и меня мучает мысль — не было ли в моем отчуждении от Алешки каких-то до конца не осознанных, но от этого не менее постыдных причин, например постепенно накапливавшегося, как холестерин в крови, чувства превосходства? Причем не нравственного, а самого пошлого: пренебрегающего доктором наук по отношению к неудачнику, генерала к ополченцу, respectableного обывателя к полубродяге? Для того чтобы заразиться барством, совсем не обязательно быть баринком по крови. Удивительно, как быстро человек, достигший определенной степени благосостояния и почета, начинает считать этот уровень естественным, минимальным и единственно возможным. Приобретенное воспринимается как норма, утерянное — как катастрофа. И если я безболезненно перенес потерю казенной машины и генеральских привилегий, это еще не свидетельствует о моем бескорыстии, в обмен я получил нечто более ценное — свободу для научных занятий.

Рассвело, и валяться в постели не имеет смысла. Иду умываться. Проходя через сени, заглядываю в распахнутую настежь дверь Дусиной резиденции. Никого. Как видно, здесь встают рано. Выхожу на крылечко. Мои ночные представления в общем подтверждаются — поселок стоит на опушке леса, все неприглядные бытовые и хозяйственные строения — хлева, нужники, мусорные ящики прячутся по тылам, среди хилых, отравленных соседством человека сосенок. Поселок подковой окружает травянистую поляну, на поляне бродят куры, играют щенки. Из поселка открывается вид на косогор, за которым угадывается река, а за невидимой рекой виден плоский берег, простирающийся до самого горизонта луга с вкрапленными кое-где синеватыми кучами деревьев и темными квадратиками свежей пахоты. Меня одина-

ково тянет в лес и к реке, и с минуту я, как буриданов осел, стою в нерешительности.

Из глубины леса доносится еле слышный, похожий на дальний благовест звон, он будит мое любопытство, и после некоторого колебания я, миновав засоренную зону, решительно углубляюсь в чащу. Звон все слышнее, я ускоряю шаги, и только угодив ногой в скопившуюся на дне глубокой колеи весеннюю воду, осознаю, что выбрался на межевую просеку. В башмаке хлюпает ледяная вода, но звон меня притягивает, я спешу на его призыв и останавливаюсь, только когда мои истерзанные бессонницей органы чувств подносят мне очередной сюрприз: в промежутках между ударами я слышу голос, зовущий меня по имени. Голос такой знакомый, что я узнал бы его из тысячи: «Олежка, Олежка»... Олежкой звал меня только один человек на свете — мой покойный отец. Это уже пахивает галлюцинацией. Пытаюсь от нее освободиться, но нет: «Дон, дон, дон, Олежка, Олежка...» Голос доносится все явственнее, и я почти бегу, уже догадываясь, что сейчас увижу Алексея, и зовет он не меня, а созывает каких-то других неведомых мне Олежек, и наконец, продравшись через жесткий безлистный кустарник, выхожу на прогалину, где среди пней и лежачих стволов притулилось с полдюжины сколоченных из досок нехитрых кормушек. Между кормушками расхаживает с двумя подвешенными к коромыслу тяжелыми корчагами Алешкина Дуся, а сам Алексей вдохновенно лупит железным шкворнем по подвешенной к дереву печной заслонке и призывно выкликает: «Олешки, олешки...» Они так заняты делом и друг другом, что не сразу замечают меня, а я не тороплюсь себя обнаружить. Мне доставляет грустное удовольствие наблюдать человеческое счастье, а в том, что эти люди любят и счастливы, усумниться невозможно, издали это даже виднее, чем вблизи. «Олешки, олешки!..» — орет Алешка, и в его голосе столько веселья и доброты, что мне тоже становится весело.

Проходит еще несколько минут, прежде чем показываются первые звери. Самые смелые выплывают из-за деревьев и, убедившись, что им ничего не грозит, приближаются к кормушкам. Идут, горделиво выпятив грудь, ветвисторогие самцы, женственные важенки ступают мягко, стройные подлетки с трогательными, еще не отвердевшими рожками держатся около матерей. Особенно мил один тонконогий олененок, в его изящной неловкости уже угадывается будущая свобода. Лесные гости едят не торопясь, без жадности, несколько старых самцов вообще не едят, а собравшись вокруг большого пня, лениво лижут рассыпанную на нем каменную соль, они похожи на пожилых дипломатов, едва пригубливающих свои коктейли на официальном приеме. Да и во всем этом зрелище есть забавное сходство с дипломатическим приемом. Я не сразу догадался, почему ни один зверь не ткнется мордой в щедрую Дусину ладонь, а она не погладит его по лоснящейся рыженькой шерстке. Потом уразумел: здесь также действовал дипломатический протокол. Олени выражали полное доверие к людям, но отказывались признать себя прирученными, даже принимая дары, они оставались лесным зверьем и не хотели преступить грани, отделяющей их от домашнего скота.

В конце концов Дуся меня замечает, и мне приходится выйти из своего укрытия. Пробираясь между кормушками, невольно дотрагиваясь до зада одной четвероногой дамы, она оглянулась на меня совершенно так же, как это сделала бы интеллигентная москвичка в вагоне метро, холодно и вопросительно: дескать, что это — случайность или наглость? Убедившись, что я смущен и готов принести извинения, она равнодушно отвернулась и продолжала есть.

Алексей сияет:

— Хороши, паршивцы? Подкармливаем, чтоб не обгладывали молодые деревья. Слава богу, на днях все это кончится.

— Надоело?

— Надоело.— Он ловит мой взгляд и смеется.— Не олени. Люди. Третьего дня приезжала целая комиссия, проверяла, как мы с Дуськой используем подкормочные фонды. Не съедаем ли сами отруби и гнилую морковь и не вывозим ли их в экваториальные страны. Это ведь все неспроста.

Возвращаемся вместе. Дуся несет на плече коромысло с пустыми корчагами. Идет она удивительно красиво, такой плавной походкой, наверно, ходили по воду молодайки еще при Иване Грозном. Мы с Алексеем нарочно отстаем, и по пути я успеваю рассказать ему всю институтскую ситуацию. Алешка слушает и неопределенно мычит.

— Ну что ж,— говорит он уже у самого дома.— Ничего особенно нового ты мне не сказал. Принципал считает, что твое согласие у него уже в кармане.

— Почему ты так думаешь?

— Так, по некоторым признакам. Слушай, Леша. Если Бета еще спит, не буди ее. Для нее сейчас сон важнее завтрака. И, если ты не умираешь с голоду, давай не откладывая сгоняем на мою опытную делянку. У меня там назначено деловое свидание с двумя хорошими мужиками, и отложить его я никак не могу. Заодно я покажу тебе восьмое чудо света, ручаюсь, ты ничего подобного не видел. За это время Бета проснется, а Дуська соорудит нам какой-нибудь высококалорийный завтрак. Принципал к тому времени тоже продерет очи, и вы начнете свой первый раунд, А?

Пока Алешка выводит из сарая свою изрядно потрепанную колымагу, я, стоя на крыльце, выпиваю стакан молока. Затем залезаю в коляску, и мы, кренясь, приплясывая и разбрызгивая скопившуюся в коляске воду, углубляемся в лес. Разговаривать, конечно, невозможно. В одном месте Алешка ненадолго останавливается, чтоб показать мне огороженные проволочной сеткой посадки кедров, у будущих гигантов еще жалкий вид, но Алешка смотрит на них влюбленно и тает от моих не вполне искренних похвал. После кедровника дорога становится лучше, проехав километра два, мы сворачиваем на лесную тропку, с нее на другую, куда мотоциклу с коляской уже нет пути. Дальше идем пешком. Я иду, наслаждаясь полузабытыми и оттого еще более пленительными звуками и запахами лесной глубинки, куда не добираются даже заядлые грибники, не говоря уж о тех бескорыстных любителях природы, которые у нас в Подмоскowie оставляют после себя стекло, жесть и целлофан в количествах, способных засорить Атлантику. Я замедляю шаг, чтоб рассмотреть незнакомое дерево.

— Граб,— поясняет Алешка.— Очень хорошее дерево, а вот не сумело добиться известности. Дуб знают все, а граб только немногие. Дубам вообще везет.

Я выражаю надежду, что граб еще свое возьмет.

— Трудно,— говорит Алешка.— Очень трудно. Мы тут самостийно проводим опытные посадки. Но граб растет медленно...

— Кто «мы»?

— У меня тут полно друзей и помощников. Очень помогает Галка Вдовина. Она в лесотехническом. Год придурилась, разъезжала по каким-то соревнованиям, а ей за это выводили четверки и пятерки. Теперь сорвала себе пяточную мышцу, охромела и, кажется, взялась за ум. Занятная девка, увидишь. Мы с ней дружим.

— А как на это смотрит папа?

— Было время, когда мы и с папой отлично ладили.

— Каким образом?

— Самым верным. На общей борьбе за правое дело.

— Дорога?

Алешка аж крикает от изумления.

— Фундаментально! Я всегда говорил, что ты гений, Лешенька. Но как ты догадался?

— Не так трудно.

— Так вот считай, что ты проник в самый корень. Вот именно, Лешенька, дорога. Дорога эта грозит отхватить у заповедника порядочную горбушку. С потерей горбушки, на худой конец, можно было бы и примириться, но вот чего местные дубы не петрят: дорога нанесет тяжкий удар по основному заповедному массиву...

— Стоп. Это я все понимаю...

— Тем лучше. Короче говоря, я начал борьбу, и Вдовин меня подержал. Энергии у него хоть отбавляй. Я сдуру настолько уверовал в него, что на какое-то время потерял контроль над ситуацией и — хлоп! — вдруг узнаю, стороной, конечно: мой дорогой принципал совершил поворот ровнехонько на сто восемьдесят градусов, и если раньше он, исходя из народных интересов, не уступал ни пяди заповедной земли, то теперь он, исходя из тех же интересов, пошел навстречу развитию автотранспорта. Такой уж у него характер, куска себе в рот не положит, пока не убедится, что это в интересах общего дела. А я, Лешенька, существо грубое; в самом хорошем поступке непременно ищущую какую-нибудь, понимаешь, мерзость или гниль...

— Не болтай чепухи,— ворчу я.

— Эй-богу, Лешечка. И тут пришла мне в башку этакая расподлейшая мыслишка: а не открылись ли перед моим почтенным принципалом какие-нибудь лучезарные перспективы и не собирается ли он, вульгарно выражаясь, задать лататы? Неделю я пытался эту мыслишку подавить, но все факты сгруппировались таким окаяннм манером, что воленс-ноленс, хошь не хошь, вывод напросился сам собой. А на днях произошло событие, утвердившее меня в мнении, что босс считает свое назначение свершившимся фактом.

Алексей останавливается и смотрит на меня хитрым глазом, он ожидает вопроса, но я молчу, и он не выдерживает:

— Когда вы последний раз виделись, ты ничего такого не заметил?

— Последний раз? Дай подумать. Это было на похоронах. Конечно, заметил.

— Бороду?

— Да.

— Так вот, он ее сбрил!

Алексей торжествует, но я плохо понимаю, что его так веселит.

— Ну?

— Что «ну»?

— Не вижу связи.

— Лешенька, я был о тебе лучшего мнения. Вдумайся. Проникни внутренним взором.

— Допустим,— говорю я растеряннo.— Но в таком случае твой шеф поторопился с бритьем. Кое-что будет зависеть и от меня.

— Знаю, Лешенька. Знаю, но не досконально. Мы с тобой все-таки давненько не общались, а за такой срок...

— Можешь не продолжать. Все клетки сменяются? Не все. А те, что уходят, оставляют заместителей. В тебе, Леша, тоже сменилось немало клеток, однако я выложил тебе все как на духу.

— Чую и ценю. И для начала сразу же скажу тебе: если вы с Бетой рассчитываете, что у Николая Митрофановича в результате перенесенных потрясений тоже сменилось много клеток, то могу вас заверить — изменились обстоятельства, а не он. Он — натура цельная. Вся

беда, что он так же не создан для науки, как я, но в отличие от меня не считает это существенным препятствием.

— Значит, ты советуешь...

— Э, нет. Я ничего не советую.

— Почему же?

— Потому что от ваших переговоров некоторым образом зависят судьбы близких мне людей, и я постановил для себя: никак на них не влиять.

— На кого «на них»? На людей или на переговоры?

— И на людей и на переговоры.

Я смотрю на Алешку. Мало того что он начал заикаться — у него покраснела шея. Надо бы его пощадить, но я не имею права на слабость.

— Прекрасно, — говорю я. — Но ты забываешь, что от исхода переговоров зависит и моя собственная судьба, а так как я, по-видимому, не вхожу в число близких тебе людей, то давай на этом и прекратим разговор.

Конечно, я режу по живому, но чего же и ждать от живореза. Занятия вивисекцией не умягчают характера. Я знаю, Алешка капитулирует, вопрос только во времени.

Несколько минут мы идем в полном молчании. Алексей все время застревает около лежащих на земле стволов. Деревья здесь дряхлые, с похожими на присосавшихся слизняков жесткими грибовидными наростами. Одно такое дерево лежит поперек нашего пути, запирая его как шлагбаум. Алексей садится на него верхом и предлагает мне место напротив. И вот мы сидим нос к носу, слегка покачиваясь на пружинящем стволе, сидим как в те времена, когда мы, неразлучные Лешки, зарабатывали на обед пилакой дров, молодежавый доктор наук, сохранивший форму благодаря режиму и диете, — и младший научный сотрудник без степени, сохранивший молодость неизвестно почему. Генерал-майор запаса и снятый с учета солдат-ополченец. Мы смотрим друг другу в глаза, и разделяющая нас прозрачная пленка тает и опадает. Мы уже ухмыляемся.

— Ты заставляешь меня выдавать чужие тайны, — рычит Алешка.

— Угу, — беспощадно подтверждаю я. — Чужие тайны близких тебе людей.

— Надеюсь, тебе тоже. Речь идет об Илюшке.

— Это я уже понял.

— А теперь пойми главное. Мое место здесь, но Илюшка тут закирует и сопьется. Если босс вернется в Институт, он заберет Илью с собой.

— Ты в этом убежден?

— Почти. На девяносто девять процентов. Один процент всегда надо держать в запасе.

— Это что же — угрызения совести?

— Еще чего захогел! Просто Илья в самом ближайшем времени станет его зятем.

— Зятем?!

Вид у меня, вероятно, растерянный. Алексей хохочет.

— Ну да. Ты что, никогда не был ничьим зятем?

Удар ниже пояса, но я переносу его с кротостью. Алешка все еще ржет:

— Ты хочешь спросить: любовь или расчет? Любовь. Обоюдная и с первого взгляда. Кудефудр, как говорят у вас в Париже.

— Что за девица? Дочь своего отца?

— В известной мере. Характеры и взгляды, как ты знаешь, не пе-

редаются генетически. Передаются возможности. Девка — перец, властная и думает своей головой. Но перед Илюшкой тает.

— А отец? Не против?

— Вроде нет. Он ведь у нас без предрассудков. Да и Галочка не такая телка, чтоб спрашивать родительского благословения. Единственное отцовское требование — впрочем, тут мы все едины — чтоб Илюшка не прикасался к бутылке. И он поклялся Галке страшной клятвой...

Я чуть было не бухаю, что клятва уже нарушена, но вовремя захопываю рот. Алешка все же настораживается:

— Кстати, ты его больше не видел?

Задача-двухходовка. Сказать, что не видел, — соврать. Что видел — вызвать следующий вопрос. В шахматах это называется цугцванг. Все ходы вынужденные. Почему честность по отношению к одному так часто бывает связана с необходимостью солгать другому? Чтоб не отвечать, я спрашиваю:

— Илья старше ее лет на двенадцать?

— На пятнадцать. Ну и что ж? Успенский был старше Беты на восемнадцать. А Дусяка моложе меня... Оставим эту тему. Я хочу, чтоб ты понял щекотливость моего положения. С одной стороны, я всячески заинтересован, чтоб принципал убрался отсюда, а с другой, я вовсе не хочу подкладывать вам свинью. Вы с Бетой умнее меня во сто раз и должны решать сами.

Морда у Алешки немножко смущенная. С моей точки зрения, зря. Стесняться надо лжи, а не правды. Правдив он несомненно.

— Ты доволен своей жизнью, Леша? — спрашиваю я.

— В общем, да. В Институте меня считали неудачником. По-моему, зря. Я прожил жизнь как хотел.

— Как мечтал?

— Эва куда хватил! Кто из первокурсников не мечтает быть новым Пастером? Нет, именно как хотел. В тех редких случаях, когда я стоял на развилке и мне предоставлялась возможность переводить стрелку самому, я делал это по своему глупому разумению и еще ни разу об этом не пожалел. Ну, а если ты спрашиваешь меня, не болит ли у меня некое малоисследованное скопление нейронов, но старинке именуемое душой, — то, безусловно, болит. За Илью, за тещу, за заповедный лес, да мало ли еще за что. Но это нормальное состояние для здорового человека, если у него, конечно, имеется эта самая душа. Если у человека ничего не болит, я начинаю подозревать, что он неизлечимо болен. Так что я человек почти счастливый, и если неудачник, то очень удачливый. Мне везет на катастрофы, но почему-то я всегда выхожу из них с незначительными повреждениями. Ей-ей, Лешка, нет худа без добра. К примеру, я потерпел фиаско у Милочки Федоровой, и это помешало мне стать самым незадачливым из институтских мужей. Я не защитил диссертации — и тем самым не умножил своей персоной унылое сообщество вечных кандидатов. А здесь мне все нравится, и климат, и публика, к тому же у меня есть свое маленькое хобби — увидишь... — Он хитро подмигивает и, положив мне на плечо свою увесистую лапу, уже серьезно спрашивает: — А ты счастлив, Леша?

— Не знаю, — говорю я. — Нашел время спрашивать.

— Почему?

— Хотя бы потому, что я не выспался.

— Тебе было неудобно спать? — Алешка искренне встревожен.

— Нет, у меня вообще бессонница. Ты смешно про себя сказал: удачливый неудачник. Боюсь, что я полная противоположность.

— В каком смысле?

— В прямом. Неудачливый удачник. Пойдем-ка, — говорю я, слезая

со своей жердочки. Пока шутка не расшифрована, она остается шуткой. Алешка это тоже понимает, он смеется и не требует пояснений. Мы счищаем друг с друга приставшие к нам кусочки мха и двигаемся дальше.

— За этим шлагбаумом,— Алешка делает царственный жест,— начинаются мои владения.

XXII. Трактат о грибах

Еще сотня шагов, и мы выбираемся из чащи на освещенное солнцем пространство. Стоят вразброс почерневшие, изъязвленные дуплами и наростами ветераны. Тишина. Птицы не любят селиться на таких старых деревьях. Тропочка как-то сама растворилась под нашими подошвами, и мы шагаем через выпирающие из земли склеротические корни.

— Не слышу любезного моему слуху звука бензопилы,— бормочет Алешка.— Неужели эти бездельники меня надули?

— Сегодня воскресенье,— напоминаю я.

— Они только по воскресеньям и бывают.

— Кто «они»?

— Увидишь. Отличнейшие мужики.

— У тебя все отличное...

— Плохого не держим. Глянь-ка на этот пенек. Сила?

Пенек похож одновременно на языческий жертвенник, трон и обелиск. Это цоколь гигантской дуплистой сосны. В сосну ударила молния, источенные стенки дупла не выдержали, и дерево разломилось почти у самой земли, обнаружив полость, в которой вполне мог поместиться взрослый медведь. Небесный огонь исчертил высокую спинку трона таинственными зигзагами, а дожди отлакировали до мебельного блеска. Самого дерева уже нет — распилили и вывезли,— но следы его падения еще видны на соседних деревьях — сломанные ветви, ободранная кора, потоки запекшейся смолы. Зрелище внушительное.

— Старик Перун еще не разучился метать свои стрелы,— говорит Алексей, довольный произведенным на меня впечатлением.— В августе у нас тут черт-те что гворилось. Вакханалия!.. Гроза за грозой, и что ни гроза, то пожар, воинскую часть вызывали... Здесь сплошное старье. Попадают такие любопытные коряги, что твой Коненков. Только чуть руку приложить... У Оли-маленькой это лихо получается, я тебе покажу.

— Я видел.

— Видел лешака? Грандиозно, а? Принципал поначалу ругался и требовал убрать. Но тут мы все — Илья, Галка, мы с Дусей — навалились и отстояли. Оно, конечно, поставить гипсовую деваху с веслом куда надежнее...

За разговором мы добираемся до лесосеки, где нас ждут отличнейшие мужики. Они сидят на чурбаках и курят. Один пожилой, с вытекшим глазом и редкой китайской бородкой, другой совсем молодой, похожий на отслужившего срок солдата. Они поднимаются навстречу нам. Ладони у обоих жесткие, заскорузлые, но пожатие осторожное. Старший рекомендует: Федос Талызин; младший только ласково улыбается. Алексей возбужден и сияет:

— Это, Лешенька, величайшие в своем деле мастера. Хирурги и патологоанатомы лесных массивов. Вы зачем сюда пришли? — обрушивается он на величайших мастеров.— Курить или делом заниматься? Чего вы ждете?

— Тебя,— спокойно говорит Федос.

— Я ж вам, лодырям, все фундаментально объяснил... Неужто по второму разу надо?

— Ничего нам от тебя не надо. У нас это дерево решонное. А повалить его что — минутное дело.

— Смотрите, братцы, не повредите мне его...

— Алексей Маркелыч, кому ты говоришь? Положу как дите в колыбельку.

Разговор мне не очень понятен, но я помалкиваю. Прежде чем приступить к делу, Федос проверяет бензопилу. Затем обходит кругом приговоренное дерево и, прищулив свой единственный глаз, задумывается. В этот момент он действительно похож на хирурга, готовящегося сделать первый разрез. Кивок помощнику, и пила, урча, впивается в рыхлую древесину. Вскоре раздается легкий треск, пила меняет режим, отчего урчание становится тоном ниже, наконец совсем замолкает, дерево начинает валиться. И тут-то я впервые понимаю, что значит решить дерево: рассчитано абсолютно все — направление и скорость падения, амортизация удара, ствол ложится почти бесшумно, подрессоренный собственными ветвями, он застывает на уровне наших глаз, и я вижу на нем большой буро-красный нарост в форме гребня, похожий скорее на крупного океанского моллюска или ядовитый тропический цветок, чем на обычный древесный гриб.

— Честь имею представить, — торжествует Алешка. — *Fictulina heratica*, в перекладе на язык родных осин — гриб печеночный. Название грубое, но не лишенное меткости, ибо видом своим напоминает печень алкоголика, а будучи изжарен, считается у нас, бушменов, деликатесом. Сегодня в твою честь Дуська подаст его нам под бешемелью.

— Гриб хорош, — робко говорю я. — Но стоило ли из-за него рубить дерево?

Алексей смотрит на меня с мягкой укоризной, и я понимаю, что сказал глупость.

— Лешенька, — говорит он, молитвенно складывая свои ручки. — Ты большой ученый, а я жалкий бушмен. Но есть одна узкая область знания, где я понимаю больше тебя. Область эта — грибы, и притом грибы именно древесные. Разреши мне по этому случаю прочесть тебе двухминутный трактат. Я не выйду из регламента. Позволяешь?

— Сделай одолжение.

— Федос и Яша все это уже сто раз слышали и займутся своим делом. Тебе же следует знать: дерево сие — уд гангренозный, ибо поражено грибом до самой сердцевины и годится только на дрова. То, что большинство людей по неведению называют древесным грибом, не гриб, а его плодовое тело, самый же гриб, или точнее грибной мицелий, глубочайшим образом разрушает древесину, споры его заражают соседей, а потери и убытки, кои несет наше лесное хозяйство, превышают потери и убытки от лесных пожаров. Да-с, Лешенька, не изображай на своей физии академический скепсис — превышают! Гриб — это древесный канцер, проблема столь же сложная, как раковые заболевания у людей, тому, кто решит эту проблему, человечество должно отгрохать памятник если не из чистого золота, то как минимум из нержавеющей стали. И если мне, лепящемуся у самого подножия храма науки, удастся хоть на сантиметр приблизиться к разрешению этой проблемы, я буду считать, что не совсем напрасно обременял своей особой здешний мир. Но пока это только хобби, причуда наполовину тайная, потому как мой принципал относится к ней с законным недоверием. Особливо же после того, как я пустил в оборот докладную с изложением некоторых неотложных мер... Ты смеешься, злодей?

— Наоборот, слушаю с неослабевающим интересом. Лешка, да ты никак сделал открытие?

— Никакого открытия я не сделал, пока чистая эмпирика. По моему скромному разумению, следует запретить плановые порубки в периоды наибольшего спорообразования. Проблемы это не решает, но нет такой мелочи, которая, будучи помножена на необъятные просторы нашей родины, не давала бы миллионы рублей экономии. Или убытка. Рубакам от моих прожектов мало радости, ибо выполнять план и получать премии им надо уже сейчас, а я предлагаю подумать о будущем. О будущем, Лешечка, гораздо легче трепать языком, чем думать.

Алешка не наглядится на свой *hepatica*, и я спрашиваю, почему он так ему радуется.

— Я ждал, когда же ты наконец спросишь. Видишь ли, этот гриб вообще довольно редок, до сих пор считалось, что он водится только на западе страны и в Восточной Европе. Я обнаружил его у нас еще в прошлом году и сообщил об этом одному польскому коллеге, теперь мы переписываемся. У меня в коллекции есть два экземпляра, но не в пример хуже этого, к тому же я не сразу раскумекал, как сохранить их в первозданной красе, и они у меня малость пожухли...

На этом трактат о грибах заканчивается, и очень кстати. К нам бегут две девушки.

— Галюха и Олюха,— объявляет Алексей.— Мои дорогие помощницы. Прелесть что за девки. Сейчас я тебя познакомлю...

Девушки в самом деле хороши. Гале Вдовиной очень к лицу ее синий тренировочный костюм. Она слегка прихрамывает, но это не лишает ее грации. В лице есть что-то жестковатое, но девка действительно перец, и я понимаю, почему она нравится Илье. Оля-маленькая нервнее, угловатее и по сравнению со своей старшей подругой совсем еще девочка. Похожа на мать. И немножко на утрешнего олененка — такой же настороженный взгляд. Девушки здороваются со мной до скуки почтительно, еще бы, для них я автор учебника, по которому занималась еще Олина мама. Они бурно восторгаются грибом, пока Галя не спохватывается:

— Ой, Алексей Маркелыч! Мы нарочно убежали вперед, чтоб предупредить... С нами отец. И он очень сердится, что вы похитили Олега Антоновича.

Николай Митрофанович появляется не спеша и если сердит, то никак не показывает этого. Кивает лесорубам, здоровается за руку со мной и с Алексеем. Я сразу отмечаю, что он не только побрит, но и одет так, как будто собрался не в лес, а на заседание ученого совета. Узнав, что я не завтракал, приходит в негодование:

— Сейчас же увожу тебя. Не домой — супруга в расстройстве чувств и еще не вставала... Тут, по соседству. Ты, кажется, хотел на нейтральной территории? Так вот, мы сейчас на этой нейтральной территории отлично закусим и заодно решим все вопросы. А девочки пусть остаются. Привезешь, Алексей Маркелыч?

Неподалеку от того места, где Алексей оставил мотоцикл, нас ждет маленький вездеход. Вдовин ведет машину очень уверенно. Выезжаем на уже знакомую дорогу, но сворачиваем не налево, к поселку, а направо. Еще километра три, и Вдовин ныряет в узенькую, но очень ухоженную, обсаженную молодыми липками аллею. Под нашими колесами деликатно шуршит мелкий гравий. Аллея заканчивается затейливой избушкой в васнецовском вкусе, над самым входом приколочена рогатая голова какого-то лесного жителя, и я догадываюсь, что это и есть тот самый Дом с рогами, который с издевочкой поминали Алешка и Владимир Степанович. Идти туда мне не очень хочется, но возразить нечего, территория в самом деле нейтральная.

Поднимаемся на высокое крыльцо, Вдовин отпирает обитую кра-

шениной дверь, и, миновав просторные сени, мы входим в светлую горницу. Сельская простота умело сочетается с городским комфортом. Некрашенный стол, простые дубовые скамьи, плотницкой работы стойка для ружей, но холодильник последней марки, а в застекленном шкафчике хорошая посуда и даже хрусталь. За холщовой занавеской с мордовской вышивкой прячется дверь в боковушку, значит, можно и заночевать.

Вдовин сразу же лезет в холодильник.

— Помню твои условия,— говорит он, обернувшись ко мне.— На ничейной земле и без водки. Так что же — коньячку?

— Лучше чаю.

— А может быть, кофе?

— Пожалуй.

Вдовин включает электрический чайник. На столе появляется банка бразильского растворимого кофе и всякие деликатесы: аккуратно нарезанные и завернутые в пергамент ломтики балычка и севрюжки, сыр со слезой и початая банка «фуа гра» — этим чудовищно жирным паштетом современные французы угощают иностранцев, но сами уже давно не едят. Вынутую было из холодильника большую кастрюлю Вдовин после некоторого колебания ставит обратно. Почему, догадаться нетрудно — не хочет напоминать о своих вчерашних охотничьих подвигах. Пока он хлопочет по хозяйству, наше молчание еще нельзя назвать затянувшимся. Но время идет, вода не закипает, и кому-то надо начинать. Начинает он.

— Я хочу, чтоб ты знал, Олег,— говорит он, глядя мне прямо в глаза.— Я искренне рад нашему будущему сотрудничеству. Не думай, что мне его кто-нибудь навязал. Я всей душой за триумвират.

Вряд ли это так. Но от моего согласия зависит его собственное назначение, так что он наполовину искренен.

— Если ты всей душой за триумвират,— говорю я, нарочно помедлив,— то почему бы нам не поговорить втроем?

— Мы и поговорим. Непременно. Но перед тем как приступить к переговорам на высшем, так сказать, уровне, нужен мужской разговор.

— Согласен,— говорю я.

Мы сидим, разделенные столом, как на дипломатической встрече. Не хватает только переводчиков.

— Три — идеальное количество людей для принятия эффективных решений,— изрекает Вдовин.— Доказано историей. От римских триумвиров до современного суда. И, на мой взгляд, единственное, обеспечивающее подлинную демократию.

Это уже любопытно. Смотрю вопросительно.

— Подумай сам. Три — это не единоличная диктатура. И не митинговщина. Три — это число, в котором двое всегда составляют требуемое демократией большинство в две трети.

Еще интереснее. Несомненно, Николай Митрофанович хочет быть в большинстве. Уж не подбирает ли он себе компанию? Неужели он думает, что меня можно втянуть в заговор против Беты? Я был лучшего мнения о его пронизательности.

— Мне кажется, ты не совсем ясно представляешь себе будущую структуру,— вяло говорю я.— Триумвират — это не равносторонний треугольник. И вообще — если у нас мужской разговор — не слишком ли много иносказаний в восточном вкусе?

Вдовин мрачнеет:

— Не беспокойся, я за слова не прячусь. Директор при всех условиях остается директором. Но многое будет зависеть и от того, сумеем ли мы с тобой сработаться. Понимаю, после того, что мы в свое время наговорили друг другу, это непростая задача. Но есть же, черт побери,

какие-то дорогие нам общие цели, во имя которых стоит переступить через личные обиды? Ты, говорят, в Париже произнес историческую речь насчет всякого там взаимопонимания с учеными Запада. Так неужели мы на своей земле не сумеем договориться, как лучше послужить нашей родной стране и тому же самому человечеству?

Меня умиляет конец фразы. Несомненный прогресс. Во время памятной сессии «человечество» было для Николая Митрофановича словом если не ругательным, то по меньшей мере подозрительным. Конечный смысл мне также ясен: если ты стремишься найти общий язык с лордом Кемпбеллом, а со мной не найдешь, то позволь спросить тебя, голубчик, кто же ты такой? Было время, когда подобные силлогизмы имели надо мной немалую власть, и даже сегодня я должен подумать, прежде чем сформулировать ответ, хотя внутренне он мне совершенно ясен: действительно, мне гораздо проще разговаривать с лордом Кемпбеллом отчасти потому, что нам с ним детей не крестить, но еще больше потому, что престарелый лорд при всех необходимых поправках на расхождения в научных взглядах и кое-какие словесные предрассудки — настоящий ученый и до сих пор не давал мне повода усумниться в своей профессиональной добросовестности.

— Оставим Париж в покое,— говорю я.— Если ты хочешь лишний раз напомнить мне, что я уроженец города Парижа, то напрасно. Это непоправимо.

При этом я деланно улыбаюсь. Вдовин также деланно фыркает.

— Это ты не исправим, такая же язва. Слово даю: в мыслях не было. Я только хотел сказать, что оптимистически смотрю на возможность нашего симбиоза, а главное, убежден, что он в интересах дела. Будем говорить откровенно: среди нас нет никого, кто был бы равен покойному...— Он явно хотел сказать «Паше», но, взглянув на меня, запнулся.

В сущности, он имеет на это право. В период своего возвышения он говорил Успенскому «ты» и называл по имени, но это было «ты» особое, не дружеское, а почти официальное, принятое среди руководящих работников как некий признак принадлежности к кругу. И я ценю, что при мне Вдовин этим правом не пользуется.

— Да,— говорит он, выдержав паузу.— Это был ученый с мировым именем, государственный деятель, трибун — все в одном лице. Я ничуть не хочу принижать заслуги Елизаветы Игнатьевны, вероятно, они даже больше, чем мы до сих пор знали. Когда небесное тело находится слишком близко к солнцу, его труднее рассмотреть. Она с честью носит знаменитое имя, умна, обаятельна и способна представлять Институт лучше, чем кто-либо другой. Но у Павла Дмитриевича было еще одно качество — он держал Институт вот так.— Вдовин показывает как, кулачище у него впечатляющий.— По силам ли это Елизавете Игнатьевне?

Вопрос риторический, и я вправе не спешить с ответом.

— Теперь о тебе. Слушай, Олег.— Вдовин разжимает кулак, прикладывает ладонь к левой стороне груди, и в его голосе появляется нечто похожее на сердечность.— Не такой я чурбан, чтоб не помнить, чем я тебе обязан. Я всегда считал тебя вторым, после Успенского, человеком в Институте, и будь у тебя другой характер, вопрос о преемнике решался бы сам собой. Но в наше время наука — занятие не для талантливых одиночек, это процесс коллективный, целенаправленный и при этом чрезвычайно дорогостоящий. Ученый без вкуса к организационной деятельности не может возглавлять большой научный коллектив. У тебя этого вкуса нет, ты забрался в башню из слоновой кости и, как выражается твой дружок Алмазов, витаешь в эмпиреях. Не прими мои слова в укор: ты гораздо ценнее как блестящий хирург,

как генератор научных идей, а уж проводить их в жизнь — дело таких ломовых лошадей, как я.

Он делает паузу в расчете на реплику с моей стороны, но я бес тактно молчу.

Схема, в общем, ясна. Бете отводится почетное место в красном углу. Она — та икона, на которую всякий входящий должен перекреститься, с тем чтоб в дальнейшем не обращаться на нее никакого внимания. Ее задача — открывать торжественные заседания и писать предисловия к сборникам. Она может принимать знатных гостей в кабинете карельской березы, под украшенным лентами портретом своего мужа, желательно только, чтобы она не говорила при этом ничего обязывающего, не посоветовавшись предварительно с ломовой лошадей. Если она захочет продолжать начатые вместе с мужем исследования, она может рассчитывать на лабораторное снабжение в первую очередь, и уж ей-то не придется высиживать под дверью у Сергея Николаевича или ловить его в коридоре. А чтоб ее не беспокоили и не отвлекали, оставить ей один телефонный аппарат, а все остальные перенести в кабинет одного из заместителей. Какого? Того, кто готов взять на себя этот тяжкий крест.

Мое место в схеме также четко определено. В масштабе своей лаборатории я — полный хозяин, и это уж мое дело — торчать там до поздней ночи или уединяться в башне. Угодно поощрять зубоскальство и разрешать всяким щенкам фамильярничать с собой — дело хозяйское. Только не в масштабах Института. В общепринятом масштабе моя задача также ясно сформулирована — быть генератором идей. Мне не возбраняется встречаться с иностранными коллегами, в особенности если эти встречи происходят не по углам, а в залитой ярким светом первой операционной, где гости сидят на расположенных крутых амфитеатром скамейках с пюпитрами, а высокочтимый Олег Антонович во всем стерильном, с марлевой повязкой на губах демонстрирует свою ювелирную технику. Но главное все-таки научные идеи, которые по примеру своего старшего друга и учителя я должен щедрой рукой рассыпать — вполне бескорыстно или, в соответствии с духом времени, собирая некоторую дань с оплодотворенных моими идеями работяг — это опять-таки дело мое и только мое. Могу ставить свою фамилию перед фамилиями младших научных сотрудников или продолжать донкихотствовать — в это никто вмешиваться не будет. Полная свобода.

Но не следует забывать, что Институт не только храм науки. Он еще и учреждение. Надо твердой рукой направлять деятельность дюжины лабораторий с их зачастую противоречивыми интересами, добиваться максимальной «отдачи» и практического эффекта, координировать работу Института с другими научными учреждениями, ведать кадрами, сноситься с вышестоящими организациями, наиболее целесообразно распоряжаться предоставленными нам валютными лимитами — всю эту черную работу великодушно возьмет на себя кандидат наук Вдовин при условии, что ему будет выделена маленькая лаборатория, где он сможет продолжать свои так жестоко прерванные занятия и не спеша подготовить докторскую...

Молчание затягивается. Николай Митрофанович смотрит на меня выжидательно.

— Честное слово, мы не тем занимаемся, — выпаливаю я, чтоб как-то выбраться из этой вязкой паузы. — Не рано ли мы начали распределять обязанности?

Лицо моего собеседника сразу скучнеет. Он был обо мне лучшего мнения.

— Будем выяснять отношения? — говорит он с усмешкой. — Ты знаешь, отчего слоны долго живут?

— Знаю. Оттого, что никогда не выясняют отношений. Но слоны не делают многого другого.

— Например?

— Например, не топчут друг друга.

Вновь наступает молчание. Теперь раздумывает Вдовин. Он встает из-за стола, не торопясь обходит комнату. Звякает крышечкой электрического чайника. Вода все никак не закипит, похоже, что в сети упало напряжение. Вдовин свирепо щелкает выключателем — так и есть, спиралька в висящей над столом лампочке накаляется неохотно и не светит.

— Может быть, все-таки коньячку выпьешь? — спрашивает Вдовин с надеждой.

Стопка-другая коньяка наверняка облегчила бы ему дальнейший разговор, но в мою задачу не входит облегчать ему что бы то ни было.

— Нет, спасибо, — говорю я. — Эксперименты надо ставить чисто.

— Ты считаешь наш разговор экспериментом?

— Да. И с незадаанным исходом.

— В таком случае экспериментатор — ты. Я всего только кролик.

— Вот как? Только что ты был лошадью.

— Кролик в том смысле, что я полностью подчиняюсь условиям эксперимента. У меня вопросов нет. Но я готов отвечать на твои.

Говорится все это по видимости без раздражения, даже добродушно.

— Хорошо, — говорю я. — В таком случае помоги мне преодолеть мои сомнения. С твоей стороны было весьма неосторожно назвать себя ломовой лошадью. Я против ломовых лошадей в науке. У нас в Институте наберется с десяток настоящих ученых, и Елизавете Игнатьевне будет нелегко объяснить им, почему она предпочла человека, не опубликовавшего, кроме кандидатской диссертации, ни одной серьезной работы, а в должности ученого секретаря обнаружившего свою некомпетентность.

Сказано, на мой взгляд, мягче некуда. Я ни словом не обмолвился о том, как делалась эта диссертация и как дорого обошлась Институту деятельность ученого секретаря, однако Вдовин смотрит на меня с укором, как на невоспитанного подростка.

— Начнем с того, что в Институт я приду доктором. — Он говорит медленно, тоном человека, которого вынуждают объяснять элементарные вещи. — Диссертация у меня почти готова, а защищать ее я буду в каком-нибудь другом месте, где ко мне будут объективнее. Как видишь, я уже взрослый и могу обходиться без помочей. Ты скажешь, что среди двадцати докторов, составляющих наш ученый совет, есть люди, стоящие по своим знаниям и заслугам выше меня. Верно. Но к руководящей работе они в большинстве своем непригодны. Одни поглощены своими опытами и не видят ничего вокруг, другие поинтеллигентски дряблы, связаны кастовыми предрассудками и неспособны к государственному мышлению. Я не говорю о тебе, ты — исключение, и именно поэтому тебя надо особенно беречь и использовать там, где ты сильнее.

Теперь моя очередь переварить услышанное.

Я вспоминаю английский анекдот Беты и с трудом удерживаюсь от неприличной ухмылки. В одном Николай Митрофанович несомненно прав, по части организационных способностей все мы перед ним малые дети. Судя по тому, что мне приходилось о них читать, ни Ньютон, ни Эйнштейн не были выдающимися организаторами, но это была другая эпоха. Неприятно мне другое: не люблю, когда об интел-

лигентности говорят как о врожденном или приобретенном пороке. Я не преувеличиваю своих военных заслуг и, встречаясь с настоящими бойцами, знаю свое место. Но упрека в интеллигентности не принимаю. Когда приходится часами сшивать кровоточащие сосуды и сращивать нервные волокна, то по сравнению с этим занятием труд механика, ремонтирующего мои приборы, мне представляется не в пример легче. Рабочий может запороть деталь и поставить вместо нее другую, я этой возможности лишен; что же касается физического напряжения, то на сей предмет существует такой объективный свидетель, как весы. За трехчасовую операцию я теряю в весе столько же, сколько шахтер за весь рабочий день. Я не обольщаюсь насчет своей философской эрудиции, но сильно сомневаюсь в глубине марксистских познаний моего собеседника. В теоретическом багаже Николая Митрофановича есть что-то угрюмо-запретительное, охранительное, а цитаты, которыми он привычно пользуется, явно не из первых рук. На месте Алмазова (да простится мне плохой каламбур) он был бы больше на месте, но куда! — Николая Митрофановича ничуть не увлекает задача раздобывать для нас оборудование и подопытных животных, он хочет направлять научный процесс, это его любимое выражение, и, по совести говоря, я не очень понимаю, какое содержание он в него вкладывает.

Это только небольшая часть того, что мелькает в моем мозгу за считанные секунды до очередной реплики. Нельзя показать, что я несколько растерян.

— Если ты боишься, что наши ученые накидают тебе черных шаров, то как же ты можешь ими руководить?

Я готов ко всему, даже к внезапной вспышке, после чего я, не слишком кривя душой, смогу доложить Бете, что эксперимент не удался. Но Вдовин только снисходительно улыбается.

— Думаю, что смогу. Ты сильно поотстал от жизни, Олег. Времена Галилеев и Эдисонов прошли.

Это уже что-то новое. С интересом жду разъяснения. И получаю.

— Они были гении, не спорю, — говорит Николай Митрофанович, и по его тону нетрудно понять, что насчет Галилея у него все продумано и приговор вынесен. — И гениальность их еще нагляднее оттого, что вокруг них был вакуум. Наукой тогда занимались немногие чудачки. Наука им многим обязана, но время, когда ученый, затворившись в своей башне, мог наблюдать колдовращение светил, это время прошло и не воротится. Сегодня научная аппаратура стоит миллионы и во многих отраслях науки поставить эксперимент — это то же самое, что построить доменную печь или провести армейское учение. И, понятное дело, государство может поручить руководство экспериментальной работой только человеку, на которого оно может полностью положиться. Человеку, обладающему необходимыми волевыми качествами, умеющему считать деньги и управлять людьми. Это тоже талант, и немаловажный. Ну а насчет знаний, — он уже не скрывает иронии, — ты же сам говорил, что в нашу эпоху человеческий мозг уже не может вместить всех необходимых для дела знаний и старцы давно уже перестали быть кладями опыта. Надо владеть методом и знать, где лежит нужная информация. Наш почтеннейший Петр Петрович набит всякими ценными сведениями, как мешок трухой, а что толку? Только и умеет изливать свою ученость на головы обывателей через Общество по распространению...

— Послушать тебя, так и ученым можно назначить. — Этой репликой я рассчитываю осадить или хотя бы разозлить собеседника, но он снисходительно улыбается.

— Если хочешь, да. Образование нынче ведь тоже стало индустрией. Институты каждый год штампуют многие тысячи потенциальных

мужей науки. Конечно, не всякая икринка станет осетром; те, кто попадает в аспирантуру, кого оставят при кафедре, кому повезет на научного руководителя, имеют наибольшие шансы. Я не отрицаю врожденных задатков, но и ты не будешь, надеюсь, отрицать: многое решает среда, условия. А условия можно и нужно создавать. Возьми хотя бы спорт. У нас на Волге богатыри не редкость, но чемпионом станет тот, на которого поставят. Если богатыря кормить сардельками в нашей столовой, он не много подымет. Да зачем далеко ходить — видел мою Галку? На нее ставили, не порви она по дурости мышцу — была бы чемпионкой. Мышцу-то пришили, но поблажки кончились, теперь ставят на другую. — Он хитро прищуривается. — Это ведь даже в искусстве так.

Наконец-то ему удается меня удивить. Никогда не предполагал, что Николай Митрофанович способен размышлять об искусстве.

— Что ты имеешь в виду? — осторожно спрашиваю я.

— А то, что времена Паганини тоже прошли. Паганини был гений, потому что он был один. Его игра казалась чудом, и недаром современники считали, что ему помогает дьявол. А в наше время музыкальные школы выпускают сотни мальчишек, обученных пиликать на уровне мировых стандартов. Но массе, так уж она устроена, непременно надо кому-то поклоняться, и чаще всего современным Паганини становится малец, которому созданы условия. Паренек попадает к лучшему профессору, получает скрипку из коллекции и путевку на международный конкурс, на него начинают сыпаться премии и звания, и он в самом деле начинает играть немножко лучше других. А может быть, это нам только кажется... Слушай, как звать этого пианиста?.. Ну, этого, твоего любимца, ты еще водил нас на него в Дом ученых... Софронцев, что ли?

— Софроницкий.

— Вот, вот. Ну скажи по чести: если тебе завязать глаза и не сказать, кто играет, — узнаешь его?

— Узнаю. И раз уж зашла речь о Софроницком — неудачный пример.

— Разве? Ну что ж, всяко бывает. Мода — тоже великая сила.

Чайник наконец закипает. Вдовин заваривает кофе, режет батон и пододвигает ко мне гастрономические раритеты. Он очень хлопочет, и я догадываюсь почему. Во всех нас живет древнее убеждение, что человек, «преломивший хлеб» с другим человеком, тем самым скрепляет с ним какой-то неписанный договор. Я жую хлеб с сыром, пробую понемногу и все остальное, отказ выглядел бы демонстрацией. Вдовину хочется выпить, но без меня он пить стесняется и ограничивается тем, что подливает себе коньяку в кофе. Он изо всех сил старается вести себя так, как будто главная, самая трудная для нас обоих часть разговора уже позади и нам остается, отдохнув, договориться о деталях.

— Ну как? — спрашивает он, благодушно улыбаясь. — Я ответил на все твои вопросы?

В тоне нет никакой издевки, но ясный подтекст: разговор был нужен тебе, а не мне. Нужен затем, чтоб дать понять: ты не пешка и можешь ставить условия. Ставь. Чтоб получить необходимые заверения. Ты их получил. Наконец, просто для очистки совести. Признай, я во всем шел тебе навстречу. Но теперь, когда все конвенансы соблюдены, давай займемся делом.

— Нет, не на все, — бурчу я, стараясь не выдать вспыхнувшего во мне раздражения.

— Я слушаю. — Наклоном головы он выражает покорность моей воле.

— Ты только что сказал: пройдет год... Пройдет год, и никому уже не будет казаться странным твое появление в Институте. Верно.

Но есть вещи, которые тебе долго не забудут. Не забудут, как после твоей речи увозили с инфарктом Ашхен Никитичну, как ты разгромил лабораторию Погребняка...

— Можешь не продолжать,— говорит Вдовин.— Ты уже читал мне список моих прегрешений на партсобрании, а я еще не жалуясь на память. Свои ошибки я признал уже тогда. Я говорил о своей тяжелой вине перед открытой могилой Паши, а ты знаешь, что он для меня значил. Послушай, Олег.— Он подходит ко мне вплотную и держит руку наготове, как для крепкого пожатия.— Брось все это. Теперь другое время, другие песни и к старому возврата нет. Знаешь, как говорят в народе: кто старое помянет, тому глаз вон.

— Мне не нравится эта формула,— говорю я.

— Почему?

— Что-то в ней есть угрожающее. Как бы не окриветь.

Вдовин смеется. Он способен оценить шутку, даже злую. Но меня вдруг покидает чувство юмора.

— Мне очертели эти разговоры,— почти кричу я.— Уважаемый Николай Митрофанович, я был армейским хирургом и кое-что понимаю в ранах. Раны надо не скрывать, а лечить. И сыпать на них соль. В сорок втором у меня еще не было пенициллина, я вводил в раны крепчайший солевой раствор — и спасал этим людей от сепсиса. И пока этого не поймут...

Кажется, я добился своего. Вдовин отшатывается, и я вижу его побуревшее разъяренное лицо.

— Чего ты от меня хочешь? — рычит он.— Чтоб я перед тобой на колени стал? А кто ты такой, чтоб меня судить? Я довел до инфаркта! Шла борьба! Можно спорить, прав я был или нет, но нельзя требовать, чтоб я наперед брал справку в поликлинике, как у нее там с сердечной мышцей... Да, я топтал Илюшку, а ты? Ты его защищал, и все ученые дамы ахали: какой он смелый, какой принципиальный. Ну и что? Помогла Илье твоя защита? Да ты не его защищал, а себя. Свою репутацию. Защищал в разумном соответствии со своими возможностями, за тобой стоял Успенский, и ты знал: поворчит, но в обиду не даст. А потом? Ты, хороший, много Илье помогал? А я, плохой, дал ему кусок хлеба и теперь в лепешку разобьюсь, чтоб вытащить его отсюда... Думаешь, я забыл, как ты честил меня на том собрании, после пленума? Я даже не злился на тебя, а только думал: почему же ты, хороший, на сессии так не разговаривал? Потому что теперь можно, а тогда нельзя было? А потом — я нигде этого не говорил, а тебе с глазу на глаз скажу: кто команду к наступлению дал, я или Паша? Ты на Пашу надулся, но, между прочим, не отказался скатать с ним вместе в Париж, а мне на похоронах руку подал как великое одолжение... Эх, да что там...

Он машет рукой и отворачивается. В этот момент он несомненно искренен, а искренность иногда впечатляет больше, чем правда. Я не чувствую себя сломленным, но я в нокдауне. Ближе он мне не стал, но, как добросовестный противник, я должен признать, что получил несколько чувствительных ударов.

— Подумай еще, Олег,— говорит Вдовин, и по голосу я понимаю: он так же устал от нашего разговора, как и я. Разговор не исчерпан, он задохся. Это понимаем мы оба и не сговариваясь начинаем собираться.

Через пять минут мы уже съезжаем с гладкой, усыпанной шуршащим гравием аллеики на ухабистую лесную дорогу.

XXIII. Presto

А затем события, развивавшиеся до сих пор с провинциальной неторопливостью, обрели темп, обозначаемый в музыке «presto».

Presto — значит, быстро, на пределе физических возможностей исполнителя. Вряд ли композиторы избирают этот темп только для того, чтоб исполнитель мог продемонстрировать беглость пальцев. Virtuозность всегда увлекательна, и бесспорно в удовольствии, которое мы получаем от скрипичного, фортепианного или оркестрового presto, есть что-то родственное наслаждению от быстрой езды и воздушных полетов. Но главное, как мне кажется, не в этом, а в том, что presto уплотняет наши мысли и эмоции, заставляет нас прожить за единицу времени вдвое большую жизнь. Не потому ли захватывает дух от финального presto в Четвертой сонате Скрябина?

Все эти дилетантские рассуждения суть слабая попытка объяснить самому себе состояние, в котором я пребывал весь оставшийся день после того, как ведомый Вдовиным вездеход остановился на вытоптанной площадке перед столбом с выцветшей молнией и надписью «Не влезай, убьет!».

В странноприимном доме — тишина. И только подойдя вплотную к двери Беты, я слышу приглушенные, но оттого еще более мучительные рыдания. Так плачут только от свежей боли.

Дверь заперта. Вероятно, на такой же крючок из алюминиевой проволоки, на каком держалась наша репутация этой ночью. Поколебавшись, стучу. Дверь приоткрывается на ширину ладони, и я вижу в щель растерянное и от этого как будто сердитое лицо Оли-маленькой:

— Ой, погодите... Нельзя.

Она захлопывает дверь перед самым моим носом, но я все-таки успеваю разглядеть сидящую на койке Бету и уткнувшуюся ей в колени Галю Вдовину.

Что-то случилось. Что?

С этим неразрешенным вопросом я отправляюсь искать Алешку. Захожу в контору. Квадратная комната разгорожена жидким некрашенным барьером на две примерно равные части. За барьером желтый канцелярский стол с древней пишущей машинкой и обитая рыжим дерматином дверь в директорский кабинет. Ни души. Выхожу обратно в сенцы и обнаруживаю малозаметную дверцу с табличкой «Парткабинет». Заглядываю внутрь. Такой же канцелярский стол, за столом, поставив локти на столешницу и вцепившись пальцами в свои охряные космы, полулежит Алексей, а перед ним, выпрямившись на стуле, как вызванный для объяснений посетитель, со злым и упрямым лицом — Илья. Оба молчат. Если и был разговор, то он явно зашел в тупик. Алексей замечает меня не сразу, увидев, говорит со вздохом облегчения:

— А, очень хорошо. Заходи.

Вхожу, но еще раньше, чем я успеваю прикрыть за собой дверь, Илюша срывается со стула и, почти оттолкнув меня, выскакивает в коридор.

Вид у Алешки расстроенный, и я не спешу задавать вопросы. Разглядываю стены. Все как в любом парткабинете, есть и портреты вождей, и плакаты, и стенд с литературой. Но самое заметное — большая, до потолка, коллекция древесных грибов в плоских застекленных ящиках. Я сразу натякаюсь глазами на экземпляр hepatica, ссохшийся, пожухший и как будто обглоданный.

— Знаешь, Леша, — говорю я, продолжая разглядывать ящики. — Спасибо за честь, но скажи Дусе, чтоб она не жарила сегодня твой гриб. Возьми его лучше себе в коллекцию. А я не такой уж любитель грибов.

В ответ слышу благодарное урчание. Затем звяканье — Алешка наливает из графина воду. Пьет, хочет успокоиться. Успокоиться для Алешки означает вновь обрести способность смеяться.

— Лешка, аврал...
Я оборачиваюсь.
— Что случилось?
— Дуреха Галка увидела пьяного Илюшку и вlepила ему пощечину.— Алешка скалит свои щербатые зубы, и, к стыду моему, до меня не сразу доходит серьезность происшедшего.

— При тебе?
— При мне и при Дуське. Я Илью не оправдываю, был он видом гнусен и отвратительно кривлялся. Надо сказать, хряснула она его не символически. Ядро Галочка толкает только на метр хуже всесоюзного рекорда.

— Ну и что Илья?
— Сразу протрезвел. Потрогал щеку, улыбнулся. Лешка, ты бы видел эту улыбку... Помолчал и говорит: «Последышем был, ставленником чьим-то был, но по морде еще не били...» Тут Галка очухалась, завoпила «прости», кинулась к нему, а Илюшка от нее как от змеи: «Не подходи. Ты такое же дерьмо, как твой отец...» Галка сдуру снова завелась: «Как ты смеешь...» А Илья: «Ах так, не смею? Так вот знай: твой почтенный папаша из осколков моей кандидатской диссертации строит себе докторскую».

Трррррах!

— Ты думаешь, это правда? — спрашиваю я, холодея.
— Я болван,— сокрушенно говорит Алексей.— Я должен был догадаться раньше.

На минуту мы замолкаем. За эту минуту я успеваю очень многое. Суммировать все доселе мне известное и сделать вывод: Илья не соврал. На миг почувствовать облегчение: уж теперь-то Бета освободит меня от данного слова. Отвергнуть это облегчение как чувство пошлое и эгоистическое. И наконец, ощутить потребность в немедленном действии.

— Что делать, Леша? — говорю я.

Алешка фыркает.

— Если речь идет о принципе, тебе лучше знать. Я ведь не слышал, о чем вы договаривались.

— Теперь это уже не имеет значения. С человеком, способным на научный плагиат, я не хочу иметь никакого дела.

— Не иметь дела проще всего. А вот попробуй доказать. В наш век избыточной информации это становится все труднее. Это в начале века было принято ссылаться на всех своих предшественников, кто бы они ни были, печатать их фамилии латинскими буквами и склонять через апостроф. Теперь во всем мире это пройденный этап. Цитируются только авторитеты, а мелкую сошку раскавычивают без лишних церемоний. К чести покойного Паши, он никогда так не делал.

— Если вспомнишь, я тоже.

— Ты поступал не лучше. Раздаривал то, что у других вымогают.

— Есть некоторая разница?

— Есть. Результат тот же: новый вид интеллектуального паразитизма. Можешь быть уверен, наш общий друг настолько убежден в закономерности такого порядка, что не чувствует никакой вины перед Ильей. Да и к тебе не питает особой благодарности. Говорил он тебе нынче — век буду помнить, как ты мне помогал, ну и все прочее?

— Говорил.

— Можешь верить. Этого он тебе никогда не забудет.

Алешка ржет, и я терпеливо переживаю приступ его веселья.

— Скажешь, циник? Сейчас ты услышишь нечто еще более циничное. Тверд человек или просто жесток, умен или всего лишь хитер, принципиален или только послушен — по этим вопросам не всегда

удается достигнуть общей точки зрения. Но когда человек залезает в чужой карман, это как-то всех объединяет. Вот тут-то и надо ловить момент и брать его голыми руками. Николая Митрофановича, положим, голыми руками не возьмешь, но против чепе и он не устоит... Короче говоря, я хочу, чтоб Илья подтвердил свои слова официально. Это позволит мне дать ход делу и выступить против нашего общего друга с открытым забралом. Задача совсем не простая, потому как Николай Митрофанович не пальцем делан и способен перейти в контрнаступление...

— Стоп! — прерываю я Алешку.— Ты уже говорил об этом с Ильей?

— За кого ты меня принимаешь? Не посоветовавшись с тобой и с Бетой — ни слова.

— Тогда рассмотрим варианты. Они могут помириться.

— Исключено.

— Когда человек любит, он прощает многое.

— Милые бранятся — только тешатся? Неужели и ты, Леша, до такой степени во власти расхожих истин? Потому и не простит, что любит. Для Ильи разрыв — катастрофа во всех отношениях, но чем дольше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, что гордость есть даже у собак и лошадей. А человеку свойственно из-за этого малоисследованного чувства в отдельных случаях презреть и материальный интерес, и любовную страсть, и даже инстинкт самосохранения. Что ты скалишься? — взвизгивает он, поймав мою улыбку.— Нехорошо смеяться над бедным бушменом.

Улыбаюсь я не потому, что Алешка говорит нечто для меня неожиданное. Наоборот, меня забавляет сходство с моими недавними мыслями.

— Прости, Лешенька,— говорю я.— Не обращай внимания. Ты абсолютно прав.

— К сожалению. А Илюшка такой же человек, как все. Энное количество оплеух он уже перенес. Эта — критическая.

— В таком случае предстоит борьба.

— Угу,— отзывается Алешка. Он встает, подходит к двери и выглядывает в сени. Перехватив мой удивленный взгляд, смеется.— Предосторожность никогда не лишняя. Николай Митрофанович, конечно, не унижится до стояния под дверью, но Серафима Семеновна — дама чрезвычайно любознательная. Я спокоен только тогда, когда слышу стук ее машинки...— В сенях никого нет, и Алексей возвращается.— Надо срочно поговорить с Бетой.

— Конечно,— говорю я.— Но мы с тобой уже не студенты и, прежде чем лезть в драку, должны взвесить шансы. Ты уверен, что Илья согласится?

— Уверен. Теперь у него нет другого выхода.

— Уверен на сто процентов?

— На девяносто девять. Один процент всегда надо держать в запасе в расчете на завихрения и сложность человеческой натуры.

— Ты уверен, что он сумеет доказать свои слова?

— Уверен. А ты ему поможешь.

— Каким образом?

— Не может быть, чтоб у тебя в лаборатории не осталось каких-то следов его погибшей диссертации.

Я задумываюсь.

— В лаборатории вряд ли. Скорее дома.

— Кстати, если очень припрет, ты сможешь доказать, что и кандидатская...

Но тут что-то во мне решительно восстает.

— Нет,— говорю я твердо.— На это не рассчитывай.

— Почему?

— Потому что я помогал ему по доброй воле. И еще потому, что к этому причастен Паша. Оставим в покое мертвых.

— Согласен. Tertio?

— Третье — надо поговорить с Бетой. Решающее слово за ней. Алешка решительно поднимается, и мы вместе выходим на крыльцо. Искать Бету не приходится, она выходит из директорской квартиры.

— Пойдемте к реке, мальчики,— говорит Бета. Она берет нас за локти, и я понимаю, что ей хочется поскорее уйти отсюда.

Мы шагаем по истоптанной и размытой поляне. Сама река не видна, виден только дальний пологий берег с прерывистой сизой полоской леса на горизонте. Выходим на глинистую тропу, по обочинам еще цепляется за жизнь прошлогодняя трава, но ее уже забивает свежая весенняя зелень. Бета вырывается вперед, ходит она удивительно красиво, большими шагами, подставив лицо ветерку и нежаркому солнцу, зажатая в кулаке косынка полощется за ней как кормовой флаг. Во всем, что касается Беты, мои мысли необъективны, но, по-моему, Алексей тоже любит ее. Так мы подходим к обрыву, отсюда начинается крутой спуск и видна река, неширокая и небыстрая, но с поймой, свидетельствующей об изменчивом нраве. Посреди реки я замечаю прозаическую баржу, а на ней громоздкое сооружение из цепей и железных лотков. Никаких признаков жизни, если не считать вывешенного для просушки бельишка. Несомненно это и есть та самая птица-драга, вгонявшая нас в дрожь прошедшей ночью. Бета оглядывается на меня, и я ловлю ее усмешку. Спускаемся к воде, тропа теряется в заросшем крупными сорняками сыром песке, в котором увязают наши ноги.

— Гляньте-ка,— говорит Алексей.— Это у нас зовется Пьяный бугор.

Смотрим и ахаем. Над узкой прибрежной полосой нависает крутой песчаный утес, а на нем с десятков рыжих сосенок, но не стройных, как в лесу, а причудливых раскоряк, застывших в захватских плясовых позах. Как будто подвыпившая компания затеяла грубоватую игру: одни стараются спихнуть зазевавшихся с откоса, те сопротивляются и упрямо карабкаются наверх, третьи глазют и покатываются со смеху.

Бета смотрит внимательно, щуря глаза.

— Они не пьяные,— говорит она наконец.— Они упрямые. Ты посмотри, Олег, какая жажда жизни, какая сила сопротивления... Ветер гнет и ломает, почва осыпается из-под ног... Сюда надо водить студентов для иллюстрации твоего излюбленного тезиса о жизни как неэнтропийном процессе. Ах, молодцы! Пойдемте к ним в гости...

Взбираемся на бугор. Присесть негде, но мы удобно устраиваемся, прислонившись к корявым шелушащимся стволам и подставив лица начинающему припекать весеннему солнцу. Я спрашиваю Бету, зачем она ходила к Вдовиным.

— Навестить Вассу. Лежит со спазмом после ночного скандала.

Васса — жена Вдовина. Помню ее по нашим институтским вечерам, где она всегда что-нибудь организовывала. Стройная женщина с правильным, но невыразительным лицом. Типичный «женотдел», только послевоенного образца.

— А почему скандал?

— Николаю Митрофановичу вчера донесли, что Васса ходит на какие-то молитвенные собрания. Ему как представителю эволюционного учения это, конечно, неприятно... Ты бы зашел к ней, Олег, все-таки ты больше понимаешь в терапии, чем я.

Активистка Васса и религия! Васса верит в бога? Я осторожно выражаю сомнение. Бета пожимает плечами.

— Ни в какого бога она не верит. Бога не выбирают по месту жительства. А тут по соседству объявился проповедник какого-то замысловатого толка — и совратил. Будь поблизости другая секта, она угодила бы в нее. Все это от пустоты, от женской тоски... Васса из тех честных, но не очень думающих людей, которым необходимо верить и поклоняться. Они религиозны не по мировоззрению, а по складу характера. Было время, поклонялась мужу и принимала на веру все, что он говорит...

— Фундаментально! — орет Алешка. — Беттина, ты взглянула в самый корень...

— А ты что же — знал? — Бета смотрит на него с любопытством.

— Знал, конечно. Я и проповедника этого знаю. Мы уже stalkивались с ним на идеологической почве, и я разгромил его, как Гексли епископа Уилберфорса. И с Вассой тоже говорено-переговорено. Увлечение уже идет на убыль, и я ручаюсь, что к осени вся эта фантазмагория забудется как дурной сон. А если для Николая Митрофановича все это полная неожиданность, то пусть пеняет на себя. В обязанности парторга не входит докладывать мужьям, где бывают их жены.

— Зайди к ней, Олег, — повторяет Бета.

— Зайду. Ну а самого ты видела?

— Видела. И без обиняков спросила его... ну, ты знаешь, о чем.

— Ну и что он?

— Что он может сказать? «Мальчишка, пьян, озлоблен...» И вот тут я взбесилась. Знаешь, что меня взбесило? Ведь знает, что я ему не верю, но это его нимало не беспокоит, достаточно, чтоб я промолчала. Я поняла: меня обволакивают, и это только начало, если я промолчу сейчас... И я сказала, что у меня к нему единственная просьба — позвонить в обком, чтоб за нами прислали машину и забронировали места на скорый. Так что обратно мы с тобой поедem с комфортом.

Мы замолкаем, Бета стоит, опираясь плечом на изгиб ствола, греется на солнце, вид у нее отрешенный, но я чувствую, как она напряжена.

Нарушает молчание Алексей. Очень сдержанно, без привычного балагурства он излагает свой план: если мы с Бетой позаботимся о судьбе Ильи, он берется поднять Илью на открытый бунт и довести битву до победного конца.

Бета слушает не перебивая, лицо ее почти неподвижно, но я и так понимаю: что-то во всем этом ей тягостно, но она не считает себя вправе уклоняться.

— Хорошо, — говорит она, убедившись, что сказано все. — Но сперва я должна сама поговорить с Илюшей.

Обратно мы идем другим путем. Бета и Алексей заворачивают к домику, где живет Илья, а я захожу за своим несессером и отправляюсь к Вассе. Дверь вдовинской квартиры открыта настежь. Вхожу в просторные сенцы. Газовая плита с баллоном. На грубо сколоченном столе шаткая башня из эмалированных кастрюль и пузатые банки с солениями, в углу железный умывальник и помойное ведро с плавающей в нем яичной скорлупой. Здесь же вход на застекленную веранду, отгороженную от кухни занавесой из каких-то висюлек. Веранда мне кажется необитаемой, и я уже готов идти дальше, когда из-за висюлек доносится слабый голос: «Оля, Оленька...» Возвращаюсь, раздвигаю висюльки и вижу накрытый клеенкой обеденный стол, а за ним на низком топчане укрытую до подбородка одеялом Вассу. Пока я мучительно вспоминаю, на «ты» мы или на «вы», она поворачивается ко мне:

— А, Олег! Ты все-таки соизволил нанести мне визит? — Бедняга пытается выжать из себя иронию.

— Рассматривай его как визит врача, — говорю я нарочно ворчливо и присаживаюсь на стоящий рядом табурет.

— Вот как? — Кривя губы, она разглядывает мой несессер. — Не рано ли? Ведь ты, кажется, патологоанатом?

— Патологоанатомы тоже врачи. И самые универсальные — они учатся на ошибках всех других врачей. Не морочь мне голову, мать, и дай смерить давление. Пикироваться будем потом.

Мой генеральский тон столь же вымучен, как ее ирония, но производит впечатление. Она выпрастывает из-под одеяла голую руку, и я надеваю манжету бароскопа. Давление как будто приличное, пульс немного частит. После некоторого сопротивления она позволяет прослушать тоны сердца.

— Что ты принимаешь? — спрашиваю я.

— Не помню. Давали что-то...

На столе лежит патрончик с таблетками. Нитроглицерин. Гляжу на лиловый штампик — срок годности давно истек. С таким же успехом она могла принимать соду.

— Вот что, Васса Ефимовна, — говорю я. — Я, конечно, могу сделать тебе укол. Но особой нужды в этом нет. Полежи.

— Ты тоже считаешь, что у меня никакого спазма не было?

Я прекрасно понимаю, что значит «тоже», но нарочно пропускаю мимо ушей.

— Наверно, был. Но сейчас тебе нужен покой и больше ничего.

— Покой? Может быть, ты заодно укажешь аптеку, где его взять?

Я уже готов огрызнуться, но вовремя замечаю — по щекам Вассы катятся крупные слезы. Мне стыдно.

— Полежи, полежи. За тобой кто-нибудь присматривает?

— Только Оля-маленькая. Чудная девочка. Разрывается между мной и Галиной.

— А что с Галей?

— Откуда я знаю? Мне ничего не говорят. Ни муж, ни дочь. Все как бешеные. А от меня бегают. Я никому не нужна.

Молчу. Вероятно, так оно и есть. Даже я знаю больше Вассы, и всякое утешительное слово, какое я смогу из себя выдавить, будет такой же фальшью, как мой вопрос о Гале.

Васса приподнимается на локтях, одеяло сползает, и я впервые замечаю то, о чем не думал, когда прослушивал тоны сердца. Тело молодой женщины. Бледность покровов. Лишний жир. А ведь она ровесница Беты. Боязливо оглянувшись, Васса шепчет:

— Слушай, Олег, ты что-нибудь знаешь? Почему все с ума посходили?

Мне жалко Вассу, но в этом доме мне надо вести себя политично, и я помалкиваю. Васса смотрит на меня просяще, настойчиво, и я не выдерживаю:

— Спроси кого-нибудь другого. Я здесь человек посторонний.

Убедившись, что от меня толку мало, Васса откидывается на подушки и прикрывает глаза.

— Я хуже, чем посторонняя, — вздыхает она. — Двадцать три года смотрела Николаю в рот. Куда он, туда и я следом, как Санчо Панчо какой...

— Что ж тут плохого...

— Я-то Панчо, да он-то не Дон Кихот.

— Кто же он?

— Не знаю, глупа, видно. Отец с дочерью все время цепляются. Заступлюсь за отца — молчи, не понимаешь; за дочь заступлюсь —

опять не так сказала. Я всем не ко двору... Ладно, Олег,— говорит она устало.— Спасибо, что зашел. Храни тебя бог.

Выходя за калитку, слышу: окликают по имени-отчеству. Оглядываюсь и вижу Олю-маленькую. Она догоняет меня.

— Я была с Галей и не слышала, как вы пришли. Можно, я вас провожу?

Провожать меня некуда, я иду в соседний дом, поэтому предлагаю присесть на скамейку против входа в контору. Девочка очень волнуется, и, чтоб помочь ей, начинаю я.

— Хотите поговорить?

— Да.

— О Вассе Ефимовне?

— Да. То есть нет. О ней тоже. Скажите, это не инфаркт?

— По-моему, нет. Просто сосудики среагировали на какой-то стресс. Нужен покой. Только не спрашивайте меня, где его взять. Я не знаю.

Мы сидим рядом. Вблизи еще виднее сходство с Ольгой. Мать лучше, но девочка, пожалуй, занятнее. Худенькая и даже чуточку сутулая, но это не делает ее неуклюжей, есть в ней какое-то угловатое изящество. Эпитет «какое-то» — свидетельство беспомощности пишущего, но я в самом деле не в силах определить, что в этой девочке так привлекательно. Нервна, но умеет держать себя в руках.

— Это, наверное, нехорошо, что я начала не с Вассы Ефимовны. Но Гале тоже очень плохо, и она моя самая близкая подруга.

— Так, значит, вы хотели говорить о Гале?

— Да.

— Но ведь я ее совсем не знаю...

— Она очень хорошая. Правда, очень. Я знаю, она бывает жесткая, даже грубая, это у нее от... Я не люблю Николая Митрофановича,— признается она низким шепотом.— Но внутри Галька совсем другая, она горячая, справедливая и сама ужасно страдает от своего характера.

— Верю. Но чем я могу помочь?

— Олег Антонович! — Оля поворачивается ко мне, ее милое лицо выражает мольбу и пламенную веру.— Они должны помириться. Сделайте так, чтоб он ее простил.

— Но почему ты думаешь...— Я тут же поправляюсь: — Но почему вы думаете, что он меня послушает?

— Потому что вы умный и добрый, вас все уважают...

— Кто это вам сказал?

Вопрос ненужный, кокетливый, но сказанного не вернешь. Оля улыбается краешком рта.

— Не важно кто... Я сама знаю: если вы захотите, вы сможете.

— Милая девушка,— говорю я после короткого раздумья,— может быть, Илюша и простит когда-нибудь Гаю, но не сегодня. И никто третий тут не поможет. Ни вы, ни я. Я-то меньше всех.

— Почему?

Оля вскидывает на меня глаза. Взгляд недетски твердый. И только убедившись, что я говорю правду, она их опускает. Разговор окончен, но она не уходит, а сидит, нахмурившись и беспомощно раскинув тонкие руки. Я тоже почему-то не уйду. Прямо передо мной вход в контору и ехидная ухмылка лешего. Чтоб вытесать из дерева такого идола, нужна недетская сила. Оля ловит мой взгляд.

— Не нравится? — В тоне нет вызова. Только любопытство.

— Нравится. Но уж очень он ехидный.

— Такой он и есть,— шепчет Оля.— Я еще в лесу поняла: он страшная вредина. Я только чуть-чуть до него дотронулась, как из не-

го это полезло... Я его сама боюсь. Нет, серьезно, нравится вам? Почестному?

— Честное слово, очень.

— Ну вот, а Николаю Митрофановичу — нисколечко. Говорит, формализм. И еще мистицизм. Глупости какие, какой же лес без лесшего? И еще говорит: за это тебя и не приняли в училище. Не знаю. Не думаю. Просто мне мало лет и есть способнее меня. И рисунок у меня слабоват, это я сама знаю. Мама меня утешает: зря расстраиваешься, сдашь в будущем году, ты же девочка, тебя в армию не заберут. — Она вдруг заливается прелестным девчоночьим смежом. — Верно, не заберут. А была бы война — взяли бы? Я бы сама пошла...

— Кем же?

— Не знаю. Только не медсестрой. Даже сиделка я плохая. Наверно, радисткой. Или разведчицей. Только вот... — Она прикусывает нижнюю губу и смотрит на меня исподлобья. — Пытки, понимаете? Выдержу или нет? Этого ведь никто не знает наперед. Но я живой бы и не далась. Есть такие ампулы. В случае чего — рраз! И — с приветом. — Вдруг страшно застенчившись — то ли вульгарноватого словечка, то ли своей откровенности, — она вскакивает: — Я тут болтаю, а у меня... Извините. Бегу.

Оля скрывается в доме, чуть не столкнувшись в дверях с Вдовиным. Он замечает меня:

— Зайди, потолкуем.

Тон не повелительный и не просительный, так может говорить тот, кому есть что сказать. И я, решивший по примеру Беты уехать без дальнейших объяснений, молчаливо соглашаюсь. Мне не хочется идти к нему, но Вдовин к себе и не приглашает, а ведет в контору. Мы минуем барьерчик и стучащую на машинке пожилую секретаршу и проходим в кабинет. Все как у людей: полированная мебель, застекленный шкаф с девственно-свежими ледериновыми корешками сочинений основоположников научного материализма. Телефонных аппаратов только два, но в углу я вижу переносную рацию. Вдовин делает широкий жест, мне предлагается любое место вплоть до его собственного. Я сажусь поближе к двери, а Вдовин подходит к своему столу и не садясь заглядывает в перекидной календарь.

— Броня вам оставлена. Купе первой категории. Машина будет к девяти. Так что все обеспечено.

— Спасибо.

— Расстаемся без объяснений?

— А зачем? Я примерно знаю, что ты можешь сказать. «Мальчишка, пьян, озлоблен...»

— Для этого я не стал бы приглашать тебя сюда.

— Значит, Илья сказал правду?

— В какой-то степени — да.

— Правда не имеет степеней.

— Имеет, ты это знаешь не хуже меня. Можешь меня выслушать?

Убедившись в моем согласии, он не торопится начинать и с задумчивым видом прохаживается по кабинету. Все дальнейшее больше похоже на лекцию, чем на исповедь:

— Как ты знаешь, я выступал против Ильи. Выступал резко. Я и тогда не отрицал, что его работа талантлива. Но шла идейная борьба, и я рассуждал так: чем талантливее — тем вреднее.

Начало любопытное, но мне неохота спорить по существу. С человеком, укравшим серебряную ложку, не обсуждают химические свойства серебра. Поэтому реагирую вяло:

— Оставим концепции в покое. Ты не имел права выступать по неопубликованной диссертации. Мог потерпеть до защиты.

— Нет, не мог. Смысл сессии в том и заключался, чтоб нанести упреждающий удар. Откровенно говоря, я рассчитывал встретить большее сопротивление и потому соответственно подготовился.— Он ловит мою усмешку и сбавляет тон.— Я не горжусь своей победой. Но, так или иначе, я был длительное время погружен в тот же круг проблем, они как бы стали моими. Тогда мы с Ильей занимали во многом полярные позиции. Жизнь заставила пересмотреть мою, заставила меня вновь и вновь погружаться в материал, я сроднился с ним, он стал частью моей жизни... Можешь ты это понять?

Я угрюмо молчу, и мое молчание действует ему на нервы. В споре он чувствует себя увереннее.

— Не надо упрощать,— говорит он резко, хотя, видит бог, я ничего не упрощаю.— Не во всем Илья был прав, и не вся моя критика была сплошным заушательством. И теперь, когда я заново без предубеждения взглянул на работу Ильи, то понял: мы нужны друг другу. Обстоятельства сложились так, что ему без меня этой темы не поднять. Мы стали работать вместе, и сегодня уже трудно разобрать, что кому принадлежит...

— Вероятно, не так уж трудно. Была бы охота.

Я рассчитываю этой репликой смутить Николая Митрофановича, но она его только раззадоривает.

— Прости меня, но ты живешь отсталыми представлениями о природе авторства. Как будто мы живем не в век научно-технической революции, а в давно прошедшие времена, когда ученых было мало, приборы они делали сами, а на карте науки были сплошные белые пятна. Тогда с авторством было просто: Колумб открыл Америку, Ньютон — земное тяготение, Дарвин — естественный отбор, жрецы раскланивались друг с дружкой лично, письменно и через века. Научных трудов выходило мало, ежели какой-нибудь немец вычитывал что-нибудь у другого, он непременно писал: «Как указал достопочтеннейший имярек». Да и вся наука гнездилась на пяточке, вокруг десятка старых университетов. наших гениев и самородков никто в расчет не брал, потому что уже тогда автором оказывался не тот, кто первый сказал «э!», а тот, кто оказался ближе к практическому использованию. Пойми, Олег, сейчас все другое, мир задыхается под лавиной научной информации, идеи носятся в воздухе и приходят в голову почти одновременно десяткам людей в разных концах света. Попробуй тут установить приоритет. Наука становится такой же отраслью производства, как и всякая другая. Уже становится нормой, когда высокое начальство — не важно какое, наш советский министр или директор консорциума — дает задание научному институту синтезировать к такому-то сроку энное вещество с такими-то заданными свойствами. И мужи науки, благословясь, наваливаются всем гамузом, пробуют и так и этак и в конце концов синтезируют. Так кто, по-твоему, автор этого вещества? Все. И тот, кто заказывал, и тот, кто направил поиски... Не в меньшей степени, чем тот младший научный сотрудник, который после сотни неудачных опытов натолкнулся на верное решение. Если, по-твоему, автор он, то тогда надо признать, что открыл Америку не Колумб, а тот матрос на мачте, кто первый крикнул: «Земля!». Скажешь, парадокс?

— Скорее софизм.

Нет ничего нелепее ходовой фразы «парадоксально, но факт». Почему «но»? Парадокс — истина в неожиданном обличье. «Гений — парадоксов друг»... Кто это сказал? Кажется, Пушкин. От Николая Митрофановича я в жизни не слышал ни одного парадокса, если бы хоть один родился в его мозгу, он удушил бы его в самый момент рождения. Все, что высказывает вслух мой почтенный оппонент, до отвращения правдоподобно, и мне не раз приходилось с трудом стряхивать с себя

обволакивающую магию его софизмов. Можно только поражаться незаурядной способности Николая Митрофановича создавать удобные концепции для оправдания любой ситуации и любого поступка, нет такой передержки, которую он не сумел бы оправдать высшей целесообразностью. Николай Митрофанович умеет признавать ошибки и даже поражения, но решительно неспособен делать из них нравственные выводы. Он ошибается, как электромагнитная мышь в знаменитом опыте Кеннона,— меняет тактику, но не меняется сам.

— Я готов признать, что в пылу полемики...— начинает он.

— О какой полемике ты говоришь,— взрываюсь я.— Не было никакой полемики. Было хладнокровное избиение мальчишки, который даже не смел по-настоящему защитить себя. А теперь этот постаревший мальчишка работает на тебя в качестве интеллектуального негра, и за это ты, быть может, впоследствии поможешь ему стать на ноги. Но времена изменились, ученый с его талантом может обойтись без твоего покровительства, а если он еще этого не понимает, то ему объяснят.

— Понятно,— говорит Вдовин. Изображать душевное волнение ему уже ни к чему, голос его звучит сухо и трезво.— Будешь поднимать дело?

— Меня ваши дела не касаются. Но если Илье понадобится моя помощь, чтоб восстановить его диссертацию в первоначальном виде, я ему не откажу. Я, как ты знаешь, педант, все храню и ничего не выбрасываю.

Кажется, я нащупал слабое место в непробиваемой броне, впервые я ловлю в глазах Николая Митрофановича тревожный блеск. Они впииваются в меня, пытаюсь разведать, правду ли я говорю. Он еще раз пробует выдавить улыбку и доверительную интонацию:

— Послушай доброго совета, Олег. Не встревай в семейные дела. Завтра Галина и Илья помириятся, и ты останешься в дураках.

Я молчу.

— Ну что ж,— говорит Вдовин. Лицо его опять становится жестким и непроницаемым.— Дело твое. Но имей в виду: есть люди, которым, вероятно, не понравится, что двое ученых, вместо того чтоб объединиться для общего дела, разводят склоку и выносят сор из избы. На радость всяким шавкам...

— Вероятно, найдутся люди,— говорю я,— способные разобраться, кто из них прав.

— Безусловно. Только не все держатся твоих устарелых взглядов. Допустим, я готовлю доклад и мне помогал референт — так чей, по твоему, это будет доклад — мой или его? Ладно, Олег.— Вид у Николая Митрофановича такой, как будто я его утомил своими пустыми разговорами.— Сообразай сам. С броней и машиной все в порядке, но я еще лично проверю. Привет Елизавете Игнатьевне.

Я уже стою на пороге, когда он, не удержавшись, пускает вдогонку:

— Передай — на нее я не в обиде. Я все прекрасно понимаю.

Ни возвращаться, ни разговаривать при открытых дверях у меня нет охоты, поэтому я только пожимаю плечами и, миновав стучащую на машинке Серафиму Семеновну, выхожу в сенцы. Дверь в парткабинет приоткрыта, я забираюсь туда и, только разглядывая Алешкину коллекцию грибов, начинаю проникать в смысл последних слов Николая Митрофановича. Конечно, это намек, в котором закапсулирована угроза: вступая в борьбу, помни — может возникнуть совсем неожиданная версия, например... На несколько секунд мной овладевает слепое бешенство, я готов ворваться к Вдовину и потребовать объяснений. Чтоб успокоиться, присаживаюсь к Алешкиному рабочему столу и беру в

руки напечатанное на машинке письмо. Шрифт латинский, мелкий, похожий на курсив. Не в моих правилах читать чужие письма, но, судя по всему, это письмо на сугубо специальную тему, и я не совершаю явной нескромности. Польского я не знаю, но моей лингвистической интуиции хватает на то, чтоб уловить суть. Пишет какой-то несомненно серьезный биолог, специалист по этим самым грибам, благодарит за сообщение и в свою очередь чем-то делится. Алешку он именует «шановный пан профессор». Поручусь, что Алешка не выдает себя за профессора, зарубежный собрат просто не догадывается, что его высокоуважаемый коллега — рядовой сотрудник заповедника, не имеющий даже ученой степени. Я читаю эти польские любезности и думаю об Алешке со злостью и восхищением: проклятый халдей, чтоб до такой степени не знать себе цены... За этим занятием меня и застаёт Алексей.

— Разуმიешь? — удивляется он. — Этот Новак — мировой мужик, но по нашему ни бум-бум, предлагает на выбор английский, французский и испанский... Ну, ладно, все это не суть важно. Докладываю: с Илюшкой был трудный разговор. Сейчас он заперся и строчит. Просил не беспокоить. Бета помогает Дуське по хозяйству, через полчаса обед, гриб мы отставили, но будет свежая убоина из юрзаевского совхоза, настоящая вырезка, какую вы черта с два получите в ваших фешенебельных ресторациях. Затем адмиральский час, заключительное совещание, и высокие гости отбывают на обкомовской «Волге» к скорому поезду, имеющему доставить их в столицу нашей родины, ордена Ленина город Москву. Теперь докладывай ты.

Я рассказываю о своем визите к Вассе и о разговоре с Вдовиным. Алешка слушает внимательно и сочувственно мычит.

— Мой босс все-таки здорово неглуп, — резюмирует он. — Главное — дьявольски упорен. А вообще говоря, я ему не завидую.

— Почему?

— Одинокий человек. Хотя и со связями.

Итак, впереди обед, по-деревенски неторопливый, и даже послеобеденный сон, если, конечно, удастся заснуть. Никуда не надо спешить. Но все равно я живу в убыстренном темпе. Сердце у меня не стало биться чаще, изменился не ритм сердца, а ритм жизни.

Обедаем вчетвером, и надо отдать должное Дусе — очень вкусно. К концу обеда приходит Владимир Степанович. Он присаживается к столу, но ест мало и на расспросы дочери только деликатно отмахивается: «Ладно, потом...» Но Алексей берет его в оборот, и выясняется, что в жизни заповедника произошло еще одно событие — Вдовин вызвал к себе старого егеря и разговор закончился недвусмысленным предложением уйти на пенсию.

— Орал? — спрашивает Алешка.

— Ни-ни. На «вы» и по имени-отчеству. Вы, говорит, Владимир Степанович, не устаете ли? Возраст ваш почтенный. А я говорю: что это вы, Николай Митрофанович, за мое здоровье чересчур тревожитесь? Я еще на ногу легок, могу и за зверем следить и за водкой сбегать. Я еще молодой, меня некоторые по сию пору Володькой клечат. Стало быть, говорит, Владимир Степанович, вы меня не понимаете? Нет, говорю, Николай Митрофанович, извините, конечно, — не вполне. Так я вам разъясню, говорит. После того как вы меня в присутствии авторитетных лиц в такое положение поставили, мы с вами вместе работать не можем. Одному из нас надо уходить. И смотрит пронзительно.

— Ну, ну, — говорит Алешка, стараясь не прыснуть. — А ты, батя?

— А я подумал и говорю: коли такой оборот, уходите вы, товарищ

начальник. Вы у нас в лесу все равно не задержитесь, а я здесь нужнее...

— Так и сказал? — Алешка ржет, и мы все смеемся. Смеется и сам Владимир Степанович.

— И смех и грех, — говорит он. — А ведь не уйду — выгонит. И статью такую подберет...

— Ну и как ты решил?

— А это уж как ты скажешь, зятек. Мне тебя тоже подводить не расчит...

После обеда мы расходимся по своим клетушкам. Сверх всякого ожидания, мне удается заснуть. Просыпаюсь я оттого, что меня трясет за плечи Алешка. В комнате стоит полумрак, но даже в полумраке и спросонья по вытаращенным глазам и трясущимся губам Алексея догадываюсь: стряслось что-то неожиданное и вряд ли хорошее.

— Вставай, — шепчет Алексей. — Аврал. Сбежал Илюшка.

«Как сбежал?» — хочу я крикнуть, но Алексей зажимает мне рот. Понятно: рядом за перегородкой спит Бета. Я одеваюсь как по тревоге, и мы крадучись выбираемся на крыльцо. Уже темно. Одинокий фонарь на столбе с надписью «Не влезай...» освещает лежащую на боку коляску от мотоцикла.

— Понял? — шипит Алешка. Спросонья я не сразу понимаю, и он сердится. — Туго соображаешь. У этого сукиного сына все рассчитано на десять ходов вперед. Он тютелька в тютельку попадает к пассажирскому, машину оставляет у Тони или Муси, догнать я его уже не могу, ибо не на чем, не просить же у босса вездеход. Ах проклятие!

Мы стоим в полной растерянности.

— Идем к нему, — говорю я. — Если он уехал, хозяин должен знать.

— Много он знает, этот пьяница...

Однако ничего другого придумать мы не можем и спешим к уже знакомой мне хибаре. Для скорости наперерез, по мокрой стерне. Алексей заходит внутрь и через несколько минут возвращается с конвертом. Это письмо, и мы бежим к фонарю, чтоб его прочитать. Адресовано оно Алексею, но по случаю осталось у меня, и я привожу его целиком:

«Милый мой дружок!

Ты единственный, перед кем я обязан отчетом в своих поступках, и хотя то, что я собираюсь сделать, наверно, огорчит тебя, я должен привести тебе свои резоны. Ты скажешь, что они дурацкие, но я все же не теряю надежды, что ты поймешь, а следовательно, и простишь меня, как прощал уже много раз. Я никогда не объяснялся тебе в любви и не лез с выражениями благодарности, но сегодня, расставаясь с тобой, и, может быть, надолго, я хочу сказать, что обязан тебе больше чем жизнью, благодаря тебе я не окончательно потерял веру в homo sapiens, хотя и не все представители этого вида достаточно далеко ушли от обезьян. Я бы мог сказать и больше, но у меня мало времени, а мне еще надо объяснить тебе мое бегство.

Я честно старался выжать из себя обещанные тридцать строк и вдруг понял, что не смогу, этому противится все мое естество. Не думай, что мною овладело что-нибудь вроде страха или жалости, я ничего не боюсь и, будь ситуация несколько иной, был бы беспощаден. Я не чувствую к своему шефу никакой благодарности и прекрасно понимаю, что наш симбиоз был, по существу, нечистоплотной сделкой. Я волен был на нее не идти, волен разорвать, но использовать изменившуюся ситуацию для того, чтобы взять своего партнера за горло, это значило бы стать с ним на один уровень, а может быть, и ниже. К тому же этот человек до недавнего времени находился со мной в некотором

свойстве (ударение на последнем слове), и мне отвратительна мысль, что кто-то может увидеть в моих поступках что-либо похожее на месть. Мстить, даже косвенно, я не хочу. Ты назовешь это чистоплутством и, пожалуй, будешь прав, но уж позволь мне такую роскошь, актерство не оставляет меня, я давно ни во что не играл, имею я право поиграть в великодушие? Короче говоря, я отрясаю прах со своих ног и удираю. У тебя хватит ума и такта не искать меня, к тому же я сам не знаю, куда направляю свои хромые стопы. Страна велика, и люди с головой, а я имею нахальство причислять себя к этой категории, нужны везде. Не бойся — я не пропаду. Ты не только был мне жизненной опорой, но и кой-чему научил. Я теперь мужчина самостоятельный. Как сложится моя жизнь — не загадываю и никаких гарантий не даю, единственное, что я тебе твердо обещаю, — не пить. Ну, может быть, хвачу когда в получку, чтоб не отрываться от широких масс. Но в одиночку — никогда. И сейчас, когда я пишу эти строки, я совершенно трезв. Даже чересчур.

Обнимаю тебя, дорогой мой человек. Мой неизбывный оптимизм подсказывает мне, что мы еще увидимся с тобой на этой слабо оборудованной для веселья, но милой моему сердцу планете. Передай мой привет Дусе, Владимиру Степановичу и особо — Елизавете Игнатьевне и Олегу. С Олегом я был груб и, наверно, не вполне справедлив, скажи, что я прошу у него прощения, и пусть он сам решит, какую часть сказанных мной слов я должен взять обратно. Человек он хороший, но слишком благополучный».

Закорючка, похожая на букву «И». Бумага серая, почерк как у левши. Фонарь слегка покачивается, отчего рябит в глазах. Дочитав до конца, мы продолжаем стоять под фонарем, тупо уставившись друг в друга. Первым приходит в себя Алексей.

— Чертов болван! — выпаливает он. Интонация смешанная: сквозь злость просвечивает восхищение. Несколько секунд он размышляет, запустив пятерню в свои патлы. — Ладно, Леша, здесь мы с тобой все равно ничего не решим. Нужна бабская консультация. Они нашего брата тоньше понимают.

Мы возвращаемся в дом. Бета уже одета по-дорожному и сидит у Дуси. Вид у обеих женщин встревоженный. Они заставляют Алексея прочитать письмо вслух. Затем мы совещаемся. Спорить, собственно, не о чем: разыскивать Илью бесполезно, действовать против его воли — невозможно. Расходимся мы только в одном — надо ли показать письмо Гале? Мы с Алексеем считаем: надо; Дуся колеблется.

— Не надо, — решительно говорит Бета. — В письме о ней ни слова, женщине это трудно перенести.

И мы подчиняемся, хотя она в явном меньшинстве.

Алексей вносит в комнату кипящий самовар, сразу становится уютно, мы пьем чай по видимости неторопливо, но в ощущении боевой готовности. В разгар чаепития деликатно крякает клаксон, в окошке мелькает луч автомобильной фары, Дуся выбегает и возвращается с пожилым степенным водителем. Зная здешние дороги, шофер приехал с большим запасом времени, и мы собираемся не спеша. Выходим на крыльцо. Темно и прохладно. В конторе и во вдовинской квартире не светится ни одно оконце, дом кажется покинутым. Нас ждет уже несколько старомодный, но просторный «ЗИС», и только когда мы, расцеловавшись с Алексеем и Дусей, залезаем в его приятно пахнущее кожей нутро и шофер включает мотор, мы видим в луче вспыхнувшей фары стремительно бегущую к нам девичью фигурку. Я скорее угадываю, чем узнаю Олю-маленькую. Бета выходит из машины, и минуты две они шепчутся. Затем дверца вновь открывается, Бета проскальзы-

вает на свое место, и при свете приборной доски я ловлю Олину милую улыбку и прощальный взмах руки.

Едем мы без всяких происшествий. Старенький «ЗИС» мужественно борется с ухабами и колдобинами, наконец выскакивает на шоссе, и стрелка на приборной доске сразу прыгает на стокилометровую отметку. Я радуюсь скорости, и Бета, как мне кажется, тоже. Быстрота снимает напряжение, в каком мы прожили весь этот день.

Я не видел ни города, ни вокзала. Шофер подвез нас не к главному подъезду, а к какому-то служебному входу. Пришлось долго звонить. Наконец за застекленной дверцей вспыхнул слабый свет и на пороге показалась суровая женщина в форменной тужурке и тапочках. После недолгого препирательства — наши интересы представлял степенный водитель — мы были допущены в просторную и совершенно пустую комнату, обставленную с унылым великолепием подмосковного санатория — тяжелые плюшевые драпировки, кадки и жардиньерки с жестколиственными растениями, аквариум с рыбками, неподъемной тяжести кресла и круглый стол с аккуратно разложенными журнальчиками. Шофер желает нам счастливого пути, суровая женщина запирает за ним дверь на засов и после некоторого колебания прибавляет света в люстре. Мы остаемся одни. Я подхожу к окну и разглядываю квадратный циферблат вокзальных часов и влажные асфальт пустого перрона, до поезда еще около часа, и на платформы не пускают. У нас есть полная возможность поговорить, но почему-то не хочется. Зал уютный, гулкий. Бета лениво листает какой-то профсоюзный журнальчик, но явно думает про свое. Я изучаю по висящей на стене диаграмме динамику роста производственных мощностей республики и одновременно пытаюсь вспомнить и связать между собой основные события дня. По дороге на вокзал только присутствие третьего человека удерживало меня от соблазна напомнить Бете, как прав был я, говоря о невозможности любого альянса с Вдовиным, и как наивна была она, надеясь на его нравственное возрождение. Теперь мы одни, но я молчу, понимая, что это было бы невеликодушно, а главное, бесцельно, в своем неприятии Вдовина мы сегодня едины. Я даже приблизительно не гадаываюсь, что ждет нас в Москве, но почему-то уверен: Бета не откажется от руководства Институтом и, следовательно, ей по-прежнему нужна моя помощь.

Минут через двадцать суровая женщина впускает маленького, но очень важного человека в идеально отглаженном коверкотовом плаще и мягкой шляпе. По случаю его появления зажигаются стенные бра. Человек отпускает шофера, внесшего его чемоданчик, неодобрительно оглядывает заправленные в сапоги боты и мою выдавшую виды лыжную куртку, садится в угол, вынимает из кармана газету и замыкается в гордом молчании. Его присутствие нас окончательно замораживает, и мы искренне радуемся, когда в чисто вымытых стеклах зала замелькали огни подошедшего поезда. Празднично освещенный спальный вагон останавливается прямо против наших окон, и через минуту мы в двухместном купе, среди зеркал, красного дерева и по-корабельному надраенной меди. Вагон довоенной постройки, из тех уже несколько старомодных, но уютных «международных», в каких ездили еще горьковские хлебные воротилы и бунинские прогоревшие аристократы. Верхняя полка под прямым углом к нижней, под ней удобное кресло и настольная лампа со сборчатый на манер китайского фонарика абажуром, льющая молочный, слегка подкрашенный теплым оранжевым тоном свет. Здесь же дверца во встроенный между двумя купе умывальник. Бета хочет переодеться, я выхожу в коридор и через толстое оконное стекло наблюдаю за заполнившей перрон толпой пасса-

жиров. Привычно, как на эскалаторе метро, отмечаю генотип, биологический возраст. Постепенно перрон пустеет, поезд мягко трогается, и, уже отвернувшись от окна, я боковым зрением вижу две стремительно обгоняющие нас легкие фигуры. Вероятно, им удалось вскочить в свой вагон на ходу, потому что больше я их не вижу.

Вернувшись в купе, я не застаю Беты и на секунду пугаюсь. Затем слышу шум льющейся воды и успокаиваюсь — Бета в умывальнике. Проводник, такой же немолодой и вежливый, как привезший нас шофер, приносит крепкий чай в тонкостенных, вымытых до блеска стаканках. Как всегда, с отходом поезда предотъездное напряжение спадает, мешает моему кейфу только одна неоформленная, но от этого еще более беспокойная мысль — в том, как уверенно, но слегка припадая на одну ногу, бежала первая девушка, что-то показалось мне знакомым. Возвращается Бета, посвежевшая после умывания, и мы с наслаждением пьем горячий чай.

— Знаешь, — говорю я, глупо посмеиваясь, — у меня такое впечатление, что с нами в одном поезде едут Галя и Оля.

— Впечатление? Ты их видел?

— Мне показалось, что они промелькнули в окне.

— Ты что же, не веришь своим глазам?

— Привык верить. Но ведь это невозможно?

— Почему? Вездеход на лесных дорогах даже лучше «ЗИСа».

Бета улыбается, и я вспыхиваю.

— Ты знала?

— Нет. Но очень ясно представляю себе, что произошло. Галка поругалась с отцом, вывела из гаража вездеход и рванула вдогонку за Илюшей. Она девица с характером.

— Ну а Оля?

— Что Оля? Оля — верная подруга.

— Прелестная девочка, — говорю я.

— Мне тоже нравится, — отзывается Бета с неожиданной иронией. — Да, кстати... — Она вынимает из сумки и протягивает мне нечто завернутое в бумагу. — Это тебе.

Разворачиваю и вижу гладко отполированный ветвистый сучок какого-то твердого, как самшит, дерева. И только приглядевшись, понимаю, что это статуэтка — фантастический тонконогий звереныш, не то жирафенок, не то олененок с наивным и веселым оскалом.

— Велено отдать в Москве, — бесстрастно поясняет Бета, — но раз уж пришлось к слову...

Других комментариев мне не требуется. Я и так понимаю, что это и от кого.

Некоторое время мы обсуждаем, какие шансы у Гали отыскать Илью. И сходимся на том, что шансы невелики. Не объявлять же всесоюзный розыск. Но Галя не отступится, и Оля ее не оставит.

— Прелестная девочка, — повторяю я. — И похожа на Ольгу. Ольга Александровна?

— Да. Почему-то большинство мифических отцов — Александры. Уезжают непременно на Дальний Восток и там бесследно исчезают.

— Смешно, что человеку нужно отчество, даже если у него нет отца. Пережиток патриархата. Разве плохо — Ольга Ольговна?

— Еще лучше — Олеговна.

Что-то в интонации заставляет меня поднять глаза на Бету и встретить ее взгляд. Взгляд даже ласковый, но от него я немею. То, что со мной происходит, вероятно, сопутствует открытиям любого масштаба — от закона Архимеда до неверности любимой. Беспорядочное скопление случайных наблюдений и частных догадок, совпадений, противоречий и прочего строительного материала мгновенно выстраи-

вается в целостную гипотезу, убеждающую уже своей стройностью. Так рождается «возможно». Затем гипотеза проходит испытание на прочность, срочно мобилизуются любые возражения, но они отскакивают от гипотезы как от полированного гранита, и тогда приходит самое ошеломляющее: «Как я мог не видеть этого раньше?»

Я молчу, потрясенный...

— А еще считаешь себя физиономистом,— с жестоким смешком говорит Бета.— Даже манера вскидывать голову твоя.— Выдержав паузу, она добавляет: — Не знаю, как сложится Галкина судьба, а вот у тебя есть прекрасный шанс разом устроить счастье нескольких людей. Пока не поздно.

Я по-прежнему не могу выдавить из себя ни слова. Бета это видит и смягчается.

— Вижу — тебе надо все это переварить. Пойди-ка проветришь, а я тем временем буду укладываться. Завтра у меня тяжелейший день.

Я выхожу в пустой коридор, опускаю тугую оконную раму и подставляю лицо холодному ветру. За окном ночная чернота, в которой с трудом различаются мелькающие стволы деревьев. В такт этому мельканию несутся мои мысли. Думаю об Ольге. Ольга, конечно, замечательная женщина. Я всегда это знал, но только сейчас способен полностью оценить ее бескорыстие и силу духа. Меня гложет чувство вины, и я понимаю: разум и долг повелевают мне поступить так, как подсказывает Бета. Я готов повиноваться разуму и долгу во всем, кроме того, что от меня не зависит. Да и пойдет ли на это Ольга, если поймет, что мною движут именно разум и долг? В искренности Беты также не может быть сомнений, но мне почему-то показалось, что в ее дружеском совете проскользнула — наверняка неосознанная — тень недовольства, и эта тень меня греет. Нет, нынче мне не осилить всего нового, что навалилось на меня за одни только последние сутки. А впрочем, только ли за сутки? За неделю я прожил год. Этот год меня не состарил и если не омолодил, то, во всяком случае, основательно встряхнул. Я еще не знаю себя завтрашнего, но сегодня я уже не тот, что был вчера, моя башня из слоновой кости трещит по всем швам, и когда придет время принимать решения, я не буду прятаться...

Поезд слегка замедляет ход, и в окне пролетает знакомая деревянная платформа без навеса. Где-то ты сейчас, Илья? Катишь в Москву, или уже сошел на первой узловой станции и изучаешь по схеме железнодорожную сеть страны, или едешь в общем вагоне куда-то на край света и занимаешь разговором случайных попутчиков, а они угощают тебя копченой треской и печеными яйцами.

Когда я возвращаюсь в купе, Бета уже спит. При голубоватом свете ночного плафона ее измученное лицо прекрасно и молодо. Я вынимаю из стаканов ложечки, чтоб они не звякали, тихонько забираюсь к себе наверх и включаю лампочку для чтения. Наверно, мне предстоит еще одна бессонная ночь.

Еще не одна...



ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

Владимиру Орлову.

Состарился в эпохе переломной
Надменный денди, демон-домовой.
А барский дом его шестиколонный
Все так же красовался над Невой.

Та женщина, Очей Очарованье,
К нему являлась ночью не стучась.
Он обзывал ее распутной рванью,
Из-за нее стрелялся — в добрый час! —

Но воскресал в другую дверь — химерой
И неопасной тенью. Да и ночь
Неуловимо превращалась в серый
Гранит и не могла ему помочь...

Ссыхались, съезживались, зеленели
Извозчики, солдаты, гайдуки...
Но рядом с ним, не запахнув шинели,
Шагал костлявый дух его тоски.

Метался в прошлом он и в нашем веке
Документальным данным вопреки.
И в смертный час ему закрыла веки
Та женщина из пушкинской строки:

Не Анна Керн, не в Чудное мгновенье,
Но в череде чудовищных измен,
В безудержном его самозабвенье
Загадочная по сей день Эн-Эн.

Но кем же был он, гибели избегнув,
Чего он ждал в бесцельности своей,
По праву всех безлюбых и безгневных
Зачавший столько лишних сыновей?

Кем был он? Сновиденьем белой ночи?
Желаньем жить иль жаждой умереть?
Для чьих необычайных полномочий
Он обещал не раз воскреснуть впрядь?

Онегин ли, Печорин или Рудин
Еще скитался, по свету гоним?
Но как литературоведам труден,
Как зол и бесполезен суд над ним!

ПИШИ!

Дыхнув антарктичным холодом,
В твой дом ненароком зайдя,
Прапращур наш каменным молотом
Загнал тебя в старость по шляпку гвоздя.

Не выбраться к свету, не вытрясти
Костей, и страстей, и души.
Но здесь и не надобно хитрости:
Садись-ка за стол и пиши, пиши!

Пером, или спичкой обугленной,
Иль ведьминым злым помелом
О юности, даром загубленной,
Пиши как попало, пиши напролом!

Пиши, коли сможешь, фломастером
Иль алою кровью своей
О том, как ты числился мастером,
О том, как искал не своих сыновей.

Пиши, отвергая торжественность,
Ты знаешь, про что и о чем:
Конечно, про вечную женственность,
Ты смолоду в омут ее вовлечен.

НЕБЫЛИЦА

Столетия шли, а время золотило
Развалины и выцветшие фрески.
И молодость беспечно поглотила
Весь этот блеск и умирала в блеске.

Все кончилось. Но не забудем, други,
Что прошлое неумолимо длится.
Истлели кости, кольца и кольчуги,
В живых осталась только небылица!

ПОКОРНЕЙШАЯ ПРОСЬБА

Поэзия гипотез!
Наш голод утоли,
Дай заглянуть в колодезь,
В черновики твои:

Друг к дружке жмутся рифмы
В темнице вялых строк,
И проклинают нимфы
Бумажный свой острог.

О будущем заботясь,
Куда же ты ведешь,
Поэзия гипотез,
Седую молодежь?

Век числится двадцатым,
Но в восемьдесят лет
Не разглядел конца там
Знакомый твой ПОЭТ.

Поэзия гипотез,
Твой безъязыкий гул,
Неправленный твой оттиск
Он в печку зашвырнул!

ЗИМА

Зима без маски и без грима
Белым-бела, слаба, не слажена,
Но и таящаяся — зрима,
Но и молчащая — услышана.

Она сама полна предчувствий,
Уместных разве только в юности,
Сама нуждается в искусстве,
В его тревожной, дикой странности.

Все дело в нем! Все окруженье
Кистей, и струн, и пляски требует,
Все бередит воображенье,
Торопит, бродит, бредит, пробует...

А мы, теснящиеся тут же,
Оцениваем дело заново:
Канун зимы, преддверье стужи,
Разгар художества сезонного.

КАНАТОХОДЦЫ

Вся работа канатоходца —
Только головоломный танец.
Победителю там венца нет,
А с искусством ничтожно сходство.

Наше дело очень простое:
Удержать вверху равновесье,
Верить в звездное поднебесье,
Как деревья, погибнуть стоя.

В каждом цирке есть купол этот,
Не обрушенный в прах опилок.
Путь наш ясен, а нрав наш пылок
И отчаянно весел метод.

Перестаньте, зрители-гости,
Спорить с бедными мастерами!

Посторонние в нашей драме,
Обсуждать исход ее бросьте!

Что бы ни было, нет вам дела
До грозящей всем нам расплаты.
Оттого что не вы крылаты
И не ваша рать поредела.

ДВОЙНИКИ

С полумесяцем турецким наверху
Ночь старинна, как перина на пуху.

Черный снег летает рядом тише сов.
Циферблаты электрических часов

Расцвели на лысых клумбах площадей.
Время дремлет и не гонит лошадей.

По Арбату столько раз гулял глупец.
Он не знает, книга он иль чтец.

Он не знает, это он или не он:
Чудаков таких же точно миллион.

Двойники его плодятся как хотят.
Их не меньше, чем утопленных котят.



МИХАИЛ РОЦИН

★

ВОСПОМИНАНИЕ*

Повесть

Снова ее подъезд. Тусклая лампочка, двери, закованные почтовые ящики. Она отступает, поднимается задом наперед по лестнице, а я наступаю на нее снизу.левой рукой она держится за перила, а правой одним пальцем тычет мне в лоб:

— Уходи! Уходи! Уходи!

Она смеется. Я продолжаю наступать и гляжу на нее снизу вверх, как веселый раб.

— Уходи, говорят! Уходи, кому говорят!

Сегодня в отличие от Котуара на ней пальто с серым воротничком и серая заячья ушанка, она придает ей заливчатский девичий вид. Девчонка и девчонка. Она твердит «уйди!», а я качаю головой: нет, нет, нет.

Мы поднимаемся до второго этажа, я продолжаю теснить ее дальше.

— Дальше ни за что!

Она смеется, но я наступаю. Если ей остановиться, мы окажемся на одной ступеньке лицом к лицу.

Между вторым и третьим этажами — два марша. Их разделяет небольшая площадочка. Она разрезает надвое узкое окно: чтобы увидеть улицу, надо наклониться. Чтобы окно не выбили ногами, его защищают три толстых железных прута. На верхний можно присесть отдохнуть, и он отполированно блестит в темноте отблеском уличного света.

Раз! — и она села. Обманула. Дальше — ни за что! И радуется, что обманула: как мне теперь наступать?.. Ах так! Я сажусь рядом.

— Уйди, не уместимся!

— Уместимся!

Мы заслонили ногами окно, теперь ничего не видно, ни ниже, ни выше лампочки не горят, зоть глаз выколи. Мы сидим, как на жердочке, упиравсь подошвами в нижний прут.

— Старая дура, старая дура! — говорит она о себе.

В ответ я быстро нахожу ее руки. Я уже знаю их как свои. Я сжимаю их, а сам еле удерживаю равновесие.

— Пожалуйста, ну пожалуйста! — шепчет она прямо над моей головой, почти касаясь губами волос: шапку я сдернул еще вниз. Я ее не слушаюсь. Я целую ее руку, где шрам, ее пальцы.

Через две минуты все меняется. Нет шутливого тона, увяла наша

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

веселость, мы молчим, лишь дышим учащенно. Руки наши не знают, что им делать еще.

— О боже! — Вздых у нее горестный и усталый. — Что ж это такое!..

— Анна Николаевна, — шепчу я со всей нежностью, на какую способен, — Анна Николаевна, ну Анна Николаевна! Не надо...

Якобы утешая, я глажу ее плечо, касаюсь лицом пахнущего духами воротника, глажу воротник, — все плывет, меняется, глаза у меня закрыты, я забыл, где я.

Я касаюсь рукой ее щеки, совсем легко, чуть-чуть. И вдруг она отзывается, прижимает щеку, приласкивается щекой к моей ладони — господи, я никогда такого не испытывал. Сколько в этом жесте нежного, доверчивого, одинокого — ей-богу, я готов заплакать, так я принимаю ее сейчас!

И это длится долго, я хочу повторить его опять и опять, удивительное прикосновение, как хорошо, как хорошо, как тихо...

Мы замерли, хотя мои пальцы гладят ее волосы, запутываются в волосах. И вот послушно моему движению слабо отклоняется ее голова. Вот мы прикоснулись щеками. Вот прижались лбами, словно в детской игре «баран-баран-бук!». Моя ладонь на ее затылке, а ее вдруг прошла по моей голове, стиснула мне плечо. Бьется сердце, губы у самых моих губ...

Потом я иду под мелким дождем, стоит оттепель, снежный кисель под ногами, пустые улицы наполняет туман. Я весь хожу как на шарнирах, меня не отпускает, колотит счастливая дрожь. Я нюхаю свои руки, которые пахнут ее руками, запахом ее волос. Вокруг моих губ в сыром воздухе плывет аромат помады. Я иду не зная куда, я не в силах идти домой, мое лицо распирает улыбка.

Вновь и вновь я целую ее этим единственным, долгим, неумелым, счастливым, первым в своей жизни поцелуем, смешным, не продолжившимся, не повторенным, оборвавшим мне сердце.

Я кружу и кружу по Хивинским кривым переулкам, просекаю проходные дворы. Город как вымер. Я один на один сам с собою. Два милиционера на белых конях выплывают из тумана. Цокают по асфальту копыта. Кони белые, а милиционеры в черных полшубках, они слились с темнотой, и кажется, что кони идут сами, без верховых.

— Эй! Подъ сюда! Чего шляешься? — рывкает голос.

— Я домой, дяденьки, домой! — кричу я издали и сворачиваю в первый же двор. Не хочется мне с ними лялякать.

Опять и опять дотрагиваюсь я до ее щеки, путаю волосы, чувствую, как покорно склоняется ее голова, — я кручу эту пластинку сто раз и ставлю снова.

Потом меня выносит на знакомую прямую: Хива, «гвардейская», белый домик. Все спят, никто ничего не знает. Баня чернеет, без огонька, закрыты ворота. Дверь пивной перегораживает железный шкворень, висячий замок с пивную кружку. Белый домик спит кукольным сном. На сквере хлопает, капает с черных тополей, вершины их растворены во мгле.

Школы тоже будто нет. Если бы я не знал наизусть ее контура, можно было бы подумать, что впереди лишь чернота и туман. Не горит даже лампочка над крыльцом.

Я останавливаюсь. В голове несется: 1 сентября, пятый «а», Маргоша, Вока, Чичкин, Нос, Анна Николаевна. Кажется, поклониться бы в пояс школе, стать на колени перед крыльцом — спасибо, школа! Но странно: вдруг окатывает тревога, недобрый, почти зловещим тянет от черного здания. Так пугали по ночам в спальне еще в дет-

ском саду: «В черном-пречерном городе, на черной-пречерной улице, в черном-пречерном доме, в черной-пречерной комнате стоял черный-пречерный гроб...»

Черная-пречерная школа намекает мне: чему ты радуешься? ты сообрази, что вы творите! ты подумай, подумай!

Позади опять цокает, издали выплывают под свет фонаря белые лошадиные головы величиной с шахматных коней. Я не дожидаясь, пока они приблизятся, и бегу домой.

Меня вызвал Нос.

Его кабинет на третьем этаже, в тесной, без окон комнате — прежде это была кладовая, а потом кабинет военного дела: здесь стояли в козлах деревянные ружья, с которыми мы маршировали, и еще были две настоящие винтовки и ручной пулемет, их мы разбирали и собирали под наблюдением военрука Васи. Бездомный Вася, бывший фронтовик, до появления в школе Чичкина и Носа нелегально жил в этой комнате, и в ней навсегда устоялся Васин запах: сырой шинели, кирзовых сапог, махорки, страшного перегара, которым шибало от Васи по утрам, и пригорелой каши — в углу на электроплитке часами варилась пшеничная каша из немолотого зерна.

Уже года два как Вася ушел из школы, давно был сделан ремонт и еще ремонт, стояли у Носа застекленные шкафы с собраниями сочинений и его любимыми папками с завязками, висели портреты и политическая карта мира; сам Иван Иванович сидел за большим чистым столом с настольной лампой, но как войдешь, слышишь Васин запах, хоть убей! И глядишь по сторонам: неужели нет ничего? Ни старой шинели на гвозде, ни плитки в углу, черной от потеков? У нее вечно перегорала спираль, Вася скручивал ее в узелки в местах обрыва, и узелки раскалялись ярче, чем вся спираль, искрились, и скоро плитка перегорала опять.

Вызова к Носу следовало ожидать давно: я еще никогда так не обрастал двойками, как теперь.

— Вы что ж себе думаете? — спросил Нос. — Как это, понимаете, понимать?

Он сидел за столом, я стоял понуро, горели настольная лампа и верхний молочный плафон, будто сейчас вечер, а на дворе был мороз и солнце. Перед завучем лежал наш классный журнал, обернутый в зеленую бумагу.

Обкуренным пальцем и едва не носом, низко наклонясь (нос сегодня был залеплен справа крестовинкой пластыря), завуч водил по строчкам против моей фамилии. Натыкался на очередную двойку и говорил:

— Ну! Еще!.. Вторая, понимаете, четверть кончается, полугодие, понимаете, а у него: два, два, три, три, два! Что прикажете выводить?..

— Я исправлю, Иван-чч..

Он меня не слушал:

— А это? Два, два! А? Пропущено три урока. Еще, понимаете, пропускаем... Опять два!

— Где? Откуда? — Я подался вперед. — Этой двойки у меня не было! Откуда эта-то? Интересно! — Я готов был побазарить насчет незаконной двойки, о которой сам забыл. — Это я у нее выясню, это вообще! Надо же!

— Бросьте, понимаете! — остановил меня Нос. — Поменьше глупостями надо заниматься! А то, понимаете, возомнили много! — Теперь он смотрел прямо на меня. — Сколько вам было сделано замечаний насчет парикмахерской? Ходят как монахи! Почему, понимаете, не выполняете?

— Я, по-моему, не в первом классе...

— Бросьте, понимаете! В первом, не в первом, а пока еще в школе находитесь! Не тем, понимаете, голова забита!..

Та-ак. Не из-за одних двоек ты меня вызвал! Что-то он мне припас. Неужели пронюхал? Не зря Анна Николаевна панически боится Носа.

Завуч брезгливо оттолкнул пальцами журнал, откинулся. Из жестяной коробочки достал половинку разрезанной надвое сигареты, вставил в прокуренный пластмассовый мундштук, закурил. Я бы тоже теперь закурил с удовольствием.

— Одеты, понимаете, обуты, все условия,— говорил Нос,— с жиру, понимаете, беситесь... Что там у вас за пионерская работа?..

Вот оно! Ну, держись!

— ...слышу, понимаете, день и ночь в пятом классе! Вечерами допоздна в школе, провозжания разные!..

Ну-ну! Что еще ты знаешь?

— ...с такой успеваемостью,— он постучал пальцем по журналу,— все, понимаете, прекращать надо, все! И прическу, понимаете, привести в порядок и все! В человеке все должно быть на отлично: и в одежде, и в голове, понимаете, и лицом, и в мыслях!

Нет, Нос, видно, не все ты знаешь! Надо было идти в контратаку, надо было ее спасти и себя выручать.

— Ваше первое дело — успеваемость! А вы о чем думаете?

— А чего я? О чем я думаю?

— Вот я вас, понимаете, и спрашиваю: о чем вы думаете?.. От этой пионерской работы мы вас освободим, не волнуйтесь!..

Сердце у меня упало.

— ...а там поглядим, какие еще, понимаете, причины...

— Да при чем тут пионерская работа? Смешно! Я вообще из школы ухожу!

Сам не знаю, как выскочила у меня эта фраза. Я понял, что ничего он толком не знает, но слушок дошел. И надо теперь же, немедленно снять все подозрения, увести Носа в сторону. За этими «мы», «освободим», «поглядим» всегда чудится уже не только тот человек, который произносит их, но некий совет, коллектив, кабинет Чичкина, где, может быть, уже обсудили тебя и решили твою судьбу.

Нос вдруг клянул, Нос насторожился. У нас не любили, когда отсеивались старшекласники.

Я нарочно держал паузу. Понуро глядел в пол на малиновую дорожку. Нос сделал две затяжки подряд.

— Как, понимаете, понимать?

— Да ну! — Я горько махнул рукой: мол, всего не расскажешь.— Прямо с нового года, наверное, придется...

И я снова загадочно умолк. Пахло Васей, и я вспоминал, как добрый Вася называл нас огольцами и после каждого слова прибавлял «едрена вошь»: «Оружия, огольцы, бывает, едрена вошь, всякая».

— Можно, я пойду, Иван-ч?

Вид у меня был такой, что если я начну сейчас говорить, то заплачу.

— Нет, вы, понимаете... Как? То есть!.. Мы не информированы...

— Да работать мне надо идти.— Я посмотрел вверх, на белый плафон, мельком на Носа и опять повесил голову.— Мать у меня... не встает всю зиму... на инвалидность переводят...

Я говорил и сам поражался. Но остановиться уже не мог:

— Ноги у нее... еле ходят... А у сестренки тоже... Четырнадцать лет — туберкулез...

Мать у меня работала как вол, на двух работах, а сестра занима-

лась в детской спортивной школе гимнастикой. Проверить это можно было в полчаса, но я все равно врал. С суеверным страхом я думал, что от моих слов мать вдруг на самом деле заболает, а у сестры откроется туберкулез, но все равно врал. Мой контрудар должен был смять противника начисто, чтоб он головы не поднял.

Нос барабанил пальцами по столу. Он верил и не верил. Надо было заставить его поверить до конца.

— Лекарства не на что купить... Все сейчас на мне... А мы же в одной комнате...

— А отец-то? — начал было он, но сам вспомнил: — А, да-да...

— За пять дней по победы...

Я вздохнул самым тяжким вздохом, и посомневайся он на секунду, я бы такую отлил ему пулю про отца — фронтовики бы ахнули! (Отец пропал без вести еще под Курской дугой, и я ничего не знал из его военной жизни.) Я решил его добить, предупредить его вопросы: — Почему я в школе-то болтаюсь? Домой идти неохота. Госпиталь. Тут хоть отвлечешься. С теми же пятиклассниками...

Нос что-то хотел сказать, но я ему не дал:

— Самому жалко. Но придется уходить...

— Н-да, понимаете, новости! — Нос встал и прошелся у себя за столом.

Я вспомнил, как мы бросили Васе в кашу боевые патроны и ждали, взорвутся они или нет.

Нос бормотал:

— Вот не знают, а говорят...

— Что?

— Да нет, это так я... Да... да... Ну, работать-то работать, а ведь понимаете, девятый класс, жалко!

— Пойду в вечернюю, в рабочую молодежь.

Завуч поморщился: вечерних школ у нас тоже не любили. Если случилось (очень редко), что ученик переходил из вечерней в дневную, то его сажали классом ниже.

— У меня у самого сын вечернюю кончал. Пока я в армии был. Так и не поступил никуда после вечерней-то!.. Ай-яй-яй. Способный ведь вообще ученик!

Он посмотрел на меня, словно прощаясь. А я уже так заврался, что сам верил, будто завтра же покину школу. И ответил ему таким же взглядом сожаления.

Мы помолчали. По-моему, я мог вполне сесть нога на ногу и попросить у Носа закурить.

Потом завуч несколько спохватился, сказал, что все равно они не могут меня выпустить в вечернюю с такими отметками, надо, несмотря ни на что, собраться, подтянуться.

— Да это я исправлю! — махнул я небрежно. — Мне недельку посидеть...

— Ну! Ну! Способный же, понимаете, ученик! — опять повторил он сокрушенно. — Ну, мы тоже еще подумаем, подумаем, посоветуемся... Идите!..

Мне даже жаль стало под конец бедного Носа. Я устыдился. Замешкался в дверях. Но завуч уже сидел на месте, чиркал на листке календаря — небось проверить насчет матери, — вечерний его кабинет сделался опять строг и холоден. Пахло Васей. Я вышел.

В школе мигом все становится известно. В залитом солнцем коридоре — я щурился, будто вышел из рентгенкабинета, — меня караулил Вока. Я усмехался.

— Ну? — спросил Вока.

— Да ерунда! Насчет двоек. Но я ему выдал!

Я гусарил. Я придумал, что повинюсь перед матерью, попрошу ее в крайнем случае сказать, что она болеет или болела. Она меня выругает. Кое-что, конечно, надо выучить, исправить до конца четверти, стыдно; в самом деле. Кстати, и для нас же лучше с Анной Николаевной: меньше внимания. Одно дело, когда стекло разобьет отличник, и совсем другое, если двоечник.

Я успокоился. Я даже что-то позубрил днем. Но вечером все пошло насмарку.

Вечером мы встретились с Анной Николаевной на Калитниковском. Как ни странно, страшный Калитниковский сквер вдруг сделался нашим прибежищем. Уж здесь нас никто не мог увидеть. Правда, ударили, как назло, морозы, но и морозы были нам не помеха. Мы забирались в самый дальний уголок, к последней скамейке, и ни разу ни одна душа не прошла мимо.

Анна Николаевна была в панике. Я смеялся, я хвастал, как обвел Носа,— она и слушать не хотела. Она заставляла меня пересказывать наш разговор снова и снова во всех подробностях.

— Я знала, я знала,— твердила она,— сколько веревочке нивиться...

Я успокаивал ее, говорил, что Нос ничего толком не знает, кто-то просто сболтнул, а то он и разговаривал бы по-другому.

— Нет, нет,— отвечала она,— я же чувствую.. в воздухе носится... не сегодня, так завтра... Мы не должны встречаться больше, ты понимаешь? Надо все прекратить... Я знаю, это чем-то ужасным кончится...

— Успокойся,— говорил я,— ну что ты? Аня!

— Нет, ну ты не понимаешь! Не понимаешь!..

— Ну, хорошо, как ты хочешь, как скажешь... Я в самом деле из школы уйду. Хочешь?..

— Из-за меня? Ты что! Я и так тебе все порчу, все!.. Я ужасная, ужасная... Какие у тебя руки! Ты простудишься. Что я делаю!..

Через минуту мы бросались друг к другу как безумные. Словно сейчас же вмиг сбегутся все во главе с Носом и растащат нас навсегда. То, что началось и происходило теперь между нами, было важнее Носа, сильнее страха.

...Мороз, мороз, скамья заледенежая, снегу намело вровень с сиденьем, и с него мы тоже смахнули снег. Далеко вдаль горит одинокий фонарь, под которым она ждала меня с зонтиком, а здесь темно, лишь отсвет снега: когда глаза привыкают к темноте, то света снега достаточно, чтобы видеть лицо.

Сразу за нами — кладбищенская ограда: кирпичные тумбы и чугунная решетка. Подальше мерцает красноватыми лампадными огоньками церковное окно. Сама церковь растворилась во мгле, и кажется, что огоньки подвешены в воздухе. Пики чугунной ограды облеплены снежными эскимо. На кладбище тесные сугробы могил, толстые эполеты на крестовинах, шорох сухих венков — все чудится, что там кто-то есть, молчит и таится во мраке.

Часов восемь, не больше, но кажется, будто давным-давно длится ночь, погибло время, исчезли звуки. Лишь сверху, с Конной, далеко по морозному воздуху доносится изредка дребезг и звон трамвая и напоминает, что где-то есть город, рельсы, человеческая жизнь.

Левую руку, как в муфте, я держу в рукаве ее полушубка, там тепло, а правая, которой я ее обнимаю, совсем застыла в матерчатой перчатке, еле гнется. Она берет мою руку в свои ладони, трет, греет, дует, а потом прячет ее к себе под горло и запахивает отворотом полушубка.

Я замираю. Я давно перестал что-либо понимать, находясь на Ка-литниковском. Это я? Это — она? Это Анна Николаевна? Тот человек, который стоял, краснея, на школьном крыльце? Там были не мы — совсем другие люди. И еще полмесяца назад, когда я не решался тронуть ее за руку, — это тоже были иные люди... Это ее я целую? Ее зову Аней, Анечкой, Анночкой, говорю ей «ты»? Это моя ладонь у ее горла, и ее она изо всех сил прижимает к себе? И это ее колотится сердце? Ее дыхание частит, точно она бежит бегом?.. Мой рот набит шерстинками ее синего вязаного платья и белого с кистями платка, памятного мне по Котуару. Когда был этот Котуар? Сто лет назад. Все изменилось с тех пор и быстро меняется дальше.

Мы целуемся. Я пересаживаюсь, чтобы моя рука осталась там, в тепле ее платья, тела, меха полушубка.

Мы забылись. Но наши проблемы, оборванный разговор, город, школа, отчаяние тикают в нас, словно замедленная мина.

— Нет! — вдруг кричит она шепотом в странном испуге. — Нет! Нет!.. Милый, нет!..

Я пугаюсь. Я как будто ничего не просил и ничего такого не сделал, чтобы так рвануться от меня. Я открываю глаза, я вижу в свете снега ее запрокинутое лицо, голую шею, ее рот, ее сомкнутые веки, из-под которых текут на морозе две слезы.

— Нет! — Она крутит головой, затылком о валик скамьи, волосы разлетаются, платок сбился. — Нет! Нет! Нет!

— Аня, Анечка, ты что?..

Я в растерянности. Я не знаю, что делать. Пытаюсь забрать свою руку — не отдает. Хочу собрать губами ее слезы — отстраняется резко. Но еще через секунду сама охватывает мою шею с силой, какой от нее не ждешь, и шепчет: нет, нет, нет, нет...

И вдруг бросает меня, отстраняет, толкает, как вагонетку с горы, которая должна покатиться теперь своим ходом.

— Это ужасно, — говорит она, — все это ужасно.

Дрожащими руками я закуриваю папироску «гвоздик». Мы не глядим друг на друга. Она торопливо приводит в порядок волосы, завязывает платок. Пока я таю в ладонях огонек спички, чтобы не привлечь ничьего внимания, она успевает собраться.

Что с нами было только что? Что вообще происходит? Отчего стало так непросто и даже нерадостно? Будто гнет придавил. После Ка-литниковского мне трудно глядеть на нее, трудно говорить. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы вернуться к себе. Медленно закрывается люк черного нашего подполья. Пока не почувствуешь: я — это я, она — это она. Даже хочется ощупать себя: я? Вроде я.

Мы уходим. Она загребаёт варежкой снег и прижимает к губам. Она идет чуть впереди. Я еле ступаю: на мне отцовские сапоги, которые мать наконец отдала мне в эту осень. До этого берегла, да и велики были. Сапоги хромовые, фасонистые, но холодные, как лед.

Вот фонарь, вот турникет. Мы минуем его и снова растворяемся во тьме. Нет ни души, ни собаки, но здесь мы должны расстаться. Она строго соблюдает это правило.

Тускло светятся номерные знаки домов; оказывается, еще тлеют в окнах малиновые абажуры (который же час?); тесно, недобро стоят двухэтажные старообрядческие крепости: каменный лабаз, деревянный верх, глухие ворота, глухие зевы подворотен.

— Ты понимаешь, что нам нельзя больше, нельзя?!

Я вздыхаю. Я слышу это каждый вечер.

— Господи, почему ты не влюбился в какую-нибудь девочку? Гулял бы с ней, и ничего не надо бояться...

Я усмехаюсь.

— Ну правда! Ну не мучь меня! Ты же видишь, я не в силах... Это сильнее меня... Я ничего не понимаю... Ты — помоги мне! Не приходи, а? Тебе надо за уроки сесть, все нагнать... Ты меня слышишь? Ну что ты молчишь?

— Я тебя в решку выиграл...

— Не до шуток!

— Я ничего не боюсь.

— Это тебе кажется. Я вот всего боюсь... У нас с тобой ничего не может быть. Понимаешь? Никогда.

— Ну почему, почему?..

Она не отвечает: один вздох в ответ.

— Аня!

— Ну что? Что, что?.. Ну что, мой дорогой, мой глупый, что?.. Ты даже не знаешь!..

Мы снова бросаемся друг к другу, поцелуй, еще поцелуй, уже застыли наши щеки, наши губы, я стискиваю ее, обнимаю что есть сил, она гибко поддается моим рукам, мы задохнулись оба.

— Не приходи завтра! Пожалуйста! Ну попробуем!.. Я-так-больше-не-мо-гу-у-у!..

— Ну Аня, Аня! Ну завтра, только завтра. А потом я обещаю...

— Не придешь? Точно? Потом не придешь?

— Точно, точно...

Мы чуть не плачем, веря тому, что говорим. Хотя и вчера так говорили и позавчера.

Наверху дребезжит трамвай, его звук пугает и разъединяет нас.

— Все, все! До завтра! Не ходи за мной! — Она еще раз быстро целует меня и бежит вперед вверх. Я остаюсь, как бегун, сбитый фальстартом.

Вон перекресток, там свет. Видно, как мелькнули быстро через дорогу белые валенки, белый полушубок. С этой секунды я начну ждать, начну вновь желать одного: увидеть ее.

Я медлю еще немного. Мороз набрасывается на меня как собака. Неужели такой мороз? Стынут сразу уши, ноги, руки, нос. Дождаться трамвая? Если дождаться, то можно еще обогнать ее, потом спрыгнуть на повороте, где она будет сворачивать к Малому Хивинскому, и шутя, как ни в чем не бывало расшаркаться: «Добрый вечер, Анна Николаевна!»

Раньше бы я так и сделал. Но теперь не до шуток. Да и нельзя, еще кто-нибудь увидит! Почему мы раньше не боялись того, что нас видят вместе?

Черт, как тоскливо! Всякий раз я не успеваю приготовиться к расставанию с ней, и одиночество наваливается, точно тебе делают темную. Обидно! Почему нельзя проводить ее? Ведь мы сами становимся, как все, лжем, как все: целоваться, значит, можно, а проводить нельзя?..

Никуда бы я не пошел, сел бы на остановке и сидел. Но мороз гонит меня. Трамвая нет и в помине.

Я выбегаю на Рязанку. Поземка катит по простору шоссе, как в чистом поле. Качаются фонари. Машин мало, а прохожих не видно вовсе. На той стороне тянется наш забор — бесконечно, в обе стороны, куда хватает взгляда. Никого.

Все сидят в тепле по домам, спят или ложатся спать, никому нет до нас дела. Ночные рубашки цветочками, хрипят пружины, женщины бьют в поросычье ухо подушки, старухи плетут на ночь косицы, мужчины обтирают ступню о ступню, прежде чем закинуть ноги на постель, девушка прикрывает ладошкой зевок, теплое плечо с бретелькой, парень сует под подушку вывернутую страницами наружу книж-

ку, умащивается на правом боку. Выключатель, кнопка — там погасло, там погасло... Я уже слышу селедочный, капустный запах своего бедного дома, вижу тусклые паутинные лампочки в коридоре, куда выходит шесть разных дверей. Сейчас приду, осторожно лягу в темноте в свою продавленную холодную койку, мать спросит что-нибудь спросонок и тут же мертво уснет. Можно пойти на вонючую кухню учить уроки или читать «Жана Кристофа»... Я не могу один! Все изменилось, все потеряло смысл, я не хочу ничего! Как прийти и лечь в эту койку с тем, что есть во мне? Как сидеть на вонючей кухне? Как жить, если ты стал великаном, а тебе надо возвращаться в спичечный коробок?..

Я перебегаю шоссе, прямо на меня несется ночной грузовик. В какой-то момент пересекаются острый свет фар и мой взгляд. Вот взять и остановиться — фиг он успеет затормозить!.. Интересно, такие мысли еще не приходили мне в голову...

Я бегу потом вдоль забора. Ноги никак не согреваются, нос я держу в кулаке, другой рукой тру уши. Не хватало еще обморозиться. Как мне не хочется домой!

«Голубы! Имей совесть! Мы у Сани».

Боже ты мой, я уже забыл, когда видел ребят помимо школы. Я вдруг вспоминаю, что они почти не разговаривают со мной, ни о чем не спрашивают, а я и подавно не спрашиваю у кого что, а если спрашиваю, то не слышу, что отвечают.

Может, завалиться сейчас к Воке? Поздно. Пожалуй, его папан откроет дверь и скажет: «Идиоты! Что вас носит по ночам? День вам короткий?»

А если к Сане? Остаться у него ночевать на плюшевом диване, среди розовых нимф с арбузными грудями, под люстрой в бронзовых ангелочках?.. Хорошо бы, но мать утром станет беситься, искать меня.

Сам не знаю как я оказываюсь у Птичкиного дома. Наверху горят два ее окна. Должно быть, она только вошла. Я больше не могу стоять на улице. Я вбегаю в подъезд. Кладу руки на батарею. Прижимаюсь к ней. Она еле-еле греет. Но все-таки это тепло.

Там, наверху, совсем рядом, — она. Промашнуть лестницу, постучать, вызвать. Не войти, но вызвать. Разве нельзя? Пусть она побудет со мной еще чуть-чуть. Я не могу один.

Нельзя.

Не понимаю почему, но знаю: нельзя.

Я закуриваю. Руки трясутся. Не хватало еще заплакать.

Сажусь на грязную холодную ступеньку и сижу, скорчившись, полчаса или больше. Меня знобит.

Когда я уйду, окна ее еще горят. Она не спит... Не спи, пожалуйста, ста, побудь со мной!..

Я сижу на уроке и пишу ей письмо. За окном серый день, как вчера и позавчера, сыплется быстрый снег, мотаются черные ветки и черные провода. Класс молчит: то ли дремлет, то ли слушает, что тараторит Маргоша про благородную литературу XIX века. Вока читает под партой роман.

Я пишу длинное и сложное письмо, никак не могу ясно сказать на бумаге то, что так ясно сложилось в эти дни в голове.

Мы не виделись несколько дней. Ни на Рязанке, ни на Калитниковском, не гуляли по набережной. Лишь мельком в школе. У нее мать заболела воспалением легких. «Наказание, наказание!» — сказала она. Она доставала лекарства, сидела возле матери часами. Я почувствовал: лучше притихнуть. Даже не подходить. Я притих.

У меня обнаружилась куча времени: я выучил физику, сидел с Воккой над задачками, мы смотались с ним в кино, один вечер я провел

с матерью и сестренкой, и мать сказала: «Видать, медведь в лесу сдох, наш-то дома!» Она занялась своими делами, я своими. И всего за два дня втянулся. Мы словно переводили дыхание.

Договаривались встретиться в субботу вечером хоть на полчаса, но что-то помешало. И в воскресенье тоже. В воскресенье вообще не было возможности связаться, ни у нее, ни у меня не стояло телефона, и — наступил тот самый панический момент, когда вперед не уговорено о встрече, нить порвана, ты не знаешь ничего про нее, она про тебя. Вас тут же подхватывают центробежные силы и разносят в стороны.

В воскресенье с утра мы поехали с матерью на Перовский рынок покупать мне валенки, потом завернули к тете Рае, маминой сестре, — дня как не бывало. На рынке мы толкались два часа в великой толпе народа — здесь был весь город, — потерялись и снова встретились. Валенки продавали много, но старые я не хотел, а новые стоили дорого. Я вообще не хотел валенки, мать настаивала. Она приценивалась то к тому, то к другому, торговалась бойко, лавировала в толпе, лицо у нее разгорелось, волосы выбились из-под платка. К ней цеплялись мужики, она метко их отбрасывала. Народ валил, кипел, кружил, терся, протискивался, пар стоял над многотысячной толпой, снег под ногами смесился в грязь, посвистывала милиция, шныряла шпана. Продавцы тянулись извилистыми рядами, каждый был сам себе магазин: у ног на мешке или газете разложено барахло, обувь, посуда, примусы, на одном плече пальто, через другое переброшены брюки или платье, на растопыренных руках тоже вещи, а на голове поверх своего платка или шапки еще две или три шапки, шляпы, кепки одна в одну. И стоят такими огородными пугалами полный день с утра до ночи.

— Сынок? — спрашивали про меня у матери; и она отвечала:

— Мой, мой, чей же!

И чуть выдвигала меня вперед, засматривала снизу вверх, похлопывала, ей нравилось меня показывать. Я потупливался. Тетки прищелкивали языками, говорили матери комплименты: мол, сама-то молодая и не верится, что такой сын.

— Да где молодая! — отвечала мать польщенно. — Я неизрасходованная!

На воздухе, при свете дня разгоревшееся лицо матери на самом деле было молодым, миловидным, глаза играли, губы, чуть подкрашенные, подрагивали в улыбке. Она смеялась — ярко взблескивали ее красивые зубы. Чудно! Каждый день видишь, а вот так, в лицо, никогда не видишь и даже не знаешь, например, что у нее синие переливающиеся глаза, хоть и запавшие в темных глазницах.

В конце концов, как часто бывает, мы купили совсем не то, за чем пошли: мне теплые носки и серый старый свитер, матери юбку для работы, а сестренке рейтузы.

Тут же на барахолке шла торговля самодельной едой, мена водки на хлеб, хлеба на сахар, сахара на консервы. Мы купили горячих пирожков с тrefбухой, а потом мать, расщедрясь, дала мне тридцатку на мороженое. Я ел и давал ей на ходу откусить, она выставляла белые, как мороженое, зубы и откусывала, смеясь.

Веселые, с покупками, мы завалились к родичам, они жили недалеко от рынка, три остановки. Еще длилось, разбрезживало серое утро. Я давным-давно не видел тетю Раю, дядю Володю, ее мужа, своих двоюродных сестер Валерию и Аню, не всходил на деревянное крыльцо старого, длинного, одноэтажного дома, знакомого с детства.

Нам обрадовались, мы всех застали. Валерия еще спала после ночной смены на диване лицом к стене, рассыпав волосы по подушке, Аня гладила у окна, тетя Рая собирала мужа в баню. Анька застеснялась, выбежала, на ней был тесный, короткий, рваный под мышками халат-

тик,— я поразился ее округлому телу, голым женским ногам, рукам: вчера еще, кажется, была девчонка и девчонка, а смотри ты!

Между прочим, мы все были очень похожи: мать, тетя Рая, я, Анька, Валерия. Помню, я прочел у одного писателя: «Все мы вышли из курносого застенчивого простонародья» — и тут же вспомнил своих родственников, будто про нас и сказано.

Дядя Володя — совсем другой человеческий тип: как с иконы. Длиннолицый, сухощекий, темноглазый. С застарелым выражением недовольства и тихой муки. Он был молчун. Сядет и сидит. Закурит и долго кашляет. Как собирается сказать, так закашляет. Помашет сквозь кашель рукой — мол, ну вас, зря и начал-то, — да так и прокашляет момент разговора. С войны он вернулся хромым. Но работал шофером на тяжелом грузовике, ходил в дальние рейсы.

Я чувствовал себя виноватым: дядя Володя меня любил, а я и забыл, что он есть на свете. Он поздоровался со мной обиженно. Я тут же напросился с ним в баню.

Пошли в баню. Часа полтора простояли в длинном хвосте, намерзлись, а дорвавшись до тепла и воды, еще часа полтора мылись, парились, дядя Володя стегал березовым веником свое тощее тело, пока оно не стало латунного цвета. Левое бедро его почти до колена уродовал синий страшный шрам: словно акула распорола и выдрала мясо.

Я замучился, пока он парился, мылился, я чуть не выл, когда он взялся тереть мне спину, я изнемог, пока он сидел сиднем в раздевалке, отдуваясь, исходя потом, прикрыв веки, как старая птица.

Пока мы ждали на улице, я развлекался разговорами и побасенками, в бане наблюдал то за говорливым пьяненьким пространщиком в белом халате, потешавшим клиентов, то за татуированным малым, у которого даже на ляжках синели: на одной — парашют, на другой — русалка. У многих, как у дяди Володи, остались на теле следы войны: шрамы, культи, синие пороховые пятна. Многие были с детьми, с сыновьями. Глядя на детей, я вспоминал, как до войны тоже ходил в баню с отцом. Он сажал меня в шайку с водой и крутил на месте... Он наливал в шайку немного горячей воды, ставил ее бочком, пускал туда мыло и мочалкой сильно бил, мотал, пока шайка не взбухла горячей пеной. Он клал меня плашмя на каменную скамью и мылил, окутывал этой пеной. Помню, я хихикал и взвизгивал, как поросенок, от счастья и щекотки. Потом он вел меня намыленного по скользкому полу к душевым кабинкам и ставил под сильный душ, такой сильный, что трудно было дышать. И опять я визжал, смеялся и прыгал.

— Помнишь, дядя Володя, — спросил я, — как с отцом в баню ходили?

Дядя Володя хотел ответить, но как раз закурил, еще сидя голым в простыне, и вместо ответа зашелся кашлем, замахал на меня рукой: мол, как не помнить! И кашлял потом минуты две.

Дома ждали с обедом, женщины напустились — где мы пропали, но, кажется, им нравилось ждать нас и дождаться, нравилось, что пришли мужики из бани, отдуваются и можно угощать нас, ухаживать за нами.

Обедали не наспех, не кое-как, как все привыкли, а по-воскресному, по-семейному, словно в гостях: долго, с закуской, с селедкой и солеными грибами; кто ел рыбный суп, а кто серые щи. Женщины пили домашнюю бабушкину наливку из смородины, а мы с дядей Володей розовую, на рябине настоящую водку, по две рюмки.

Мы, дети, сидели втроем на диване — я, Аня и строгая, неразговорчивая, в отца, Валерия, и наши матери смеялись над нами, как мы похожи. А мы с Анькой на них показывали пальцами: сами похожи! Моя

мать еще раскраснелась, развеселилась, они с тетей Раей вспоминали свое бедное детство, и хотя ничего хорошего в их детстве не было, им вспоминалось веселое и смешное. Они хохотали, и мы с ними.

За окном смеркалось, зажгли свет, но все сидели за столом, пили чай, болтали. Анька рассказывала мне о своей школе, я о своей, но тоже только смешное.

Потом пришел молодой человек в шляпе, в длинном пальто, в белом шелковом шарфе и перчатках. Тетя Рая засуетилась, звала его к столу, но он, не снимая шляпы и перчаток, остался у двери. Валерия поднялась и стала пробираться через наши с Анькой ноги — сверху, с диванной полочки, нам на головы посыпались семь мраморных слонов.

Валерия ушла с молодым человеком в коридор, а тетя Рая и Анька, обе шепотом наперебой стали объяснять, что это Валеркин жених, ходит и ходит, а работает в угрозыске или в этом духе, и у него комната в центре, а Валерка кочевряжится, не хочет за него.

— И правильно! И нечего! — вдруг сказал дядя Володя.

— Тебя не спросили! — сказала тетя Рая. — Тише!

— Ох, господи! — вздохнула моя мать.

Тут вернулась Валерия и спросила нас с Анькой, хотим ли мы в кино. Мы вскочили.

Пошли в кино. Там народу была уйма, но молодой человек — его звали Андрей — проник другим ходом в кассу и быстро вернулся с билетами. Фильм оказался захватывающий, американский, из трофейных, про ковбоев и индейцев. В опасных местах Анька вскрикивала или зажмуривалась, хватала меня за руку, а под конец залилась слезами.

— Ань! Ань! — сказал я, утешая, и вдруг поразился: только теперь сообразил, что Аньку зовут так же, как Анну Николаевну. Целый день я произношу это имя, никак не связывая его с Анной Николаевной, точно звук пустой. И вообще уже несколько часов подряд не вспоминаю ее. Где она? Как она? Почему вообще я сижу здесь с другой Аней?..

Мы вернулись. Валерия с таинственным Андреем пошли пройтись. Мать меня заждалась. Она уже скучала, шумно звала. Дядя Володя спал на диване, тетя Рая шила, они все прибрали и вымыли.

Потом мы долго ехали с матерью в полупустом вечернем трамвае, сидя рядом, мать дремала, положив голову мне на плечо. На остановках вскидывалась: не пора ли выходить? Я беречь ее сон и говорил:

— Спи, спи...

Я бежал утром в школу и боялся. Сам не знаю чего. Нашей встречи. Ведь ничего не известно. Как она? Что с ней? Казалось, что-то произошло. Она опомнилась без меня, стряхнула одурь. Я подбегу, а передо мной — учительница Анна Николаевна, взрослая женщина. Белая головка, строгая, с пучком, который так ее взрослит. «Простите, но я попрошу вас говорить мне «вы»...» Может так быть? Отчего же не может?.. Мне было так страшно, что я замедлял шаг, я не бежал, а плелся. И я почти испытал облегчение, увидев, что пятый «а» уже увели из вестибюля. Гремел звонок.

Потом мы писали сочинение, у нас был сдвоенный урок, на перемену мы не вышли. Потом меня задержал Степа Капитан и сказал, что меня вызывают на заседание «Общества февралистов».

— Вызывают? Как это? За что?

— За все, — сказал Степа. И не захотел ничего объяснить.

Ощущение, что что-то случилось, что я чего-то не знаю, упустил, стало еще сильнее.

Я сидел на третьем уроке и чувствовал, как уходит время. Минута, минута, еще минута. Надо немедленно действовать, выяснять, знать, а я сижу. Что там, на втором этаже? Что происходит в учительской, в каморке Носа? Что с Анной Николаевной? Какого черта я медлю? Еще утекла минута. Еще. Еще. Я гляжу в окно, и она там, на втором этаже, тоже глядит, мы видим один и тот же тополь, снег, переулочек. Как она глядит? Что с нею? Отчего я так боюсь? Больше невозможно не знать. Но, может, неведенье лучше?.. Нет, глупости! Она меня ждет. Она не может понять, отчего меня нет. Она сходит с ума. Она измучена болезнью матери, она устала, ей нужна помощь, а я бросил ее как свинья. Каждая уходящая минута режет ей сердце. Скорей!..

Прозвенел звонок, я бросился из класса. Скорей! Скорей! Если она не увидит меня и на этой перемене, она умрет. Скорей. Я слетел по одной лестнице, по второй, прыгнул через четыре последних ступеньки и... врезался в Чичкина. Влетел ему прямо в пузо.

Как я его не сшиб! От удара у него сорвались с носа очки, он замелькал руками, схватил их в воздухе (слава богу!), посадил на место и, оставив руки вздетыми, сжав в кулаки, завопил:

— Не бегать!

— Ой, Иван Михалыч! Извините, Иван Михалыч! Простите, Иван Мих...

— Стоять! Ни с места! Как фамилия?.. А-а, это ты!.. Молчать! К стене!

Это происходило уже на площадке второго этажа. Он цепко и больно схватил меня за плечи, чуть не швырком двинул к стене, к окну, под мраморную доску с золотыми именами десятого «адель».

— Па-чему? Ку-да? Ат-ве-чать!

Я успел косить глаза в сторону коридора и увидел, что из дверей пятого «а» один за другим вытекают линейкой мои пионеры, мотая портфелями, и строятся вдоль стены. Их отпускают? После третьего урока? Почему? А где Анна Николаевна?

— Ат-ве-чать!— гремел Чичкин и тыкал мне в плечо крепким острым пальцем.

У пятого «а» полезли на лоб глаза.

В следующую минуту я не увидел, а почувствовал, что из двери вышла Анна Николаевна.

— Извините... нечаянно... я в библиотеку... мне срочно...

— Если! Все! Будут! Бегать!..

Я знал, что они смотрят. Я попытался стать непринужденнее.

— Стоять! Руки по швам!— взревел директор.

Бедная Аня! Она же не знает, в чем дело, что он ревет из-за ерунды. Она ведь примет сейчас на свой счет. Но взглянуть, дать ей понять — нельзя. А бедный пятый «а»! Их вожатого, их кумира терзают у них на глазах!

— Я покажу библиотеку!.. Останешься после уроков!

— Иван Михалыч, я...

— Молчать! Стоять! Здесь! Всю перемену! Руки по швам! Ни с места!

Он еще раз больно ткнул пальцем, пригвоздил меня к стене. И — поворот на каблучках, чеканя шаг, — развернулся в сторону коридора. Там уже сыпалась из всех дверей, бурля, как вода из шлюзов. Директор сложил ладони рупором и так рявкнул «не бегать!», что мальшья застыла, будто директор играл с ними в «замри».

Печатая шаг, как заводной, Чичкин двинулся к лестнице.

Я передернул плечами, я усмехнулся криво, я тут же принял самую вольную позу. Я увидел бледное, едва не обморочное лицо

Анны Николаевны, перепуганные и сострадающие глаза пятого «а». Теперь они почти вытекли из класса, их линейка приблизилась ко мне. Анна Николаевна была в своем будничном синем вязаном платье, причесана особенно гладко, с особенно тугим пучком (это признак самого плохого настроения), с измученным бледным лицом. В руках держала портфель и собранные тетради. Но вдруг она обессиленно прислонилась к двери, постояла и ушла назад в класс. Я не успел подать ей никакого сигнала и успокоить.

Голос директора раздавался наверху, я не мог сойти с места, и ребята не решались приблизиться ко мне. Мы должны были стоять, где нас поставили. Между нами была лестничная площадка и часть коридора.

Коридор опять кипел («Отомри!»), наполнялся, учителя двигались среди стриженных голов будто вброд, по пояс в воде. Еще через полминуты другие из зависти стали задирать пятый «а», пошли тычки, дерганье, кто-то у кого-то выбил ногой портфель. Мимо меня тоже замелькали, как пчелы, показывали на меня пальцами, высовывали языки. Пятый «а» почуял, что ему грозит задержка на пути домой, завсломался и занял.

Когда снова появилась в дверях Анна Николаевна, вдоль стены уже не аккуратная линейка тянулась, а ходуном ходила серая гремучая змея. В хвосте извивался Ягодкин, подпрыгивая, плевал через трех впереди стоящих в четвертого, а голова змеи смялась в кучу малу и там, как из пасти, торчали руки-ноги.

Я подался вперед, я хотел показать, что случилась глупость, улыбался виновато. Она никак мне не отвечала, глядела мимо меня.

— Ягодкин! — закричала она зло и дернула Ягодкина за шиворот. Она не умела кричать, ей это не шло, и она сама едва не морщилась, повыпная голос.

— Ягодкин! — тут же пискнул кто-то, передразнивая ее.

— Сейчас же все пойдете назад! Построиться!

Я снова, как накануне, ощущал: время уходит. Уходит, уходит. Теперь текут не минуты—секунды. Если сейчас же чего-то не сделать, не разрушить этой нелепицы, не вернуть нашего — взгляда, улыбки, слова, — не пробиться к ней, то я останусь стоять здесь мальчиком в углу, а она, учительница Анна Николаевна, взрослая женщина, уведет класс, даже не вспомнив обо мне. Кажется, еще никогда она не была так далека! Что происходит?..

Она прошла вперед, в голову линейки, чтобы вести класс. Я ловил ее взгляд, но она вовсе повернулась спиной ко мне, лицом к ребятам. Они двинулись. Теперь нас разделяла только площадка.

Я подмигивал ребятам: мол, чего не бывает, видите, провинился вроде вас. Они не знали, как отвечать, улыбки их были натянуты. Кроме того, они боялись, как бы я тоже их не задержал.

Я сделал шаг вперед. Голова линейки уже поворачивала к лестнице.

— Анна Николаевна!

Она вскинула глаза. Слово первый раз в жизни видит меня.

— Вы уходите? Вы их отпускаете? (Будто и без того не видно, что уходит, что отпускает.)

Она быстро, мелко кивнула — какая-то несчастная, жалкая женщина! И ступила на лестницу. Бойтся? Или не хочет мне ответить?

Я решил сделать еще шаг. Тут она взглянула испуганно: мол, ты что? не смей! Я остановился. По крайней мере это хоть было живое, знакомое.

Наверху, словно бог с небес, рявкнул Чичкин. Я отступил.

В ту же секунду Анна Николаевна шагнула вниз, и белая ее голова с литым, почти металлическим пучком скрылась. Я привалился к

стене, уперся затылком в нижний край мраморной доски. Мимо сновали мальчишки. Белая дверь пятого «а» осталась открытой.

«Что же это такое?— думал я.— Что же такое? Взрослая, усталая, чужая женщина, несчастная. У нее мать, мать, она замучилась,— тут же хотел я ее оправдать, но понимал, что не в матери дело.— Она вообще замучилась. А кто виноват? Ведь я же и виноват! Разве она не настаивает, не просит, чтобы все прекратить? А я? Помог ли я ей? Я только о себе думаю: увидеть, увидеть, поймать, прикоснуться, целовать. А ей-то каково?..»

Мне стало стыдно. Сейчас я думал не о нас с Анной Николаевной, как привык, не о себе, а только о самой Анне Николаевне. Ах, черт! Да ведь надо только посмотреть со стороны: на нее, взрослую, умную, серьезную, и на меня с моим полудетским лицом, куцым пальтишком, из которого торчат руки. Подумать только: она бегаёт ко мне на свидания, я целую ее по темным углам, скамейкам! Как же ей это тяжело, стыдно, странно! Чего ей это стоит! А я еще в обиде, я настаиваю, надуваюсь, требую. Ох, стыдно! Вспомни, как глядели на нас, когда мы пошли в кино! Вспомни, как глазели в поезде, когда ехали в Котуар! Ай-яй-яй! Что же? Как же быть?..

Все! Я понял! Я напишу ей письмо. Теперь все будет по-другому! Пусть знает. Ей больше нечего бояться. Я все исправляю, очищу, изменю. Ей не придется страдать из-за меня.

Мне стало так ясно, что нужно делать, что я не мог больше стоять на месте. Перемена еще не кончилась, а я взял и ушел, не боясь гнева Чичкина. Я уже писал свое письмо.

Я писал его на одном уроке, на другом, я писал его, прибежав домой, писал вечером— я понял, что в этот день нам опять не встретиться,— и вот теперь, с утра, я начал его снова. У меня было сто планов искупления вины, спасения ее покоя. Я сам освобожу ее, я уеду, если надо, переvedусь в другую школу, поступлю в военное училище. Я никогда больше ничего не потребую и ничего себе не позволю. Пока не стану взрослым и самостоятельным. Чтобы ей не стыдиться и не скрывать меня ото всех. Да, да, она сможет прямо смотреть людям в глаза и не краснеть испуганно. Я даю клятву.

Спасибо еще, что мы вовремя спохватились! Ведь пока что она любому, кого боится, будь то Нос или моя мать, о которой она говорит так часто, может смело сказать: «Ничего не было». Совесть ее чиста и должна быть чиста.

Я писал свое письмо, рвал, начинал сначала. Я так верил себе, и мне не приходило в голову, что за этим стоит страх потерять ее, страх ее отрезвления. Я готов был на все, лишь бы не видеть, как она смотрит мимо меня.

Прошел еще урок. У меня не хватило духу спуститься вниз. Когда письмо будет готово, я приду к ней смело, вручу его, и с той минуты все пойдет по-новому.

На черчении, где каждый обычно занимался чем хотел, пока Жареная Пипетка в одиноком упоении чертил на доске проекции то шайбы, то гайки, я все закончил. Вока продолжал читать, выложив теперь книгу открыто на парту. Он знал, чем я занят, и, должно быть, ждал, что я дам ему прочесть письмо. Но хотя Вока почти все знал, был в курсе, в последнее время я все меньше посвящал его в свои дела. Воке было не понять. Думаю, он вообще не верил мне, подозревал, что я скрываю главное. Берегу, так сказать, честь женщины. Разуверять же его было нелепо.

— Ну?— спросил Вока, глядя на меня как на больного.

Я не ответил. Свернул три исписанных с обеих сторон листка и спрятал в карман. Вока хмыкнул. Потом сказал:

- Чтобы взять крепость, осады не снимают.
- Много ты понимаешь!— сказал я.— Пойди лучше отнеси.
- Сейчас?
- Да.

В самом деле, подумал я, сейчас. Вока отдаст, и все. Я вынул и передал ему письмо.

- Вока встал и пошел, ни слова не говоря.
- Вы куда?— робко спросил чертежник.
- Я сейчас,— сказал Вока.
- Но позвольте, надо же хотя бы разрешения спросить...

Класс занял и загудел, ожидая развлечения.

- Закудыкал!— басом сказал Амайзе.
- Жареная Пипетка забрал голову в плечи.
- Извините,— сказал Вока,— я мигом.

Чертежник махнул рукой.

Я мысленно промчался с Вокой по коридору, по лестницам, по тому коридору, открыл дверь пятого «а». Вот она подошла. Вот он с улыбочкой сунул ей в руку листки. Она удивилась. Может быть, покраснела. Вока бежит обратно. Коридор, лестница, коридор. Так. Сейчас войдет...

Дверь открылась, и Вока вошел. Сел, переводя дыхание. Кивнул мне: все в порядке. Я огляделся: класс искося наблюдал за нами. За мной. Догадались? Наверное. Но теперь это не имело значения.

...Сначала была церковь. Мы входим, а внутри — кладбище, кресты прямо из пола, каменные, выше человеческого роста, расставили крестовины, как руки. Мы идем, идем, впереди узкий просвет, проход, но внизу он еще разделен трубчатой разгородкой, как при входе на стадион, так что нам надо разделиться, разнять руки, но этого нельзя делать ни в коем случае, и мы идем еще теснее, как жених и невеста, причем это не Анна Николаевна, а девушка Таня, то есть и Анна Николаевна, но и Таня, зовут ее Таней, это точно. Мы решили так идти, и я знаю, что стадионный поручень входит прямо в бедро, и в ее бедро тоже — как же так?— но нет ни крови, ни перелома, слава богу! Как здорово мы отделались, как легко вышли! И оказывается, это — Котуар, только теперь не зима, а лето, синие облака по всему небу, и бежит незнакомый мальчик, спрашивает, не видели ли мы модель самолета с бензиновым моторчиком, он ее запустил, а теперь ищет, она где-то здесь села. Где? Я тоже хочу поискать, но Таня расстегивает вдруг платье на груди, и это не платье, а странно большой белый платок, и больше на ней ничего нет, я вижу ее голые бедра, живот, с ума она, что ли, сошла, ведь люди смотрят. Конечно, вон Петр Антоныч, отец Любви Петровны, ведет белую корову и усмехается, крутит головой: ну, мол, вы даете, ребята, голяком средь бела дня! Но она не боится, смеется, а вокруг стоит зеленая молодая рожь, зеленая-презеленая, с мягкими еще, шелковистыми колосками, бескрайнее поле ржи под летними облаками, рожь чуть выше колена, как она собирается спрятаться здесь? Ведь мальчик бегает, модель ищет, неудобно. Но она идет и идет, она повернулась спиной, я вижу ее голый и пугаюсь, понимаю, что меня обманули, это незнакомая женщина, это нимфа с картины у Сани, она хочет заманить меня куда-то, зачем я иду, дурак. надо бежать. И тут появляется какая-то ящерица, у нее очки на выпуклых глазах, маленькие человеческие ручки, в пальчиках дымится сигаретка, это вообще не ящерица, а наша соседка Косорукова, она лишь прикинулась ящерицей, потому что знает все про нас с Анной Николаевной. Но она готова нам

помочь, она никому ничего не скажет. Я бегу сквозь зеленую рожь, она все гуще и гуще, идти трудно, но Таня меня зовет, и я иду. Она лежит во ржи, руки за голову, нагая, ослепительная, а между рук, между ног торчат пучками рожь,—она не упала, не примяла ее, а лежит, ждет меня так давно, что рожь успела вырасти и оконтурить ее. А на животе ее сверкает красивый, красный, хромированный самолетик, та самая модель, которую ищет мальчик. Таня смеется: мол, видишь, где она оказалась, эта модель. Она хочет, чтобы я взял модель, убрал, чтобы я приблизился. Я поражен, я чувствую, что меня обманывают, что вокруг притаились, только и ждут, чтобы осмеять нас и опозорить,—как будто рожа Ягодкина мелькнула, Нос где-то здесь, и еще английский дипломат Майкл Дарнлей, которым стал Степа Капитан. Они все прячутся во ржи, это точно. Я приближаюсь со страхом, я уж точно знаю теперь, что это Вокина Наташа приняла облик Тани, Анны Николаевны, это она, но поделаться ничего не могу, приближаюсь, склоняюсь, никакого самолетика на самом деле нет, это тоже был обман. Я вдруг понимаю, что это лишь страшный сон, что надо немедленно проснуться — и я спасен, но — ужас! — я не могу проснуться...

Ну как быть? Куда деть потом такой сон?.. Он не растаял при пробуждении, не исчез, запомнился. Все утро я был тих, как мышь, и рассеян. Зеленая рожь стояла перед глазами, женщина-ящерица, самолетик и остальное. Недоумение от этого сна было сильнее, чем стыд от него. Неужели в нем — правда? Неужели всем снятся подобные сны? Только люди не помнят их или не хотят помнить? А может, я с ума схожу? Ведь я решил совсем другое!.. А как поглядеть Анне Николаевне в глаза после такого сна?..

И к тому же вдруг я получил записку! Вока принес. Сердце у меня задрожало и ноги ослабли. Бумажка была свернута в трубочку величиной со спичку.

Чего только не полезло в голову! Я боялся ее раскрутить. Даже почудилось, что Анна Николаевна уже знает про мой сон. Я страшился какого-нибудь короткого, оскорбительного, страшного слова. Я забыл, что, возможно, это просто ответ на мое письмо.

И какое было облегчение, какое счастье, когда я раскрыл записку! Там стояло: «Нам надо поговорить». Три слова. Спокойных, ясных слова! Я услышал ее голос, интонацию, увидел ее лицо. Нам надо поговорить! Ну конечно! Как просто! Конечно, поговорить! Нам надо поговорить! Необходимо! Умница! Как хорошо! К черту эти дни, эту тоску. Значит, мы увидимся? Мы увидимся, мы поговорим, я все тебе расскажу. Как я соскучился! Нам надо поговорить. Мне так много хочется рассказать тебе. Спасибо. Нам надо поговорить. Нам надо поговорить!..

На перемене я бросился искать ее по школе. И никак не мог поймать.

— Анну Николаевну не видели? Ребята, Анну Николаевну не видели?..

Мы столкнулись на лестнице. Она шла вниз, я вверх. Мы замерли на секунду, глядя друг другу в глаза. Это был замечательный взгляд! Глаза ее улыбались. Чуть-чуть насмешливо.

— Здравствуйте, Анна Николаевна!

— Здравствуйте.

Она держалась за перила левой рукой, я правой. На перила были набиты крепкие деревянные нашлепки, выкрашенные в одну краску с перилами: изобретение Носа, чтобы мы не съезжали по перилам.

Улыбки, улыбки, сорок пять улыбок в полминуты! И лестница!

Мы стояли точно так, как в тот вечер, когда она отступала вверх и толкала меня пальцем в лоб. Мимо сновали ученики. Наверху слышался голос Раисы Яковлевны.

— Когда?—спросил я.

— В десять. В моем дворе. Я еще не могу из дому. Где черны́й ход.

— Понял... А как ваша мама, Анна Николаевна?

— Спасибо, получше. Температуру наконец сбили.

— Ну слава богу!

— Да уж! — Она сделала движение идти.

Наверху за нею показалась Раиса Яковлевна в окружении учеников. Я уступил дорогу. Мы разошлись.

В десять! В десять! С ума сойти! Сегодня! В ее дворе!.. Я не мог удержать улыбку. Я поздоровался на бегу с Раисой Яковлевной. Она поглядела чересчур внимательно, усмехнулась. Но ее я не боялся. В десять! В десять! Где это у них там черный ход?..

В этот день я ответил физику, получил пятерку у Маргоши по литературе и четыре по географии. И я успел сказать об этом Анне Николаевне: мы еще раз встретились в раздевалке после уроков. Потом я помчался домой и до вечера еще что-то зубрил, учил, все у меня получалось, и я твердил: «Нам надо поговорить, надо поговорить...»

Ровно в десять я вошел во двор Птичкиного дома. Странно, что я никогда сюда не заглядывал. Справа и слева двор был замкнут деревянными заборами, а впереди, в глубине, стоял двухэтажный флигель, в нем светилось три-четыре окна, слабо освещая снег и темнеющую тропинку. Посреди двора росло старое разлапистое дерево, похожее на дуб. Было тихо, глухо, лишь с улицы доносился грохот трамвая.

В самом Птичкином дворе тоже горело несколько окон, в том числе и наверху. Во двор выходили не одна, а две черные лестницы, два подъезда под железными дырявыми козырьками. Я сообразил, что мне нужен левый вход. И пошел туда, проваливаясь в снег. Неужели здесь никто не ходит? И я представил себе, как в доисторические времена, когда нас еще не было на свете, во двор въезжали лошади, по лестницам бегала прислуга, носили дрова для печей, корзины с базара. Может быть, под деревом сидели странники, им выносили с черного хода чугунок со вчерашней лапшой.

Странно, я не боялся, что меня увидят или я встречу кого-то. Я лишь подрагивал от нетерпения. Черный ход зиял таинственной дырой, двери, похоже, давно оторвали, я ждал, что в черном проеме вот-вот возникнет белая фигура. Вроде бы здесь не самое лучшее место для разговора, даже лавочки никакой нет, ну да ладно, ей лучше знать. Даже если она выйдет всего на минуту, я теперь не задержу ее.

К стене возле входа прислонилась половина кованых железных ворот — кто и зачем ее оторвал? Входя во двор, я видел другую такую же половину на месте, она болталась неприкаянно. На железных завитушках красиво белел снег. Ступени вели вниз, их, видно, тоже завалили всяким хламом, теперь его запорошило. Как она тут пройдет?..

Вдруг я услышал скрип снега, быстро отступил в тень — от ворот из-за угла шел по тропинке к флигелю человек. Я испугался, не сразу поняв, что он несет на голове перевернутый стул. Человек покачивался и бормотал себе под нос. Я расслышал:

— Ну, брось в мене камень! Ну, брось в мене камень!..

Он долго-долго шел к флигелю, и я боялся, что Анна Николаевна

сейчас выйдет и испугается. На крыльце он еще погромел стулом, почертыхался, потом все стихло.

Я поглядел вверх — там тень заслонила окно, потом открылась форточка. На третьем этаже. И в форточку выставилась кисть руки и махнула снизу вверх: мол, поднимайся. И еще махнула; так машут, когда не видят кому, но знают, что знака ждут. Сердце у меня стукнуло — привычно, как при прежних наших свиданиях.

Я не пошел по ступенькам, спрыгнул, держась за железяку ворот, смело ступил в темноту. Пахнуло кошками, подвалом, помойкой. Я чиркнул спичкой. Припорошенные снегом трубы под ногами, железные, такого же рисунка, как ворота, балясины с отодранными перилами, кастрюли на боку с прогоревшим и продавленным ногой дном. Да, тут надо поосторожнее...

Я пробирался чутко, как кошка, огибал прелую мебель, спинки ржавых кроватей, малярные старые козлы и железные бочки, набитые хламом. Перед глазами белела кисть руки, зовущая меня навстречу. Я затихал возле дверей: кое-где слышались звуки — спустились воду, разговаривали, играло радио. Люди жили — опять! — нормальной мирной жизнью, а я, как вор, крался за их спинами, их черным ходом, слыша, как шпион, что мне не надо. Вот сейчас распахнется дверь, брызнет свет и десять лиц, десять пальцев с порога, десять криков вопьются: «Ага! Ага!»...

Наконец я на цыпочках проскользнул площадку третьего этажа и замер у двери. Тишина. Мрак, холод и тишина. Даже на морозе от двери пахло кухней и старьем. Под пальцами шершавилась старая клеенка. Я уже сообразил, что все двери черного хода ведут на кухню. А ведь там вечно толкутся люди, в этих перенаселенных кухнях, варят, стирают, сплетничают, греются. Как она выйдет?

Я прислушался. Вообще-то тихо. И ведь знак она тоже не могла мне подавать из кухни, где кто-то есть. Минутку. Спокойно. Она просто ждет. Я кожей ощутил, что она стоит с той стороны, вот так же прикинув к двери, замерев, ожидая знака. Чуть слышно я стукнул в притолоку. И отпрянул.

В ту же секунду отлипла, чавкнула беззубо старуха дверь, в узкий проем я успел увидеть серое белье на веревке, закопченную стену, кухонные полки со стеклянными банками. Ударило теплым, несвежим запахом. Я зажмурился, будто зверушка в минуту опасности, которая думает, что раз она не видит, то и ее не увидят.

В следующий миг дверь, кряхтя, стала на место, а мне в руки упало теплое, мягкое, домашнее, душистое, знакомое и новое, родное, точно проснувшийся ребенок, которого поднимаешь на руках из постели.

— Аня!

— Тихо!

— Аня!

— Тихо, милый! Глупый мой, тихо!

Лучше мы не могли поговорить! Обнимая, сыпля поцелуями, шепча имена, смеясь и чуть не плача от нежности и счастья нашей встречи. Ах, все позади, мученье и страх! Лучше не скажешь! Еще ни страсти, ни тока не было в наших прикосновениях, и дыханья хватало, чтобы шептать, говорить, смеяться. Она была как шар в моих руках, полный света.

Вдруг мы стали на самом деле говорить, говорить с жадностью: про мое письмо, про каждый прошедший день, про аптеки и лекарства, про длинное воскресенье, про сестру, приходившую делать ее матери уколы, про Воку и физику — надо было все выяснить, все вернуть, что было потеряно в эти дни. Мы давились от хохота, вспом-

нив, как я влетел Чичкину в пузо, мы ничего не забыли, все перебрали.

— Тебе не холодно?

— Нет, нет.

У нее на плечи был наброшен полушубок, а под ним что-то совсем легкое, домашнее, с коротким рукавом, руки голые, шея голая,— она запахивалась, выставляя голые локти.

Мы заговорили о моем письме. Я повторил, что на все готов, хоть сейчас уеду, уйду — как она скажет.

— Я прочитала и подумала: а может, ты вправду... любишь меня?

— Ну а как же, Аня? Ну а как же? — Я сжал ее локти.

— И если... если... то тогда, может быть, еще хуже?

Я не совсем понял, но согласился:

— Ну! Конечно же!

— Нет, и все-таки это не может быть любовь...

— Ну почему, почему, Аня?

— Не знаю.

— Черт! Опять двадцать пять! Ты же только что сама...

— Тихо, тихо! Видали, какой! Еще ругается!

В самом деле, так не хотелось, чтобы опять вернулось старое, темное, мучительное,— я пересилил себя. Я стих, я убрал руки. Я искал: чем перебить, на что перевести разговор?

— Ну-ну,— сказала она просто.— Ты что? — И шепнула: — Лучше обними меня. Мне пора.

Я хотел сказать: зачем же? Я отстранился, я готов был тут же идти, едва пожав ей руку. «Тебе пора, но мы же ничего не решили» — просилась у меня фраза.

Вдруг она сказала — словно просто так, между прочим:

— Ну почему, почему я должна от этого отказаться? У меня ведь ничего... Ничего теперь, кроме тебя...

Я не знал, что на это ответить, даже чуть испугался.

— Ну! — сказала она решительно и сама обняла меня.

И замерла: на кухне кто-то ходил.

Она скользнула по моим губам быстрым поцелуем, оттолкнула:

— Беги, солнышко!

Как гром, раздался голос будто бы самой старухи двери:

— Чавой-то черный ход-то у нас открымши стоит? Запор-то откинутый?..

Я отскочил, Анна Николаевна открыла дверь, свет вырвался, в руках Анны Николаевны оказалось ведро, видно, заготовленное заранее, и со словами: «Это я, Ивановна, я!» — она исчезла.

Мрак ослепил меня. Пустота взорвалась, как бомба. Только что я обнимал ее. Я слышал за дверью глухой разговор, но был отрезан от мира, как в тюрьме.

Я еще не знал, что в этот вечер на заседание нашего общества неожиданно явились Нос и Маргоша и что мать и отец Воки нашли его дневник, где все было написано про нас с Анной Николаевной.

...Стоим с Вокой в «гвардейской», пиво подогретое цедим, выясняем отношения. Да что выясняем! Он молчит, и я молчу. Окна в пивнушке инеем заросли, народу нет, кислым воняет, сыро, усатая Нюра кашляет как в бочку и материт свой кашель и простуду. Хромая старуха судомойка кружки собирает, хихикает про себя, с утра в подпитии. Это мы вместо школы, вместо уроков стоим здесь пропащими людьми, которым на все плевать, и невеселый хмель медленно забирает нас. Провались ты, родная школа! Вока курит, конча-

ет третью кружку, сопит, не глядит на меня. Писатель, едрен корень! Конспиратор! Даже мне сроду не сказал, что дневник ведет. Ну, ведешь и веди, про себя пиши, а про других-то зачем? Да еще то, чего не знаешь! Остряк-самоучка! Мол, как бы наш Голубь еще до Маргоши не добрался! И подробно—про Анну Николаевну. Шуточки, зараза!

— Убить тебя мало, дурака!

Сопит, в окно смотрит, за которым нет ничего, серый иней, через минуту отвечает:

— А я что, не погорел?

— Так тебе и надо!

Он, идиот, конечно, и про Наташу свою все расписал и — самое позорное — про какую-то Марусю, которая к ним в дом стирать-убирать приходила, а он ее хватал по углам. Папа с мамой как прочитали, так и сели на полу у стола, где дневничок раскопали.

Папа тот просто коленкоровой этой тетрадкой сына по мордасам отъездил: «Вот тебе, Мопассан! Вот тебе, сопляк, Апулей! Вот тебе Маруся!» А мама, курица здакая, — как же, ее сынок под дурное влияние попал, — дневничок в сумочку — и в школу. Сидела рыдала у Чичкина в кабинете, тетрадку перед ним раскрывала: прочтите, прочтите, что у вас творится!!

Самое удивительное, как Чичкин себя повел: во-первых, сказал он, не верит и за учителей своих ручается, во-вторых, чужих дневников, хоть и детских, никогда не читал и не собирает, а тех, кто читает, уважать не может.

Мама в амбицию, мама — что она выше пойдет, в роно, в гороно и так далее. Но тут явился Нос, принял, все сообразил, маму успокоил, к себе увел, выслушал, обещал разобраться, а дневник у себя оставил.

Вока после этого на маму утюгом замахивался, в истерике бился, из дому ушел, врывался к Носу, требуя дневник, орал так, что люди сбежались, а Нос от него стулом защищался. Словом, скандал вышел тот еще! И, конечно, поползло, зашуршало по школе: кто? что? почему?

...Стоим перед кабинетом Носа — я, Саня, Степа Капитан, Жека, Амайзе, шипим друг на друга, ругаемся. Я хочу идти с ними, а они отвечают, что раз меня не было, нечего и на рожон лезть, еще известно, что за это несчастное общество будет. Правда, Нос попал на заседание, где Жека наконец делал доклад про развитие черепах, но он тем более ничего не понял: что за общество, какие черепахи?

— Да вы что? — говорю. — Вы за кого меня принимаете?

А Степа Капитан эдак высокомерно:

— Да что ты трепыхаешься? Ты ведь фактически вышел из общества...

Я смотрю на ребят, а они — глаза в пол, молчат. Саня плечами пожимает.

— Ну, я сам пойду, я сам скажу! — говорю я.

Я говорю так, мучаюсь, а сам, честно-то, почти рад, что хоть из этого дела меня выгораживают, с меня и моего хватит. И я придумываю про себя, соображаю подло, что если их за жабры возьмут, то и я признаюсь, а если нет, то зачем действительно на рожон лезть?

Подкатывается, спешит по коридору Маргоша — все мрачнеют еще больше и отворачиваются. Она вынюхала про общество давно, мы ей доверились, и даже была на одном заседании (без меня, правда). Но чтобы Носа привести!

Она тем оправдывалась, что Нос ее сам вызвал, стал спрашивать: есть, мол, слух, ваши ученики тайком собираются, какие-то доклады

читают. Она объяснила как могла. «А почему вне стен школы? А почему, понимаете, не под руководством комсомольской организации?» — «Да они все комсомольцы, им, видно, так интереснее». — «Что значит интереснее? За такие дела, знаете, что бывает?» — «Да вы сами пойдите послушайте». — «Я, понимаете, пойду, я разберусь. Тайн, понимаете, никаких в нашей школе не будет!»

Словом, Маргоша говорила, что таким образом хотела общество защитить и вывести из-под всяких подозрений. «Спасибо, конечно, — резонно сказал ей на это Степа. — Но что это за тайное общество, на котором сидит Нос! То есть, извините, Иван Иванович». «Что вы такое говорите! — закудахтала Маргоша. — И вообще не произносите «тайное»! Никакое оно не тайное!» «Теперь уж конечно!» — сказал Степа.

Маргоша подлетела к кабинету и тут же устала на меня: понимала, что я не мог не участвовать в обществе. А Саня сделал полшага вперед и заслонил меня. А я смолчал.

— Ну пошли, да? Идемте? — тараторила Маргоша, сама перепуганная. — Вы не волнуйтесь, ничего страшного. Иван Иванович только хочет все легализовать — лишь бы эта история не вышла из стен школы.

Лишь бы не вышла из стен школы!

И они ушли: Капитан, Саня, Амайзе, Жека. А я, я остался!

...После разговора с Вокиной мамой прямолинейный наш Чичкин без всякой дипломатии вызвал Анну Николаевну и в упор спросил: — Что это за разговоры такие? Да или нет?

Она пролепетала: «Нет», но лицо у нее горело и головы она не подняла и вышла из кабинета еле живая.

А на другой день ее вызвал Нос, и она оставила у него заявление об уходе с работы по собственному желанию.

Потом Нос вызвал меня.

Но я к нему не пошел. Я должен был прежде поговорить с нею.

...Спим с Вокой вдвоем у Сани на зеленом плюшевом диване — накурились, малаги напильсь, он спит, я в потолок смотрю на блики от фонаря, на стеклышки люстры. Что делать? Как быть?.. Домой не вернусь, в школу не вернусь, друзья распались, ее нет, ничего вообще больше нет, ничего и никого, и самого меня нет, потому что я подлец и трус, я бессилен, и какой план ни возьми, ничего не выходит. Все время крутится в голове одно: как я вхожу к Носу, плюю ему в лицо, а на улице стоит такси, и я беру потом Анну Николаевну под руку, и мы выходим на глазах всей школы, садимся и уезжаем. Куда? Куда?.. Проклятая, глупая юность, рваные карманы, худые сапоги! Вспомни, как глядели тогда в вагоне: ты-то, пацанчик, зачем?.. Но кому мы мешали? Кому мы что сделали? Отчего один позор и стыд, вина и беда? Разбить хочется, поджечь, зубами всех рвать, убить! Что вы плетете, шепчете за спиной? Вы спросите прямо, я вскочу на парту, на крышу вылезу, на лестницу в вестибюле, отпихнув Чичкина, закричу, чтобы все слышали: да! да! да! Я ее люблю! Гоните, исключайте, милицию зовите, пошли все к черту! Да, я состоял в тайном обществе! Да, я целовал Анну Николаевну на Калитниковском! Да, у меня двойки в четверти! Да, я отдаю себе отчет. Дальше что?.. Зачем вы ее-то мучаете? Она, что ли, виновата, что у нее жених погиб?.. Ну и что, что разница? А вы «Жана Кристофа» читали? А «Матвея Кожемякина» Алексея Максимыча Горького?.. Ну и что, что учительница? Учительница не человек? Не женщина?.. Не трогайте ее, я вам за нее глотки перегрызу!.. Я подкараулю тебя, Нос, вечером, погоди, я не знаю, что сделаю!.. Госпсди, где же она

теперь, что она думает? Почему я лежу здесь, а не бегу, не ищущу, не караулю ее, не утешаю? Надо же что-то делать! Что? Что?..

...Сажу на черном ходу, окоченел, пятую папиросу курю, к вонючей клеенке ухо прикладываю, а ее все нет. Я ей передал, что приду, буду ждать, чтобы обязательно вышла. Меня дрожь колотит, ноги деревянные, в горле комок — душит, виски стучат и головная боль. Я два дня не ел ничего, дома не был, в школе не был, одичал на морозных улицах, грязный снег ем, и состояние такое, будто температура тридцать восемь. Ожесточился. Самое время в шайку меня заманить — эх, был бы я беспощаден и смел, под мышкой наган, за голенищем финка, грабим банк, чемоданчик, набитый пачками денег, два билета в Крым, прошу вас, Анна Николаевна, это наше купе, а ты что усмехаешься, пузо в галстук, разница в возрасте тебя смущает, а вот это видал?.. Бежать, бежать ото всех, вдвоем, самое лучшее стинуть — и все, а там время покажет. Но как?.. Где же ты? Что ж ты не идешь? Ты же дома, я знаю. Тебе тоже плохо, выйди, я не могу больше без тебя, мы должны что-то решить вместе, видишь, я ничего придумать не могу. Может, ты придумала? Я исполню все, что ты скажешь. Ну пожалуйста. Только не надо этих слов: расстаться, не видаться больше, скрываться. Теперь нечего скрываться, все всё знают. И слава богу! Какое облегчение! Надо пойти рядом у всех на виду, смеяться, целоваться, пусть смотрят... Ну выйди! Я не могу больше! Сейчас брошусь на эту проклятую дверь, буду колотить ногами, орать: «Откройте!»

Выйди! Выйди!..

Но ее нет.

Господи, а может?.. Нет же выхода, нет! Освободить сразу и себя и всех, какого черта! Что голову морочить! «У нас с тобой ничего не может быть. Никогда». Ведь и вправду так. Жениться нам, что ли? Смешно!.. Был бы пистолет — пак! Как просто! Вот вам, идиоты, мой ответ на вашу разницу в возрасте, на рваные карманы, на проклятый мороз, на двойки, на тайные общества, в которых ничего тайного нет и быть не может, на все ваши «никогда». Никогда так никогда. Пак! — и до свиданья!.. Маму только жалко. Мама обидится. А больше ничего. А вы, Анна Николаевна, продолжайте дрожать перед всяким дерьмом. Кто-нибудь вам потом встретится. Я вас освобожу. Молодой белокурый подполковник, счастливый и стройный, со звездой Героя, в трофейном «опеле», квартира против Телеграфа, дача в Серебряном бору. «Кто тебя обидел, Аннушка? Нос? Ха-ха-ха!» Только этого Носа и видели!.. Так что счастливо оставаться, Анна Николаевна! А ты, мамочка, прости, у меня нет выхода...

Ну выйди же, Аня, выйди!

Но ее нет.

— Я же ничего не знал...

— Да-да, конечно. Я ведь бюллетень взяла, не выходила. Меня еще зуб, знаешь, замучил, щеку разнесло, реву и реву. Любка после школы забежит, я ее прошу к маме в больницу передачу отвезти, — все одно к одному: мама в больнице, ты пропал, с работы, считай, выгнали, рожу перекосило — ну просто праздник! Правильно, что беда одна не ходит.

— Я не пропал, я...

— Да, я поняла. Люба говорит: ни его нет, ни Воки твоего, дурака, — ну, думаю, шатаются по городу, в киношках отсиживаются. На черный ход десять раз выбегала: нет тебя!..

— Я был.

— Я знаю, что был, я чувствовала... Ну вот. Любка прибежит,

рассказывает: в школе черт знает что, кто за Носа, кто за Иван Михайлыча, учителя говорят: в девятый зайти страшно, ребят в райком комсомола таскают за ваше дурацкое общество — говорила я тебе, не послушал! — класс, говорят, будто подменили. А Иван Михайлыч с Носом из-за меня поругался, заявление мое не подписал... Он ведь ко мне приходил, знаешь?..

— Правда?

— Да. Пришел, я зареванная, в халате, щека завязана, жуть! Он ходит тут, топает, как тигр в клетке. «Все, кричит, прекратить! Все забыть! Сор из избы не выносить!»

— Им лишь бы сор из избы не выносить.

— Нет, ну ты зря на него. Он, бедный, все мучался, не знал, как меня спросить: правда все это или нет? Он же наивный человек, он никак представить себе не мог, чтобы я.. Наломали мы с тобой дров!.. Я сказала, что в школу ни за что не вернусь. «А не вернешься, говорит, значит, виновата...» «Ну, считайте, говорю, что виновата...» Потом, еще через день, Любка приходит, я спрашиваю: какие новости? А она: никаких! Конец, мол, четверти, Новый год на носу, каникулы, все будто с ума посходили, а о тебе, дескать, и не вспоминают. И сама мчится, минуты нет у нее посидеть. Представляешь? Меня просто как по голове стукнуло, глаза открылись: а ведь так, думаю, и есть! Я тут реву, мучаюсь, а там уже все покатилося своим чередом: дела, отметки, конец четверти! Я тогда тоже села на полночи, журнал взяла, своим четвертные выставила, табели заполнила — хоть забылась немного за работой. Все, думаю, ребятки, последний раз вам отметки ставлю, — так расчувствовалась, даже Ягодкину двойку в четверти не вывела.

— Да что ты!

— Честное слово! Ну вот, а потом Любка мне: хватит, мол, встряхнись, давай, как люди, Новый год встретим. Хочешь, в Котуар поедем, будем елку прямо в лесу наряжать? Ну и все такое: поживем там, на лыжах, отдохнем... А я почему-то не люблю этот Котуар...

— Я тоже.

— Да? Почему?.. Что-то там было такое, да?.. Ну вот. И тут меня осенило: мама, думаю, в больнице, Павка и Славка уезжают на каникулы к тете Оле в Кострому, я одна... Что ж, так и сидеть здесь в халате? Нет! Новый год, мой любимый праздник, надо с Нового года новую жизнь начинать, хватит!

— Правильно.

— А что? И давай я мыть, убирать, Михайлыча, дворника, елку попросила купить, сама в баню, в парикмахерскую, маникюр, видишь, два часа просидела в очереди... Любка сказала, что они с Глебом в хорошую компанию идут, к его ребятам, летчикам, — прекрасно, я сначала решила, что я тоже пойду. Щека, смотрю, совсем опала. Павка со Славкой уехали, мы еще вместе к маме в больницу съездили, пирожков отвезли ей с клюквой, Ивановна, соседка, напекла. Ну, думаю, живу! Жива!.. А уж когда про платье вспомнила — ну, думаю, держитесь!.. Нравится тебе мое платье?.. Ты что, дурачок? Ничего ты не понимаешь, это американское платье, настоящее бальное, я его в прошлом году на толкучке купила, не надевала ни разу... Ну, ты глупый! Смотри, просто леди Гамильтон!..

— А я?..

— Что ты? Тебя же нет. Нет и нет. А когда я все решила, то позвонила Тамаре, чтобы она тебе передала. Могу же я хоть попрощаться с тобой?..

— Попрощаться?..

— Господи! Я закрутилась, утку, видишь, готовила, звонка-то твоего в дверь жду. Не идет и не идет. И не догадалась на черный ход выйти. А потом только сообразила, открываю — боже, сколько ж ты там стоял, дурачок?..

Она меня впустила с черного хода, а руки мои не гнутся, губы не шевелятся от холода, даже улыбнуться не могу. Как там было тепло, на этой кухне!.. Она не впустила, а втащила меня, обняла, стиснула, с одежной щеткой почему-то в руке, и стала сама расстегивать мое пальто, а я отстранился: мол, не надо.

Это потому, что я не знал, кто это передо мной, она или не она? Волосы распущены, подвиты концами внутрь, как у Дины Дурбин, руки голые до плеч, а платье! Тоже как у Дины Дурбин: черное, бархатное, до пят, и эта штука, не знаю, как называется, через плечо, в общем, хитро сделано, одно плечо открыто, а на другом все платье держится.

Мне говорили, что она больна, я представлял себе, что она лежит и умирает, а тут! Я ее такой красивой никогда не видел и вообще никогда таких не видел женщин, только в кино.

И мне почудилось: она кого-то еще ждала, мужчину, человека, равного ей, ее наряду, ее настроению, этому празднику, этой ночи. А вошел мальчик-сосулька, вьюноша синий.

Мы не успели словом перемолвиться — пришли, ворвались Люба и Глеб. Я хотел опять скрыться на черный ход, она меня непустила, спрятала в ванной. Только это была бывшая ванная, без самой ванны, с черной дровяной колонкой для воды и ненужной ржавой лейкой душа. Стояли ящики, бочка с капустой, мешки, старая обувь валялась, ведра. Я сел на табуретку и дрожал. До меня еле-еле доносились голоса, потому что ее комната, как я понял, была дальше по коридору, в конце. Я только вначале, когда Анна Николаевна открыла дверь и впустила их, уже запрятав меня сюда, слышал, как они громко кричат:

— Скорей! Опоздаем! Машина! Одевайся!

Глеб гоготал, похоже, он уже выпил.

Я все понял. Она не меня ждала. Она едет куда-то... Встречать Новый год. Она не больна. Глаза у нее блестящие, у нее голые плечи, от нее пахнет духами. Она похожа не на несчастную учительницу, а на королеву. А я помешал. Я ждал, как дурак, почти два часа. И сейчас она уедет. Ну пусть. Все-таки мы увиделись. Куда же она, интересно?..

Я подумал: ребята у Сани уже собрались все, обо мне молчат. Кажется, в эту минуту мне жутко захотелось оказаться там, с ними.

Время шло, было не меньше двадцати минут двенадцатого. Ведь они опоздают. А ей еще надо выпустить меня отсюда. Или, может, она хочет, чтобы я ее ждал? И через час или два вернется? Что ж, в этой кладовке, конечно, не так тепло, как на кухне, но все-таки не черный же ход!

Голоса вырвались в коридор, такие громкие, что я вздрогнул.

— Ну я же говорю тебе, честное слово! — почти кричала Анна Николаевна. — Ровно через час!

— Ты не найдешь, — отвечала Люба. — На чем ты поедешь?

— Не волнуйся! Идите, вы опоздаете!

— Нет, Аня, ну скажи, скажи! — тоже кричал и гоготал Глеб.

Неужели она не поедет? Такая нарядная, взрослая, с этой прической, в этом платье? Я подумал: ей надо поехать. Что ей здесь, со мной?

— Это идиотство! — говорила Люба.

— Володька гудит, слышишь? — кричал Глеб.

— Любочка, ну я же тебе сказала! — умоляла Анна Николаевна.

Разговор шел теперь у дверей, и слышно было, как дверь отворилась. Голоса выкатились на лестницу, а здесь, в коридоре, возник новый, памятный мне голос:

— Шуму-то, шуму нашумели! Двери-то прикройте, оглашенные!..

Так! Я влип. Не пошла бы старушка за капустой — небось ее бочка.

Анна Николаевна продолжала говорить на лестнице, потом дверь лягнула, все стихло, они еще перемолвились со старухой («Гости, что ли?» — «Гости, Ивановна, гости!»), и шаги Анны Николаевны прозвучали мимо. Она вернулась к себе в комнату.

Я замер и ждал. Ее наряд, ее новый облик не шли у меня из головы. Пожалуй что я оробел.

Вот снова ее шаги. Нет, мимо. На кухню. Так, возвращается. Я встал. Нет, опять мимо... Я ждал, когда шаги послышатся снова, но вдруг без шагов, словно Анна Николаевна перелетела по воздуху, дверь отворилась, показалась рука, поманила, потом взяла мою руку и потянула за собой.

И я опять отметил: как поманила, как легко мою руку взяла — не по-нашему как-то, не так, как у нас заведено было, по-новому.

И вот впервые в жизни я вошел в ее комнату.

— Ну вот, входи!

Меня ослепила темнота, горящие свечи на елке, окутало теплом и запахом старого дома, хвои, уюта, ее дома! Неужели? И какая-то женщина, безумная, прекрасная, обвила голыми руками, сжала, стала целовать. А я, как истукан, боялся обнять ее, ответить, прикоснуться. Где я? Кто это? Что это?..

Старинные часы на стене, посверкивая медью маятника, пробили половину двенадцатого.

— Сейчас мы будем встречать с тобой Новый год. Хочешь?

Честное слово, я ее не узнавал. Ее улыбки, ее блестящих глаз, ее оживления. Правда, что дома стены помогают.

— Тебе надо уходить?

— Мне? Ерунда. Потом. Может быть. Ты есть хочешь?

Я не верил. Это она, в своем доме, предлагает мне есть? Мы будем сейчас сидеть за этим столом, есть, встречать Новый год? Вдвоем? Никого не боясь? Я ждал: вот-вот кто-то войдет, кто-то хозяйски спросит: «Что ты здесь делаешь, паренек?»

Она сама стягивала с меня пальто, я остался в свитерочке, с белым, выпущенным поверх свитера воротничком рубашки. Я стеснялся своих старых, хоть и выутюженных брюк, из-под которых блестели мои начищенные сапоги, и свитерочка, и красных рук. В черном окне, в елочных шарах отразился худощавый мальчик с перепутанным лицом, с жалким беленьким воротничком. А за ним мелькала, спешила, сияла белой головой и матовыми руками леди Гамильтон, женщина с незнакомой улыбкой, смелым голосом, вызывающе свободная. Она взмахнула над столом белой крахмально стукнувшей скатертью; пугая меня, звякала посудой. И она говорила, и говорила, и говорила.

— И давай я мыть, убирать, Михайлыча, дворника, елку попросила купить... Маникюр, видишь?.. — И она показывала, поднимала на уровне лица свободным, не виданным мною прежде жестом руку, поворачивая ее ко мне блестящими светом свечей ногтями.

Странно, я никак не мог прийти в себя и оттаять. Лучше бы надела она свой полушубочек и валенки и постояла бы со мной на черном ходу!

Она включила ненадолго свет — я вздрогнул; попросила завести патефон — пластинка испугала слишком громким звуком. Я не решал-

ся ни сесть, ни закурить. И не было в этой комнате ни книжки, ни журнала, чтобы уткнуться, полистать, как бывает в чужом доме.

Она входила, выходила, разговаривала с Ивановной, и я боялся, что старуха сейчас заглянет сюда. Стояла открытой дверь в другую, маленькую комнату, там было темно, виднелся стул и край, спинка кровати. Я догадался, что та комната Анны Николаевны и кровать ее.

Анна Николаевна вернулась такая же быстрая, оживленная, принесла пузатый графинчик, налитый темной наливкой, сожалела, что нет шампанского.

— Ну? Плохо ли? Прошу! — сказала она, разведя над накрытым столом руками.

Тон у нее был почти разудалый. Меня особенно смущали эти голые красивые руки, то и дело открывающиеся подмышки. Руки казались необычайно длинными.

Похоже, она никуда не торопилась, а я все время помнил, что ей потом надо куда-то уходить, ехать.

У нас между тем получался настоящий праздничный вечер, Новый год, горят свечи, белая скатерть, сверкают хрустальные рюмки, патефон наяривает «Рио-Риту». Я разливал тягучую наливку, старинные узорчатые стрелки подтягивались к двенадцати.

— Ну, что ты такой? — спрашивала она.

А я и сам не знал, что я такой. Но я не веселее делался, а скучнее и не знал, что и как говорить. Не на месте я себя чувствовал, вот что. Будто не я здесь сижу, должен сидеть. И еще, к стыду, я подумал: не принес ей никакого, даже малого подарочка.

— Вот так мы и простимся с тобой, — сказала она. Весело сказала, запросто, протягивая ко мне через стол рюмку.

— Как это? — Я задержал свою руку с рюмкой. Но не глядел на нее.

— Так. Простимся, и все. Давай, давай!

Я сделал вид, что не хочу за такое пить.

— Ну-ну, я шучу. За тебя, мое солнышко! С Новым годом, с новым счастьем!

Часы за ее спиной начали бить двенадцать. Мы встали. Звякнули рюмки. Я ждал, глядя, как она опрокидывает рюмку. Выпила, засмеялась, села. Я выпил тоже. Часы еще били. Она со стуком поставила рюмку, откинулась и стала смеяться. Я ничего не понял. Она смеялась и при этом быстро, странно кривила и кусала губы.

Так начался и шел наш грустный Новый год.

Потом с ней случилась истерика.

Боясь Ивановны, я бегал на кухню за водой, намочил и прикладывал ей ко лбу полотенце. Как она плакала! Впивалась себе в волосы, некрасиво сморкалась в полотенце, захлебывалась, пытаясь что-то сказать.

Я отвел ее на тахту, сел рядом, растирал ее поледеневшие ладони, робко целовал ее лицо, мокрые глаза, она хотела отвечать, но слезы все мешали ей, не давали дышать, зубы у нее постукивали как в ознобе.

— Аня! Анечка! Милая! Ну Аня!..

Мне казалось: то, что я делаю, должно сбить ее, перестроить, что ли, только пусть не плачет. Но целовать ее, как прежде, как обычно, — в этой комнате, в доме я не мог. Не смел. Такую женщину. В таком платье.

Вдруг она повернулась, остановив меня, сжала мою шею, голову, и я услышал:

— Ми... милый мой... бедный мой... маленький мой... Я... я... — Она опять плакала с новой силой, зубы ее стучали, не давая сказать.

Меня будто совсем выключили. Я застыл.

Мне хотелось сесть опять за стол, просто разговаривать с нею. Я бы даже сбежал к ребятам — до того мне было тяжело. Не на месте.

Я сжался: я уткнулся в ее идиотское платье, она гладила мою голову, мы были как брат и сестра, пораженные одним горем, и наша несчастная любовь в изумлении витала над нами, не зная, куда ей деть себя.

Свечки на елке догорали и гасли сами одна за другой, снизу неслась музыка и пьяные песни, шлепала в коридоре Ивановна и спускала воду в уборной, мерно ходили часы. Мы были рядом, остывая, как двое убитых в одном бою, среди черного-пречерного поля.

Мы вернулись в двенадцатом часу, все уже спали, мать с тетей Раей в горнице на хозяйской кровати, хозяйка с ребятишками на печке, храп оттуда несся. На сундуке тоже было постелено, одеяло лоскутное откинута, Даря спала, но это она нам и открыла, вышла на шум машины, мы даже не стучали. Дядя Володя воду из «ЗИСа» сливал, мороз был градусов под тридцать, потом еще картошку сгрузили, два мешка, чтобы не замерзла, в сени затаскивали, а Даря в сенях нам керосиновой лампой светила, сама в платке внаброску и обрезанных валенках. Но не сонная, веселая опять, смешливая, толстенькая, как кубик. И я забыл эту Дарю среди долгого дня, а как увидел ее чуть раскосые глаза, черные блестящие волосы, заплетенные в ночную косу, улыбку, сразу вспомнил: как мы приехали, как Даря от колодца шла, два деревянных, будто из сказки про Емелю-дурачка, ведра несла на коромысле, и издали оттого, что сама как кубышка, казалось: три ведра на коромысле плывут, одно побольше, два поменьше.

Это у нас называлось «промышлять»: мать с тетей Раей отгулы брали на два-три дня, ехали с дядей Володей в рейс, он их где-нибудь в деревне оставлял менять городское барахлишко на картошку, масло или мясо, а на обратном пути забирал. Да только и у деревенских тогда не больно можно было разжиться продуктами — картошку, правда, всегда привозили.

Здесьняя хозяйка дяде Володе с прошлого, что ли, года знакома была, но теперь и у них ничего на меню или продажу не оставалось. Мать с тетей Раей все-таки здесь задержались по другим избам ходить, дядя Володя с грузом торопился, и я с ним тоже дальше двинулся по маршруту до села Вековье, и по дороге мы опять насчет продуктов промышляли и немного картошки все же добыли.

Я вспомнил, как мы приехали, отогревались здесь, поели, чай пили черемуховый. Хозяйка все жаловалась, плакалась: и сама больная, и скотины никакой, и детишки обносились, и мужиков после войны на всю деревню шестеро осталось, да и то один без ноги, а другой слепой. А эта Даря — я так и не понял, дочка ли она, родственница ли с нерусскими своими глазами и чернотой волос (ее, наверное, Дарья звали, но все говорили Даря, и в этом тоже странность была), — эта Даря будто наперекор хозяйке так и лоснилась круглым лицом, каталась шаром, смеялась, глазками поблескивала. Еще зубы ее обращали на себя внимание: полон рот зубов крепких и плотных, как початок кукурузный. И она то из избы, то в избу, то дрова, то воду, то поросенку корм, то курам, то ребята из школы пришли, двое мальчишек, то на стол, то со стола. «Да будет жалиться, живем!» — говорила она хозяйке. «Чевой-то он у вас в воду опущенный? — смеялась она надо мной. — А ручки-то, ручки! — И своей короткопалой шершавой рукой цапнула меня, смеясь, за руку, повернула ладонью вверх, и я на самом деле едва не покраснел оттого, что руки у меня белые и гладкие. — Вы нам его оставьте, мы его тута развеселим!»

Мы уезжали днем, ребятня грузовик облепила, две старухи по-

дошли; три девушки деревенские — одна симпатичная, в белом платке, — и Даря на крыльцо выбежала в ватнике, с непокрытой головой и с этими девчатами, видно, насчет меня перемолвилась, засмеялась, но я уже в кабине сидел, не слышал, они мне помахали, и я из-за стекла помахал. Но потом и не вспомнил в дороге.

Теперь мы окоченели совсем, есть хотелось, у дяди Володи еще полбутылки самогона оставалось с села Вековье, думали посидеть, поесть, а они спят. Тетя Рая сонная вышла, зевала, как бегемот, — где это мы так долго да чего нам давать, только первый сон взял.

— Да вы лежия, лежия, — сказала Даря, — я подам.

Мы руки и спины о печку грели, смеялись деревянными губами: как картошку купили, как на переезде застряли, — тетя Рая не слушала, изевалась и спать ушла. А Даря мимо нас на стол носила: чугуны из печки со щами, чайник, капусту в миске, стопки, лук, хлеб. С нами не села, юркнула на свой сундук, глядела на нас с подушек, смеялась. Свет прикрученной лампы почти не доставал туда от стола, только глаза Дарины поблескивали.

Дядя Володя и щи еле дохлебал, сморился, а мне, наоборот, совсем спать расхотелось, хотя в машине я носом клевал, и я один раз и другой пошел в сени курить, стоял в полной тьме, лишь с огоньком папироски, и думал, что сегодня всего только 4 января.

Мелькали перед глазами дороги, поля снежные и светлые между зимних лесов, еловые лапы в снегу, оголенные, озябшие березы, встречные машины, безлюдные, заваленные снегом деревни — только дым из труб о жилом говорит. В одном месте пассажирский поезд недолго шел рядом с нами, я видел людей в вагоне-ресторане за столиками, а они видели меня.

Всего день минул, сутки, как мы поднялись с мамой затемно, поехали, а казалось, давным-давно и все, чем я жил, все, что было у меня и со мной, отдалило длинное время.

Нет, я даже думать не мог, ничего нет и не было, есть вот изба, сени, прелой соломой пахнет и яблоками гнилыми. Я вышел по нужде на крыльцо, ночь стала черным-черна, без месяца и звезд, тишина — какой не бывает. Неужели есть на свете большой город, улицы, школы, театры, учительницы? Мороз в полминуты отнял все тепло моей одежды и сам влез в нее — мороз, ночь, больше ничего, еще эта странная Даря в избе на сундуке. Вот и все.

Мне было постелено за печкой, между печкой и бревенчатой стеной, за занавеской, на деревянном топчане, куда с торца надо влезать («Тута дедулино у нас место было, евовное, весной только схоронили»), и там навалено овчин, одеялок, подушек маленьких, а в головах топчан скашивается книзу. Однако широко, уютно, пещерка какая-то своя, как в детстве, когда заберешься в шкаф или в ящик и ощущаешь единственно твое уютное, таинственное место. Я там и разделся, как на вагонной полке, одежду под голову, только сапоги наружу выставил. Лампа еще тлела на столе, небрунными стояли чугуны, миски, пустая бутылка. Храп шел по избе со всех сторон, ходики стучали, ребенок на печке вскрикивал во сне и скрипел зубами. Я поглядел в сторону сундука, ничего не увидел — с головой, что ли, укрылась Даря? Но когда улегся, по полу простучали босые ноги, в лампу дунули — я замер, — а потом донесло угар керосиновый, и все. Тихо, темно.

Пахло в дедулином закутке чужим, махорочным, овчинным, сеным духом, я водил ладонью по теплому боку печи, ковырял пупырышки известковые, все во мне напряглось, я ждал чего-то, и страх расширял во тьме мои глаза. Чего? Я глядел и ничего не видел, слушал и ничего не слышал. Но напряжение делалось невыносимо.

Тихо! Вдруг опять протопали твердо босые подошвы. Куда? Почти к дверям, к углу. А, там ведра с водой, стукнула дощечка на ведре, звякнул ковшик.

— Ой, пить да пить мучаюсь,— сказала Даря вроде себе самой.— Наугощали селедкой-то городской!

Я слышал, как льется, перекачивается в ее горле вода.

Я или не я? Нет, это не я быстро сел, подвинулся, отогнул занавеску. Окно белело снежным светом, предметы различались на столе, печь сбоку, а прямо передо мной — фигура ночная, неясная.

— Ой, ты чего? — шепотом спросила, хотя до этого не шептала.

— Покурить.— Голос у меня сдавило.

И молчание повисло короткое.

— Не ходи, тута кури, курила!

А я уже голые ноги спустил с топчана, сапоги нашаривал.

— Пряма пью и пью, опилася вся!.. Спи! Что не спишь-то? Сам не спит и другим не дает...

— Я?

— А то я!.. Спички, что ли?

— Да, пожалуйста, вон пачка на столе..

Она шагнула к столу и потом приблизилась ко мне, протягивая руку. Она заслонила окно, избу, она была совсем близко, так близко, что я услышал ее ночной, теплый, постельный запах. Руки наши сошлись, она передавала мне отдельно одну папироску и коробок, а я не взял сразу, боялся уронить, протянул другую руку, и она тоже другой рукой взяла меня за запястье, чтобы вложить папироску и спички в ладонь.

— Белорукий какой, все ему подай,— засмеялась шепотом, а сама стала еще ближе, совсем близко, моих коленей коснулась мягкая и теплая, выношенная ткань ее рубахи.

— Спи! Что не спишь?..

А крепкой своей рукой так и держала мое запястье..

Через час или два, не знаю, выйдя опять на крыльцо, я увидел, что так же черным-черна ночь, без звезд и месяца, тишине и пространству нет предела, и ничего не переменилось в мире снегов, небес и морозов. Губы у меня горели, колени саднило, звон и опустошение качали голову, ужас содеянного застыл в сердце — все время вниз головой лечу я на косом дедулином ложе, чужая горячая плоть, стыд, удар наслаждения, и в ту же секунду — отравы отращения к себе и лживая попытка благодарности, бархатное платье Анны Николаевны, толстенькие шершавые пальцы — нежность робкая и неумелая — касаются моих губ, глаз, гладят по голове... Неужели все тот же храп кругом, и ходики так же стучат, ребенок скрипит зубами, и не разверзлась земля, не ударила молния среди зимы, не затлела и не завоныла серой охапка овчин под нами?

Потом я лежал один, к общему храпу прибавился еще легкий храп с сундука, утром мы уедем, никто никогда не узнает, ни одна душа, и Даря забудет... Ни одна душа! Ни одна!.. И только моя душа, моя душа, только моя душа... Кто меня простит? Я стискивал ладонью свои горячие на ощупь глаза и горько просил прощения у себя самого за себя самого.



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Ты зачем полюбила поэта
И его золотые слова?
От высокого дунного света
Закружилась твоя голова.

Ты лишилась земли и опоры.
Что за легкая тяга в стопе?
И какие открыло просторы
Твое тело и в нем и в себе?

Он хотел свою думу развеять,
Дорогое стряхнуть забытье.
Он сумел небесами измерить
Свой полет и паденье твое.

И небрежным движеньем поэта
Он накинул на плечи твои
Блеск тончайшего звездного света
От прощального слова любви.

Что-то будет: огонь или солнце?
Заметет вас полынь-мурава.
Ты заплачешь, а он отзовется
На свои золотые слова.

ОЗЕРО

И снится мне озеро... Долго смотрю
На столп вознесенной воды:
То озеро ниже дремоту мою
На пыль от туманной звезды.

За озером тянется серая степь,
За степью — синеющий лес,
За лесом — отвесная горная цепь,
А дальше — простор без небес.

ЛЮБОВЬ ГУЛЛИВЕРА

Когда я протоптал гигантскую дорогу
До крохотных существ — «Замри! — сказал мне гром.—

Не стоит нагонять на этот мир тревогу».
И поразил меня гигантским забытьем.

Отважная княжна, поджав капризно губки,
По моему лицу гуляла без забот
И, ручкой приподняв бесчисленные юбки,
Поток моей слезы переходила вброд.

БЫЛИННОЕ

Ты не стой, гора, на моем пути.
Добру молодцу далеко идти.

Не мешай ногам про себя шагать,
Не мешай рукам про себя махать.

Говорит гора: — Смертный путь един.
До тебя прошел растаковский сын.

Сковырнул меня изо всей ноги,
Отмахнул меня изо всей руки.

«Не мешай, сказал, про себя шагать,
Не мешай, сказал, про себя махать.

Не ищу я путь об одном конце,
А ищу я шар об одном кольце.

Я в него упрусь изо всей ноги,
За кольцо схвачусь изо всей руки.

Мать вселенную поверну вверх дном,
А потом засну богатырским сном».



ПУБЛИЦИСТИКА

ВАЛЕНТИНА ЕЛИСЕЕВА



ТАК ОНО БЫЛО

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Перед нами подлинная переписка двух молодых людей — Жени и Толи. Переписка эта поражает своей необычностью: она студентка, он осужденный, проведший к началу их переписки около пятнадцати лет в местах лишения свободы. Он ожесточился и готов винить всех и вся в своей тяжелой участи, потому что теряет веру в самого себя. О том, как Жене удалось возродить в нем эту гаснущую веру, об охватившем их обоих чувстве, которое, пройдя через тяжелейшие испытания, соединило их судьбы, о том, как они сумели вернуть ему доверие общества и добиться его освобождения, о том, как они начали строить свою семью, рассказывает документальная повесть В. Елисейевой, названная «Так оно было», потому что это было действительно так.

Конечно, этот поразительный человеческий документ, этот роман в письмах само по себе не может не вызвать интереса у читателей. Конечно, история Толи и его попытки осмыслить свою тяжелую судьбу наталкивают нас на серьезные размышления о причинах детской преступности и о животрепещущих вопросах воспитания подростков. Конечно, письма Жени к Толе и его письма к ней еще и еще раз говорят нам о том, как важно поддерживать надежду и веру в человеке, который оступился и расплачивается за это. Но значение их переписки выходит далеко за пределы «лагерной истории» и вопроса о судьбах тех, кто сбился с пути.

История любви Жени и Толи и его духовного возрождения — это повесть о торжестве подлинной человечности, основанной на вере в людей и стремлении помочь им. Именно эта вера и это стремление, двигавшие поступками, чувствами и мыслями Жени, лежат в основе отношений между людьми, которые сложились в нашем социалистическом обществе. И сама Женя — при всей исключительности своей судьбы — типичный представитель советской молодежи, воспитанной новым строем в духе уважения человеческого достоинства и высокой нравственной требовательности. Читая ее письма, мы ясно видим, под влиянием чего складывался ее характер и формировались ее убеждения. Здесь и пример старших — матери, брата, директора интерната. Здесь и любимые книги — романы Шолохова, Ал. Толстого, Фадеева, Островского. Здесь и педагогические труды Крупской и Макаренко. Это, наконец, вся атмосфера товарищества, окружавшая ее в школе и в институте, привившая ей веру в человека и давшая ей силу возродить эту веру в человеке, ее потерявшем.

Нравственная чистота и сила — вот что прежде всего привлекает нас в облике Жени. Она человек веры в высокие гуманные идеалы. И в той борьбе, которую мы ведем против безыдейности и потребительского отношения к жизни, ее пример — пример реального обыкновенного человека — более впечатляет, чем иные вымышленные литературные образы. «Мы никогда не будем собственниками, как все-таки это болото портит людей», — пишет она Толе. И мы верим этим словам, предназначавшимся не читателям, а любимому. Верим и ей и ему.

Любовь, пришедшая к Толе внезапно, как немыслимое счастье, высвободила его лучшие, поглинно человеческие качества, которые были придавлены ожесточенностью и неверием. Читая его письма, письма человека, который и писать-то научился грамотно ради того, чтобы вести переписку с девушкой, поверившей в него, — читая эти письма, невольно поражаешься и душевной чуткости их автора, и его умению четко и выразительно сформулировать свои самые заветные, выстраданные горьким опытом мысли. Но что самое важное — в нем отчетливо ощущается человек, не отторгнутый от нашего общества, а продолжающий впитывать его идеи, жить его интересами. Вдумайтесь в его советы Жене, как она должна держать себя с учениками, и в его размышления о призвании учителя. Вчитайтесь в его рассуждения о психологии подростков и о методах их воспитания — и вы поймете, что когда он пишет Жене: «Ведь в нашей стране самое дорогое богатство — это люди», то здесь говорит его величайшая убежденность, тяжело ему доставшаяся, но глубоко укоренившаяся в нем. Эта убежденность и вера в торжество справедливости и человечности помогли ему и Жене выстоять, когда их только что сложившуюся семью постигло несчастье, когда накануне освобождения он был осужден на новый срок за то, что ранил одного из напавших на него бангитов. Помогли им и люди, к которым они обратились за помощью. В частности, автор этой публикации Валентина Филипповна Елисеева, работавшая тогда заведующей отделом коммунистического воспитания «Литературной газеты». Она помогла добиться пересмотра дела и окончательного освобождения Анатолия. Она стала другом семьи Перовых и еще не раз оказывала им поддержку в трудные для них минуты. И наконец, она сумела увидеть в их переписке роман в письмах, исполненный глубокого человеческого содержания.

Еще раз хочется обратить внимание читателей на то, что письма Евгении и Анатолия Перовых, отобранные и скомпонованные в документальную повесть, — это подлинные их письма. В. Елисеева, хотя она и была непосредственно причастна к развязке той исполненной драматизма истории, которая составляет сюжет ее повести, почти ничего не говорит от себя, ограничиваясь лишь необходимыми по ходу действия пояснениями. Она заставляет говорить документы.

М. Козьмин.

Телефонный звонок не был неожиданным. Женя предупреждала: «Толя проездом остановится в Москве. Если наберется мужества, зайдет к вам». И все-таки, услышав глуховатый голос: «Это я, Анатолий» — не поняла: кто это? А в трубке потерьяно и глухо звучал все тот же голос: «Это я, Анатолий...»

Вдруг как осенило: бог мой! Как могла я забыть: «Если наберется мужества...» Что пережил он за эти минуты неузнавания!

Поспешно, чтобы исправить оплошность, вызванную будничностью телефонного звонка (почему-то мысленно все представляла себе по-иному), бросаю в трубку: «Приезжайте сейчас же. Жду».

Не знаю, кто из нас волновался больше в ожидании этой встречи. Он меня не знал вовсе. Я знала о нем почти все, а последнее десятилетие постоянно, неотрывно следила за всеми поворотами его судьбы. Заочно. По письмам и рассказам Жени.

Сейчас память вернула меня к тому времени, когда я познакомилась с Женей.

...Заканчивался обычный суматошный редакционный день. Между чтением грампластинок, бесконечными вызовами к дежурному редактору, отчаянными схватками с ответственным секретарем по поводу сокращений, правки, места на полосе шел прием посетителей — в жизни газетчика едва ли не самое тяжелое, требующее отдачи всех душевных сил, не то в потоке дел мелких, жалоб пустых, требований невыполнимых проглядишь что-то очень важное, человеческое.

Жалоба, с которой в тот день пришла ко мне маленькая худенькая женщина, не содержала в себе ничего необычного: редакционная почта ежедневно прикосит

заявления родственников на неправильное осуждение сына, брата, мужа. Далеко не все жалобы обоснованны. Но что-то неуловимое в лице этой рыжей светлоглазой женщины говорило: нет, не просто попытка любыми средствами облегчить участь близкого человека заставила ее, преодолев природную застенчивость, прийти сюда. Она свято верила тому, что говорила, и такая сила убежденности была в ее словах, что она безоговорочно заставляла верить всему и собеседника. Отступили на второй план все дела, только что казавшиеся неотложными, а самым главным, важным, не терпящим отлагательства стало то, с чем пришла в редакцию Женя.

Шли часы. Давно смолк гул за стенами кабинета. Женя рассказывала, а на столе росла горка писем — они, как дневниковые записи, вели рассказчицу по ее такой короткой, безмерно счастливой и невысказанно трагической жизни.

С чего все началось?

Время действия — 1961 год. Место действия — Ростов-на-Дону. Здесь в семье одинокой женщины снимала комнату студентка первого курса педагогического института, только что оторвавшаяся от семьи восемнадцатилетняя девушка. Позже, после того памятного прихода в редакцию, когда мы сдружились, она напишет мне о тех днях:

«Я только перенесла «тяжкое заболевание» — трагедию первой любви. Что это было — желание любви, девичьи мечты? — не знаю, но во мне жило разочарование, временами казалось — жизнь моя никому не нужна. Справляться с недугом помогли дети — у меня был свой класс в школе № 37. С ребятами я ладила, старалась отдавать им все, что могла...

И вот в мае 1961 года хозяйка дома, в котором я снимала комнату, получила какое-то письмо, очень ее расстроившее. Мне хотелось чем-то помочь ей, но она замкнулась в своем горе и лишь ночами слышала я надрывный, горький плач. Помогло, видно, мое искреннее сочувствие, а может, надо было поделиться с кем-нибудь своей бедой... Как-то она рассказала мне все — сын в заключении, подростком связался с дурной компанией. Там, в тюрьме, не раскаялся, а озлобился, получил новый срок за нарушение внутреннего режима. Дальше больше. Вот уже почти пятнадцать лет... Она показала мне его последнее письмо. Оно было полно отчаяния, упреков, обвинений. Письмо вызвало у меня бурю злости. Не знаю, что руководило мной тогда, вероятно, жалость к его матери. Я написала ее сыну злое-презлое письмо...»

Так началась эта переписка, длившаяся годы и годы и сыгравшая такую огромную роль в нескольких человеческих судьбах.

Теперь, когда Женя знала о горе хозяйки дома, та показала ей и другие письма. Месяц за месяцем, год за годом чинил сын свой заочный суд над матерью, бывшими товарищами, учителями, надзирателями. Все перемешалось в этих письмах: злоба, беззащитность, обида, горечь.

Ума не приложу, какие пути привели ее, девушку, студентку-первокурсницу, к единственно правильному в этих сложных условиях, педагогически точному поступку, положившему начало тому перелому во внутренней жизни Анатолия, который помог ему разрушить тюремные стены и духовно оказаться на воле задолго до окончания срока заключения. Видно, бывают такие озарения, когда мудрое сердце подсказывает то, что открывается лишь в результате долгих поисков, раздумий, обогащения опытом науки и практики. Я имею в виду не только первое письмо, в котором Женя жестко и сердито, с горячей максималистской непримиримостью юности спрашивала озлобившегося человека: а что же ты сам? Ни уговоров, ни жалостливого сочувствия, только одно — что ж ты сам? с себя ты спросил?

За этим письмом последовали другие. Нежданно возникший диалог длился годы, и вот передо мной воистину эпистолярная повесть, для нашего времени межпланетных сообщений жанр, казалось бы, несовременный, архаичный, скорее принадлежащий веку минувшему. По форме. Не по существу.

Мне приходилось читать немало исповедей людей, оступившихся в жизни, — писем из заключения. При всем многообразии причин, заставляющих корреспондентов взяться за перо, одна нота звучит в них явственнее всего — нота обличительная. Вряд

ли Женя когда-либо задумывалась над проблемами нравственного выбора, личной ответственности. Ее, начинающего педагога, жизнь столкнула с конкретной человеческой судьбой, сложной, трудной, изломанной, поставив перед ней задачу нравственного выбора, личной Женниной ответственности за нее. Женя не отступила. С этого началась борьба за большое человеческое счастье, завоеванное дорогой ценой.

Об этой истории расскажут письма, переданные мне Женей и Анатолием. Необходимые пояснения к ним позволят восстановить недостающие звенья в цепи событий. Одно из них — письмо Анатолия, в котором он скупно, почти хронологически рассказывает мне, какой путь прошел он, когда получил первое сердитое послание Жени.

«Вас интересует, когда и за что я был судим. Поверьте, если описывать все подробно, то нужно много времени, да и воспоминания, по-честному говоря, доставляют мне много неприятного. И все же постараюсь описать как смогу, как все помню.

До 1944 года я жил, как и все нормальные дети: не задумывался — откуда что берется и какой ценой за это заплачено. После одного случайно подслушанного разговора взрослых я перестал уважать мать (теперь понимаю — основания для этого были шаткие), и это было для меня началом всего. Все время проводил на улице. Ребята, с которыми дружил, были разные, некоторые из них занимались воровством. Раз-два побывал с ними «в деле». Узнал цену деньгам, но цену не грудovou, а легкую, что позволяет тратить деньги свободно, не задумываясь, не утруждая себя работой. Так и пошло: друзья, кражи, деньги. Это увлекло. Приятно стало сознавать себя человеком, с которым считаются дружки, ребята с твоей улицы. Появились приятели постарше, брали меня в поездки в другие города.

Мать всячески старалась повлиять на меня, изменить мою жизнь. В январе 1945 года по ее просьбе меня забрала милиция, и я был определен в трудовую воспитательную колонию в Таганрог. Там я пробыл четыре с половиной месяца и убежал. За это время хорошо познакомился с теми неписаными законами, по которым мне в дальнейшем пришлось жить. Многие годы я считал, что эти «законы» самые справедливые, и не только сам жил по ним, но старался, чтобы их не нарушали другие. Побывав в колонии, я понял, что жить можно и там, а оказавшись на воле, как бы автоматически примкнул к клану воров. Так и пошло: города, годы, люди. До 1947 года мне, можно сказать, «везло». «Друзья» постарше заботились о том, чтобы я был прилично одет, имел деньги. В 1947 году побывал в Ростове, погостил у матери. Но она к тому времени вышла замуж, ее муж мне не понравился. Я уехал в Харьков, встретил там одного друга — Славку-плясуна. Через него познакомился с его отчимом — дядей Митей, Митричем, как мы его звали. Вот мы и премышляли втроем. Митрича многие воров знали, он имел солидный «стаж». По его предложению решили «взять» базу орса. Разобрали из соседнего подвала стену и проникли внутрь. После этого прогуляли одиннадцать дней на свободе. Нас взяли на одной из квартир вместе со Славкой. Позже взяли и Митрича. Был суд. Мне и Славке вынесли приговор по 10 лет лишения свободы, Митричу — 15 лет, а вместе с нами осудили и перекунщиков краденого. Вот таким образом и началась моя лагерная жизнь. С 1947 по 1949 г. я находился в колонии для подростков. В 1949 году перевели в лагерь для взрослых на Урале. Туда я приехал, как называли нас в отличие от новичков, «вором в законе».

В то время, как вы знаете, в лагерях происходило всякое: воров разделились на несколько враждующих между собой группировок. Все они смертельно враждовали за влияние и за власть на том ограниченном колючей проволокой клочке земли, который еще оставался у них под ногами. Ну и я не избежал всей этой катавасии. В результате обвинение в лагерном бандитизме и новый срок — 25 лет. Это произошло в августе 50 года.

После суда меня направили в другой лагерь. Через 3 дня меня посадили в изолятор за пререкания с начальником режима, а через неделю объявили, что я под следствием за лагерный грабеж. На этот раз я не был виновен, хотя и знал, кто совершил все. Я не сказал, и меня вновь осудили. Таким образом, прибавилась еще судимость. В 1951 году меня отправили на Кольму, где и пробыл до 1964 года. В 1961 г. был признан опасным рецидивистом и меня перевели в колонию особого режима.

В тот год я получил первое письмо от Жени». Это было то первое сердитое письмо с жестким вопросом: а с себя ты спросил? Ответ ли Анатолия смягчил Женю, или внутренний педагогический такт подсказал ей безошибочно точное решение, но тон ее последующих писем резко меняется. Это не назидательно-поучительные послания в тюрьму, а письма — спокойные, искренние, подчас наивно-детские. Вот некоторые из них.

«Толя, здравствуйте! Вчера получила ваше письмо, но ответить собралась лишь сегодня, так как зачеты у меня каждый день. Остался один зачет, о котором я вам уже писала, да черчение и опять черчение. Ну ничего, не так страшен черт, как его малюют, в конце концов черчение тоже сдам... Я огорчена тем, что вы плохо встретили Новый год. А я так от всей души желаю, чтобы вы веселились, чтоб мое веселое настроение передалось вам, а вы, оказывается, скучали у радио. Мы с вашей мамой вспоминали вас. Мария Павловна рада, что я пишу вам, постоянно балует меня...»

Никаких особых событий в ее студенческой жизни не происходило. Зачеты, сессии, иногда кино. В хорошую погоду прогулки по набережной. Книги. Она рассказывала об этом в письмах — сначала с ученической добросовестностью (нельзя же не ответить человеку), потом эти беседы стали потребностью. Как-то незаметно возникло ощущение, что бы ни делала она — читала, гуляла, ссорилась, восторгалась, плакала, — постоянного присутствия кого-то. Но кого? В ту пору она и сама не смогла бы ответить, подлинный ли это, живой человек или образ, созданный ее воображением, потребностью обрести настоящего друга.

С радостью откликнулась она на его предложение.

«...Исполняю твою просьбу и перехожу на ты, несмотря на то, что мне очень трудно сразу сделать такой переход. Твое письмо меня очень взволновало, я давно его ждала — очень хотелось узнать твое мнение о моих взглядах. Ведь не всегда своими мыслями можно поделиться со всеми. Для этого нужно иметь друга, очень хорошего друга, с которым можно делиться всем. Вот почему, Анатолий, я написала тебе письмо — мне хотелось поделиться с тобой своими мыслями, и совсем я тогда не думала ни о какой жалости.

Завтра я сдаю последний экзамен и уезжаю домой. Ты пишешь о тоске, но это свойственно каждому человеку. Тоскую и я. Несмотря на то, что Ростов — город во много раз лучше нашего, но я выросла в Донбассе, среди голых степей и черных терриконов, а мне кажется, что лучше нашего края донецкого нет ничего. Анатолий, большое тебе спасибо за то, что ты познакомил меня с Усть-Нера, прочла твое письмо и будто побывала в тех краях — вся природа этого края стоит у меня перед глазами, как живая».

Потом, много позже, когда Анатолий вспомнит об этих первых письмах с воли от незнакомой девушки-студентки, он скажет:

— Они были ниточкой, сначала очень тоненькой, потянувшей меня в другой мир. Я ведь и не помнил толком, какая она, нормальная жизнь: в школу ходил всего четыре класса, а потом долгие годы заключения. И вдруг письмо без нравоучений, надоевших истин, очень искреннее, сердечное и какое-то детское. Вы обратили внимание: эта детскость во всех ее письмах. Я замучил ее вопросами, хотелось все знать о ней: какая она внешне, кто ее окружает, о чем думает.

Женя отвечала:

«Что у меня за характер? — спрашиваешь ты. Пожалуйста. Я очень живой и подвижный человек. Люблю петь, танцевать, смеяться. После окончания школы я работала старшей пионервожатой в школе. Однажды пришла хмурая (уже не помню, по какому случаю). В этот день директор школы вызвал меня в кабинет и предупредил, чтобы с такой физиономией я в школе больше не появлялась. Он сказал, что моя профес-

сия обязывает меня всегда быть веселой, я должна вселять в детей бодрость духа. Я запомнила его слова на всю жизнь. Бывает так на душе скверно — впору утопиться, но вспоминаю слова Виктора Денисовича и прикрикну на себя... Пишу я тебе, Анатолий, как другу, надеюсь, что ты тоже будешь делиться со мной всем-всем — и мыслями и тем, что накопится в душе.

Не знаю почему, но ко мне обращаются иногда за советом. А что я могу посоветовать, если сама еще не видела жизни. Вот столкнулась с первым препятствием в жизни — с любовью (я рассказывала тебе о своих увлечениях) и не знаю, что мне делать. Конечно, когда любишь человека, стараешься быть лучше, чище, красивее. Я думаю, тот и только тот красив, кто чист и красив душой. Что же мне делать со своей любовью, я так и не могу ничего придумать. Может быть, что просто детские иллюзии, может быть, это просто увлечение. Уеду на два месяца домой и проверю себя».

Перечитываю письма Жени и Толи, первые письма. С них началось их заочное знакомство, они положили начало новому, волнующему, светлому чувству, возникшему в душе Анатолия, и пробудили в Жене лучшее, что до той поры не находило выхода, — самоотверженную женскую душевную щедрость. Задерживаюсь на строках:

«О том, что ты потерял много, особенно убиваться не надо. Вернешься домой — все наверстаешь. Просто ты теперь на жизнь будешь смотреть по-другому, не так легкомысленно, как смотрит на нее иной. Ты теперь хорошо узнал ее, Анатолий, и, думаю, сможешь научить молодых, заблудившихся, многому хорошему, за что тебе всегда будут люди благодарны...»

Письма Анатолия у меня нет. О чем он писал тогда, о чем сожалел в нем, какими горькими выводами о прожитом делился с незнакомой девушкой? Эти вопросы я задаю Толе теперь, при новой встрече, когда мы вместе — Женя, Толя и я — обращаемся к переписке тех далеких дней.

Сейчас ему трудно вспомнить, чем была вызвана его безысходная исповедь. Но свое душевное, психологическое состояние живо в памяти, да и не забыть о нем никогда.

Видно, какой-то эпизод, подобный тому, что содержится в его письме мне (я привожу его в начале), вновь опрокинул его в прошлое, вернул в окружение, погасил надежды...

И вдруг слова, которые никто никогда не говорил ему: «Ты сможешь научить молодых, заблудившихся, многому хорошему, за что тебе всегда будут люди благодарны». Он много раз слышал другое — как дурно и опасно может быть его влияние на молодых, — и это много раз слышанное тяжким грузом оседало на душу, и порой казалось, что нет никаких впереди советов — темь, глушь.

Вера в него. Не девичья наивность, не педагогический прием, а глубокая убежденность потрясла тогда Анатолия. И сейчас, когда мы втроем перечитываем строки Жениного письма, он говорит взволнованно и нежно: «Всей моей жизни мало...» — и, обрывая фразу, прикрывает своей большой ладонью худенькую руку жены.

Женя и Анатолий — первые читатели этой документальной вещи, ее герои. Мне хочется знать, что почувствуют они, погрузившись спустя годы в атмосферу тех дней, не захотят ли что-нибудь изъять из переписки, а может быть... Но об этом не хочу и думать — не должны они отказать от публикации...

«Извини меня, Толя, за долгое молчание. Дело в том, что мы опять были на работах в колхозе. Был с нами и Ахмед. Все это время мы были вместе. Не знаю, что случилось со мной, но я почему-то стала к нему совсем равнодушна. То ли потому, что стала замечать в нем отрицательные черты. Он уже не тот мальчик, которым я увлекалась год назад, застенчивый, вежливый. Где-то набрался вульгарных слов, стал развязным. Может быть, это пройдет — просто хочет показать себя взрослым, а не мальчишкой. Помоги мне разобраться в самой себе».

«Последние дни я нахожусь в очень напряженном состоянии. Дело в том, что дома у вас беда. Нет, не здесь. У старшего брата на шахте произошел взрыв. Есть по-

страдавшие. И он как главный инженер несет ответственность за безопасность шахты. Его привлекают к судебной ответственности. Сейчас работает комиссия из Москвы.

Ты знаешь, Толя, я пишу тебе это письмо, а у самой сердце сжимается от боли. Я не могу себе представить, чтобы наш Анатолий (твой тезка), во всем безусловно честный, который отдает все знания, силы шахте, был виновен и сел на скамью подсудимых. Вчера мне сказали, будто есть сведения: один из пострадавших пытался закурить от аккумуляторной лампы и... вот. Что будет дальше, не знаем. Я уже готова ко всему. Конечно, если что случится с Анатолием, мне придется перевестись на заочное отделение, потому что маме нужна моральная поддержка, иначе она не перенесет это горе. Я должна быть рядом с ней».

«Толя! Вот уже третий раз ты ставишь меня своим письмом в тупик. Я просто оказываюсь в затруднительном положении и не знаю, что мне ответить. Я больше чем уверена — все, что ты мне пишешь, это просто твои мечты, твои иллюзии, которым нельзя легко верить. Ведь мало того, что мы знаем друг друга по письмам. Может быть — встретимся и не узнаем. Что касается меня, то сейчас ты для меня просто хороший друг, которому можно доверить все свои мысли и чувства. И дело не в том, что если бы между нами возникли отношения более чем дружеские, то им постарались бы помешать. Пойми, Толя, что если я полюблю человека, то уж никто, никто не помешает мне, пока я сама не разочаруюсь в нем. Ты же пока ошибаешься в своих чувствах. Человек всегда живет мечтами о будущем и всегда хочет, чтобы оно было светлым. Это прекрасно, и я совсем не хочу отнимать у тебя эти мечты. Но и обманывать не хочу. Не обижайся — ведь мы договорились быть откровенными во всем».

«Что сказать тебе о доме. Мама моя плохо себя чувствует в связи с бедой на шахте. Вообще у нее очень слабое сердце, много ей пришлось испытать в жизни. Отец десять лет не жил с нами, и она воспитывала шестерых детей одна. А когда все выросли, он вернулся. Но я лично его отцом не считаю: он ушел, когда мне было 7 лет, а вернулся — мне уже 17 лет. Когда-нибудь напишу подробнее. Семья у нас большая и очень дружная (отца сюда, конечно, не включаю). Четверо имеют уже свои семьи. Остались мы с братишкой — ему 12 лет, а мне скоро 20».

«Ты стараешься в ответном письме успокоить меня, но меня не надо утешать, мне только захотелось поделиться с тобой своей бедой. Я поняла, что у тебя чуткое сердце, и лучше узнала тебя. Согласна, что нужно быть готовой ко всему, и хотя Анатолий ни в чем не виноват, он себе не может простить беду на шахте. Если бы он знал... В тот день, как всегда, проверил все, получил сообщение начальника вентиляции о чистом воздухе в шахте и поверил. Надо ли было ему, главному инженеру, лично опускаться в шахту, не знаю. Хочу верить, что суд все учтет и вынесет справедливое решение. Как бы то ни было, я должна сохранить силу духа. Крепись и ты, Толя. Конечно, я очень смутно представляю ту обстановку, в которой ты находишься, знаю, что тебе трудно, очень трудно, но ведь осталось терпеть немного».

Завтра я иду на гастроли чехословацких друзей. Ревю «Латерна Магика». Это новый эстрадный жанр, вроде чего-то сказочного. Посмотрю и расскажу тебе подробно».

«Очень мне понравилось твое письмо, Толя. Наконец-то ты возмутился, а я-то думала, что ты не умеешь возмущаться. Ты хорошо подметил во мне скверную черту характера — эгоизм. Ты настоящий товарищ, не боишься обидеть критикой. И я вовсе не собираюсь «дуть губы» — никогда не обижаюсь на человека за правду».

Что я читаю и какой мой любимый писатель? В данный момент я художественной литературы ничего не читала — очень загружена учебными занятиями. Нужно сдавать чертежи, лабораторные работы. А художественную литературу люблю, люблю наших советских писателей Шолохова, Фадеева, Алексея Толстого и других. А из зарубежных писателей мне больше всего нравятся Драйзер, Бальзак и Дюма. Вообще-то я очень боюсь брать художественную литературу: попадет мне в руки — и все пропало: до-

машинные дела, занятия. Недавно смотрела «Битву в пути». Фильм мне понравился, к тому же я читала этот роман. Вполне согласна с автором фильма — он правильно перенес на экран роман».

«Хочу обратиться к тебе за советом, Толя. Дело в том, что я не знаю, как мне поступить с одним мальчишкой — он из моего класса. Все на него махнули рукой, дескать, совсем неисправимый человек, ему никто не верит и не желает верить. Он действительно груб со старшими, развязен. В нем трудно отыскать хорошее зерно, доброе начало. Есть у него родители. Мать ходит за мальчиком по пятам, отец ничего не делает для исправления сына. Не могу я остаться равнодушной и смириться с тем, что на моих глазах гибнет человеческая душа. А что делать — не знаю. На откровенный разговор не идет, отделяется шутками. Посоветуй, может быть, ты что-нибудь придумаешь, как мне поступить. На днях я прочла повесть Мединского «Честь». Это очень чудесная вещь — как раз соответствует моим мыслям. Это повесть о подростке, который заблудился и поскользнулся в жизни. Прочти! А вот насчет «Битвы в пути» я с тобой не согласна. Я разочарована тем, что мало показали любовь Бахирева и Тани. Бахирев в фильме вышел уж очень елейным.

Джека Лондона я тоже очень, очень люблю. Флобера и Стендаля я читаю мало, к моему стыду, ну что ж — ведь все перечитать невозможно. Мне кажется, что по зарубежной литературе я отстала от тебя... Одно мне хотелось сказать тебе, что ты стал для меня очень дорогим другом, мне кажется, что лучшего друга у меня в жизни еще не было. Пусть даже мы знаем друг друга заочно, но после каждого твоего письма мне почему-то хочется быть лучше и чище».

«Если бы ты знал, как я ждала ответа на то письмо о мальчишке. Может быть, тебе его не вручили? Он по-прежнему плохо учится и совершенно безобразно ведет себя на уроках, на переменах, на улице. Все мои попытки остановить его ни к чему не приводят. В классе он переросток — ему 15 лет. Отец заявляет, что воспитанием сына должна всецело заниматься школа. А я вижу, что мальчишка катится по наклонной плоскости все ближе, ближе к преступлению, а спасти не могу. Никогда не прощу себе, если с ним что-нибудь случится».

Возвращаюсь мыслью к письму, ошеломившему Анатолия. Он верил тогда и не верил тому, что писала Женя, — будто он, искупив свою вину, обрел житейскую мудрость, опыт и теперь его опыт и мудрость могут помочь заблудившимся. Но то были слова. А сейчас Женя перешла к делу — все настойчивее, неотступнее требовала она от Анатолия оставить на время камеру, войти с ней в класс и помочь ей, молодому педагогу, понять трудного паренька.

Почему же он молчит? Женя понимала (в этом убеждает меня ее письмо), почему он молчит: над ним тяготело сознание недозволенности ему, имеющему за плечами статью уголовного кодекса, вмешиваться в самое чистое дело на земле — воспитание ребят. И тогда она прибегла к сильнейшему аргументу: «Я вижу, что мальчишка катится по наклонной плоскости все ближе, ближе к преступлению, а спасти не могу».

Читаю эти строки и удивляюсь мудрости девичьего сердца, продиктовавшего жестокие слова. Жестокие потому, что они напомнили Анатолию его судьбу, но одновременно должны были и освободить его от груза прошлого, ибо в подтексте ясно звучало: «Ты обязан помочь мне, если не хочешь, чтоб мой ученик, мой первый трудный мальчишка повторил то, что сделал ты. Я не прощу себе этой первой педагогической ошибки, и вместе со мной будешь повинен ты».

Возможно, только теперь он понял, какой нележкой будет дружба с этой незнакомой девушкой, какого напряжения духовных сил потребует она.

Анатолий ответил. Он пытался вспомнить все, что отвратило его от школы: пустоглазого учителя, нудные назидания, уличную блатную романтику (напомню, что он оставил школу после четвертого класса).

Сознавал ли он в полной мере, что своим зовом о помощи Женя не только втянула его в круг своих учительских забот, но и невольно усадила за парту?

«Мы отметили с Марией Павловной твоё тридцатилетие¹. Считай, что ты тоже с нами, что и мама с тобой. Давай поднимем бокалы. С днем рождения, Толя! Слушай, что я скажу тебе в этот чудесный день: мой милый, дорогой друг! От всего сердца поздравляю тебя, желаю самого прекрасного в жизни — большой, хорошей любви, успехов в труде и учебе. Считай, что ты сегодня заново родился. Я верю, я знаю — ты честный, правдивый, хороший товарищ и будь таким до конца своих дней. И еще я твердо верю в то, что мы скоро встретимся».

«Научи меня усидчивости, Толя. Как тебе удастся подолгу просиживать над книгами? Ты писал мне много хорошего. Во всем согласна с тобой. Макаренко и Крупскую я читала еще семнадцатилетней. Но согласись со мной, что в жизни случается порой все сложнее. Я убеждаю мать своего неисправимого мальчишки, чтоб она не опекала так его. Ему нужен труд. Мы предлагали матери оформить сына в ФЗУ, но она категорически отказалась, заявив, что не хочет, чтобы сын был рабочим. Вот как! А то, что сын ее на грани преступления, не видит. Ты говоришь о поручении. Да разве я не делала это. Я знала, что он любит рисовать, поручила ему оформить газету, но он ее по два месяца держит...»

«...Значит, я ошиблась. Я думала, если я не нравлюсь самой себе, как может моя фотография понравиться другому?»

Пусть не огорчает тебя теорема Пифагора. Это самая легкая теорема в геометрии, и ты со временем будешь ее с большим успехом применять, но это будет позже. На фоне других теорем она покажется самой простой и понятной.

Не хочу успокаивать тебя, как маленького, ты взялся за тяжелый труд — учебу. Только не опускай рук, не теряй веру в самого себя, ты обрел ее в борьбе с собой. Это сейчас самое важное. Я писала уже тебе, что безгранично верю в нашу скорую встречу, в твой светлый день».

«Толя, не знаю, как мне быть с Сашей (тот трудный мальчишка. — В. Е.), ведь теперь я его абсолютно никак не могу заставить в школе: занятия в институте до 5 часов вечера, а в школе занятия кончаются в час дня. Никак не могу выбраться к своим ребятам, наверное, придется пропускать лекции в институте, иначе ничего не придумать».

Расскажу, как мы отмечали твой день рождения. Собрались мы примерно в 7 часов вечера, я, Мария Павловна, М. В. и Надюшка, поставили пять рюмок, пятая твоя, и поздравили тебя. Я была даже немножко пьяная. Пели, танцевали, а я представляла, что ты рядом со мной. Вот мы с тобой танцуем вальс, а вот идем по Театральной площади и обязательно спорим. О чем? Я и сама не знаю, на какую тему у нас идет спор. И все же мы приходим к единому мнению и бежим, бежим, и я слышу твой радостный смех. Да, да, да, я очень хочу слышать твой смех, видеть тебя веселым, жизнерадостным. Ведь это же будет так, не правда ли, мой дорогой друг?

Мне тоже часто бывает грустно, Толя, потому что тебе невесело. Но все это скоро кончится.

Знаешь, Толя, со мной решили расправиться девчонки из нашей группы. Дело в том, что я осталась в группе одна с косами. И вот они вынесли решение отрезать мне их. Я просто не представляю, что я буду делать без кос.

О чем тебе еще написать, как будто бы все новости. Этот семестр у нас совсем маленький, два месяца занятий, в мае — экзамены, а в начале июня едем на практику в пионерские лагеря на Черноморское побережье. Наверное, все. Привет от мамы и М. В. До свидания, крепко жму руку, всегда твой верный друг Женя».

«Вчера получила твое письмо, но отвечаю сегодня, так как получила письмо поздно, у нас было собрание на факультете. Как видно, Толя, настроение у тебя очень

¹ Напоминаю, что в колонию Анатолий попал пятнадцатилетним. Суровый приговор совпал с первыми послевоенными годами, когда борьба с правонарушениями носила особо острый характер.

плохое. Право, я не виновата — ты неправильно понял меня и незаслуженно упрекаешь в том, что я плохо занимаюсь воспитанием Саши, очень мало уделяю ему внимания.

.. Может быть, в какой-то степени ты и прав, но я не могу с тобой согласиться. Пойми меня, ведь я же не опустила руки и вовсе не успокоилась на мысли, что он неисправимый человек. Нет! Я просто иду и стараюсь найти правильную дорогу к нему, вернее к его сердцу.

Ведь ты же не знаешь и того, что из всего курса я одна работаю в школе вожатой. Стараюсь убедить однокурсников в том, что работа наша сейчас в школе очень нам необходима. Но все они отговариваются тем, что нет времени. Видно, думают: в школе мы еще успеем наработаться, а сейчас нужно жить институтской беззаботной жизнью.

Сейчас я бываю в школе почти каждый день перед занятиями. Саше я дала прочесть книгу Медынского «Честь». Когда он ее прочтет, я с ним хочу поговорить по душам.

Вот ты пишешь, что он перестанет уважать своих родителей. Но в том-то и беда, что он их давно не уважает. Он никогда не задумывается над тем, откуда берутся для него костюмы, другие вещи: захотел — значит, получит, и все. А насчет коллектива я тебе скажу, что в том-то и беда, что я уже два года борюсь за дружный и сильный коллектив, но он еще очень слаб, чтобы пустить его на самотек. Согласна с тобой — коллективу нужна инициатива и активность самих ребят. Но ведь им нужен и советчик и друг. Вот в чем дело. Я знаю, что Саша хорошо рисует, и поэтому записала его в студию, но он не захотел ее посещать. Директор школы поручила ему оформить стенд — не выполнил. В общем, все учителя как могут стараются помочь ему, привлекают его ко всем интересным делам, но он от всего отказывается.

Да, человеческая натура очень сложна, и чтобы понять ее и правильно направить, очень много нужно приложить сил.

Но я не боюсь этого.

К нам приехала передвижная выставка ленинградского Эрмитажа. Я уже побывала. Не могу описать, как восхищена я творением человеческих рук. Особенно меня поразил портрет графини Половцевой. Я даже не нахожу слов, чтобы выразить свое мнение об этом портрете. Это не то чтобы можно назвать гениально, это больше чем гениально. В среду я поведу своих ребят на выставку. Очень хочу, чтобы пошел Саша, постараюсь любыми силами потащить его, чего бы мне это ни стоило.

Толя, ты почему-то ничего не пишешь о своей учебе, я понимаю, что у тебя что-то произошло, но ведь нельзя же так отчаиваться и опускать руки.

Слышишь, Толка, ты не смей хандрить, ты не смеешь бросать начатое, на это ты не имеешь права, я запрещаю тебе это делать. Такой мой категорический приказ. Сегодня я выписала тебе целую энциклопедию.

Жду с негерпением твою фотографию. Пиши все и обо всем. Привет твоему другу Павлу. Как его настроение?

.. Погода у нас очень мрачная, второй день идет дождь. Но это уже весенние дожди. Надеюсь, что скоро над деревьями запоют скворцы.

До свидания, крепко жму руку, всегда твой друг Женя. Жау ответ».

«Мне кажется, я не получала от тебя писем целую вечность. Сегодня ждала письмо — ничего не получила и решила сама написать.

Мне нужно посоветоваться с тобой о многом. Во-первых, я добилась разговора с Сашей. Может быть, в нем и не все было высказано, но все же начало есть. Он прочел повесть Медынского «Честь», и я решила поговорить с ним по этой книге, но разговор у нас пошел дальше. Повесть ему очень понравилась, но и я тоже сделала для себя выводы. Дело в том, что его тянет уголовная «романтика», ему нравится, когда за ним гонится милиция, он горд иногда, если ему удастся ее обмануть. Представляешь, какая дурь сидит в голове этого подрастающего. Я с ним много говорила о том, что его ждет впереди, и он мне не задумываясь отвечает, что неплохо было бы испытать трудовую колонию, т. е. все трудности, а потом стать человеком.

Мы очень много спорили с ним по этому поводу, и этот спор у нас продол-

жается с ним 2 дня. Но во многом я беру верх, потому что привожу факты из жизни, и ему некуда деваться. Я с ним буду заниматься 3 раза в неделю по математике, хочу, чтобы он перешел вместе со всеми в седьмой класс. Ведь голова у него неплохая, да не на то направлена. Он очень увлекается авиастроением и ракетами, делает всякие взрывчатые смеси. Я ему предложила руководить классным кружком авиамоделлистов, но он отпирается, но все же мне кажется, что я разгадаю и эту загадку, почему он не желает работать с ребятами из нашего класса.

Толя, если ты сможешь выполнить мою просьбу: когда будешь отвечать мне на мое письмо, напиши и Саше — я ему передам. Думаю, что ты знаешь, как и что ему написать. Думаю, твои слова дойдут до него. Все остальное я беру на себя.

Вообще мне столько сейчас хочется писать о Саше, что, наверное, получилась бы повесть.

У нас опять, как ни странно, зима. Почти целую неделю была весна, ходили в костюмах, а сегодня опять выпал снег, мороз...

Вот такие-то дела у меня, Толя. Я всецело поглощена вопросом исправления Саши и ни о чем больше не думаю. Много советовалась с нашими методистами и опытными педагогами о нем, но они так ничего конкретного мне и не сказали. Стараюсь сама разобраться в нем, чтобы найти в его душе что-то такое, за что можно было бы уцепиться и вывернуть его всего наизнанку. Главное — оторвать его от всех ненужных друзей. Ну ничего, не будем унывать. Вообще я сейчас воспряла духом, вижу, что он доверяет мне, — для начала достаточно. Ты не устал от моего Сашки?

Что сейчас читаешь из художественной литературы? Я недавно прочла роман Грэма Грина «Суть дела». Понравился, но чтобы сказать — особенно, нельзя.

Вчера была в филармонии, ходили группой, слушала композитора Андрея Эшпая».

Все чаще в переписке появляется имя Саши. Он стал их первым ребенком — озорным, нескладным, то открытым и ясным, то непонятным и замкнутым. Он доставлял им обоим много тревог, хлопот, боли, и он же незаметно для обоих вносил в их отношения высокую человеческую значимость, крепил их дружбу, сообщая ей непреходящую нравственную ценность.

Письма, в которых Женя рассказывала о своих успехах и огорчениях в битве за Сашку, радовали Анатолия, и он тепло и взволнованно благодарил ее за доброе внимание к незнакомому ему мальчишке, волнуясь за судьбу подростка. Женя ликовала: если Сашка стал не безразличен ему, значит, ей удалось главное — вытащить его из окружения, из стен камеры в жизнь. И она, чуть-чуть лукавая, отвечала на его похвалу:

«Не знаю, Толя, за что ты меня так превозносишь, не стою я этого. Ты счастлив, что я поверила тебе, но ведь так и должно быть, иначе и жить нельзя, кому же тогда верить, если не человеку».

Толя, милый мой дружок, могу похвастаться, у меня кое-что выходит с Сашкой. Не знаю, надолго ли, но пока что все идет хорошо. Я занимаюсь с ним 3 раза в неделю, он стал серьезнее, внимательнее на уроках. Взятся возглавить авиамоделльный кружок, я стараюсь помочь как могу. Будем строить модель самолета с двигателем к 19 мая. Это наш нионерский праздник.

Саша очень увлекается книгами по фантастике, и я ему таскаю все что только могу. Да, если бы у меня было больше времени. Но все же я довольна своей жизнью, довольна тем, что некогда скучать, просто мне не хватает 24 часов.

А сочинения ты пишешь все-таки правильно, так считаю я, потому что чем больше живой собственной мысли в сочинении, тем оно интереснее и лучше. Нас учительница литературы всегда учила высказывать свои мысли и чувства в сочинениях. Этим оно и ценно. А пересказать чужую рецензию всякий сможет. Так что, Толя, видно, у тебя не учитель, если он укоряет тебя за самостоятельность, а бюрократ, ему нужны книжные фразы.

А у нас уже шумит за окном весна, и, получив сегодня твое письмо, я действительно полностью почувствовала весну, оно все весеннее, светлое и чистое. Давай договоримся, Толя, чтобы все у нас было в жизни светлым и чистым, как это письмо.

Чтобы мы всегда верили безгранично друг другу, как верим сейчас. Я хочу, чтобы все было так, как это есть на самом деле. Я думаю, что ты со мной согласишься.

Сейчас я дома одна, пишу тебе письмо и мысленно рядом с тобой. Давай пройдемся с тобой по набережной Дона, пройдем все аллеи Театральной площади, и ты прислушайся на минуту, слышишь, как все оживает? Пока до свидания, крепко целую, твоя Женька. Привет от мамы и М. В. Все, не жди, больше целовать не буду. Ясно?»

«Сегодня воскресенье, вечер. Я управились со своими делами и решила отдохнуть. А отдых у меня, как и у всех. Мы с тобой пошли совершать очередную прогулку, и я, конечно, говорю о тех новостях, которые у меня накопились за эти дни. Во-первых, я выдержала поединок с Марией Павловной, вышла победителем: со вторника буду ходить на тренировки по плаванию. Долго мы с ней дискутировали, но моя взяла. Она боится больше всего того, что тренировки начинаются с 11 часов ночи до 12. Но я ее успокоила, что я в безопасности, потому что со мною огнестрельное оружие — пистолет. Не смейся, у меня же конструктор собственный, Сашка, он сам изобрел «пистолет». Я попросила его одолжить мне, чтобы безопасно было ходить на тренировки. Ты представляешь, Толя, все это он принял за чистую монету и отдал. А мне только это и нужно.

Не знаю, писала ли я тебе, что еще на первом курсе начала работать над научным трудом на тему «Воспитание инициативы и активности у пионеров в процессе общественно полезного труда». Первый этап работы я кончила и отдала методисту.

Заговорила и совсем забыла, что ты идешь рядом, ведь я такая болтушка. Ты молчишь, нет, ты сейчас мне скажешь что-нибудь, конечно скажешь... Погоди. Тсс! Слышишь? Скворцы прилетели. Давай послушаем их. Воздух такой чистый, свежий, что совсем не хочется возвращаться домой. Давай сходим с тобой еще на Театральную площадь, и здесь я тебе спую, хочешь послушать?»

«Только, ты же у меня умник. Я верила, знала, что ты напишешь Сашке письмо и именно в таком духе. Оказывается, что у нас с тобою мысли одни и те же. А о том, что я смогу Сашке навязать свою волю, ты не бойся, ведь я хоть, может быть, и зеленый педагог, но все же кое-что своим сердцем чувствую, где и как нужно с ним поступать. Он с охотой ведет авиамодельный кружок, и это его желание, не мое, я только иногда ему помогаю догадаться о том, что ему нужно.

Завтра я передам ему твое письмо. Думаю, что оно должно сделать свое дело.

В предыдущем письме я не выразила возмущения по поводу того, что ты назвал меня рыжаям девчонка. Собственно, откуда ты знаешь, что я рыжая, ты же не видел, а я вот как раз и не рыжая! Ты даже не сможешь точно определить цвет моих волос, когда увидишь меня, так что не спеши с выводами.

У меня сегодня приподнятое настроение, весна все-таки действует. В меня сегодня вселился с утра какой-то бес. Сейчас пойду на занятия хора, скоро смотр художественной самодеятельности. Вообще твоя Женька — собравшие всех талантов, как говорится, «артистка из прогоревшего театра».

Спасибо за все».

«С успехами меня рано еще поздравлять, потому что о результатах говорить еще рано. Твое письмо я отдала Саше. Он прочел его при мне, постарался сделать безразличный вид, но это у него плохо получилось, и я поняла, что письмо произвело на него сильное впечатление.

Сейчас у них каникулы, но мы с ним встречаемся — обсуждали план работы нашего кружка. Он поинтересовался, буду ли я заниматься с ним в 4-й четверти. Как видно, его волнует вопрос о том, не надоело ли мне с ним возиться. Я ему сказала, что он не потерял еще у меня доверия, а как только подведет меня в чем-либо, тогда я уже посмотрю на этот вопрос по-другому. В общем, пока что мы с ним друзья, надеюсь, что дружба наша будет крепнуть с каждым днем.

Сейчас у меня работы, как говорится, по горло. Заниматься совсем некогда. Не знаю, что я буду делать с понедельника начнутся контрольные, коллоквиумы, а я еще ни за что не бралась. Просто некогда. Подготовка к смотру, тренировки по пла-

ванию, работа в школе, из-за Сашки приходится много читать психологической литературы, и к тому же к 10 апреля нужно подготовить научную работу на конференцию.

Насчет того, что я твоя и ничья больше, ты очень категоричен. Во всяком случае; пока что я ничья и не знаю, чьей я буду. Пока об этом думать очень рано. Знаешь, Толя, сейчас я даже не задумываюсь над тем, что будет дальше. Жизнь покажет, ведь трудно предугадать. Не обижайся на меня. Во мне еще очень много легкомыслия, которое я хочу с корнем вырвать, просто мне кажется, что я недостойна тебя. Может быть, это глупо, прости.

Пиши, какие фильмы ты видел в последнее время. Я недавно посмотрела «А если это любовь?» и «Наш общий друг». Первый, собственно, посвящается педагогам. Фильм очень мне понравился, потому что очень правдивый.

Если видел эти фильмы, напиши, что думаешь о них.

Толя, я долго не решалась на такой вопрос, но сегодня я не могу не спросить об этом. Вот ты пишешь «при встрече расскажу», а скоро ли будет эта встреча? Когда же наступит этот день? Может быть, ты и сам не знаешь, но мне кажется, что тебе все-таки виднее, чем мне, когда будет эта встреча. Ой, Толя, я, наверное, глупая девочка, написала сегодня уйму глупостей».

Мы перестаем читать письма.

— Боже, какая же наивная я была! — сокрушенно ахает Женя и молит меня: — Можно, я кое-что подправлю?

— Ни-ни! — категорически возражаю я. — Пусть все останется так, как было.

— Скажите, — прерывает молчание Женя, — в пьесах, основанных на подлинных письмах писателей, их близких, — заводит она разговор на «отвлеченные» литературные темы, — я видела по телевидению два таких произведения, все оставлено без изменений или это сделано по мотивам документальной переписки?

Я понимаю, что это обходной маневр, и уклончиво отвечаю:

— Думаю, письма подлинные, но не забывайте, что даже наискромнейший Чехов, когда писал Лике Мизиновой, в глубине души, возможно, предполагал: доберется будущий чеховед и до этой переписки.

Женя ловит меня на слове:

— Вот видите, а нам-то с Толой никогда и в голову не приходило, что кто-то третий, кроме нас двоих, будет читать наши письма!

Позже она еще заведет разговор — не лучше ли кое-что подправить? Но в конце концов все мы приходим к согласию: оставим все как есть.

«Постараюсь ответить на твое письмо как можно обстоятельней. Во-первых, я не понимаю, почему ты не желаешь знать моего прошлого. Твое прошлое я довольно хорошо знаю, а о своем я написала лишь потому, чтобы ты лучше знал меня. Теперь я не раскаиваюсь в своем прошлом, потому что в нем не было ничего грязного и плохого, была лишь чистая, целомудренная девичья любовь, которую я выстрадала, и все же рассталась с любимым, потому что не могла поступить иначе. Но об этом не буду распространяться, приедешь — расскажу, если пожелаешь, о том, как любила твоя Женька.

Во-вторых, Толька, не так гладко все получается у меня с Сашкой, как казалось на первый взгляд. Сейчас у нас бушует весна, трудно усидеть дома даже взрослому. Мой Сашка стал плохо посещать занятия, увлекся рыбной ловлей и целыми днями пропадает на Дону. Его отец сейчас лежит в больнице, мать уже не знает, что делать с сыном, а я просто с ног сбилась, столько у меня дел, что совсем растерялась, может быть, не выйдет из меня настоящий педагог. Вижу Сашку каждый день, стараюсь с ним говорить по-товарищески, но он все же если ходит в школу, то скрепя сердце, как бы делая одолжение мне. Вот и придумай, что с ним делать. Порой мне кажется, не существует у него хороших идеалов. Ему нравится все вульгарное, грубое. Это он все перенимает у своего друга, которому почти столько же лет, сколько и ему, но этот друг наглый, пошлый тип, избалованный родителями. Правда, друг в 9-м классе, но Сашку все время сбивает с толку. Да тут еще у нас очень горячая пора, контроль-

ные, зачеты; коллоквиумы, досрочные экзамены, подготовка к смотру в институте, подготовка к ленинским дням в школе.

Сегодня я опять была у Сашки дома и предупредила его, что уезжаю домой на неделю и ему придется меня заменить в отряде. Он мне дал голову наотрез, что к моему приезду все будет готово. Не знаю, надолго ли хватит у него духу, чтобы отказаться от рыбалки и прочих развлечений, потому что к ленинским дням мы обязались сделать модель гоночного самолета с мотором, а работа только ночная.

«Да, Толя, еду на следующей неделе домой, 18 апреля будет суд, на котором рассмотрят дело нашего Толи, и я хожу как дурная, стараюсь скрыть свое настроение от всех. Не представляю, что со мной будет, если с братом что-нибудь случится. Ведь он для меня и брат, и отец, и вообще наш идеал, которым я живу. Я безгранично люблю своего Тошку и не представляю, как это может быть, что он может пострадать, но за что? Мне необходимо быть в этот день рядом с мамой, братом, я знаю, как я нужна ему буду в этот день. Толя тоже очень любит меня, и я уверена, что своим присутствием придам ему больше сил.

Моя мама страшно боится, чтобы я не дай бог в кого не влюбилась, в кого бы то ни было, она почему-то решила, что я должна быть всегда девочкой и ни в коем случае никому не принадлежать, кроме нее».

Анатолий мог только догадываться, какую тревогу испытывали родные Жени, узнав о ее переписке с ним. Что же будет, когда она примет решение (примет ли?) — ехать! Понимал всю несбыточность своих надежд и все же надеялся...

Сейчас, когда письма вернули его к прошлому, он сознает: случись что-нибудь с Женей, и он не смог бы жить дальше без ее писем, вечерних прогулок, без театров и концертов, на которых он неизменно сидел рядом с ней, без участия в воспитании Сашки...

Трудно сказать, что стояло за детски-наивной верой Жени в «заправдашность» затейной ею игры. Все та же мудрость ее сердца, интуиция? Тут они оказались сродни точному психологическому расчету. Анатолий стал постоянным спутником ее походов, дел, развлечений, все чаще и чаще покидал он камеру для встреч (увы, пока воображаемых) с Женей.

«Ну что ж, продолжим прогулку нашу. Пошли по набережной. Я очень люблю набережную Дона, она сейчас очень красива, здесь сооружается мост с Ворошиловского проспекта через Дон. Аллеи прекрасны, но жаль, что мало лавочек, а я устала. Придется отправиться домой, но где мой дом, я пока еще не знаю, не удивляйся, ведь не все так сразу делается, а на набережную мы с тобой пойдем в первый же день твоего приезда. Да, забыла написать тебе новость: в воскресенье мы сыграли свадьбу моей подруги — первая свадьба в группе. Свадьба прошла чудесно, и мне напомнили, что я следующая на очереди. Но я сказала, что мой жених еще в люльке качается.

Пыши все и обо всем».

«Здравствуй, родной мой Толька!

Давай-ка, Толя, помечтаем сегодня вместе. Вчера я смотрела туристский маршрут по Дону Ростов—Москва—Ростов на теплоходе и очень ясно представила, как мы берем туристские путевки 1 класса (остальные не хочу, потому что в 1-м классе двухместные каюты). И, представляешь, плывем на пароходе по Дону, затем Волго-Донской канал, и мы входим в Волгу. Какие чудесные берега! Смотри, леса какие, и все это — нам с тобой. А вот мы с тобой в Москве. Первым делом, конечно, Мавзолей Ленина, Кремль, теперь сюда свободный вход. Третьяковская галерея... Я давно мечтаю побывать в Третьяковке, а там Большой театр, и везде мы с тобой обязательно побываем. Правда здорово! Это будет, конечно, летом. А вот еще предложение, слушай. Мы едем на Кавказ. Можем остановиться в Туапсе и отправиться в горы. Я тоже давно мечтаю попасть в горы. За спиной у нас рюкзаки, и мы идем горной тропинкой к перевалу. На пути встречаются бурные горные речки, скалы, но ведь мы же с

тобой ловкие и сильные и все преодолеем. Но вот спускается вечер — нужно позаботиться о ночлеге. Давай-ка разобьем палатку, разведем костер, а готовить будем вместе. Ты принесешь воды, а я пока все достану, как подобает хозяйке. Какую ты любишь кашу? Наверное, гречневую. Все решили. Однако скоро будет готов ужин. Ну что, вкусно? То-то... А ты что-то стал невесел, устал. Ну что ж, ложись, а я сяду рядом и спую тебе. Что тебе спеть, ты только закажи, что хочешь услышать. Может, о нашей любви. Ты закрыл глаза и слушаешь, а почему не спишь? Давай споем вместе, я знаю очень много походных песен, а раз знаю я, значит, и ты тоже будешь знать. Но у меня почему-то тоже глаза закрываются, ну что же, спать так спать, ты не забыл—нам встречать завтра рассвет в горах. Наверное, это неопишное зрелище!

Но что-то сон прошел. Из нашей палатки виден ясно кусок неба. Смотри, здесь звезды совсем не такие, как у нас. Я впервые вижу такие звезды. Давай выберем самую крупную и назовем ее своим именем. Пусть она сопутствует нам всю жизнь и напоминает всегда горы.

...Пришла мама.

На этом кончаю, пока до свидания, целую крепко-крепко. Твоя Женька».

«Здравствуй, мой милый Толька!

Меня до слез трогает твое внимание. Именно тогда, когда я болела, мне очень хотелось, чтобы именно ты прикоснулся ладонью к моему горячему лбу и хоть немножко пожалел.

А ты, оказалось, на самом деле желал быть рядом со мной и хоть чем-нибудь помочь. Я беспредельно рада, что мой муж такой внимательный и чуткий. Ведь это же основное. Без этого, я думаю, не может быть настоящей здоровой семьи. Не так ли? Сейчас пишу тебе письмо на скамейке. Я заступила на дежурство. Завтра мой отряд дежурит по лагерю, а я старшая дежурная. Сейчас 23.00, был отбой на сон, но так как старшая вожатая и начальник лагеря уехали в международный лагерь на открытие, то я их замещаю. Сделала обход и вот в ожидании их решила написать тебе письмо. Завтра к тому же у нас общелагерный праздник песни. Я очень волнуюсь за своих ребят. Им завтра предстоит большая работа, да к тому же выступать на празднике.

Вчера и сегодня у нас была общелагерная спартакиада, мои орлы заняли первое место, завтра им будут вручать кубок. Сейчас я смотрю на эту звезду, она как раз надо мной, и думаю, что в этот прекрасный летний вечер мы с тобой рядом, вместе смотрим на нашу звезду и строим планы, как мы будем жить завтра, заглянем в будущее. Ты согласен? Во-первых, ты будешь продолжать учиться, обязательно, только в каком вузе — я так до сих пор и не знаю. Мне кажется, что ты будешь учиться в строительном институте. Может быть, я ошиблась, ты мне подскажи. Во-вторых, мы будем часто бывать в театрах, кино и выставках. Часто вечерами мы будем устраивать громкие читки. Я очень люблю, когда вместе читают и обсуждают ту или иную книгу.

У нас дома часто устраиваются чтения, и застрельщиком их всегда бывают Анатолий и его жена. Вообще у нашего Толи есть чему поучиться. Мне бы всегда хотелось брать пример в семейной жизни именно с него.

Дальше мы побываем с тобой в разных местах нашей страны, на стройках и просто в виде экскурсии во время отпусков.

Да, сколько интересного ждет нас впереди. Я уверена, что будут трудности, но ведь с нами наша любовь, а это самое главное, что может быть в жизни. С ней мы будем легко преодолевать все трудности, все невзгоды и радости делить пополам. Так что я думаю, нам не нужно бояться будущего, трудностей и всего прочего».

«Только сегодня получила от тебя письмо. Если бы ты знал, как нужны мне они сейчас, с каким нетерпением я их всегда ожидаю.

С Сашей дела, можно сказать, стоят на мертвой точке. Вот и сегодня я была у него дома и поссорилась. Он совершенно не оправдал моего доверия. Модель самолета сделал тяп-ляп, что страшно на нее смотреть, а сам занялся начинкой ракет. Наверное, улыбаешься, а мне не до смеха, ведь мы же потратили классные деньги

на мотор, который до сих пор лежит без дела. А ведь дети работали на телеграфе, чтобы собрать деньги на поход, но когда я сказала о том, что Саша организовал кружок и кружок будет делать летающую модель, ребята единогласно решили выделить деньги на мотор. А что получилось? Конечно, дело не в деньгах, а в совести. Мне просто за него стыдно. Вот и сегодня он уверяет меня, что модель будет к субботе сделана. Конечно, я, как всегда, старалась ему доказать, что он поступает по-свински, извини меня, но это так. Не знаю, что будет дальше, а сейчас я просто очень хотела отколотить его, как в детстве колотила мальчишек за их дурацкие поступки.

Суд по делу Анатолия — 22 мая.

Ты говоришь — не отчаивайся. Пойми, Толька, что это для меня очень дорогой человек, на которого я равнялась, которому беспредельно верю, и я не могу не переживать за него. Это кристально чистый человек, и редко такие встречаются на белом свете. Я писала тебе, что росла без отца, так как он у нас большой подлец. Я бы таких вешала, и у меня бы рука не дрогнула. Ты скажешь, ого, какая кровожадная. Но нет, родной, нет. Просто я никогда не могу согласиться с тем, что может человек быть и похабнейшей скотиной. Ты, наверное, помнишь, так сказал Островский устами Павки Корчагина, и я с ним вполне согласна. И вот я с детства привыкла смотреть в светлые, чистые, правдивые глаза брата и верить ему. Я надеюсь, что в области разберутся, потому что за Анатолием правда и все умные люди.

У меня экзамен. Немного трушу. Нас уже распределили по отрядам, мне дали самый старший — первый. Я не хотела его брать, но старшая вожатая лагеря почему-то решила, что, кроме меня, на этот отряд ставить некого. Воспитатель у меня очень грузный дяденька — лет сорок с лишним. Преподаватель английского языка, так что мы с ним будем гутарить на английском языке. Тебе придется объясняться в любви мне на английском языке.

А пока до свидания, целую крепко, любимый мой Толька. Женя. А насчет рыжих напишу в другом письме. Ясно?»

«Я исполняю твою просьбу — посылаю учебник английского языка. Ты не удивляйся, что учебник принадлежит институтской библиотеке. Это самый удобный для тебя, он разбит по урокам, к каждому уроку есть слова и грамматика в конце. В магазинах я такого учебника не нашла, а купила в Сочи более трудный учебник, который в нашей библиотеке дефицит, и они мне с удовольствием заменили на этот».

«Итак, снова новый коллектив, снова его нужно спаять, сдружить, пока этого добьешься, пора и уезжать. Ты знаешь, я так устала за первый поток, что если бы можно было бы не ехать на второй поток, я бы с удовольствием не поехала. Но это же государственная практика и я не имею права ее срывать».

Вероятно, не нужно отдавать столько силы и энергии работе, сколько отдаю я. Вот пишу так, а ведь сама в душе не соглашаюсь сама с собой. Ведь я же не смогу иначе, в ином случае у меня не будет чиста совесть, и она меня будет мучить всю жизнь. Ведь это моя профессия — отдавать всю себя детям. И я знала, на что шла, так что ныть нет никакого смысла.

Итак, снова Кавказ, горы, море. Я очень полюбила природу этого края и очень жалею о том, что нет тебя рядом».

«Толька, родной, я только хочу, чтобы все было хорошо между нами, чтобы мы понимали друг друга всегда с одного взгляда. Твое решение о поступлении в горный техникум я одобряю, только не знаю, в какой тебе посоветовать. Просто я очень надеюсь, что ты скоро будешь дома, а здесь мы с тобой решим».

В Ростове нет горного техникума, а в Новочеркасске есть.

Любимый мой, родной мой Толька! Ты пишешь, что желаешь познакомиться с нашим Анатолием ближе. Что я могу тебе на это ответить, конечно, ты можешь это сделать, он многое тебе может подсказать в горном деле, да и вообще он очень умный парень. Только прошу тебя, о наших взаимоотношениях ничего ему не пиши пока, потому что он страшно меня ревнует ко всем мужчинам. Он думает, что я еще девочка, которую во всем надо оберегать. Вообще мы с ним очень похожи, и он меня боль-

ще всех сестер любит. Да, в общем, не мне тебя учить, я думаю, что ты сам знаешь, о чем ему написать.

Посылаю тебе две фотографии, это я фотографировалась на пляже, фотографии любительские, но как будто бы и неплохие. Я думаю, что такие фото можно послать лишь только мужу.

На этом кончаю, до свидания, крепко целую, твоя Женька».

«Что тебе написать, я, право, даже не знаю. Сейчас вся моя изобретательность уходит на то, чтобы жизнь в пионерлагере сделать интересной, веселой, а на письма не хватает изобретательности.

Начала читать роман «Некрасов». Начало хорошее, думаю, книга интересная. Напиши, что ты сейчас читаешь, чем занимаешься, приготовил ли учебники к учебному году. Может быть, тебе что нужно, пиши, не стесняйся своей родной жены, я все вышлю.

Только, у меня есть предложение, напиши, одобряешь ли ты его или нет. Я хотела бы предложить тебе, конечно, если оно возможно, нам нужны с тобой обручальные кольца, не смейся, может, ты думаешь, что это все прошлое. Я думаю, что это память на всю жизнь и они должны быть какие-то необыкновенные. Хорошо бы кольца сделать на заказ, чтобы были кольца такие только у нас и больше ни у кого. Напиши, если ты согласен, то я постараюсь заказать их у ювелира».

«Если бы ты знал, сколько мне приходится проходить испытаний, пока я получу твое письмо лично в руки. Вчера меня наш почтальон заставил вначале лизать лостру, я прыгала, прыгала, но достать никак не могла, он сжалился и только лишь тогда отдал твое письмо, а сегодня заставил поцеловать его в щечку. Но уж очень грустное это письмо. Я понимаю, что тебе очень трудно, и меня обидело то, что ты пишешь, будто мне неинтересно знать все то, что творится у вас и что с тобой происходит. Учти и запомни, что меня интересует все то, что тебя окружает, и все, что с тобой происходит.

...Когда же придет тот светлый день, когда мы наконец будем вместе, я верю, что этот день наступит, но когда, вот вопрос. Что ж, больше ждали, подождем еще, правда? Только, выше нос. Мы будем самой счастливой семьей во всем мире. Ведь мы никогда не будем ссориться, скандалить из-за всяких пустячных дел, особенно я ненавижу, когда муж и жена грызутся, да, да, именно грызутся по мелочам, таким житейским мелочам, что невольно думаешь: вот уж поистине мелкие душонки, которые думают только лишь о себе, о своем мире и больше ни о чем. Ох, как я ненавижу этих людей».

«Здравствуй, мой милый, родной, любимый Толька!

Получила твое немного паническое письмо и подумала: неужели он еще так не уверен во мне, что думает о том, что я не способна ждать любимого человека? Человека, в которого мне удалось вселить веру в хорошее, веру в светлое будущее, веру в жизнь.

Только, я понимаю, что мы оба стремимся к скорой встрече, но если это не зависит от нас, все же мы будем верить в нашу скорую встречу. И ты знай, что, что бы с тобой ни случилось, я всегда рядом с тобой. Я не хочу той свободы, которую мне предоставляешь ты, она мне абсолютно не нужна. Не забывай о том, что ждать мне тебя совсем не трудно, не трудно сохранить свою девичью честь и свое достоинство, так что во мне ты должен быть вполне уверен.

Только, здесь, в пионерлагере, я встретила с одним очень интересным товарищем. Он строитель, их бригада работала у нас в лагере по благоустройству территории лагеря. Меня полюбила бригада строителей и очень привязалась ко мне. Я тоже привыкла к ним, и мы были с ними хорошими друзьями. И вот один из них, Игорь Воронков, такого же возраста, как ты, у него очень интересная биография. Он только мне рассказал о ней. Мы с ним разговаривали, я рассказала ему о тебе, а он посвятил меня в свою тайну. Он тоже недавно освободился, за что он попал, я точно не знаю, но это тоже похожая история на твою, был он на Урале. Сейчас он учится в вечернем

институте. Он меня попросил узнать у тебя, знал ли ты когда-нибудь Витеку Черныша. Сейчас они уехали, у них кончилась командировка, и мне стало пустынно без них.

Закончила роман о Некрасове. Чудесная вещь, если не читал, то обязательно прочти. Я никогда не думала, что между Герценом, Некрасовым, Чернышевским и Тургеневым были такие разногласия. Меня это удивило, буквально поразило. Вообще книга замечательная, она оставила во мне неизгладимый след. Вот как будто бы и все новости».

Женя вскидывает на меня жалобные глаза:

— Чуть бы подкорректировать, ну хотя бы с Герценом. Вам же будет неловко за меня — несмышленища. — Но встретив мое решительное сопротивление, машет рукой: — Должно быть, вы правы — тут ни убавить, ни прибавить...

«Вчера я прибыла в Ростов, получила твое письмо. Во-первых, я хотела бы поделиться с тобой впечатлениями о письме. Дело в том, что я не совсем согласна с тобой по поводу Герцена. Я все-таки на стороне Некрасова и Чернышевского. Конечно, я тебя не осуждаю в том, что тебе нравится Герцен. Я тоже много читала его критических статей, но вот из этой книги я много узнала нового о нем. Ведь он находился далеко от родины, а накануне реформы отмены крепостного права в России происходили крупные события, Некрасов и Чернышевский были близки к народу и были полностью на его стороне. Герцен плохо знал те события, которые происходили в России, и, однако, он открыто выступил против них. И о Чернышевском я с тобой не согласна. Его роман «Что делать?» я читала давно, однако хорошо помню, что в нем. Он мечтал о России, к общественному укладу которой мы подходим лишь сейчас, а как перестроить общественный строй, он еще не знал, т. к. в России в то время не было трудов Маркса и Энгельса, не было подлинно правильной теории, и я думаю, что ты зря на него обрушился.

Но я думаю, что на этом мы с тобой на время прекратим этот спор и вернемся к нему, когда ты прочтешь роман.

Я начала читать Илью Ильфа и Евгения Петрова. Прочла «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка». Эти произведения мне очень понравились. Читал ты произведения этих авторов, как понравились они тебе?

Завтра зайду к Сашке, узнаю, как у него обстоят дела. Сегодня приходили к нам с кафедры иностранного языка, предлагали записаться в группу факультативного изучения английского языка, т. е. это изучение языка глубже — по желанию. Я думаю, что буду заниматься, потому что я знаю еще этот язык довольно плохо».

«Вчера я немного приболела, ушла с занятий, а дома от нечего делать достала все твои письма, сложила их в том порядке, в котором получала их от тебя, и стала читать вновь. Ты знаешь, это очень интересно — проследить путь, который прошла наша дружба, как она зарождалась, как постепенно перешла к любви, и наконец наше решение навсегда быть вместе.

Купила тебе два справочника по проектированию жилых домов, но считаю, что этого мало, в воскресенье съезжу на ярмарку, может быть, там мне что-нибудь удастся достать. Справочника по математике пока что не достала. Пиши, как идут дела с учебой, что нового на работе, что ты теперь строишь, что читаешь, какие кинофильмы посмотрел».

«My dear friend, are you? Вот видишь, я уже разговариваю с тобой по-английски. На первое время довольно. Мне хотелось бы, чтобы ты ответил на мои вопросы тоже по-английски. Если тебя интересуют разговорные слова и выражения, я буду в каждом письме писать понемногу и что они обозначают. Ведь сейчас я занимаюсь лишь только английской разговорной речью на факультативных занятиях. А вообще я думаю достать тебе книгу «Учись говорить по-английски». Хорошая вещь, но я ее все-таки достану и пришлю тебе.

В Ростове стоит чудесная погода, такой замечательный теплый вечер, что усидеть дома совершенно невозможно.

Пошли, Толька, погуляем. Куда? В парк Горького. Посмотри, как здесь все прекрасно, уже некоторые деревья украсились багрянцем, смотри, смотри, как они переливаются в лучах заходящего солнца. Мы стоим на центральной аллее и смотрим вниз, на цветники и клумбы, какие чудесные цветы. Толька! Хочу цветов от своего любимого мужа.

Вчера смотрела фильм «Радость моя». Фильм мне очень понравился, и ты знаешь, смотрела я и думала, что нет, мы никогда с Толькой не будем собственниками, как все-таки это болото портит людей. Если удастся, обязательно посмотри этот фильм. Свои мысли о нем напиши мне».

«Ты прав, что жизнь сложна, но ты глубоко ошибаешься в том, что я представляю ее в розовом свете. Не важно, что я мало жила на свете, однако за этот короткий период я узнала много и хорошего и плохого. Еще в детстве я узнала подлость, которая исходила от отца, но старший брат и мама научили меня презирать все подлое, низкое, ложь.

Моя мама, очень правдивая, справедливая женщина, очень чуткая и отзывчивая, научила меня этим чертам, вернее привила мне их с раннего детства, и поэтому меня всегда корбит ложь и несправедливость.

Не думаю, что в нашей жизни все гладко, нет, еще много подлости, очень много, с которой нужно бороться. С ней можно встретиться везде, так что плохого я тоже много знаю. И ты никогда не стесняйся писать мне о дурном. Для меня это гораздо легче, чем твое молчание. Без твоих писем я чувствую себя такой одинокой, что даже не знаю, куда себя девать. Ведь ты же знаешь, что такое одиночество, и не мне об этом тебе говорить.

Вот и сейчас я нахожусь на практике в школе-интернате, вокруг меня знакомые люди, интересная работа, на которой я забываю обо всем. Но как только я оканчиваю работу, я чувствую, что я одинока, потому что не слышу рядом с собой твоего голоса, а ведь я постоянно советуюсь с тобой.

Знай и будь уверен — что бы с тобой ни случилось, я всегда буду с тобой. И ты не огорчайся, что ты сейчас не учишься в техникуме, продолжай учиться в школе, это одно и то же, ведь три года в техникуме все те же общеобразовательные науки, а после 10 классов ты сразу сможешь поступить на 3-й курс техникума.

Выше голову, Перов, и так и ходи всю жизнь с гордо поднятой головой, как твоя жена. Основное, что жена верит в тебя, самый близкий тебе человек, значит, все будет в порядке. Пиши, как идут твои занятия, что нового прочел. Сегодня кончила читать «Золотого тельца». Остроумно!»

Если не знать всего, что ждет впереди Женю, каким тягчайшим испытаниям подвергнет ее жизнь — испытаниям на верность, надежность чувств, нравственную стойкость, — может показаться, что мир действительно рисуется ей в розовом свете, а клятва «что бы ни случилось, я всегда буду с тобой» — словами, тысячекратно повторяемыми всеми девушками мира. Но Женя и к тому времени, когда писала эти строки, во многом преуспела. Нелегко поддавался ее педагогическим усилиям беспутный Сашка, то и дело повергавший ее в отчаяние, но самый «трудный» ученик из всех, что встретит она на своем учительском пути, делал очевидные успехи. Толя заканчивал десятилетку, и она исподволь готовила его к поступлению в институт. Вместе с письмами к нему шли учебники, консультации, планы работ. Сердитые укоры чередовались ласковыми поощрениями. Неизменной оставалась лишь глубокая вера в будущее, близкую встречу, в счастье... «Никто никогда еще не испытывал до нас такого счастья».

«Трудно, очень трудно без твоих писем. Ведь когда я получаю твое письмо, твои слова звучат во мне. И когда я иду домой с занятий одна, мне кажется, что ты рядом со мною, что ты встретил свою маленькую жену и говоришь ей именно те слова, которые ты написал. Мы идем счастливые, я рассказываю тебе все новости, которые накопились у меня за день. А ты обязательно говоришь, что у тебя

нового. И мне так дороги твои и доски, и гвозди, и цемент, и все, все, что связано с тобой, твоей работой.

О Сашке я ничего не могу тебе написать. Поздно вечером заходить к нему неудобно, а с утра он на занятиях, во второй половине дня я на занятиях. Меня очень угнетает то, что я совсем забросила его, но я не в силах изменить что-либо. Может быть, после праздников нас переведут в первую смену, тогда я смогу уделять внимание Сашке.

Вчера смотрела фильм «Обыкновенная история». Фильм современный, но чего-то в нем не хватает, а чего — сама понять не могу. Вот и любовь здесь какая-то сложная, и я часто задаю себе вопрос, почему у нас с тобой все так просто и ясно, неужели это просто нам только кажется, а на самом деле любви нет. Нет, это страшно, Толька, этого не может быть».

«Могу похвалиться, практика прошла блестяще, оценка «отлично» и много хвалебных слов. Правда, много **незаслуженных** слов, так думаю я, но с директором интерната спорить бесполезно. Он сказал, что на распределение придет сам лично и мне никуда от него не уйти. Но я его предупредила, чтобы он не торопился, потому что я буду там, где находится мой муж. Можешь себе представить, какими глазами смотрел на меня Петр Семенович, когда я сообщила, что у меня есть муж. И ты знаешь, Толька, как он был огорчен этим известием, он говорит, что замужество помешает мне во всем — в науке, в работе. Он говорит, что я рождена педагогом. Да, Толька, он давно меня оберегает, как свою дочь, и говорит, что уж если я решаюсь на такой шаг, то обязательно должна познакомить моего будущего мужа с ним, чтобы он оценил, стоит ли муж меня или нет.

Проходила я практику в качестве воспитателя в 3-м классе и давала уроки в 6-х классах. Мои малыши со слезами провожали меня, я даже не знаю, как мне удалось сдержаться».

«Не знаю, как объяснить тебе то, почему я ушла в общежитие. Мама ни при чем, ее винить не в чем, с ней мы договорились и по-прежнему друзья. Понимаешь, Толька, я хотела бы, чтобы все-таки она до конца разобралась в этом человеке, ставшем ей близким. Правда, она очень привыкла к нему, хотя я до сих пор не могу понять, что может быть общего между столь разными людьми. Но об этом ты не должен писать маме. Ты скажешь, что это ерунда и все прочее, но такой уж у меня характер, что уж если я ненавижу человека, то не могу с ним жить под одной крышей. Самое страшное то, что он разубеждает каждый день Марию Павловну в том, что между нами что-то серьезное. Он постоянно твердил ей то, что я пишу тебе лишь только потому, что живу у нее, что мне сейчас это необходимо, что все это нужно мне для отвода глаз. Вот эту-то мерзость я не могла больше терпеть, не смогла сжиться с подлостью. И я жажду того дня, когда ты приедешь и я смогу доказать этому липовому коммунисту, на что способны простые люди, если они не потеряли человечность. А сейчас ему этого не понять, он не может уяснить себе, что может быть общего между тобой и мной, ведь в его понятии люди друг от друга должны иметь какую-то корысть, что высшее счастье для человека — это деньги, когда он их имеет в большом количестве, тогда он поистине счастлив. И поэтому он говорит так: «Женя пишет Анатолию до поры до времени, пока ей не попался подходящий человек. Как только попадется, так она и выскочит замуж».

Это, конечно, до глубины души бесит меня, но я думаю, что мама ни в чем не виновата, и ты не посмеешь ее упрекать, слышишь, Толька, даже намека не будет в твоих письмах. Когда ты приедешь, все выяснится, все выяснится на свои места. Ты говоришь, что не должна я уходить из дома, который стал моим. А я тебе скажу одно, что мой дом всегда будет там, где будешь находиться ты, куда ступит твоя нога, там буду и я. Так что из этого не нужно строить трагедию, потому что ничего особенного не произошло, оттого, что я живу в общежитии, я не стала другой и хуже, все так же люблю тебя и буду любить, и никто, слышишь, никто не помешает мне в этом».

«Проснувшись, сразу подумала, что ведь мне сегодня исполнился 21 год. 21! Мне даже не верится, и я почему-то сразу подумала о том, что получу от тебя письмо. И не ошиблась, ведь ты же у меня гений, ты знаешь, что в этот день я особенно не должна чувствовать себя одинокой. Вот именно за эту черту характера я особенно тебя люблю. Толька, милый, я понимаю твое беспокойство обо мне. Я знаю и знала о том, что ты не отнесешься равнодушно к моему переходу в общежитие, но теперь ты, вероятно, уже все знаешь, мне не хотелось бы говорить тебе об этом, но и не могу скрывать от тебя, когда ты так требуешь ответа в каждом своем письме. Да, причина лишь только в том, что я не хочу и никогда не позволю самые прекрасные чувства на свете обливаться грязью. Я думаю, что ты меня поймешь и одобришь мой поступок. Я уверена, что ты, оказавшись на моем месте, поступил бы точно так же. Но не надо в этот день вспоминать плохое. Сегодня я хочу верить в то, что ты, мой самый главный человек, будешь скоро рядом со мной. Я хочу верить, что это случится очень скоро и что мы с тобой больше никогда не расстанемся. Ведь так же, Толька? Родной мой, как бы мне хотелось именно сегодня с тобой и ни с кем другим открыть шампанское и выпить до дна за мое 21-летие, а потом бродить и бродить с тобой по городу, мечтать и верить, что все будет так, как мы с тобой этого желаем.

Давай присядем на минутку, я хочу тебе сказать сегодня самое важное...

Разреши мне поцеловать тебя сегодня крепче обычного, ведь я же твоя жена».

«Если бы только знал, что значит каждая твоя строчка, каждое твое слово для меня. Вот сегодня хмурый, неприветливый день, правда, сыплет снег, а для меня — самый солнечный, самый замечательный день, потому что в этот день я разговариваю со своим любимым дорогим мужем.

Муж! При этом слове у девчонок, моих подружек, появляется усмешка, говорят: глупая выдумка. Выдумала себе какого-то мужа, сама не зная для чего и зачем. Но нет же, Толька, нет. Ведь я же не выдумала тебя, ты сам вошел в мою жизнь, и вошел настолько, что никогда тебе не уйти от меня. И я, как бы я ни желала, не могу уйти от тебя.

Родной мой, милый мой Толька, я знаю, я твердо верю в то, что, какие бы преграды ни стояли у нас на пути, все равно мы будем вместе, обязательно будем. Я также уверена в том, что мы с тобой построим самую здоровую, самую крепкую семью, которой все будут завидовать.

Мы не будем с тобой вспоминать о прошлом, давай перенесемся с тобой в будущее. Зачем ходить далеко, в следующем году я закончу институт, и если мой муж не приедет ко мне раньше, то я сама к нему поеду, и никто, слышишь, никто не помешает мне в этом. И вот наш вечер. Комната на дальнем Севере, в ней двое, он выполняет задание заочного строительного института, она рядом. Почему? Ей хочется знать все то, что знает он, она хочет помочь ему в том, что у него не получается. А вообще на сегодня довольно наук, Толька, давай почитаем с тобой какую-либо новинку.

Читай ты вслух, а я послушаю, нет, не волнуйся, я не усну, я буду смотреть на тебя и слушать внимательно. Ты устал? Ну что ж, ложись спать, нет, ты просто отдыхай, а я тебе почитаю.

На сегодня достаточно, ложись спать и спи спокойно, твой сон бережет всегда твой верный друг и твоя верная жена, всегда твоя Женька».

«Вот уже две недели, как я жду от тебя письмо, ну что же, я привыкла к тому, что должна писать тебе, не дождавись ответа. Да, привыкла, вернее, стараюсь убедить себя в том, что привыкла. Нет, никогда я не привыкну к этому, никогда я не смогу убедить себя в том, что так должно быть. Может быть, лишь только потому, что избалована была вниманием с детства? Может быть, не знаю, но хочу быть счастливой, как была когда-то. Ну, не знаю, что будет дальше, а меня уже потянуло на стихи.

Друг мой, напиши мне, почему молчишь?»

«Честное слово, Толька, не знаю, что случилось со мной, но во мне почему-то все поет, куда-то рвется сердце, как бы не случилось беды, ведь беда всегда так близко. Да, что за наважденье, не могу писать по-человечески, все заносит куда-то в сторону, может быть, потому, что весна в окно стучится. А что принесет мне эта весна? Не знаю, может быть, что-нибудь хорошее, чего я так долго жду. Не осуждай, Толька, безумную Женьку, ведь она очень впечатлительная натура. Это, вероятно, потому, что вчера смотрела фильм «Коллеги». Фильм замечательный, содержательный, и чем-то новым пахнет от него. Да, я согласна с автором, что прекрасна настоящая молодежь. Прекрасна своей непосредственностью, чистотой души, откровенностью.

Вот так получается, Толька, живешь и не видишь, что с тобой рядом ходят, живут такие же замечательные ребята, а вот посмотрела фильм и много общего нашла в наших ребятах. И вот ты попал в письме на моих подруг. Но они же на самом деле намного лучше, чем кажутся на первый взгляд, ведь всем им так хочется счастья и настоящей любви, и это уже хорошо.

Ты, вероятно, удивисься: почему же Женька сегодня такая хорошая? А ведь весной все кажется прекрасным и хорошим, как ни в какое другое время года. Пиши, как идут твои дела, что нового читаешь, какие новые фильмы видел».

«Наконец я сегодня дождалась того, чего так долго ждала,— твоих писем. Ты сегодня порадовал меня тройне, короче, я получила сегодня твою трилогию. Прости меня за то, что я такая дура, в общем, ты можешь меня называть как хочешь, потому что я этого заслуживаю.

Понимаешь, Толька, я часто забываю о том, где ты находишься, и мне хочется, чтобы ты хотя бы своими мыслями был чаще рядом со мной.

Поэтому так получилось и сейчас, во мне зыграла моя дурацкая гордость, и я решила, что не буду писать тебе до тех пор, пока не получу от тебя письмо. Иногда порывалась написать, но всякий раз что-то мешало мне это делать. Мне очень трудно было сдержаться, но я все же крепилась. О, как я сейчас презираю себя за то, что я так поступила. Кому нужно то дурацкое геройство, которое я проявила, прости меня, Толька, за то, что я заставила тебя мучиться, ожидая моих писем. Ну что ж, будешь знать, что Женька тоже может сердиться и что она еще глупая-преглупая девчонка.

Но я думаю, что хватит исповедоваться, думаю, что больше не повторю такой глупости. А вот настроение твое мне безусловно не нравится, хотя я тебя понимаю, Толька, но во многом твои рассуждения абсолютно неверны. Ты не прав в том, что можешь так плохо думать о себе, о людях. Ты не смеешь так думать. Я тебе писала, говорила и повторяю сотый раз, что ты нужен людям, необходим им, ты еще принесешь много, очень много пользы обществу. Ты пишешь, что многие превращаются в животных, но вот что я тебе скажу: грош им цена, всем тем людям, которые превращаются в животных. Они боятся посмотреть правде в глаза, боятся посмотреть на себя со стороны и понять то, что они все-таки заслужили то, где они находятся, и вот лишь только те, которые до глубины души осознают свои ошибки, про-думают все, они никогда не станут животными или не опустятся до их уровня.

Ведь таких, как ты, единицы, и я до сих пор гордилась тобой, гордилась тем, что ты среди всей этой грязи и подлости нашел в себе силу воли остаться человеком, так почему же, когда тебе осталась мизерная доля того, что ты уже пережил, ты начинаешь сомневаться в себе? За жизнь нужно бороться, Толька, и ты это не хуже меня знаешь.

Ты пишешь, что осенью я могу с тобой встретиться. Если бы ты знал, как я жду этой встречи. Я согласилась бы лететь к тебе в любое время года и в любую погоду. Толька, но если так получится, как ты пишешь, то я согласна на поездку к тебе в августе.

Музыка, да, это действительно такая вещь, которая переворачивает в душе все. Музыка почти каждый день разрывает мою душу на части, уносит меня далеко-далеко отсюда, и я забываю обо всем, и вдруг музыка обрывается, и тебе приходится спуститься на землю и осознать, что все это был лишь только сон. Часто, слушая

музыку, у меня на глаза наворачиваются слезы, и потом весь день я хожу как полоумная.

Недавно в журнале «Юность» № 1 за 1963 год я прочла новую повесть Аксенова «Апельсины из Марокко». Мне очень понравилась эта вещь, основное, что нравится мне у этого писателя,— это простота языка и правда жизни.

Вот читаешь и представляешь этих ребят словно живых. А сегодня я иду смотреть концерт хореографического ансамбля «Березка». Если ты смотрел фильм «Девичья весна», то ты должен помнить этот ансамбль. Я давно мечтала посмотреть его. И вот они в Ростове. Здесь целое событие, ужасно, что делается за билетами. Но меня выручила Аллочка, это та девочка, которая жила у мамы вместе со мной».

«Не могу передать тебе, Толька, словами то впечатление, которое произвел на меня ансамбль «Березка». Эту красоту, эту прелесть не передашь, ее нужно видеть самому, лишь тогда сможешь убедиться в том, что человек, когда смотрит эту прелесть, становится настолько красивым, настолько душевно богатым, что если бы он все время был таким, была бы просто райская жизнь. Представь себе на минуту молоденькую стройную белую березку. Посмотрев на нее, действительно хочется склонить голову пред «гордым величием ее красоты». И когда смотришь на сцену, ты забываешь о том, что ты в зале. Невольно твои мысли переносят тебя в лес, ты видишь эту березку, все плывет и кружится вокруг тебя в сладком тумане, и на душе так спокойно, так хорошо...»

«Вчерашнее твое письмо так взбудоражило мою душу, что я не знала, куда девать себя. Мне хотелось крикнуть, чтобы все услышали, все знали, мне хотелось сказать: «Неужели так слепы и бездушны люди, чтобы не видеть самое вопиющее: как гибнет человеческая душа». Нет, Толька, я не смогу никогда смириться с тем, что в тебе может умереть все то человеческое, что есть в тебе. Чего бы это мне ни стоило, я не допущу этого. Я не имею права допустить этого, потому что твоя жизнь лежит на моей совести.

Как бы мне хотелось, милый мой дружок, говорить с тобой каждый день».

Грустное ли письмо Анатолия встревожило Женю, почувствовала ли она сердцем, что новая волна отчаяния может сломить его,— все чаще и все настойчивее заставляет она его бегать с ней без усталости по концертным залам («Я приобрела для нас абонементы на лекции-концерты «Жизнь замечательных композиторов»), обсуждать музыку Грига: «Может, ты вспомнишь его «Пер Гюнта» — помнишь «Сольвейг» — «Зима пролетит, и весна промелькнет... Ко мне ты вернешься и будешь со мной»... Ты знаешь, Толька, вышла я с концерта наполненная этой музыкой и вот уже третий день хожу, и во мне звучит Григ, арии из его опер, его песни и пьесы. Когда-нибудь я расскажу тебе содержание этой оперы и историю ее создания».

«Итак, свершилось: я оформлена на работу с сегодняшнего дня учителем математики в средней школе № 1, т. е. в ту школу, которую я заканчивала, вернее, в которой проучилась 10 лет и год работала старшей вожатой.

Директор меня очень радушно встретил, ведь он меня знает с 1-го класса и предложил мне уроки математики в 3-х нятых классах и классное руководство в одном из них. И я согласилась. Во-первых, у меня будет много свободного времени, которое я постараюсь использовать для работы над дипломной, и все же буду приходить в интернат и вести исследования».

«Работаю очень много, времени остается только на сон и очень мало на такие культурные развлечения, как кино. Мои ребята занимаются с 13.00, следовательно, и я работать должна с этого времени. Но, увы, ведь я классный руководитель, у которого ежедневно уйма дел, вот и приходится быть в школе с 10 часов утра и до 7, а то и позже, вечера. А после дипломная работа в интернате. Прихожу домой в 9—10 часов, правда.

Очень устаю, но не жалею и не жалею на свою судьбу. Что я могу сказать,

работа эта — моя, и только на этой работе я забываю обо всем на свете. Как видишь, как я тебя и предупреждала, получается все совершенно так, а не иначе. Дело в том, что нам, пока не поздно, придется брать развод на тот брак, который давно жил между нами. Нет, Толька, ты не улыбайся, я не шушу, а говорю совершенно серьезно. Я не смогу быть ни твоей, ни чьей-нибудь женой. У меня на это просто не будет оставаться времени. Для семьи, хорошей, здоровой семьи, нужно очень много свободного времени, которого у меня нет и никогда не будет. Просто отчитать и уйти — нет, это не по мне. Или слушать вечное бурчание мужа, когда это кончится и т. д. — это тоже не в моих силах. Так что, дорогой муженек, считай, что это мое заявление на развод.

Сейчас ты скажешь: опять новый фокус моей Рыжей. Можешь считать это и так, но что поделаешь, видимо, такой уж я человек, с фокусами.

Толька, родной, не сердись, ведь я не хочу, чтобы мы жили так, принося друг другу только огорчения. Ведь без этой работы я жить не смогу, а другого выхода нет. Улыбаешься, знаю, что улыбаешься.

Знаю, что сейчас ты оформляешь наряды, что у тебя уйма дел и всегда будет так. Мы ведь с тобой люди одного склада, а потому нам с тобой будет очень трудно жить. Может быть, я ошибаюсь, может быть, но почему-то меня последнее время всегда одолевают эти мысли.

Пиши, как идут твои дела, движется ли дело с науками».

«Уже скоро год, как я прошу тебя о том, чтобы ты прислал мне свой дневник, а ты почему-то все отмалчиваешься... Насчет наук я с тобой не согласна. Никогда, слышишь, никогда я не оставляю то интересное дело, которому решила посвятить всю свою жизнь. А ты подумай сам над тем, удовлетворит ли тебя такая жена, как я, или нет. Я говорю серьезно. Если у меня получится стоящая дипломная, я буду обязательно учиться дальше. И хочешь ли того или не хочешь, чтобы я делила себя между науками и тобой, все же придется смириться или подписать развод, пока не поздно. Улыбаешься и думаешь: не открутится теперь, дорогая, все равно тебе придется быть моей. Может быть, может быть. Но все же не рискуй, а то жалеть придется. Возьмешь в жены такую противную рыжую девчонку, которую и днем с огнем не сыщешь, и будешь мучиться, появится она, как красное солнышко, и опять победит дальше.

Ты, вероятно, улыбаешься и думаешь: и кого она думает напугать! Не так ли?

Ведь я читаю все твои мысли, и, написав письмо, я уже примерно знаю, что ты мне ответишь. Напишу немного о себе. Работа идет на полный ход, воюю каждый день. Вчера на родительский комитет вызывала 3-х моих героев. Часто уходят с уроков и катаются на товарняках. Поговорили с ними очень строго, дали слово, что больше такие поступки не повторятся, но мне что-то плохо верится в их обещание, ведь не первый раз они дают его. А моему Никитину обещать — словно с горы катиться.

Меня больше всего пугает Никитин. Он какой-то безвольный мальчик и к тому же какой-то обозленный. Я его и своим помощником сделала, короче, все что могла испробовала на нем, нет, загадка для меня с тремя вопросами».

«Как видишь, пишу тебе уже 22-летним человеком. Говорят, старая уже, а мне все почему-то не верится, что мне уже 22, я чувствую себя 17-летней девчонкой и не больше.

Мне очень часто хочется побаловаться со своими учениками, но вовремя спохватываюсь. Я учительница, а поэтому должна вести себя солидно.

Дела мои пошли на поправку, как будто бы начали сговариваться с Вовкой Никитиным, не знаю, надолго ли такие перемены или нет. Ты пишешь, что звание учителя требует от меня очень многого, я согласна с тобой. Порой бывает и так, что совершенно не предполагаешь того, что нужно делать. Дети очень требовательны и любознательны. А ты знаешь, я никогда не думала, что мне придется когда-либо на уроках математики рассказывать какую-либо прочитанную книгу. А пришлось. Получилось это совсем неожиданно».

По моим часам урок подходил к концу, я задала домашнее задание, разобрали его всем классом, и жду звонка. А его нет. Моя детвора ко мне: «Евгения Васильевна, расскажите нам что-нибудь интересное». А тут, как назло, давно не читала детских книг, и признаться в этом стыдно. Вдруг вспомнила, что когда-то в седьмом классе я читала книгу «Кукла госпожи Барк», которая осталась в памяти хотя и не со всеми подробностями, но все-же что-то осталось в голове. Я призналась ребятам, что читала книгу очень давно, поэтому просила не судить меня очень строго. Начала рассказывать, а тут и звонок звенит, а они сидят и не думают шевелиться. Остановилась я на определенном месте и ушла из класса. Но теперь они до того стараются успеть сделать на уроке все, чтобы хоть одна минута осталась на рассказ. Так-то, Толя!

Может быть, еще рано хвастаться, но мне кажется, что у моего Вовки Никитина где-то откололся кусочек льда и растаял. Он совсем иначе стал разговаривать со мной. Сегодня написал контрольную работу по арифметике на «5», и многие учителя недоумевают, что с ним случилось. Не знаю, может быть, это ненадолго. Но все же я теперь вижу в нем хотя еще тонкую, но все же ниточку, за которую я могу ухватиться. Я вижу теперь те хорошие качества, на которых смогу сыграть.

Вчера мне пришлось провожать его домой, потому что несколько «разудалых» молодцов решили с ним расправиться за то, что он заступился за своих сестер, которые учатся в 6-м классе. Мы с ним перехитрили этих «молодчиков», а если бы ты видел, какими глазами он смотрел сегодня на меня. Слышишь, Толька, лед тронулся, и я постараюсь растопить его совсем. Вот на сегодня и все».

«В классе у меня дела идут на лад, правда не совсем блестяще, но 5 человек из числа неуспевающих будут успевать в этой четверти. По моему предмету по 3-м классам может быть максимум — 2 неуспевающих, а было 11. Результат неплохой, но это стоило мне титанического труда. Может быть, к концу года я достигну еще лучших результатов, конечно, я стремлюсь к этому, это моя мечта.

А Никитин мой, ты знаешь, полюбил меня, ходит за мной как ненормальный, но на других уроках все же изредка, но напакастит. Никак не мирится с учительницей биологии. Не любят они друг друга, и я не могу с ними ничего поделать. У него самое пренебрежительное мнение о ней, а у нее о нем, и я не могу никак примирить этих двух непримиримых врагов.

И все-таки мои мальчишки нет-нет да и приподнесут мне какой-либо сюрприз. Так что воюю я с ними ежедневно. А полюбила я их, и до того душа болит, если у них что-нибудь не ладится, что ты себе представить не можешь.

Где мы с тобой встретим Новый год? Ведь это идет третий Новый год, который мы встречаем вместе с тобой. Давай придумаем что-нибудь необыкновенное, ну, например, встретим этот Новый год где-то на краю земли в совсем-совсем заброшенном местечке. Кругом бушует вьюга, метет метель, а в нашей избушке тепло, наряжена небольшая елочка, часы показывают без 5 минут 12, а твоя жена все хлопочет, ведь не все еще готово. Ну все, я больше не буду, я готова. Открывай шампанское, а то мы не успеем проводить с тобой старый год, а он был для нас поистине не пустым годом. Это был год испытания верности нашей любви, выпьем за него, Толька.

А теперь за Новый, 1964 год. Ты веришь, что это будет год грандиозных свершений? Я почему-то жду от этого года очень многого, жду того, что этот год будет решающим в нашей жизни, и мы всегда вот так же вместе, в такой же избушке будем встречать каждый год. С Новым годом, счастье мое, родной мой».

«Мой Никитин опять-таки пропускает занятия, да в придачу уводит с собой «шатающиеся элементы». Я понимаю, что ему неинтересно сидеть на уроках, ведь он второй год в 5-м классе, но что больше всего меня поражает, это то, что он не пропускает ни одного моего урока.

Сегодня опять-таки с ним был очень серьезный разговор, была его мать, мне очень жаль эту женщину, бьется она одна, как рыба об лед, а ведь детей у нее трое, две девочки в 6-м классе да мой Володька в 5-м, да и девчонки не лучше его, дерзкие, грубые. Конечно, если искать причину, почему они такие, то ясно и понятно только

одно: что дети с раннего возраста избалованы матерью, а теперь она ничего не может с ними сделать.

Ну, наверное, довольно об этом. Я очень рада твоим успехам в работе, может быть, мне придется увидеть твои усть-неровские Черемушки. А может быть, мы будем жить в них? Ты знаешь, меня почему-то все пугают очень суровым климатом Якутии, говорят, что если я здесь мерзну в 20° мороза, то что же будет со мной в Якутии. Я, конечно, на эти вещи всегда отвечаю шуткой, что, дескать, меня же здесь некому греть, вот я и мерзну, а в Якутии мне мой муж ни за что не даст замерзнуть».

«Дорогой муженек! В этот праздничный день я поднимаю бокал вина за твое светлое будущее, за то, чтобы ты был самым счастливым человеком во всем мире, чтобы у тебя была самая красивая и умная жена и самые прекрасные дети и чтобы ты был примерным мужем для своей жены и самым хорошим отцом для своих детей. Выпьем, дорогой мой, за твои 32 года! Может, тост не такой, какой хотелось бы услышать тебе, но все же это говорит человек, которому ты впервые в своей жизни сказал слова любви.

Знаешь, мне что-то стало душно и тесно в комнате, давай сбежим на улицу. Там скрипит под ногами снег, кружатся ошалелые снежинки.

Молчи. Смотри, как красиво, как хорошо вокруг, и самое прекрасное то, что мы вместе, мы рядом».

«У меня дела идут своим чередом, свободного времени совсем, совсем мало. Помнишь, я писала тебе о Журавском — у него плохо с семьей. Так вот, я все же добилась своего, и мой Журавский в интернате. Надеюсь, что мои надежды оправдаются и в дальнейшем и он будет неплохим парнем. Все так же воюю с Никитиным, а он возмущается: «Ну чем вы недовольны, Евгения Васильевна, ведь я же на ваших уроках сижу как ангел». Вот дьявол, он не понимает того, что всякая его проделка сидит в моем сердце как заноза».

«Да, я на самом деле стану самой счастливой женщиной в мире.

Прости меня за то, что я принесла тебе некоторые огорчения одним своим письмом. Право, я не хотела этого делать, вернее, не преследовала такой цели. И не думай, пожалуйста, что я сомневаюсь в тебе, нет, просто ввиду твоего долгого молчания я начинаю волноваться, мало ли что может случиться на работе, да и, в конце концов, кто я тебе, жена или нет? Должна же я беспокоиться о своем муже или нет?

То-то, я не сомневаюсь, что ты соглашаешься со мной.

Ты говоришь, что трудно представить, что будет при нашей встрече. Конечно, это на самом деле трудно представить, потому что неизвестно, когда и при каких обстоятельствах она произойдет. И все же я знаю, что я не дам тебе ни над чем задумываться ни на минуту, пусть мы натворим уйму глупостей, пусть, но зато мы будем самими собой, а не какими-нибудь манекенами.

А знаешь что, Толька, если тебе этим летом не представится случая выбраться из тех мест, то я все же исполню свое обещание и явлюсь в Якутск собственной персоной независимо от того, закончу ли я институт в этом году или нет. Вот будет переполох у моих домочадцев. А что, ведь должна же я когда-нибудь ехать к своему мужу?

Нет, а ты представляешь на самом деле, твоя Рыжая появляется в каком-то якутском поселке и переворачивает там все кверху дном, отыскивая своего мужа.

Нет, нет, ты представь себе на минутку такую картину. Ты работаешь на своем объекте, и вот вдруг на горизонте появляется совсем неизвестная тебе особа довольно привлекательной наружности, подходит к тебе и так это серьезно спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как можно увидеть Анатолия Перова?»

...Сегодня мне опять пришлось серьезно говорить со своим Володькой Никитиным. Представляешь, вчера этот паршивец открыл в школьном коридоре окно и выбросил в него какую-то штукину небольшого веса и довольно малых размеров. А эта штукавина возьми и угоди какой-то женщине по голове. Вот и опять скандал. Не знаю, когда уж он у меня поуменьет.

У нас в семье новости. Анатолия после оправдания на суде назначили начальни-

ком шахты, приняли в ряды КПСС, так что опять начнутся «веселые» денечки. Шахта есть шахта. Он не желал такого повышения, но, увы, решили, что такие таланты даром пропадать не должны. Я его начала готовить в институт, да не знаю, что теперь получится из этой затеи, ведь у него теперь совсем не будет свободного времени».

«Сегодня воскресенье, у меня чудесное настроение, я весь день была с тобой, говорила, а сейчас решила еще поболтать. Сегодня я со своей ребятей была в лесу. Родной мой, если бы ты видел эту картину! Представь себе сплошной ковер весенних цветов, голубых просуренков и белых подснежников, я посылаю их тебе, чтобы ты лучше мог представить эту картину. Сплошной голубой ковер!

Хочешь, я спою тебе песню? Хочешь? Слушай, я дарю ее тебе вместе с весной, с цветами, со всеми теми богатствами, что есть на земле.

Ну давай вместе:

Черемуха душистая
С весной расцвела...

Хочу, чтобы ты понял, почувствовал эту песню. Тихо, Толька, слышишь, птицы поют? Давай теперь послушаем их.

Эх, если бы я только могла всю эту прелесть воплотить в музыку, мне кажется, получилось бы что-то очень хорошее. Да она звучит у меня в ушах, но я бессильна, я не могу, не умею это сделать.

Ты знаешь, когда я слушаю Штрауса «Сказки Венского леса», я всегда плачу. Не могу равнодушно слушать эту музыку. Она несет куда-то в неведомые края, раскрывает какую-то необычную, загадочную красоту».

«Да, родной мой, я твердо решила ехать к тебе, и не на прогулку, а насовсем. Я послала запрос на Якутское горно, жду вызова. Дома считают, что это еще не точно, поэтому волнуются сдержанно.

Напиши мне, какова температура будет в Якутии в июле — августе, потому что в это время мы собираемся ехать. Что необходимое мне нужно взять с собой? Много тащить за собой мне не хочется, ты как старожил тех мест посоветуй мне. Я думаю в июне сдать сессию, а в июле ехать в Якутск».

«Прости меня, дорогой, за то, что я причинила тебе своим вопросом столько боли. Честное слово, я не знала, что так получится».

Одно тебе скажу, что ты никогда не должен сомневаться во мне. Слышишь, никогда! И не следует убеждать меня в том, что ты был не ангелом, а сейчас — иной. Я это прекрасно знаю сама. Хотя и стараются убедить меня в обратном довольно умные люди подобно моему старшему брату. Он почему-то не верит никаким письмам и говорит мне насчет этого разную чепуху, так я считаю. Но знаешь, Толька, я его не обвиняю за то, что у него сложилось такое мнение о людях. Ведь на свободе встречаются проходимцы и подлецы, которые отравляют нашу жизнь, и через них люди, хорошие люди, потеряли веру во многое хорошее. Но меня никто и никогда не сможет убедить в том, что ты плохой. Я твердо убеждена в том, что ты самый честный, искренний и прекрасный человек. А уверена я в этом потому, что знаю, что в тебе живут все мои мысли, чувства, моя душа. Я стремилась к этому, и я добилась этого.

Может, это громко сказано, но я хочу сегодня поговорить с тобой так, как мы с тобой давно не разговаривали. Еще задолго до того, как ты меня узнал, я знала тебя, знала многое о тебе. И я решила, что этот человек должен быть счастливым и это смогу сделать только я. Поэтому я и решилась написать тебе письмо. С тех пор прошло три года. Я вижу, я знаю, верю, что ты будешь счастлив лишь со мной, так почему же ты сомневаешься в том, что я заберу у тебя это счастье? Нет, родной, я буду твоей. Лишь только твоей и не сомневайся во мне. Я знаю цену большой любви, когда за одно дыхание любимого человека готов отдать жизнь. Мне хорошо знакомо это чувство, и я склоняю голову именно перед таким чувством. С ним не страшны ни Север, ни морозы, и не волнуйся за меня, что для меня может оказаться слишком суровым климат

Якутии. С тобою мне ничто не страшно, и я никогда не посмею упрекнуть тебя в чем-либо. И если даже ты будешь свободен летом этого года, все равно я приеду в Якутск.

Послушай, родной мой, меня. Я думаю, что именно свободным человеком, рядом и вместе со мной ты должен поработать там же года два. Почему? А потому что я не желаю, чтобы тебе терзали нервы те подлецы, которые встречаются порой на свободе. Какие бы у тебя ни были характеристики, самые первосортные, эти идиоты, не зная тебя, будут видеть в тебе бывшего преступника, к которому нужно относиться подозрительно. А там тебя все знают, причем знают с хорошей стороны, и когда я увижу, что ты окреп по-настоящему, мы с тобой поедem, куда ты пожелаешь. А вообще нам, видимо, долго не придется сидеть на одном месте. Муж — строитель, а значит, и жизнь вся будет на колесах.

Ну и что же, в этом нет ничего плохого, зато мы с тобою будем вечно молодыми и увидим весь белый свет. Согласен ли ты со мной? Да, что-то долго мне нет ответа из Якутского горно. Я послала письмо вместе с твоим 25/IV. Но я все же надеюсь, что ответ получу. Вчера у меня был очень серьезный разговор с директором школы, и он благословил меня на поездку в Якутск. Он сказал, что верит в то, что человек ты хороший, что, дескать, Женька плохого не выберет. И если я тебе нужна как солнце, как воздух, то я не задумываясь должна ехать. Человек, от которого зависело многое, сказал свое веское слово, это умный человек, и ты можешь быть спокоен.

Единственное, что огорчает его, это то, что он не смог увидеть своими глазами мою свадьбу, ведь он мечтал о том дне, когда будет учительская свадьба, виновницей которой должна была быть именно я. Но я ему сказала, чтобы он особенно не огорчался, потому что я нисколько не волнуюсь и не жалею о сделанном, и я верю, что придет тот день, когда мы вместе с ним вышьем бокал шампанского за наше счастье».

«Видимо, у тебя сейчас подготовка к экзаменам и тебе некогда болтать со мной. Я хочу тебе сообщить новость. Якутское министерство просвещения прислало мне вызов, просят сообщить о дне выезда, а я сама еще не знаю, когда я смогу выехать. Сегодня мне прислали вызов на летнюю сессию с 25/VI по 25/VII, но я иду в отпуск с 10 июня, поэтому сразу же решила ехать в Ростов, попрошу, чтобы у меня приняли экзамены раньше, чтобы я числа 15 июля смогла выехать в Якутск.

Родной мой, ты чувствуешь, что мы скоро встретимся? Ты уже, наверное, испугался за свою Рыжую, что вдруг она не сможет перенести такой суровый климат. Пусть тебя это не волнует, я человек крепкий, ничего страшного не произойдет, все будет хорошо.

Ты пишешь мне, как мне поступить, когда я прибуду в Якутск, оставаться ли работать в Якутске или брать направление в поселок. Ведь тебе виднее. Правда, я приеду не одна, со мной собирается ехать твоя мама, а может быть, ей не стоит ехать в такую даль, ведь я буду с тобой рядом, а следовательно, все будет в полном порядке.

Мои ребятишки почуяли (вероятно, Никитин где-то пронюхал, я уже догадываюсь, что он у моего племянничка осведомился), что я уезжаю в Якутск, и делегация во главе с Никитиным ходила к директору школы и просила, чтобы меня не отпускали отсюда. Вызывает меня к себе Владимир Данилович, улыбается и спрашивает, не пришел ли мне вызов из Якутска. Пришлось показать ему вызов, и тогда он мне рассказал, что делегация в категорическом тоне заявила, что другого классного руководителя они ни за что не признают. У меня душа болит по этим маленьким охламончикам. Ведь это первое мое детище, мой класс. Класс, который считали самым последним в школе, ведь когда я взяла их, было 9 неуспевающих и к концу учебного года мы подошли с ними со стопрц, успеваемостью. Отряду присвоили звание «Отряд Спутник семилетки». Ясно, что трудов положено немало, недаром же с меня слетело более 10 кг. Скоро я поведу ребят в поход с ночевкой, повезу в Ростов на экскурсию.

У нас сейчас весна в полном разгаре. В нашем дворе буйно цветет сирень, вечерами я выхожу на крыльцо и вдыхаю жадно этот аромат. Много, очень много думаю о том, как мы будем с тобою строить нашу семью, хочется, чтобы это была самая счастливая и крепкая семья. Я верю в то, что все наши мечты и надежды сбудутся.

Спорить с тобой мы, конечно, будем, в этом не может быть сомнений, а вот ссориться мы не должны.

Тебе верится, что мы скоро встретимся? Но хотя ты и просил меня, чтобы не было сюрпризов, все-таки сюрприз будет: а разве мой приезд не сюрприз?

Моя мама говорит, что уж очень ей хотелось своими глазами увидеть свою меньшую дочь в свадебном платье. Придется огорчить ее — это невозможно. Я все время уговариваю ее, что все это предрассудки, что не всегда все одевают свадебные платья и бывают во много раз счастливее тех, кто надевает их. Вообще она уже сжилась с той мыслью, что я все равно уеду, мама меня знает очень хорошо, уж если я решила, то меня ничто не сможет свернуть с моей дороги. Пиши, как идут твои дела в научном мире?»

«Я давно хотела серьезно поговорить с тобой о твоей ревности. Не улыбайся, разговор серьезный. Страшно не люблю ревности. Сама я лишена этого пережитка. И если уж у меня будет очень ревнивый муж, я не смогу его долго терпеть, честное слово. Я считаю, что если человек ревнует, значит, он не верит тому, кого ревнует, а если не верит, зачем же тогда совместная жизнь?

Я хочу предупредить тебя на будущее, что если уж у тебя и проснется такой чертик, то постарайся его подавить, не показай его мне, иначе я могу перестать уважать даже самого дорогого мне человека. Ты должен всегда помнить одно: что если я решила связать свою судьбу с человеком, значит, я буду до конца верной ему, и если у меня что-то стрясется, я сама немедленно расскажу тебе обо всем, ничего не скрывая.

Мама у тебя тоже ревнивая натура, и эта ревность у нее иногда доходит до большой глупости. Можешь себе представить, какой был концерт мне устроен, когда я пришла домой в половине одиннадцатого. Я понимаю, что она любит меня как родную, понимаю, что ее волнует мое отсутствие, но я не могу согласиться с тем безумием, что я не имею права поговорить с человеком, если он мужского пола.

Почему у людей такое предвзятое мнение о самых простых человеческих отношениях? Я никогда не соглашусь с тем, что я не имею права, если я замужняя женщина, поговорить с другим мужчиной. Ну почему? Я уважаю людей умных, мне интересно с ними говорить, я могу часами обсуждать любые вопросы, которые имеют хоть какое-то отношение к философии, да и вообще меня влечет все то, что интересно. И вот после того как я поговорила, поспорила с человеком по какому-то вопросу, меня обвинили в том, что я не порядочная девочка.

Моему возмущению не было предела, я доказывала маме, что я человек довольно взрослый, вполне могу отвечать за все свои действия и поступки, что я имею право руководить сама собой и никогда не соглашусь с тем, чтобы меня, как пятилетнего ребенка, водили за руку.

Я росла очень свободно, мне всегда во всем верили, я могла являться домой в любое время, и меня никто никогда не упрекнул в том, что я не порядочная. И вдруг на тебе. Поговорила с мужчиной, он проводил меня до дверей нашего дома — и я стала не порядочной?

Понимаешь, не могу жить, не веря людям, и вдвое тяжелее, когда не верят тебе. Неужели и ты такой же ревнивый до безумия, как мать? Нет, я не хочу верить в это, иначе нам никогда, слышишь, никогда не быть вместе. Я еще раз говорю тебе, чтобы после не было упреков: я люблю людей и верю им, а по всему этому я всегда буду в обществе людей».

«Родной мой, я также с нетерпением жду нашей встречи, но все же нам придется заехать в Якутск, т. к. Министерство просвещения Якутии просит меня сообщить о дне моего выезда, да по прибытии в Якутск мне предлагается заключить договор сроком на 5 лет. Я думаю, что этого не стоит делать. Кто знает, как сложатся обстоятельства, сможешь ли ты пробыть там еще 5 лет, так что я думаю, не стоит заключать никакого договора, а вообще тебе виднее, ведь ты, можно сказать, коренной житель тех мест.

Когда я показала директору вызов, он пришел в ужас от того, что я должна пробыть в Якутии 5 лет. Всех почему-то пугает то, что я слишком худенькая и на вид слабенькая девочка, безусловно, это многих пугает, а я почему-то думаю, что все это не столь страшно, как кажется нам, южанам, на первый взгляд.

Ты зря не терзайся мыслями о том, как вести себя в моем присутствии. Встреча все покажет. Вот увидишь меня — и все станет на свои места, будто мы с тобой вечность были вместе. Просто многие говорят так, кто впервые сталкивается со мной. Ты не подумай, что Рыжая решила себя малость похвалить, я тебе говорю, как это есть на самом деле. Пиши, как будешь сдавать экзамены».

«Дорогой мой человек!

Вот закончился учебный год, и пришла пора расставания с моими ребятами. Сегодня у меня было последнее классное собрание, я ужасно расстроилась и решила поговорить с тобой, чтобы успокоить свою душу. Я не хотела говорить им о том, что мы расстаемся с ними навсегда, но, как всегда, мой Никитин задал прямой вопрос, правда ли то, что я уезжаю. Я не могла лгать детям и сказала правду о том, что я уезжаю. Если бы ты только видел эту трагедию: Никитин первый вылетел из класса со слезами на глазах, а все остальные подняли рев, глядя на них, всплакнули родители, я не могла равнодушно смотреть на эту сцену, вышла из класса и в учительской разревелась.

Когда я успокоилась и вошла в класс, там текли воспоминания о том, какими были мои ребята, когда пришла Евгения Васильевна, и где они были с ней, и что делали. У меня создалось впечатление, что меня собрались хоронить и ведутся воспоминания, как у гроба покойного. Я вошла в класс, и рассмеялась, и сказала им все, что думала, что, дескать, рано меня хоронить, я еще жить хочу, и не нужно слез, потому что я всегда буду о них помнить и писать письма. Но ребят очень трудно успокоить такими словами. Мы договорились завтра весь день провести вместе за городом, и они повеселились.

Трудно, очень трудно расставаться с тем, что дорого сердцу. А ведь мои ребята заняли большое место в моем сердце. Я думаю, что ты не ревнуешь меня к детям, но их я очень и очень сильно полюбила.

Родной мой, если бы ты был сейчас со мною рядом, мне было бы легче, но ничего, это все пройдет, только вот за Вовку Никитина у меня болит душа. Уж больно он горяч. И не каждый может понять его. Если бы я только знала, кому достанется этот взбалмошный характер, я была бы спокойней. Он замечательный мальчишка, и я верю, что он будет хорошим человеком, как и Саша, у него чуткая душа.

Прости меня, родной, за такое письмо, но я хотела поговорить с тобой, поделиться своей печалью».

Что ждало Женю в далекой Якутии? Каким будет первое свидание, когда она, юная, веселая, певунья и плясунья, встретится лицом к лицу с человеком, которого знала только по письмам, фотографиям, верила в него и ради него пустилась в это неведомое далеко?..

Знаю, все знаю, что было дальше, и все же, представляя себе, как переступает Женя порог дома, куда под конвоем на свидание с ней приведут человека, с пятнадцатилетнего возраста попавшего в заключение и пробывшего там почти двадцать лет, — я невольно чувствую, как у меня сжимается сердце.

— Вам хорошо запомнилась первая встреча? — спрашиваю я Женю и Толю.

...Опять прерываем на время чтение писем. Я жду, не тороплю с ответом, чувствуя, как волнует обоих погружение в прошлое.

Анатолий:

— Сначала мне дали общее свидание с мамой.

Я:

— Что значит общее?

Анатолий:

— Комната... чуть побольше этой. Стол. С одной стороны сидят родственники, с другой мы. На этот раз никого, кроме нас с мамой, не было. Рад был свиданию, но все мысли о Жене... Приехала, где-то рядом, увидимся завтра. Вдруг у окна появилась

девушка. Я замер. Она! Сердце куда-то ухнуло. Она. Такая, какой видел ее в воображении, на фотографии... Да нет, лучше, гораздо лучше. Вот тут-то на меня напал страх, навалился, как глыба, не продохнуть. Ни сомнений, ни надежда; не останется! Не может да и не должна остаться здесь, в Якутии, эта рыжеволосая юная девушка. Не помню, что говорила мне мама, что отвечал я; видел только улыбающееся лицо Жени и конвоира, не сводящего с нее восхищенных глаз: такую не часто увидишь в наших краях.

Женя:

— Вошла я в комнату, взглянула на Толю, в его глаза и поняла, что творится с ним. А он сел в сторонку, растерянный, робкий, какой-то подавленный. Я сама подошла к нему, села рядом, взяла за руку. Такое было чувство, будто давно, давно знала его, расстались и вот вновь свиделись...

В письме же, которое прислала мне Женя, в ответ на мои вопросы, откуда в письмах задолго до этой встречи появились вдруг «моя женушка», «мой муж», она поясняла:

«Валентина Филипповна, милая, здравствуйте!

Откуда появилось в наших письмах «муж» и «жена»?

Мне надоели всевозможные ухаживания, пустые слова, все это казалось несерьезным, ненужным, и я стала придумывать версию о том, что я замужем, а поэтому мне никто не нужен.

Я написала ему, что придумала версию о замужестве, он эту шутку принял всерьез и стал называть меня женой.

Еще два года в письмах мы называли друг друга мужем и женой.

В 1963 году, в ноябре, мне пришлось перейти на заочное отделение, я перенесла на ногах пневмонию и очень ослабла.

1964 год для нас начался необычно, Толе снизили срок с 25 лет лишения свободы до 15. Я уже не мыслила, как я могу быть вдалеке от него. Мне хотелось видеть его, задавать вопросы и сразу получать на них ответ, и я решила ехать. А потом его письма становились все тревожнее, в них сквозила тоска, я боялась, что он надломится, сорвется, а этого я не могла себе представить.

Нам дали общее свидание на 4 часа. Мы очень ждали этого свидания, боялись его, правда, еще в письмах договорились: если не понравимся в чем-то друг другу, то сразу же скажем откровенно. Но наши опасения были напрасны. Я не знаю, чем я могла понравиться ему, хотя многие, когда знакомились со мной, не скрывали удивления, зачем я связала свою судьбу с Толей. Посылаю Вам то фото, какую я прибыла на Север, такую Вы меня уже не видели². А меня поразили в нем робость, скромность, чистота в обращении со мной. Не стану скрывать, я видела и хамство, и наглость, и ханжество по отношению к женщинам со стороны мужчин. А здесь какое-то благоговение ко мне, он долго считал меня неземным созданием, боялся взять меня за руку. Ну как тут было не преклониться перед такой чистотой, а с другой стороны — конечный человек для тех, кто его не знал. Правда, мнение о нем в колонии у начальства и учителей было хорошее, и мне было приятно слышать о нем лестные слова.

Потом его стали готовить на поселение, а я осталась работать в поселке в вечерней школе учителем. Как и во всяком поселке, все как на ладони. Пойду в клуб, ему сразу же известно, я не скрывала, но и его стали дразнить, что могут увести невесту. И Толя стал настаивать, чтобы я стала его женой. О законной женитьбе там не могло быть и речи. Наши друзья помогли нам устроить свидание, тайное от администрации, — эту тайну знают немногие, в числе их и Вы, Валентина Филипповна. И 23 сентября 1964 года мы стали мужем и женой, неофициально. Это наш день, и он был и остается самым прекрасным и светлым днем в нашей жизни.

Потом его увезли в Промышленный на поселение, а я осталась до конца полугодия в поселке. Но мы твердо решили, что именно в 1964 году должен быть зарегистрирован наш брак, а ни в каком другом, — очень знаменательным он был для нас. 31 декабря наш брак был зарегистрирован. А дальше вам все известно...»

² Жаль, что нельзя напечатать эту фотографию: на ней светловолосая прелестная девушка.

Что было известно, рассказывают письма этого периода. Встречи, чаще на расстоянии, весточки через гонцов-доброхотов, редкие свидания, ожидания, исступленное ожидание дня, когда можно не расставаться. Крепнущие день ото дня чувства, вера и... огромное счастье, нахлынувшее на обоих вопреки всему.

Многие из писем этого периода я не привожу, это невозможно — так их много. — Да и не могу: они более, чем все другие, предназначались лишь друг для друга, очень интимны и вместе с тем удивительно чисты и возвышенны. Меня глубоко поразила пафос этих писем. В тяжелейших условиях — можно ли придумать что-нибудь более неподходящее для молодежи — двое любящих испытывали поистине необыкновенное, безмерное, всепоглощающее счастье, исступленную радость любви, узавания.

А ведь каждое свидание давалось обоим нелегко.

Анатолий писал:

«Женька, любимая девчонка! Большое спасибо за все, за радость, за веру в человека и основное за то, что ты рядом. Рыжая, родная моя, пусть нам не пришлось выговориться и сказать друг другу все то, к чему мы стремились, но основное мы сказали, и теперь нет той силы, которая бы заставила меня изменить своему слову. Да, и еще тысячу раз да! Да! Мы всегда, слышишь — всегда будем вместе. Сегодня тебе почему-то показалась неискренность в моем согласии, что ты останешься здесь. Что же, может быть, ты в чем-то и права. Но тебе надо понять, что говоря так, я прежде всего думал о тебе. Я не хочу, чтобы ты ходила и унижалась, прося о минутном разговоре со мной.

Главное — мы рядом, и уже это дает мне силы быть выше всех. И если раньше, когда ты была дома, я сумел ради нашей встречи стать совершенно другим, то теперь, когда осталось так мало, никто ничего не сможет сделать со мной. Твой Толька».

«Толик, родной!

Сегодня я как будто бы опять побывала с тобой вместе, почувствовала всю твою теплоту, любовь и заботу обо мне. Спасибо, родной, за все: за нежность, любовь и заботу. Ты мне принес счастье, пусть это кажется странным для многих людей, но я счастлива, очень счастлива, и ничто и никто не сможет разубедить меня в этом. Я горжусь тобой, слышишь, горжусь и не собираюсь ни перед кем склонять голову. Ты не волнуйся о том, что кто-то посмеет упрекнуть меня тобой. Я считаю, что умный человек этого не сделает, а дураков слушать не следует, да и стоит ли обижаться на дураков.

Ты не думай, что я унижалась перед кем-то, когда увидела тебя на объекте. Мне очень легко удалось договориться с солдатом, он меня понял и помог мне, я просто хотела еще раз взглянуть на тебя, убедиться в том, что ты жив, здоров и что настроение у тебя неплохое, а теперь я могу быть спокойна. Правда, за тот случай, когда нам не дали с тобой проститься, кое-кто получил по заслугам и передо мной извинялся.

Ты спрашиваешь, как я устроилась, — хорошо, пока что нахожусь у Тани, вероятно, я останусь в этой квартире, так говорит Елена Михайловна — это директор вечерней школы, чудная женщина, она уже позаботилась обо мне, говорила с кем нужно, и ей сказали, что в крайнем случае я буду в этой комнате, где сейчас живет Таня. Меня это вполне устраивает. Тане дают новую квартиру, а для меня этой комнаты вполне достаточно, да и что еще нужно, комната в самой школе, очень теплая, сделаю небольшой ремонт, побелку — и будет все в порядке.

Ты спрашиваешь, что мне нужно, ты знаешь, мне сейчас очень много нужно, но это все будет постепенно. Конечно, в первую очередь мне нужен стол и стул да этажерка для книг, вот и все. Ну, а остальное, как одеяло, подушку и так далее, я приобрету в магазине. Короче, все это наживное, и меня это сейчас совсем не расстраивает, ведь я у тебя оптимист. Да и люди меня окружают хорошие, я чувствую себя как дома, совсем не ощущаю одиночества. Я рада, что смогу работать с таким директором школы, как Елена Михайловна. Она очень молодая женщина, года на 4 старше меня, очень простая, короче, подруга хорошая, о большем мечтать и не следует.

Теперь о твоей учебе. В университет я поеду обязательно по своему делу и, без-

условно, по твоему. Я думаю, что даже если тебе не удастся поступить в этом году, я возьму учебный план, достану нужные учебники, и мы сами с тобой осилим первый курс. Если будет идти речь о поселении, то нужно добиваться того, чтобы тебя закрепили здесь за какой-либо стройкой, мне очень нравится этот поселок, да удобно тем, что он недалеко от Якутска.

Да! Зачем ты вернул программу, может быть, она будет нужна ребятам, которые думают поступать в техникум?»

А н а т о л и й — Ж е н е

Вчера у меня был не слишком праздничный день, и все же я отдыхал вместе со своей ненаглядной Рыжей любовью. А с субботы на воскресенье я даже во сне не расставался с тобой: мы опять были вместе и я целовал свою маленькую столько, сколько мне хотелось. Мы оба были очень счастливы.

Правда, просыпаться было так мучительно, ибо вместе со сном уходила ты, а я опять возвращался в это так опостылевшее мне общежитие. А вот то, что тебя так здорово расстраивают все дурацкие разговоры всевозможных кумушек, мне не нравится. Конечно, я понимаю, что вся эта болтовня действует на нервы, но ведь ты-то отлично знаешь, что люблю тебя. Значит, все остальное не стоит того, чтобы ты портила свои нервы. Я же просил тебя—будь выше и никогда не показывай, что тебя тревожат эти разговоры. К тому же кто говорит? Пойми, если бы ты была плохая и вела такой же образ жизни, как и они, то им бы было легче, потому что у них перед глазами не было бы живого упрека. Ведь каждому подлецу не хочется, чтобы другие люди были лучше и честнее его, и уже в силу этого он если не сможет сделать так, чтобы и честный человек стал подлецом, то старается хотя бы словесно облить честного человека грязью. Но к честному и порядочному человеку никогда не прилипнет вся эта выдуманная кем-то грязь. Так что выше нос, Рыжая, я всегда с тобою, и я верю в тебя.

Женька, родная, как мне хочется сейчас расцеловать тебя и целовать, целовать до опьянения, чтобы забыть все, все и остаться только с тобой вдвоем и ласкать тебя. Я не знаю, мне кажется, я бы не задумываясь отдал полжизни, чтобы пробыть с тобой день или ночь. Но посмотрим и постараемся придумать что-либо. Твой заказ постараюсь выполнить побыстрее, но, наверно, не чертежным почерком, а плакатным пером, и хуже не будет.

На этом закругляю, а то я устроился писать в таком месте, что еще немного — и у меня отмерзнут руки. Итак, до свидания, моя радость, крепко обнимаю и целую бесчисленно раз. Всегда твой муж Толька.

Только что пришел с обеда наш гонец, но он не увидел тебя, и это в какой-то степени огорчает. Почему-то мне мало просто прочесть твое послание: я обязательно должен узнать, как ты выглядишь, какое у тебя настроение и о чем ты говоришь. Не знаю, быть может, это и может быть неприятным, но я не могу иначе. И вот всегда, поговорив с гонцом о тебе, я становлюсь намного спокойней, и уже тогда я могу начинать заниматься делами.

Добрый вечер, дорогая моя женушка!

Пришел я с работы, помылся, переоделся, разумеется, поужинал и взялся за книги. После подумал, достал новую авторучку, которую ты мне подарила в день рождения, и решил, что первое написанное этой ручкой должно быть письмо к той, кто подарил мне. Я задумал кое-что, и это кое-что должно исполниться, если ручка будет писать хорошо. И оно обязательно исполнится, ибо ручка пишет отменно, хотя я еще и не привык к ней так, как к старенькой. Вот ты, наверно, читаешь и думаешь: какую чушь плетет. Думаешь, да? А плести я начал по той простой причине, что днем во время нашего разговора у меня было злое настроение.

Рыжая, если в моем дневном послании тебе что-либо показалось не в меру злое, то не обращай на это внимания. Давай мы лучше побудем вдвоем, поговорим о нашем личном. Ты согласна? Тогда иди ко мне, я тебя обниму и крепко, крепко поцелую в твои всегда радостно приоткрытые в улыбке губы.

Я хотел бы вечно быть с тобой, чтобы никто не мог разлучать нас. Мне так надоело находиться в таком idiotском положении. Я хочу не ворованного счастья, ты понимаешь, не ворованного. Хочу, чтобы ты всегда была со своим мужем и чтобы мы могли по-настоящему почувствовать один другого. А то вышло у нас как-то не совсем так, как должно быть, и ты, по-моему, так и не узнала того, что должна узнать женщина. И вот это-то и гнетет меня.

Кажется, я сегодня слишком разговорился, и почему-то я на бумаге всегда могу высказаться свободней, чем так. А ведь если говорить по-настоящему, то мы так ни разу и не поговорили: у нас еще ни одного раза не было столько времени, чтобы мы могли высказаться от и до. А я так вообще готов только слушать тебя, и, что бы ты ни говорила, я способен смотреть на тебя и слушать твой говор.

Быть может, это послание и не получится даже веселым, но у меня такое тоскливое настроение, что даже передать трудно.

Вчера Владимиру пришел из Москвы, из Президиума Верховного Совета, ответ на его жалобу. Его освободили, и, наверно, уже сегодня вы будете иметь удовольствие видеть его вольным человеком. Вот, кажется, я должен радоваться вместе с ним его освобождению, я и радуюсь за него, но вместе с этим чувствуется, что уходит еще один замечательный друг, без которого будет многого не хватать. Наверно, он останется до весны работать здесь.

Поверь, я живу не так уж плохо, а сравнительно со многими даже хорошо. Теперь об основном: о нашем браке. Любимая моя женушка, поверь, я хочу этого не меньше, чем ты, а может, даже и больше. Правда, по этому вопросу я могу сказать только то, что знаю. Когда я был на Нере, там были случаи, что ребята расписывались, но для этого нужно было пробить целый ряд препятствий. Короче, придется, по-видимому, обращаться к Сидорову или к Лаптеву, и только с их благословения мы сможем сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Наше же руководство, по-моему, не сможет решить этого. Впрочем, надо попробовать и здесь, хотя и очень мало надежды.

Теперь обо мне. Женя, я пробовал обращаться в несколько техникумов и вузов, но отовсюду один ответ: надо самому сдавать вступительные экзамены, а это для меня пока еще неразрешимый вопрос. Вот я и хочу просить тебя, когда будешь в Якутске, то узнай, как это можно сделать, знаешь, мне не хочется терять лишний год. В Якутском университете есть преподаватель математики некий Ким Володя, мы с ним были когда-то хорошими приятелями года до 53-го, так вот, если тебе удастся встретить этого человека, то расскажи ему все как есть и передай мою просьбу помочь мне в этом вопросе. В крайнем случае, если ничего нельзя будет сделать, то постарайся найти программу строительного заочного отделения, разумеется, как ты хочешь, вузовскую. И мы сами займемся науками, чтобы не терять зря времени.

...Мне немного тоскливо, и я решил все же разобраться, как случилось, что я полюбил тебя и что ты мне стала дороже всех, даже дороже матери.

Если рассматривать человека любого постепенно с самого его детства, то, понаблюдая, можно заметить, что каждый рождается дважды: впервые — это физическое рождение, после которого ребенок растет, ходит в школу и осваивает науки, короче, живет и не думает, для чего и как. Приходит время, и, между прочим, для всех разное, и человек задает себе вопрос, для чего он живет и чем окончится его жизнь. Вот в это время человек начинает полностью пересматривать все, что он прошел, и после этого пересмотра каждый решает, и решает уже окончательно, разумеется, если только он это делает, а то ведь может выйти, что можно прожить жизнь и так и не задуматься над тем, как ты ее прожил. Но об этой категории людей я не хочу говорить.

Итак, Рыжая, я отвлекся. И вот вместе с твоими письмами ко мне пришло и это. Я, читая написанные тобой письма, стал думать, почему ты решила написать мне, и, по всему, писала так искренне. И вот твои письма стали для меня тем, с чего я начал пересматривать все то, что было мною прожито. И я сумел понять, что, к своему огорчению, прожил я довольно глупо. Что свою жизнь, которая дается однажды, я сам сознательно затолкал в помойную яму. А это очень нелегко — понять, что столько лет вычеркнуто и, главное, что винить-то некого. И вот тогда, после всех этих раздумий, я, можно сказать, по твоей воле родился вторично — уже как сознательный человек,

который сумел разобраться во всем и сделать определенные выводы. И тогда же я понял, что смогу жить только с тобой. С этого все началось.

Между прочим, второе рождение происходит не сразу и не так легко, как это пишут некоторые авторы. Ведь человек должен избавиться от всего того, чем он жил, во что верил и за что способен был умереть. И я не знаю, сумел бы я устоять и победить в этой борьбе с самим собою, если бы ты все эти годы своими письмами, своей верой в меня не помогла мне поверить, что я смогу быть иным. Да, Женька, ты сделала меня таким, каков я есть, но еще и сейчас я не могу сказать, что я на твердых ногах. Видишь ли, ты сумела оторвать меня от прошлого, но и той новой, настоящей жизни я еще не получил. Ты веришь в меня, и я стал лучше, у меня появилась цель, но эта цель неразрывно связана с тобою, и только с тобою я смогу дойти до конца. Вот так и родилась моя любовь, родилась не сразу. Меня пугала разница в возрасте, и все же я решил, что мы сможем быть счастливы только вместе. Я знаю, что многим этого не понять, ибо они меряют жизнь другим мерилом, но ты смогла понять меня, и только ты можешь помочь мне устоять. Ведь сейчас я оторван от привычного и взамен ничего не получил, а это тяжело, тем более когда ты понимаешь, что можешь остаться совершенно один. Ведь со старыми друзьями порвано, новое, свободное общество еще сомневается во мне, они мне не доверяют полностью, в ином случае меня бы давно освободили, и лишь ты одна даешь мне силы стоять на той дороге, на которую я стал по твоей милости.

Вот по всему этому я и считал тебя неземной, я боялся спугнуть тебя слишком смелым движением, а когда убедился, что ты земная, у меня не выдержали нервы, слишком велико было напряжение. Но это пройдет, я знаю. И тогда мы — ты и я — будем самыми счастливыми людьми в мире. Вот я пишу, а сам еще не уверен, отдам ли я тебе это прочесть, слишком многое было исписано мною в минуты грусти, и почти все я пожег, боясь, что ты неправильно меня поймешь. А сейчас я знаю, что если кто и способен меня понять, то только ты да еще, может быть, мать. Вот так, родная. Написал я что-то вроде исповеди, а для чего написал, и сам не знаю. Просто мне очень хотелось поболтать со своей любимой девчонкой — с тобой, моя радость и жизнь.

Будешь в Якутске, то обязательно зайди к министру и поговори с ним насчет свидания и бракосочетания. А вот в отношении того, что нам нужно подождать, то ты не совсем правильно меня поняла, ибо это говорю не я, а те товарищи, которые могут это устроить.

Что касается меня, то я готов в любое время дня и ночи отправиться к тебе, моя дорогая женьушка. С замполитом буду говорить обязательно, как только увижу его после работы. Вообще у меня начинается чертова свистопляска с закрытием нарядов. Вчера говорил с Поляковым насчет квартиры, он говорит, что как только сдадут новый дом, то после этого он выделит квартиру и тебе, правда не обещает в новом доме, ну это пока.

Я ужасно рад, что тебе понравилось у этих ребят. По-моему, эта семья больше чем кто другой способна понять нас и нашу любовь. Лично я знаю Тоню всего лишь со слов Юрия, но уже сейчас я уважаю ее как настоящего, умеющего любить и быть любимой человека. И однажды поверив Юрию, я знал, что и тебе они должны понравиться. И, как видишь, я не ошибся в этом. Между прочим, и ты им очень понравилась. Так что можно считать, что у тебя прибавились хорошие друзья.

Женька, любовь моя, если бы только знала, как я хочу настоящей человеческой встречи с тобой. Пойми, человеческой. Это такой встречи, о которой бы ты могла вспоминать всегда. И я не знаю, что бы я только не сделал ради этого. Но, по-видимому, нам придется еще порядочно ждать этот день. И помочь нам в этом смогут, наверно, только в якутском министерстве или если только меня выведут на поселение. Но даже если меня и выведут, то, по моим соображениям, остается очень мало надежды на то, что меня оставят работать здесь. Впрочем, об этом пока судить слишком рано. Но все равно, что бы ни случилось, мы обязательно будем вместе. Я уже иной жизни для себя и представить не могу. Да и не желаю представлять.

Рыжая, наша любовь тем и сильна, что она длится годы, что мы годами стремились друг к другу, и уже даже по этой причине мы обязаны быть счастливы и жить

так, чтобы все эти неверующие и сомневающиеся смотрели на нас и завидовали нам. И так обязательно будет, в ином случае мне не нужна и свобода, ибо она не принесет мне того, к чему я стремлюсь все время с того дня, как удостоверился в том, что полюбил тебя. Да, Женька, да. Ради тебя я порвал с прошлой жизнью, ради тебя я стал таким, каков я сейчас, а вместе с тобою я стану еще лучше, и пусть тогда кто угодно каждый по-своему удивляются и думают что хотят.

Да, я люблю тебя, и я это говорю всем, мало того, я способен закричать об этом на весь мир, и пусть все знают, на что способен человек, когда он по-настоящему любит.

Сегодня мы целый день не говорили, и я очень соскучился по тебе. Целый день я провел за различной писаниной: дорабатывал наряды — провозился почти до двух часов, написал пару писем, одно маме в Ростов. Не знаю, понравится ли ей, но ведь дело не в этом, но все же в письме я обратился ко всему семейству, вспомнил всех — кого знаю, разумеется, как смог успокоил всех, объяснил здешнюю жизнь, ну и многое другое. Основное — попросил всех не беспокоиться и пообещал, что при первой возможности мы приедем к ним. Короче, по моим соображениям, письмо вышло неплохое, но как его воспримут там — судить не берусь.

О нашей тайне умолчал, хотя язык и чесался, но твое желание для меня закон, видно, у тебя есть свои соображения по этому поводу. Что касается меня, то я не вижу причин скрывать нашу любовь, правда, я понимаю, что здесь пока не должны знать об этом по многим причинам.

Женька, милая, извини, что не передал журнал, просто вышло так, что гонец ушел намного раньше обычного, а я был занят: торопился с одним товарищем доделать стулья. Не знаю, понравятся ли они тебе, но если нет, то при случае сделаю другие. В отношении этажерки что-либо придумаю на днях. Рыжая, моя дорогая жenuшка, я чертовски хочу нашей встречи, хочу, чтобы мы вновь были вместе и обязательно только одни.

Я не знаю, какое настроение у тебя, но для меня наша встреча прошла как сказочный сон, и мне даже не верится, что все, что произошло, действительно было.

Вообще-то на днях должен подъехать наш командир, а он вроде мужик неплохой. Уезжая, он обещал, что когда приедет, то сразу же подаст мое дело на комиссию для перевода меня на «пятый». Ты знаешь, я так жду этого перевода, как раньше не ждал свободы, потому что вместе с «пятым» мы навсегда сможем быть вместе.

Женька, любимая моя девчонка, здравствуй!

Вчера меня ужасно напугали, сказав, что ты заболела, и я эти сутки не находил себе места, считая себя виновным в этом. А сегодня, увидев тебя, я даже растерялся. И вот сейчас мне почему-то кажется, что ты слишком поторопилась, выйдя на улицу без пальто. Рыжая, я очень прошу тебя, будь внимательней к своему здоровью. Пойми, что для меня нет сейчас во всем мире человека, который бы был мне дороже тебя. Я не могу понять, что же произошло, но после нашей встречи я постоянно думаю только о тебе. С тобою весь день нахожусь на работе, и даже идя в этом так надоевшем мне строю, я думаю только о тебе. И если сейчас кто-либо спросит, что я чувствую, то, право, я, пожалуй, не найду тех слов, чтобы выразить то, что происходит во мне. Видно, правы были в древности, говоря, что за любимого человека можно не задумываясь отдать жизнь. Сегодня наши учителя в разговоре со мной немного пошутили, и поверь, я не знаю, как удалось мне сдержаться, чтобы на невинную, кажется, шутку не наговорить грубостей.

Женька, любовь и жизнь моя!

Получил твою весточку, которая вновь заставила меня поверить, что счастье есть и что только с тобою я буду самым счастливым человеком. А ведь с субботы по сегодняшнее утро, наверно, хуже, чем мне, никому еще не было. Женька, родная моя девчонка, ты самая умная, и ты даже в этом случае берешься помогать мне. Родная, я ведь хорошо понимаю все то, что произошло, и знаю, почему так вышло, всему виноваты нервы, которые подвели как раз тогда, когда я меньше всего ожидал.

Видишь ли, я-то сам себя знаю, и знаю, что страшного ничего не произошло, но

ведь дело не в этом, просто я испугался того, что ты не поймешь всего. Но ведь ты у меня разумная жена, и, наверно, поэтому ты мне так необходима.

Короче, будем считать, что ничего особенного не произошло, а все твои советы я выполняю. Конечно, мне в тот вечер было чертовски больно и обидно, обидно за нас обоих, но позже, поразмыслив, я понял, что иначе, пожалуй, и не должно было случиться: ведь я столько времени был оторван от нормальной жизни, к тому же пока я с вечера ожидал солдата, а он опоздал на полтора часа, я чертовски перенервничал, да и когда мы зашли к тебе, я сразу понял, что настроение у тебя неважное. Видишь ли, солдат меня не узнал и не захотел отпускать одного, вот и вышло все комом. Конечно, я бы мог не прийти, но одно дело это сказать, а другое суметь не пойти, когда без тебя я не мыслю и жизни. Одним словом, следующий раз мы постараемся, чтобы с нами никого не было и чтобы времени в нашем распоряжении было, разумеется, не 2 часа. Короче, радость моя, все будет нормально.

Да, любимая, мы будем настоящими женой и мужем, и еще эти — некоторые будут завидовать нам. Женя, прошу, обо мне особенно не беспокойся, в настоящее время — после твоей весточки — я чувствую себя нормально и знаю, что лучше, чем ты, на свете нет и не может быть человека. Я даже не могу понять, за какие такие заслуги мне досталась такая жена.

Сейчас я вновь чувствую, что все хорошо, что с тобою у нас всегда все будет отлично. Гулять по лесу? Сколько угодно, тем более если со мной будет рядом такая очаровательная курносая жена. С тобой я хоть на край света и даже дальше, лишь бы всюду, куда бы ни пошла, всегда ты была моей путеводной звездой. Договорились, Рыжая? Вот и отлично. Значит, всегда и везде вместе, а это для меня счастье, и другого я не хочу. Важно, чтобы ты была со мною, ибо только ты способна превратить меня в такого ягненка.

Женька, любимая!

Только что пришел наш гонец и осчастливил меня двумя твоими посланиями. Конечно, я оставил гонца заниматься делом, а сам ушел в одну из пустых комнат, чтобы поболтать со своей ненаглядной девчонкой. Знаешь, я всегда, когда пишу тебе, стараюсь быть только с тобою. И всегда я чувствую тебя рядом, мы сидим обнявшись и потихонечку говорим друг другу о нашей любви, мы строим планы на будущее, и нам так хорошо вдвоем. Вот и сейчас ты сидишь у меня на коленях, я обнял тебя, и между слов, которые мы говорим друг другу, я целую тебя в улыбающиеся твои губы.

Рыжая, любовь моя, правда нам чертовски хорошо, и нам больше никто-никто не нужен.

Рыжая, ты спрашиваешь, читаю ли я что-либо. Иногда да, но больше нет. Почему-то мне сейчас не идут книги в голову, к тому же в нашем бараке, где я живу, пока еще идет ремонт: штукатурят, проводят отопление, варят трубы и производят прочие работы, так что даже если я и захочу заняться чем-либо серьезно, то у меня все равно, наверно, пока ничего не получится. А вот в отношении учения, так ты дай-ка мне срок, и тогда я буду чувствовать ответственность и сразу же основательно возьмусь за учебники.

А вот инженерами мы с тобой обязательно будем, займемся основательно и капитально на «пятом» режиме. Нет, ты не думай, что я до этого не буду заниматься, наоборот, буду, и еще как, но дай мне по-настоящему прийти в себя. Да, многие ребята хвалят нынешнего замполита, и я хотя и не любитель беседовать с начальством, тем более в роли просителя, все же, наверно, схожу к нему с разговором — в отношении «пятого» вида режима.

Женька, родная моя женуленька!

Если бы ты знала, как счастлив твой Толька. Мне кажется, что счастливей меня нет человека на нашей старушке Земле. И этим я обязан только тебе, моя маленькая рыжая женушка. Правда, меня огорчает то, что слишком мало времени было отпущено нам этим товарищем, но все же я с ним договорился, что как только они сделают новую зону, то мы с тобой опять сможем встретиться, и встретиться на большее время.

Я поверил в себя, в свои силы, значит, и все остальное будет у нас в полнейшем порядке.

Рыжая! Как бы мне хотелось быть сейчас с тобой и помочь тебе разобраться с этими прохвостами. Впрочем, постараюсь сегодня поговорить с этой козой — Ваней Д. Правда, он сегодня с утра сидит с физикой и даже обращался ко мне с вопросами по некоторым неясным для него формулировкам. Правда, он не рассказал всего, что произошло у вас в классе. И даже заказывал столярам какие-то доски для школы. И все же придется с ним поговорить серьезно. Правда, до меня не доходят такие вещи, ведь он, кажется, депутат поссовета, а ведет себя слишком по-идиотски.

Родная, я очень прошу тебя, никогда не выходи из себя на уроках: гораздо больше подействует на класс, если сумеешь любой вышад любой дубины обратить в злую шутку, которая поставит этого прохвоста в самое смешное положение перед всем классом. Поверь, это действует гораздо сильнее, чем что-либо другое. Или уже сразу надо суметь поставить класс так, чтобы на уроке была чисто деловая обстановка. Конечно, со взрослыми это сделать гораздо труднее, почему я и не хотел, чтобы ты поступала на работу в вечернюю школу. Впрочем, это теперь не имеет существенного значения. По-видимому, тебе нужно начать с того, что как-нибудь потерять полчаса на отвлекенную тему и навязать такой разговор, чтобы каждый сумел понять и разобраться — для чего и зачем он пошел в школу. Чтобы в этом разговоре приняли участие как можно больше твоих учеников. Основное, пусть выскажутся побольше, и тогда ты сумеешь разобраться в людях и понять, кто с тобой, а кто нет. И уже после начать постепенно действовать.

Основное, чтобы люди поняли, к чему они стремятся и что в этом им мешает. Пойми, сейчас все они просто знакомятся с тобой, и каждый по-своему старается найти у тебя слабое место. Вот и постарайся не доставить некоторым этого удовольствия. А когда все поймут, что тебя ловить нечего, то ты сама убедишься, что все будет нормально. Видишь ли, пока они в тебе видят всего-навсего молодую и хорошенькую девочку. Но со временем увидят и учителя, но это опять зависит во многом от тебя и твоего поведения. Конечно, иногда может помочь и легкая шутка, но никогда не нужно разрешать, чтобы эта шутка отвлекала надолго от предмета. Но и излишняя строгость тоже не нужна, ибо она настроит против тебя весь класс. Конечно, это всего-навсего мои соображения, и если они не по тебе, то ты можешь поступить иначе, но не нужно забывать, что все твои ученики уже не дети.

Я чувствую, что ты обиделась на меня за то, что вчера я обманул твои надежды в отношении весточки. И, наверное, поэтому сегодня ты решила меня проучить, скажи, так ли это, или я ошибаюсь? Если да, то ты поступаешь жестоко. Ведь ты умнейшая из всех и поэтому должна понять мое вчерашнее положение: ведь я тебе писал и раньше, что в дни закрытия нарядов я перестаю принадлежать себе. Ведь от того, как я смогу их закрыть, зависит, будут ли сытыми те люди, которые работают в моей бригаде, а их у меня двадцать пять человек.

Конечно, тебе странно слушать такие вещи, но у нас кормят людей от выработки, и если в бригаде будет невыполнение, то и паек, которым кормят, станет гораздо хуже. Вот все это, вместе взятое, и заставляет меня в конце месяца крутиться и делать все возможное и невозможное, чтобы все было нормально.

Так что очень прошу тебя, не нужно причинять мне боль за то, что я стараюсь для людей. Достаточно об этом, я знаю, что ты меня поймешь, если только я не ошибусь в своем предположении.

Скоро, наверное, моя бригада пойдет работать на новый объект, говорят, что нам дадут строить 64-квартирный дом, и тогда я буду гораздо ближе к тебе, чем сейчас. Короче, увидим, что получится из моих намерений. Женька, книги я передал. Но III часть ведь для 10 кл., а ты написала, что для 8-го, или я неправильно понял? Сегодня я был на другом объекте, но не успел разделаться со всеми делами, и поэтому завтра, верней уже сегодня, я опять буду на старом. Журнал № 5 я передал и скоро передам очень серьезную вещь, написанную Кронином, правда в этой вещи нет ничего радостного и веселого, но все же прочесть ее надо.

А теперь об учителе, его призвании. Уверен, с детьми должен быть только тот, кто в этой работе видит не просто работу для получения зарплаты, а настоящую и полную цель своей жизни. Впрочем, здесь, на Севере, таких учителей и педагогов мало-вато. Ведь для того, чтобы ребенок полюбил школу, надо, чтобы в нее он стремился больше, чем домой, надо, чтобы у него о школе и преподавателе были самые лучшие мысли. А для этого нужно, чтобы учителя не просто отбывали определенное время, а отдавали себя полностью этим мальчишкам и девчонкам.

Ведь по сути со школы начинает ребенок воспринимать и коллектив, и все то, что готовит для него жизнь. А если с первых дней, кроме сухих и неинтересных уроков, он ничего не увидит в школе, то и стремление к учебе у него может пропасть: он будет стремиться где-то на стороне находить для себя более интересное занятие, и если найдет, то школа превратится для него в принудилровку, а следовательно, и науки будут всего-навсего неприятной необходимостью. Вот поэтому, зная тебя, я и не хотел, чтобы ты поступала работать в вечернюю школу. Правда, и здесь нужны опытные и знающие преподаватели, но уже не в такой степени, как в дневной. Короче, достаточно о работе. Женька, милая, я рад, что ты научилась ориентироваться в лесу, это значит, что когда я буду с тобой, то уже не я, а ты, моя зорька, будешь знакомить меня с достопримечательностями Севера. Смешно, меня можно считать постоянным жителем севера Якутии, а я знаю здесь только морозы и те рабочие объекты, где работают наши ребята.

Рыжая, я почему-то думаю, что за это время, что мы проживем здесь, тебе успеет так полюбить этот суровый край, что ты даже не пожелаешь отсюда уезжать. Вообще я где-то читал, не то у Лондона или у О. Генри, что человек, который прожил на Севере хотя бы год, и после того, как он уедет на юг, его будет постоянно тянуть на Север. Правда, в настоящее время мне ужасно хочется побывать на юге, побродить по Кавказским горам и пожариться на Черноморском побережье. Но это все у нас в будущем. А пока мы живем в постоянном ожидании нашей встречи.

Женька, милая, а ведь в чем-то ты меня поняла не совсем верно. Я не собираюсь учить тебя, что делать и как поступать, но все же, мне кажется, я имею право говорить то, что я думаю по тому или иному вопросу. Ко всему я ведь очень хочу тебе помочь, хочу, чтобы у тебя был самый лучший класс, и чтобы все твои ученики учились только на отлично, и чтобы у тебя было с ними отличное взаимоотношение. И самое главное, я хочу, чтобы из моей жены никто, слышишь, ни одна скотина не выматывала нервы. Вот все это и заставило меня высказать ряд тех советов, которые, по моим соображениям, должны помочь тебе.

Но даже высказывая все это, я оговорился, что это лишь мои советы, а поступать ты всегда должна так, как считаешь нужным в той или иной ситуации. Вот поэтому я и прошу тебя, если моя записка цела, то перечитай ее еще раз, и ты поймешь, что я хотел. Договорились, Рыжая? А что касается того, как бы я поступил в подобном положении, то лучше не будем вдаваться в подробности, но мне кажется, что **шутить и превращать школу в балаган эти «циркачи» у меня перестали бы.** К тому же я почти никогда не шучу, зная заранее себя и то, к чему могут привести некоторые необдуманные шутки. И все же вся дисциплина в классе во многом зависит от преподавателя. Тем более что это не детская школа. Ты думаешь, я не предвидел, что в вечерней школе тебе прилично попортят нервы. Предвидел и уже поэтому не слишком обрадовался, когда узнал, что тебе предлагают работу в ней.

Ты написала, наверно, не подумав обо мне. Слышишь, я не хочу, чтобы у тебя в голове появлялись мысли о том, что ты даже жизнь отдашь, вернее, что ты из последних сил будешь отдавать себя работе даже в том случае, если тебе из-за этого придется меньше прожить. Все это я стараюсь понять и, может быть, пойму и даже понимаю. Но только в том случае, если это не будет касаться тебя. Неужели ты не думаешь о том, а что же будет с твоим Толькой. Ты же знаешь, что ты мне нужнее всех, слышишь — мне. И если я узнаю, что какой-то там прохвост, кем бы он ни был, будет виновен в твоей болезни, я говорю вполне серьезно, я сумею сделать так, что или он перестанет ходить в школу, или же ты бросишь учить этого остолопа. А как поступил бы я в подобной ситуации, у тебя еще будет время убедиться. Женька, радость моя и жизнь моя, пойми, ведь не для этого ты приехала сюда, чтобы взамен того, что ты от-

даешь работе себя всю, кто-то мог позволить по отношению к тебе всевозможные выверты.

Знаешь, мне так до боли не хотелось расставаться с тобой, я хотел, чтобы и ты смогла быть счастлива до конца, но нельзя было подводить солдата, ведь к нему придется обращаться еще не раз. Милая моя, любимая женушка, радость моя и жизнь, я не знаю, но ради тебя я способен на все, ты мне вернула все — веру в людей, веру в себя, и познакомила меня с тем ранее неизвестным человеческим счастьем, ради которого можно совершить все. Роднулька моя, солнышко мое, солнышко мое, сколько времени я стремился к этому счастью, и теперь я знаю, что мы навсегда принадлежим друг другу, слышишь, Женька, навсегда. Ты стала для меня всем, о чем я мог когда-либо мечтать, и ты никогда не пожалеешь о том, что поверила в своего Тольку.

Черт побери, мне даже не верится, что мир остался тот же, что вчерашний день прошел так же, как пройдет сегодняшний. Нет, нет и нет! Вчерашний день никогда не должен уходить из нашей жизни, слышишь, родная, никогда! 23 сентября для нас с тобой должно стать навсегда нашим с тобой днем.

Итак, решено, отныне и навсегда этот день в нашей жизни мы объявляем официальным для нашей семьи праздником. И всегда, где бы мы ни были, чем бы ни был заполнен этот день, но мы его будем отмечать как наш с тобой день.

Женька, мне так хочется, чтобы ты всегда была счастлива, слышишь, всегда. Правда, постоянное счастье может перестать им быть, но у нас оно должно оставаться всегда. Впрочем, то, что для многих является мерилом человеческих отношений, для нас не подойдет, ибо эти многие даже сейчас не могут понять нас. У нас будет свое понятие о вещах, и это нам не помешает всегда любить друг друга. Вот ты, наверно, сейчас читаешь и думаешь: «Почему Толька может так много говорить на бумаге и почти постоянно молчит, когда мы вместе?» Ведь думаешь так, Рыжая? Думаешь, наверно, потому, что когда я с тобой, у меня от радости и счастья пропадает дар речи, а может быть, я просто еще не научился высказывать то, что хочу. Но научусь, и ты еще убедишься, что твой Толька может помногу говорить и о многом. Просто все дело в том, что мне не приходилось никому говорить таких слов.

Только что пришел гонец и принес мне твою весточку. Женька, родная моя, с утра я веду дипломатические переговоры с одним из товарищей, но пока еще результаты сомнительные. Дело в том, что сегодня туманный день, а в туман нас всегда снимают с работы. Вот и сейчас два оцепления уже сняли, а наше пока под сомнением. Ко всему ты, по-видимому, не учитываешь того, что наш рабочий день продолжается до 4-х часов дня — это из-за темноты. А гонец говорит, что у тебя рабочий день до 20 минут второго, а если мне удастся договориться, то меня отпустят только до половины третьего, в крайнем случае до трех, и у нас могут быть в распоряжении всего 1,5 часа, а это даже мало, хотя для нас и это значит очень многое. Короче, посмотрим, что получится из моего разговора с этим товарищем, которого, кстати, я почти не знаю, но гонец уверяет, что парень он неплохой. И все же рискнем.

...Женя, время третий час, гонца нет, хотя он и пообещал прийти к 12. Видно, сегодня у нас так ничего и не получится. Настроение испортилось окончательно. Наверно, придется ждать, когда придут наши определения из суда, тогда нас могут выпустить без конвоя, но может этого и не произойти.

Родная, прошу тебя не расстраиваться, ведь все равно мы будем вместе. А пока нужно набраться нам терпения, ведь мы ждали гораздо больше, а сейчас нам осталось совсем мало, так неужели мы не вытерпим. Ведь и мне нелегко, я мучаюсь не меньше тебя. Но что мы можем поделать? Лично я сегодня испробовал все. Основное, не падай духом, выше курносый нос, я всегда рядом. Крепко целую свою маленькую терпеливую женушку.

Ты всегда, слышишь, всегда должна знать, что твой Толька принадлежит в первую очередь только тебе и что только от тебя зависит все то, что будет с нами дальше. Я еще раз повторяю тебе: что я безумно люблю тебя, что ты сделала меня таким, ка-

ков я сейчас, и что только ты значишь для меня все. Я готов на все, лишь бы видеть тебя всегда веселой и радостной, чтобы ты радовала и меня своей улыбкой. И нет в жизни ничего, что бы я смог променять на тебя.

Вот ты пишешь, что истосковалась по мне, но ведь и я, наверно, не меньше измучился, даже все знакомые ребята не могут понять, что происходит со мной. Кажется, надо бы быть веселым, ведь как ни говори, а мне предоставили то, о чем мечтает здесь каждый человек, но меня это почему-то не радует, и все это потому, что я не хочу уезжать куда-то, в то время когда ты останешься здесь. Вот если завтра все выйдет так, как мы этого хотим, то ты сама убедишься, насколько я похудел за эти дни.

Женька, милая, а вот реветь не следует, тем более что слезы мало что могут изменить. Но завтра я постараюсь применить все свои способности, тем более что на вахте дежурит тот парень, о котором ты писала еще раньше. И все же с уверенностью сказать да я не могу.

Рыжик, радость моя, я ведь и сам настолько истосковался по тебе, что все это время не могу найти себе места. Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, я постоянно думаю о тебе, моя родная. Ведь только с тобой связана у меня вся наша дальнейшая жизнь. Я ведь твердолобый в своих решениях, и если я однажды сказал себе да, то для меня лучше совсем не жить, чем изменить своему слову. Так что очень прошу тебя: не нужно мучить себя всякими глупостями. Ты должна быть всегда уверена, что мы с тобой созданы друг для друга, что врозь у нас не получится нормальной жизни. Итак, Женя, до завтра, думаю, что наша любовь поможет нам и на этот раз. Ведь мы очень хотим этой встречи, значит, она должна произойти и произойдет.

Утром увидел тебя, и вроде жизнь стала иной: как-то привык я, чтобы с утра для хорошего настроения мне необходимо хотя издали, но посмотреть на свою маленькую рыжую девчонку. Женя, все эти «товарищи» и «доброжелатели» окончательно закрутили мне голову: к кому ни обращаюсь, все отвечают по-разному и все успокаивают и советуют ждать суда. Но в том и беда, что меня чертовски бесит вся эта неизвестность, Женя, хотел обстоятельно поговорить с тобой, но пришел гонец, и он очень торопится, поэтому и мне придется торопиться. Короче, если я узнаю точно о том, что меня не пропустили, я сразу же сообщу тебе и объясню, что и как лучше сделать.

Наконец-то я получил долгожданную весточку от своей рыжей девчонки. Вот только твое настроение и мысли, которые ты высказываешь в первом послании, мне даже не нравятся. Женька, родная моя, я хорошо понимаю, что тебе очень тяжело, знаю и то, что ты еще никогда не встречалась с подобным отношением к себе, и все же, по-моему, я не заслужил того, чтобы ты своими ни на чем не основанными предположениями причиняла мне боль. Ну скажи, с чего это вдруг взбрело тебе в голову, что я могу поступить подло по отношению к тебе? Вот ты пишешь, что видишь вокруг много подобных примеров, а разве есть у них, у всех тех, о ком ты говоришь, хоть что-нибудь, что хотя бы отдаленно напоминало все то, что сделало нас мужем и женой? Нет, Рыжая, у них все иначе. Ведь ни одна из этих семей не прошла того пути, какой пришлось пройти нам, ни один из этих «мужей» не жил так, как жил я, и ни один из них не может ценить то, что могу оценить я. Ведь этих людей сблизало совершенно не то чувство, что сблизило нас, и никто из них, прожив семьями по несколько лет, не испытал настоящей, полной человеческой любви. И вот ты почему-то берешь пример с них.

Поверь, если бы я не знал о том, как тебе сейчас тяжело, я бы очень сильно обиделся на тебя за твои сомнения в нашей любви. Женя, я не хочу знать о том, кто и с кем как живет. К тому же мне кажется, что не только мужчины виновны в том, что в семьях происходят подобные вещи. Конечно, я и не говорю, вернее не утверждаю, что они правы. Но твердо знаю, что мир в семье должны хранить и муж и жена, в ином случае любая семья, пусть даже самая крепкая, может развалиться, и чаще всего из-за какого-нибудь глупейшего недоразумения. Вот поэтому я всегда говорил и повторяю сейчас: в семье всегда должна быть ясность, должно быть доверие. И никогда не следует копить отдельные подозрения, не выясняя их до тех пор, пока их накопится столько, что это может привести к непоправимому концу. Я не знаю, быть может, я

неправильно понимаю семейную жизнь, но лично мне кажется, что все должно быть именно так. Если ты думаешь, что я в чем-то не прав, то докажи мне это.

О себе скажу только одно: я многое прощаю людям. Могу простить любую ошибку, но, наверно, не смогу простить умышленный и обдуманный обман. Я никогда не пойму, как можно умышленно обмануть человека, который полностью доверяет тебе все. Вот так, Рыжая. И вот сколько я ни думаю, я не могу понять: как ты смогла усомниться в нашей будущей жизни? Правда, я никогда не клялся тебе и, наверно, не стану этого делать: я слишком люблю и уважаю в тебе человека, которому я отдал свою любовь, и отдал всю, чтобы доказывать и убеждать тебя в том, что ты должна да и знаешь отлично и без этого. Но я тебе скажу еще раз то, что для меня нет и не будет, кроме тебя, женщины, которую я смогу назвать своей женой после того, что произошло между нами.

Раньше я говорил тебе, что во всех случаях нашей жизни последнее слово принадлежит тебе, а теперь, после того как мы стали мужем и женой, я добавляю *лишь* одно, но то, что хорошо продумал и решил для себя раз и навсегда. Что теперь нас может разлучить только смерть. Быть может, это и дико в какой-то степени для многих, но я прожил не такую жизнь, как многие, и эта жизнь навязала мне некоторые свои взгляды. А для пересмотра у меня нет времени да и желания. Я таков, каков есть, конечно, я ради тебя во многом стал иным и стану, быть может, еще лучше, но это только с тобой.

Женька, любимая моя, радость и счастье мое, здравствуй!

Женька, давай полежим немного молча, я хочу до конца осознать все то счастье, которое я так долго ждал и которое все же пришло ко мне в образе маленькой, рыжей, слегка курносой, такой замечательной девчонки. Ты знаешь, мне однажды одна мамина знакомая писала, что в жизни людей существует якобы строгая закономерность, и что плохое чередуется с хорошим, и что раз мне в жизни пришлось видеть много плохого, то, следовательно, хорошее у меня впереди. Впрочем, ты, наверно, знаешь эту женщину.

А ведь действительно, этот год дал мне очень много хорошего: вывод меня с собой зоны, окончание десятилетки, скидка срока, ваш с мамой приезд, наша встреча и окончательное наше решение. Осталось совсем немного — и мы станем самой счастливой парой. Конечно, я понимаю, что все это не само пришло, для этого пришлось многое сделать, но важно то, что мы стали мужем и женой на всю нашу жизнь. И все это дала мне ты, моя родная рыжая девчонка. Я даже не могу себе представить, как я раньше вообще мог жить без тебя.

Женя, меня зовут в клуб, я позже еще поговорю с тобой...

Ну вот я и вернулся. Я не знаю, откуда берут такие дрянные фильмы: только что посмотрел «Кровавый рассвет», поставленный по Коцюбинскому. Мне не понравилась эта картина, по-моему, эта тема для современной молодежи устаревшая и скучная. Короче, я отбывал настоящую принудилровку. Одним словом, за этот праздник я не посмотрел ни одной стоящей кинокартины. Да и вообще весь праздник прошел для меня совершенно не по-праздничному: сплошная скука. Правда, я смог хорошо отоспаться и написал письма. Все остальное время я слушал концерты и грустил. Женька, милая, я так истосковался по тебе, ведь все эти дни я не только не получил твоих весточек, но даже не мог взглянуть на тебя, а ведь это для меня стало необходимостью. Рыжик, ну когда же мы сможем наконец постоянно быть вместе? Мне кажется, если они еще протянут эту волюнку с судом, то у меня не хватит терпения и я начну что-нибудь придумывать насчет нашей встречи. Женька, родная моя, я так хочу встретиться с тобой.

Рыжик, любимый мой человек, почему-то в голове у меня вертится очень много замечательных слов, которые я бы хотел тебе высказать, но как только доходит до дела, я почему-то не говорю их. Наверно, я еще не научился говорить о своей любви, да, собственно говоря, думаю, что о настоящем чувстве не стоит говорить многого, ибо настоящее человек чувствует без красивых и громких слов. И все же я себя тешу тем, что все, что во мне накопилось, я когда-нибудь выскажу тебе, но и то еще не уверен, что смогу это сделать. Дня через два выйду в ночь и постараюсь найти товарищей, кото-

рые помогут нам встретиться. Я ведь так здорово соскучился по тебе и твоим ласкам. Я так хочу к тебе, что это трудно объяснить, и все же очень скоро мы обязательно встретимся: мы ведь оба желаем этого, значит, все должно быть так, как мы хотим. Ведь для настоящего чувства нет и не будет границ. Желанная моя рыжая девчонка, я так люблю тебя.

Сейчас вечер, и я еще под впечатлением нашей встречи, хочу поговорить с тобой и попробовать разобраться самому, а заодно и объяснить тебе, если, конечно, ты сама еще не разобралась, причину — почему же получается так, что при встречах с тобой у меня как бы пропадает дар речи? Я уверен, что ты-то понимаешь меня, и все же интересно. Вообще-то я не большой любитель болтать, но и совсем не молчун, как может показаться. Но вот с тобой я почему-то теряюсь, как семнадцатилетний мальчишка. Когда ты рядом, мне совсем не хочется говорить, мне достаточно, чтобы ты была рядом, а я просто смотрел на тебя и чувствовал себя счастливым. И в то же время я хочу говорить, но у меня не получается. А вот сейчас, на бумаге, я могу высказать все, все. Рыжая, моя родная, неужели на всех людей любовь действует так же? Ты говоришь, что не знаешь. Верно. И все же не пойму. Впрочем, при прошлой нашей встрече я был куда разговорчивей. Быть может, все дело в условиях? Не думаю. Я и сегодня, будучи с тобой, смотрел на тебя и в уме говорил тебе столько хороших слов и, наверно, сказал бы их и тебе, но твоя просьба и то, как ты настаивала, окончательно отняли у меня смелость. Вот сейчас представляю, как ты будешь читать это послание и радостно улыбаться.

Повозиться тебе со мной придется порядочно, слишком здорово привились ко мне некоторые привычки. Да это и неудивительно, ведь в этих условиях на многие вещи смотрят иначе, чем на свободе. Но ты ведь неплохой педагог, а я смысленный ученик, значит, дело пойдет хорошо. Женька, роднулька, напиши-ка мне, как ты провела сегодняшний вечер. Удачно ли прошли твои выступления?

Со мной творилось то, что свойственно обыкновенному мальчишке в подобном положении. А день наш мы отметили действительно романтично. Наверно, немногим приходится отмечать его так, как это произошло у нас. Я думаю, что из всего Союза только мы с тобой додумались до подобного приключения. Правда, этот вечер, эти несколько часов пролетели так быстро, что осознать происшедшее я смог только на второй день, и вместе с сознанием ко мне пришел страх, страх за тебя, моя любимейшая девчонка. А вот то, что тебе кажется, что ты выглядела глупой, то лично я этого не заметил. Для меня ты была и есть та единственная любовь, к которой я стремился всю свою жизнь и ради которой я порвал с прошлой жизнью и стал тем, кто я есть сейчас.

Ты говоришь, что эти пять часов пролетели как замечательный сон, что же, я верю в это, ибо и для меня это был сказочный сон, который приходится видеть единственный раз за всю человеческую жизнь. Но как бы то ни было, но я хорошо и отчетливо помню все, все, что происходило с нами в этот наш юбилей. Я и сейчас вижу тебя лежащей на этом импровизированном ложе, и рядом с тобой я, я, способный выполнить любое твое желание. Я чувствую тебя такою, какой ты была в эту незабываемую для меня ночь. Ты говорила мне, что желаешь стать матерью, но ведь и я не меньше хочу стать отцом. Я так же, если не больше, хочу, чтобы моя любимая женушка наконец проснулась и чтобы мы оба могли чувствовать одно общее для нас счастье, счастье, способное принести жизнь нашему с тобой ребенку.

Только что пришел Юра и принес весточку от тебя. Дорогая моя, любимая девчонка, сколько счастья и радости принесла мне ты тем, что находишься рядом, право, я даже не знаю, есть ли у нас в зоне еще кто, у кого есть такая замечательная женщина. Наверно, нет. Черт побери, я даже не могу понять, за что мне привалило такое счастье. Послушай, Рыжая, ты не объяснишь мне, за что? Улыбаешься? Я тоже. Как бы не сглазить, но за последнее время я стал очень часто не только улыбаться, но даже смеяться, что со мною раньше бывало слишком редко. И всем этим я обязан тому, что у меня есть такая любимая и любящая девчонка. Женька, любовь моя, неужели ты думаешь, что я могу потребовать что-то, что может отразиться на твоём благополучии?

Нет, родная, хотя ты и пишешь, что готова на все, но жертв пока не будет, ибо для меня гораздо легче самому принести любые испытания, нежели довести дело до того, чтобы кто-то мог сказать о тебе что-либо.

Утром увидел тебя и как бы зарядился радостью и бодростью на весь день. И так всякий раз, а вот к вечеру все меняется и вновь приходит тоска по тебе. Всегда твой Толька.

Да, сейчас я богаче и счастливее всех, ибо у меня есть ты. Я хотел бы, чтобы мы всегда чувствовали себя так, как в эту знаменательную для нас ночь. Вот и сейчас стоит мне закрыть глаза — и я вижу тебя такую, как ты была тогда, когда мы сидели друг против друга.

Женька, радость моя и счастье, сколько лет я мечтал вот о таком точно дне, когда бы я мог любить самого дорогого человека и чувствовать взаимную любовь дорогого мне человека.

Рыжик, я рад, что твоя мама признала меня за сына, значит, в нашем семействе почти все поверили в меня. Ну что же, мне остается поблагодарить их и сделать все, чтобы они навсегда остались обо мне такого же мнения.

Да, Рыжая, пока нам придется со встречей повременить, но это все даже мучительное решение. Ведь я так соскучился по тебе, что это, пожалуй, на бумаге и не объяснишь. А то, что ты надеешься, что после суда нам разрешат до отправки быть вместе, по-моему, не получится. Но мы все равно сможем придумать что-нибудь, но встречаться мы будем обязательно.

Ты знаешь, мне приходится для того, чтобы написать тебе, уходить в недостроенное здание, в котором нет даже печки. И так, до скорой встречи. Крепко, крепко прижимаю к себе свою любимую женушку.

Днем я не успел тебе ответить, но придя в зону и утряся все дела, я все же хочу хотя немного поболтать с тобой. Вообще я почему-то стал чувствовать в себе какую-то необходимость говорить с тобой. Женька, любимая моя девчонка, с 15-го, т. е. уже сегодня, мою бригаду перевели на 64-квартирный дом, а это связано с тем, что мы с тобой теряем нашего гонца.

Люблю я тебя тоже как-то не по-земному. А может, и по-земному, просто все дело в том, что до тебя я еще никого не любил так, как смог полюбить тебя. Вот только говорить об этом я как-то еще не научился, да, думаю, если и скажу, то от этого ничего не изменится, а ведь ты меня отлично понимаешь и без лишних слов. Одно могу сказать, когда я вижу тебя рядом, то я счастлив так, что ничего лучшего мне уже и не нужно. А вот перед отъездом переворачивать поселок совершенно ни к чему. Ведь как ни говори, а ты учитель и после тебя здесь останутся твои ученики, у которых о тебе должны остаться хорошие воспоминания. И пусть тебя не удивляет то, что мы хорошо понимаем друг друга, у нас всегда должна оставаться полная взаимность и понимание, в ином случае мы бы и не стали тем, что мы есть сейчас. Ведь так, Рыжик? Так! Значит, все в полнейшем порядке и так должно быть всегда... А обижаться мы не будем, потому что всегда будем выяснять все недоразумения сразу, а не откладывать их на когда-то. Ясность отношений — это лучший залог того, что мы будем всегда счастливы. Вот и все, до свидания. Крепко, крепко целую, твой Толька.

Женька, радость моя!

Какое счастье доставляет мне возможность хотя мельком, но видеть тебя. Вчера, когда ты проходила рядом с нами, я едва удержался от желания выйти из колонны и поцеловать свою любимую рыжую жену. Дело прошлое, Женя, а ты, по-моему, становишься все лучше и лучше, а для меня все желанней. Не пойму, или на это подействовала перемена климата, или то, что ты стала взрослее, или же мне это просто кажется оттого, что я так соскучился по тебе и по нашей встрече. Наверно, все это, вместе взятое, и делает тебя такой замечательно красивой и желанной для твоего мужа девчонкой.

Правда, ты понемигоу покусываешь меня, но я не обижаюсь, ибо знаю, что ты еще успеешь понять, что такое настоящий муж и что это значит на самом деле. Ну что, продолжать дальше в том же духе или переходить на миролюбивый тон? Мне кажется, что лучше нам не делать подобных выпадов. Конечно, я понимаю, что все это шутки, но все же какую-то долю горечи они несут нам. Так что договорились не делать этого, кроме как в серьезном тоне и крайнем случае. Хорошо, Рыжая? Ведь ты отлично знаешь, что ты для меня дороже всего, так для чего же все это? Или ты так устроена, что в тебе сидит бес, который иногда просится наружу?

Я люблю твой смех, люблю тебя веселую и радостную и хочу, чтобы ты никогда не хмурилась. Так что учти запросы своего мужа. А случай, чтобы увидеть тебя, все равно скоро представится, и я уже его не упущу.

Женька, а ведь я чертовски соскучился по тебе, соскучился так, что даже и не объяснить. Я каждую ночь вижу тебя во сне и пока что только во сне бываю счастлив, как в наш юбилей. А вот за обещание сына огромное спасибо. Сын у нас будет, и очень замечательный, ведь ты говоришь, что любишь?

Здравствуй, дорогой мой сорванец!

Сейчас вечер, и я решил поговорить с тобой. Настроение так себе: не плохое, но и хорошим назвать не могу. Да, собственно, хорошему быть не с чего. Ко всему это постоянное ожидание не располагает к веселью.

Женька, родная, ты говоришь, что дюже соскучилась, а разве я нет? Мне тоже порой кажется, что я вообще не вынесу этого испытания. Короче, я как идиот слоняюсь то по объекту, когда на работе, то по зоне, когда остаюсь здесь. Но придумать ничего не могу. У меня даже появляются иногда мысли умудриться ускользнуть из-под конвоя, и, пожалуй, я бы это сделал, но мой друг все же доказал мне, что с подобным номером можно потерять гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд.

Женька, любимая, я так хочу встретиться с тобой, я устал ждать, я вновь переживаю наши самые счастливые минуты. А просыпаясь, я опять попадаю в это так опустошительное мне ощущение, опять вижу эти надоевшие мне стены. И у меня портится настроение. Ты говоришь, что я нужен тебе, но я готов всегда-постоянно быть с тобой, о лучшем счастье я и не мечтаю, но нужно еще ждать. В последнее время для меня как бы остановились часы — эти дни кажутся мне годами. Я не могу больше ждать. Короче, сплошная мука. А вот в отношении тех цветов ты можешь не беспокоиться, ведь я послушный мужчина и единственный, как ты пишешь, в своем роде. Впрочем, и таких, как ты, тоже не много сыщешь. Ведь ты неповторимый рыжий сорванец, и порой я боюсь за наше будущее, зная себя и тебя. Ну да надеюсь, что наше благоразумие все же поможет нам во всем.

Женя, передаю тапочки, не знаю, понравятся ли?

Радость моя ты, Рыжая, и все же я когда-нибудь скажу, за что так полюбил тебя, но не думай, что скажу в этот раз, а впрочем, посмотрим. Впрочем, это будет и нелегко понять. Вот ты любишь мать за то, что она дала тебе жизнь, и за то, что она мать, и есть еще очень много вещей, которые мы не замечаем в ней, но мы ее любим. Вот приблизительно и ты вернула мне веру во все самое лучшее и вернула меня на тот путь, к которому я бы без тебя не вышел.

Ведь я рос в той среде, где жили совершенно иной жизнью. И вот тогда ты и вошла в мою жизнь, ты, такая непосредственная и чистая. И уже тогда я сказал себе: или ты будешь моей женой и я ради тебя сделаю что угодно, или мне вообще не стоит добиваться иной жизни. И ты сказала да, и твой Толька стал иным: у него появилась цель в жизни, и я стал стремиться к тебе, вот так и пришла ко мне моя любовь, за которую я и сейчас способен отдать жизнь. Ибо без тебя у меня не было бы жизни в прямом смысле этого слова. Вот коротко вроде бы так, а вообще-то все было, наверно, еще сложнее. Но факт то, что мы оба хотели одного, а когда два существа очень сильно желают одного, то они обязательно добиваются своего. Вот так, Рыжая.

Женька, дорогая моя, желанная моя!

Опять у меня началась свистопляска с закрытием нарядов: приходится крутиться

и выкручиваться. Нужно завтра выходить на другой объект, и мы не сможем хотя бы на расстоянии посмотреть друг на друга. Почему-то в последнее время я так привык к этим встречам, что если я не увижу тебя, то целый день у меня настроение бывает ненормальным. А тут еще с комиссией творится что-то неопределенное: должна быть или сегодня, или завтра. А вот директор школы, он тоже член наблюдательной комиссии, говорит, что до праздников ее не будет. А ко всему эти неопределенные разговоры о том, где оставят тех, кого выведут. И вот вся эта неопределенность чертовски действует на нервы.

Да и с работой что-то не особенно ладится: то нет одного, то другого, ко всему котлонадзор ошечтал наши краны и приходится заниматься всякой подсобщиной.

Одно только и успокаивает: когда думаю о тебе и вспоминаю наш юбилей во всех подробностях. Лично для меня такого дня еще не было: это был поистине день нашего счастья. Вот порой лежу вечером и думаю — сколько мало нужно для того, чтобы люди были счастливы, а на самом деле в жизни сколько еще есть людей, которые вообще не имеют представления о настоящем чувстве. И все по той причине, что они или очень торопятся, или потому, что им мешают быть таковыми.

Как-то раньше я не особенно задумывался над подобными вопросами, а вот сейчас, когда я узнал и почувствовал, что значит любить и быть любимым, узнал настоящее человеческое счастье, я начинаю до конца понимать, сколько драгоценного времени я умудрился отнять сам у себя. А впрочем, к чертям всю эту хандру. Нужно думать о том, чтобы как можно скорее нам встретиться и уже больше никогда не расставаться... Извини, пришлось прерваться.

Тебе хорошо, ты говоришь, что нам нужен сын, что же, родная, у нас будет отличный мальчишка и такой расчудесный, у которого будут наши с тобой общие черты. Ведь будет такой? Говоришь, да? Отлично. Любимая моя женушка, а я уже соскучился по тебе. Что же нам делать? Наверно, придется немного подождать?

Женька, самый дорогой мой человек!

Только что прошел суд — и ура!!! Наконец-то все, чего мы так добивались, так долго ждали, исполнилось. Суд прошел хорошо, прокурором был наш старый знакомый, который скидывал мне срок и у которого ты была на приеме. Короче, как бы то ни было, но меня перевели на поселение, значит, все наши мучения можно считать окончившимися. Женя, родная моя девчонка! Сразу же после суда я забежал в контору и сказал Альбине, чтобы она обязательно зашла к тебе и рассказала обо всем. Я ведь знаю, как ты мучилась и переживала все эти дни, а ко всему еще гонец несколько дней не заходил на завод, а ведь там ему должны были передать мои послания.

Женька, любимая, я чертовски рад, рад так, что даже не могу передать всего, что творится со мной, но ведь ты и без лишних слов понимаешь своего Тошку, ведь так, Рыжик? Теперь очень скоро мы сможем постоянно быть вместе, и тогда исполнятся все наши мечты. Правда, за последнюю неделю я дюже измотался, но все это ерунда, все это в прошлом. Теперь у нас должно быть и будет все хорошо. Нас ждет все, к чему мы стремились все эти годы, и все будет зависеть от нас самих. Радость ты моя ненаглядная, я так соскучился по тебе, по твоим ласкам, что даже сейчас, зная, что дня через два нас выпустят работать без конвоя, все же не могу ждать.

...Наконец-то я с уверенностью могу сказать, что с этим учреждением я рассчитался.

Женька, родная моя девчонка, завтра я уезжаю, а ты остаешься в этом противном поселке. И вот это-то и портит мне настроение. Как было бы хорошо, если бы мы могли уехать вместе, а то придется опять переживать, опять думать о том, как же ты здесь без меня. И все же теперь я твердо знаю, что осталось совсем мало ждать. А вот когда ты приедешь, мы устроим действительно грандиозную встречу.

Рыжик, милая, родная, любимая моя женушка, я так буду ждать тебя и прошу, не забывай об этом.

Женька, любовь ты моя единственная, самый дорогой мой человек, я буду ждать тебя к празднику. И этим днем мы отметим все, все, к чему стремились все эти годы.

Я знаю, нам будет не всегда легко, но зато мы сами будем устранять все трудности, которые будут встречаться на нашем пути. Да это и неплохо, жизнь будет интересной и разнообразной, а делать ее мы будем сами. Женя, за меня беспокоиться не нужно, ведь ты говоришь, что муж у тебя смысленный, а коли так, то можешь быть уверена в нем на сто процентов. Пить я не буду, да и вообще уже лет десять, если не больше, меня никто не видел пьяным и не увидят, и это не потому, что я здесь, нет, просто дело в том, что я убежден, что пьянка никогда не приводит к добру. Правда, я не против того, чтобы иногда выпить рюмку, но рюмка — это далеко не то, что называют пьянкой. Короче, ты можешь быть уверена, что когда ты приедешь, никто не скажет тебе, что у тебя плохой муж.

Журнал и газету я выпишу, ведь твое желание для меня почти закон. Почему почти, да потому, что я бы сказал, что закон, но боюсь, что ты задерешь свой курносый нос. Говоришь, нет, не задерешь, ну что же, это очень хорошо, ведь ты же дюже умная жена и не станешь злоупотреблять своей властью над мужем. Жека, родненька, надеюсь, что завтра мы все же увидимся и простимся. Ведь везти нас будет Шур, он обещал, что устроит нам прощальную встречу.

Рыжик, меня дюже огорчает, что твой день рождения мы встретим, вернее проведем, не вместе, но мы же решили, что отметим его в Новый год. Маму поблагодари за пожелания от нашего имени. Вообще я с письмами задолжался всей родне, ну да после напишу, тем более тогда ты будешь со мною. Ну вот, Рыжик, и все. Приказываю не падать духом, не грустить.

* * *

Сбылось все, о чем мечтали Женя и Толя. Они просыпались утром, и обоим чудилось, будто сон продолжается... Вместе, всегда, постоянно... Ему не надо хлопотать о разрешении увидеть ласковые, доверчивые глаза, рыжую копну кудрявых волос, услышать голос, ее голос, не устающий повторять о своей любви и счастье. Жене не приходилось подкарауливать мгновения, чтобы издали на миг выхватить взглядом из толпы дорогое лицо, Тольку, самого трудного мальчишку в ее классе.

Ничто не предвещало новой беды. Оба работали, учились. Ждали ребенка — обязательно сына.

Даже в мыслях не допускали они, что судьба пошлет им вновь испытание во сто крат горше прежнего. Достанет ли у обоих сил выстоять после пережитого, Достанет ли мужества, терпения, стойкости?..

Произошло нечто чудовищное, непредвиденное. В отсутствие Жени — она уехала по делам школы — два подонка из бывших тюремных сокамерников из чувства мести к «отколовшемуся» спровоцировали скандал, пытались ворваться в квартиру Перовых, куда только что вбежала преследуемая ими девушка. Зная характер Анатолия, они все рассчитали точно. Он вступился. Замелькали ножи, и тогда Анатолий, схватив охотничье ружье, выстрелил в ноги одному из нападавших. Но все эти обстоятельства всплывут позже, много позже, при повторном разбирательстве. А сейчас..

В один миг рухнуло все, что создавали Женя и Толя годами, создавали с упорством, верой, любовью. Женя вернулась в опустевший дом.

Что могла испытывать маленькая, хрупкая женщина в эти дни страшного одиночества, беременная, вдали от родных, в суровых условиях Севера?

Жалобы, гнев, упреки — как, мол, не удержался, как мог забыть о ней, о будущем сыне?

Я перечитываю письма Жени этого периода. Диву даюсь: ну откуда у этой юной женщины такие душевные силы, нравственная стойкость такой немислимой крепости! Слепая, безрассудная вера, всепрощающая, жертвенная, безоглядная любовь?

Будь так — не выстоять бы Жене. Сила ее любви опиралась на веру, на знание: не мог теперь ее любимый поступить иначе, не мог совершить безнравственный поступок.

Это не мои домыслы. Все это рассказали мне письма Жени, адресованные одному, только одному человеку. Она понимала, какие усилия нужны человеку, находившемуся десятилетия вдали от нормальной жизни, чтобы войти в эту жизнь, адаптироваться в новых, непривычных условиях, проявить осторожность, осмотрительность, оказав-

шись в конфликтной ситуации. Понимала, как важно помнить в такой ситуации, ни на час не забывать, что тянется за тобой шлейф рецидивиста и каждый твой шаг будет рассматриваться в свете прошлого, а не настоящего и будущего...

На какое-то мгновение Анатолий забылся и поддался на провокацию негодяев...

Тот визит, с которого я начала эту быль о Жене, ее любви и верном сердце, пришелся на это время. 1968 год. Она приехала в Москву хлопотать, доказывать, просить, требовать.

В ту пору прислала она мне это письмо:

«Уважаемая Валентина Филипповна!

Об одном прошу Вас, ни на минуту не сомневайтесь в правдивости того, о чем я Вам рассказала при встрече и теперь стараюсь все это изложить на бумаге.

С самого раннего детства я была воспитана так, что правда и честное слово — это закон всей моей жизни. Я никогда никому не лгала, тем более не позволю себе кривить душой перед Вами.

Многие удивляются тому, как можно полюбить человека, прежде чем увидишь его своими собственными глазами. Может быть, и я бы удивлялась точно так же, если бы это не произошло со мной.

Прежде я не задумывалась над судьбами людей, все у меня было легко и просто. Но вот однажды я обратила внимание на горе матери, чужой матери, что-то сжалось в моем сердце, и я не смогла пройти мимо ее горя. Ее сын с 1947 года находится в заключении. Попал он туда в то время, когда ему было от роду 15 лет. Свое отрочество, юность, молодость он провел там. Видимо, некоторое время этот человек, будущи мальчишкой, попал в лапы опытных дельцов и проходимцев, не задумываясь над своей жизнью. Но в том-то и дело, что человеку присуще мыслить.

Шли годы, они дали знать о себе и этому молодому человеку. Он просмотрел всю свою жизнь с самого начала и понял, что очень много лет пропало зря.

Мы стали с ним регулярно переписываться, это были письма, полные надежд, поисков, стремлений и всевозможных переживаний, да, собственно, многие из них я посылаю Вам, прочтите их, и Вы во всем убедитесь сами. У меня было немало своих хлопот и увлечений, и желание понять мир своих питомцев-пионеров, и работа с так называемыми крепкими орешками, а таких было немало в моем подшефном классе. И все мои радости, мысли и огорчения я не стеснялась доверять ему. Он же, почувствовав мою откровенность, стал открывать тайники своей души, и я увидела много, очень много хорошего в этой душе и сердцем поняла, что смогу ему помочь прорастить эти зерна хорошего, и не смогла отступить назад.

С каждым днем я все больше и больше понимала то, что этот человек становится не только интересным для меня, а и дорогим, и я согласилась стать его женой.

К этому времени он прошел долгий путь, путь, который вел его к нашей встрече.

Это был 1964 год. С самого начала этого года он был выведен из особой зоны на строгий режим, через полгода ему снизили срок заключения до 15 лет и через 3 месяца он был переведен судом в колонию-поселение.

Это был настолько счастливый год, что нам казалось, что счастливее нас нет во всем мире. Ему оставался еще год заключения, вернее, отбытия меры наказания в колонии-поселении, а нам казалось, что это уже свобода. Да, мы были счастливы, и нашему счастью завидовали многие, кто по-хорошему, а кто по-плохому.

Я работала директором вечерней школы рабочей молодежи, муж — мастером строительного участка и готовился к поступлению в строительный институт.

Временами мне казалось, что все это лишь сон, мне все не верилось, что за столько лет, проведенных им в заключении, он сумел сохранить чистоту своей души и внести в семью только хорошее. Уметь так понимать близкого друга, стремиться быть достойным его во всем — поверьте, это не каждому дано. А он стремился быть достойным меня, и я от души радовалась тому, что я не ошиблась в человеке и что из меня все же получится педагог.

Но наше счастье недолго было безоблачным, оно длилось всего-навсего полгода. Эта беда, да, да, именно беда случилась в мое отсутствие, я находилась в районе

с отчетом и собиралась вылететь в Ростовский-на-Дону государственный пединститут на последнюю сессию (последний год в институте я училась заочно).

Я понимаю, он виноват, виноват в том, что не сумел сдержаться после стольких лет страданий, виноват в том, что потерял власть над собой и прострелил ноги этому негодяю, иначе я его назвать не могу. Но ведь не настолько же он виноват, насколько был наказан приговором Кобляйского нарсуда Якутской АССР.

Перов был уважаемым человеком не только на производстве, в колонии-поселении, а и в поселке, ведь до этого случая он был избран председателем совета коллектива колонии-поселения, о чем говорит одна из характеристик в его деле.

Прошу Вас извинить меня за то, что своим горем я отнимаю у Вас время, но мне иногда становится страшно, что я как педагог начинаю терять под собой почву, я не могу уже так убежденно, как бывало прежде, внушать своим ученикам то, во что я сама стала плохо верить. Я стала плохо верить в то, что свою правоту всегда можно доказать. Я боюсь того, что все эти годы борьбы за человека могут пропасть даром, ибо в нем может поселиться такая злоба на все, что вряд ли чем ее рассеешь после. И еще самое страшное то, что у нас растет сын, который уже сейчас требует у меня ответа на вопрос, где его папа. А что я могу ответить нашему сыну, что я могу объяснить?

По Вашей просьбе я посылаю Вам письма мои и мужа, это лишь сотая часть тех писем, которые хранятся у меня. Думаю, что они Вам скажут о многом. Если Вам будет в них что-либо неясно, пожалуйста, напишите мне, я все объясню.

Через некоторое время я получила еще письмо от Анатолия:

«Уважаемая Валентина Филипповна!

Это пишет Вам заключенный Анатолий Перов, жена которого Перова Евгения была у Вас на приеме в начале августа этого года. Женя мне написала, что Вас интересовала наша жизнь: в частности, дело, за которое я отбываю это наказание. Я не знаю, смогу ли все изложить так, как это имело место, и нужно ли Вам это. Но все же я решил описать все то, что привело меня сейчас на скамью подсудимых.

С учетом прошлого я осужден верно. Что же, быть может, люди, рассматривающие мои жалобы, по-своему и правы: их вводит в заблуждение мое прошлое, которое действительно у меня было неважное. Я и от Вас не собираюсь скрывать того, что в юности успел натворить плохого. И что анкетные данные у меня оставляют желать лучшего. Но ведь это происходило 18 лет назад и тогда мне было 15—18 лет.

Я не отрицаю, однажды я был виновен и получил большой-большой срок, но ведь это не говорит о том, что я должен всегда всю свою жизнь оставаться преступником. Как бы низко я ни опускался, я не стал убийцей, я не предавал родины и не стал насильником, Я не совершил ничего, что могло бы считаться непоправимым. За свои ошибки юности я заплатил дорогой ценой, заплатил самыми дорогими годами жизни, лишил себя юности, растоптал молодость, я еще и сейчас, хотя и прожил 36 лет, не знаю, что такое советский паспорт. Да, за содеянное я расплачиваюсь честно, я имею в виду труд, труд порой тяжкий, труд сопровождает меня долгие годы. И я никогда, ни одного раза не отказался ни от какой работы. За что имею больше 20 благодарностей в личном деле. Правда, у меня есть, вернее были, нарушения, но они с меня все сняты. Одним словом, это мое прошлое, и за него я рассчитался полностью и дорогой ценой, и о нем я решил забыть — вычеркнуть из жизни. В нем нет ничего, что стоило бы помнить.

Я и сейчас не вспомнил бы о нем, если бы это прошлое не сыграло бы со мною, вернее в моей судьбе, столь каверзную штуку.

Иногда на меня нападала тоска, и я начинал всем грубить, доходило дело и до драк, я попадал в изолятор, отбывал наказание и опять входил в трудовую колею.

Так шли годы, а вместе с ними сокращался срок. За хорошее отношение к труду я был назначен бригадиром комплексной бригады. Начал постепенно увлекаться науками, короче, иногда стал задумываться о жизни. Так я отбыл почти 10 лет от последнего приговора. Администрация пообещала возбудить ходатайство о снижении срока наказания. В это время я стал получать письма от маминей квартирантки. Она интере-

совалась моей жизнью, рассказывала мне о своей, делилась мечтами о будущем. Я стал с нетерпением ждать ее писем. Вам, наверно, не понять, что значат письма для человека, прожившего подобную жизнь. Мне тогда было 28 лет, и в эти годы мне стала писать девушка. Я был мужчиной, но не имел представления о том, что может человеку дать женщина. И вот я стал получать эти письма. Для того чтобы писать грамотно, не делать ошибок, я пошел в школу, начал учиться. Правда, математикой я занимался и до этого. Позже науки увлекли меня, и я уже по-серьезному взялся за учение. У меня больше не оставалось свободного времени. За год я прошел программу 6-го и 7-го класса, в 1961 году получил свидетельство.

Но Женя написала мне, что для жизни этого мало, и я стал заниматься дальше. Я уже начал мечтать: как скоро освобожусь, как встречу эту замечательную девушку, которая помогла мне своими письмами найти самого себя. Но пришел 61 год, а вместе с ним вышел Указ о признании особо опасными рецидивистами лиц, ранее осужденных за тяжкие лагерные преступления. Мои судимости считались тяжкими. И вот я, ни разу не освобожденный с детского возраста, был превращен в рецидивиста. Я вначале растерялся, да и было отчего: ждал свободы, а попал в особую зону с особым режимом. И не знаю, как бы дальше пошла моя жизнь, если бы мне не писала Женя. Она смогла убедить меня, что это временная мера, вызванная определенными условиями, и что как сталь проверяют огнем, так и людей проверяют трудностями. И я поверил.

Я продолжал учиться заочно, продолжал работать. Так я отбыл половину срока от 25 лет. За хорошую работу и примерное поведение администрация представила меня на суд. Суд рассмотрел мое дело, и я был переведен в строгую зону, а это значительное изменение к лучшему. В строгой зоне я окончил 10 классов, получил аттестат зрелости. Мне исполнилось тогда 32 года. Коллегия по уголовным делам снизила мне срок наказания до 15 лет. Администрация и в этом случае ходатайствовала за меня. Мне осталось отбыть 1,5 года. В это время ко мне на свидание приехали мамаша и Женя. Так после 4-летней переписки мы впервые встретились. Мы о многом говорили и решили, что она останется на Севере ждать меня. Вскоре я был переведен в колонию-поселение, куда ко мне приехала и Женя. С разрешения администрации мы зарегистрировались и стали мужем и женой.

Огромную роль в том, что я стал иным человеком, сыграло мое знакомство с Женей. С помощью ее я нашел в себе силы порвать с преступной средой, сумел, несмотря ни на какие трудности, учась заочно, окончить 10 классов и поверить в то, что честную жизнь не поздно начать в любом возрасте. И что будущее зависит прежде всего от меня самого. Все это помогла мне понять эта девушка, ставшая моей женой. Вы ее видели и говорили с нею. Не знаю, какое впечатление о ней у Вас, но для меня она стала всем. Она вернула меня к жизни и помогла мне стать человеком, открыла мне глаза на мои прошлые ошибки, помогла мне осудить мою пройденную жизнь... Проживая в колонии-поселении, я работал мастером стройучастка, Женя преподавала в школе. Жили мы очень дружно, и многие уважали наше семейство. Я начал готовиться к сдаче вступительных экзаменов в вуз, документы уже отправил в РИСИ.

В это время к нам на поселение пришло пополнение, и среди них пришел некий тип, с которым в далеком прошлом мы водили дружбу. И вот прошлое стало опять тянуть ко мне свои щупальца. Правда, в то время я даже не подозревал, что эта встреча может окончиться подобным образом. Вначале «приятели» от меня потребовали льготных условий в работе, я отказал. Меня начали упрекать дружбой с производственным начальством, я не обращал внимания. Мне угрожали, но я не придавал этому значения, думая, что все это ерунда. Ну а далее произошло то, что привело меня опять на скамью подсудимых. Пьяные негодяи стали ломиться ко мне в дом. Один из них попытался силой проникнуть в квартиру, но я не пустил. Тогда они вдвоем накинудись на меня, повалили и стали избивать. Я попробовал вырваться, но негодяй схватил меня одной рукой за горло, а другой выхватил нож и замахнулся на меня. В это время на помощь ко мне выскочил товарищ. Он успел оттолкнуть меня. Я же, будучи сильно возбужденным, заскочил в квартиру, и мне на глаза попалось ружье, принадлежащее знакомому охотнику. Я схватил его и выскочил в коридор. Мой товарищ стоял в дверях, а на крыльце напротив него стоял с занесенной рукой бандит. Времени на

раздумывание у меня не оставалось, и я, чтобы прекратить нападение, выстрелил мерзавцу в ноги. После выстрела на меня кинулся с каким-то металлическим предметом в руках другой бандит. Я успел ударить его прикладом. После чего он убежал. Успокоившись, я вызвал врача для оказания помощи раненому. На другой день началось расследование. Меня изолировали до выяснения. Ну а позже был суд. На суде подтвердился факт вооруженного нападения на меня. Суд вынес определение о возбуждении против них уголовного дела, но почему-то это дело было выделено в особое производство, а меня осудили без учета вины нападающих, как за нанесение телесных повреждений, совершенно не вникая в причину, толкнувшую меня на этот выстрел. Во внимание было взято мое прошлое...

Вот так и получилось, что я нахожусь в заключении за преступление, совершить которое меня вынудили сами потерпевшие. И если бы это было совершено не мною, а другим, ранее не судимым человеком, то и сама статья обвинения была бы иной. Срок мне дали 5 лет, применив вторую часть, применив только за то, что у меня была судимость 15 лет назад. Как видите, за этот выстрел сейчас несем кару все мы. Я отбываю наказание в заключении. Но за что мучается моя жена, почему должен наш ребенок расти, не зная отца? Да и меня этот срок не сделает лучше, тем более что он не соответствует содеянному мною. Ведь каждому ясно, что не напади на меня эти распоясавшиеся прохвосты, ни о каком преступлении с моей стороны не было бы и речи. И жили бы мы сейчас дружной семьей, воспитывал бы я сына и учился бы на 4-м курсе в институте.

Я прошу Вас, Валентина Филипповна, если сможете, то помогите нашему семейству побыстрее встретиться. Я не хочу, чтобы наш сын рос без отца, да и мне нужно успеть еще очень многое. Я должен окончить институт хотя бы ради нашего сына, чтобы ему, когда он подрастет и начнет понимать, не пришлось краснеть за своего отца. А ради Жени и нашего мальчика я смогу добиться еще многого. Можете поверить мне, что обратно в лагерь я никогда и ни под каким видом не попаду».

Редакция начала хлопоты. Я обратилась с обстоятельным письмом к председателю судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР Григорию Захаровичу Анашкину.

Пока шли хлопоты, Женя делала все возможное, чтоб не дать отчаянию духовно сломить Анатолия. Она писала ему, умалчивая о своих бедах, душевном смятении, тяжких мгновениях, когда и ей, как ему, казалось, что впереди один мрак. Снова, как бывало, она садилась рядом и читала ему вслух «потрясающе интересный роман», вытаскивала его на вечерние прогулки, мечтала, каким будет их сын, их Антошка.

Ни слова о той первой после новой беды записке, потрясшей ее. В ней Анатолий прощался с ней и будущим сыном, просил простить его за все, благодарил за счастье (увы, короткое), за ее веру. Он не имеет права, не должен — это было бы жестоко — удерживать ее около себя. А Женя писала...

«С Новым годом, родной мой!

Мне бы хотелось, чтобы этот год принес нам столько же счастья, как и 1964 год. Не правда ли, Тошка, тот год был для нас с тобой необыкновенным. Да, мы были счастливы по-настоящему, и сейчас я вспоминаю все словно дивный сон. Но ведь это же все было наяву, Тошка, и вновь наше счастье вернется к нам.

А хочешь, Толюшок, побродить по Ростову? Давай отправимся с тобой на Театральную площадь, смотри, какая громадная елка, жаль, нет снега, и кажется, что весной почему-то решили украсить елку, смешно, весна — и елка. Но не будем придирааться, побродим по аллеям парка. Ты говоришь, вернее удивлен, почему многие оглядываются на нас, но ведь мы же счастливы. Сегодня даже пенсионеры-старички сказали маме, что она выбрала себе красивую невестку. Я, правда, посмеялась по этому поводу, но очень хотелось верить — может быть, наш будущий сынуля пошел мне «на пользу». Посмотрим, что будет дальше, а пока женщина — «ничихво».

Улыбаешься? Это хорошо, это чудесно, ведь мы должны улыбаться все время, мы все равно самые счастливые во всем мире, хотя временно находимся в разлуке. Нет,

нет, я ошиблась, ведь мы сейчас вместе бродим по Ростову, с нами наш Антон, и мы оба гордимся этим счастьем.

Толюшок, махнем на набережную. Смотри, здесь уже построили новый мост с Ворошиловского проспекта на противоположную сторону Дона. А ведь Дон все еще не спит, устал, видимо, в этом году страшно, а уснуть никак не может, погода не позволяет.

Здесь сейчас совсем тихо, очень мало народу, а нам это как раз подходит.

Ты счастлив, Тошка? Очень? И я тоже. Представляю, лунная тихая ночь, пустая набережная, и только мы и наше счастье танцует вместе с нами. Ты что загрустил? Не нужно, ты не грусти, пожалуйста, ведь твой Рыжик всегда, всегда с тобой рядом, безгранично любит и верит в тебя. Ведь нам так хорошо вдвоем, и мы обязательно будем вместе, очень скоро будем. Так должно быть и так будет. А знаешь, Тошка, Антон устал, придется нам отправиться домой, ребенку пора отдыхать и нам тоже.

Возьми Рыжика к себе на колени. Можно? Конечно же, конечно же».

«Вчера после того, как я послала тебе письмо, мне ужасно захотелось увидеть тебя и услышать твой голос. Достала твои старые письма, которые ты писал мне, я их привезла с собой, и вновь перечитала. Каждая страничка говорила мне об очень важном для нас обоих. Вот мы стремимся стать мужем и женой, мы очень желаем этого оба, и мы стали ими. Вот они, восторженные твои письма по этому поводу, и я вспоминаю, что я писала тебе после этого события. Какой же глупой девчонкой я была тогда! Мне казалось, что ты навсегда станешь презирать и разлюбишь меня. Но вот передо мною твое письмо, в котором ты вернул мне веру в нашу любовь, что ты меня любишь еще больше, чем прежде.

А вот и наш первый маленький юбилей. Ночь, маленькая избушка, и только мы с тобой. Ты впервые осмелился посмотреть на меня, чтобы запомнить все до мельчайших подробностей во мне, и твое страстное желание разбудить меня, все это сейчас проплывает передо мной словно дивный сон. Но ведь все это было на самом деле, Тошка, ведь было. Мы верим в наше будущее, мы очень хотели быть вместе, и наше желание исполнилось. А ведь на самом деле.

Тошка, у нас с тобой все получается очень интересно, вернее, вначале трудности, но в итоге все равно результат, к которому мы стремимся. Я думаю, что и на этот раз жизнь не стала изменять своим традициям, она решила разлучить нас на время, чтобы потом никогда не разлучать. Сейчас у нас одно желание — твое возвращение ко дню рождения нашего сына. И это желание должно исполниться».

Временами ей удавалось пробудить в нем веру.

«Женька, родненька моя, здравствуй!

Сегодня 4 августа — знаменательная дата в нашей с тобой жизни. Ровно год назад мы впервые увидели и поцеловали друг друга. Да, Рыжик, прошел всего только год, но этот год был самым счастливым годом в моей жизни. Сколько радости и счастья узнали мы за этот год... Родненька, ведь были же мы счастливы, правда? Или это всего лишь сон? Нет, нет и еще раз нет, это была жизнь, жизнь наша и только для нас. За этот год я узнал твою любовь, и теперь ты останешься всегда во мне. Но теперь мне и труднее, чем раньше, переживать все то, что произошло. Раньше у меня не было тебя, а теперь у меня есть ты. Но ты же и поможешь мне пережить все случившееся. Ведь ты же помогла мне и стать другим. А наше счастье обязательно вернется к нам, оно не может не вернуться, ведь мы любим друг друга и будем бороться за наше будущее. Ведь так же, Рыженька?

Сейчас мне очень тяжело, тяжело так, как, наверно, еще никогда не было. Мне страшно то, что я могу потерять тебя на годы жизни, а это будет, наверно, непосильным для меня. Настроение у меня ужасное, я мечусь по камере из угла в угол и не могу найти себе места. Твой всегда Тошка».

«Здравствуйте, мои самые красивые и самые дорогие для меня Рыжик и наш малыш!

Думаю, что это я пишу вовремя. Родная моя, тороплюсь поздравить тебя с благополучным исходом и расцеловать вас вместе с нашим малышом или малышкой. Роднучка, конечно, ты понимаешь, что я пишу эти строки авансом, ибо уверен, что эти строки ты будешь читать не раньше девятого, а следовательно, мы с тобой смогли добиться своего и у нас есть наш, ты слышишь меня, наш самый дорогой для нас, пока маленький, но тот человечик, о котором мы так мечтали. И значит, что мы самые счастливые. А вместе с малышом к нам придет и все остальное.

Женька, рыжая моя женулька, как мне хочется быть сейчас рядом и видеть, как моя любимая маленькая жена держит на руках нашего мальпца. Родная, не нужно грустить, ну зачем ты морщишь свой курносый нос? Слышишь, не надо. Ты же знаешь, что твой Тошка с тобой, значит, все нормально. А скоро, очень скоро мы опять будем самыми счастливыми на этом свете. Рыжик, сейчас уже ночь, все товарищи спят, а мы с тобой, как и прежде, только вместе, правда, нас уже не двое, но тем лучше для нас. Хотел бы я хотя одним глазом взглянуть на наше драгоценное создание. Я очень прошу, опиши мне, такой ли он, как мы мечтали. А как только будет можно, то пришли мне фото. Хорошо, родная?

Рыжик, очень прошу, отвечай сразу на это письмо. Я буду очень ждать известия о твоём здоровье и здоровье нашего малышки. Антон старший».

«Родной мой!

О нас с Антоном не волнуйся, мы теперь в надежных руках, за нами тщательно следят и наблюдают, а мы теперь каждый день будем болтать с нашим папкой, и ты будешь постоянно чувствовать нас рядом, ведь мы сейчас совсем близко от тебя.

Вот посмотри на фото, как мы тебе с Антоном улыбаемся.

Всех домашних я убедила в том, что ты не виноват в этом происшествии, но немного пришлось солгать впервые в жизни, что мы расстались на год, а почему солгать, я просто твердо верю в то, что этот срок для нас максимальный. Не так ли, роднучка? Ведь мы сообща сможем доказать свою правоту. Не нужно, радость моя, так печалиться, ведь твой Рыжик всегда с тобой заодно, ведь мы с тобой одно целое, а значит, нас невозможно разлучить никогда, никогда мы не расстанемся».

«Сегодня я бросила все дела и решила поговорить с тобой, все равно все дела не переделаешь, им нет ни конца, ни края. Пусть не волнует тебя то, что я худая, ведь моей фигуре может позавидовать любая француженка. Не хочешь, чтобы твоя жена была француженкой? Ну ничего! Приедешь, буду переделываться на русский манер. Да, не злись, родной, все будет хорошо, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет.

Сейчас у меня такая горячая пора, что при всем желании поправиться у меня ничего не получится.

Меня одно тревожит, что Антон плачет часто во сне. И все говорят по-разному, одни — что все со временем пройдет, другие — нужно лечить у бабки. А бабка некрепленного лечить не берет, а для меня крестить звучит слишком дико. И не знаю, что мне с ним делать. Так он очень резвый, смысленный малыш, а во сне плачет, да с такой обидой, словно его очень кто-то обижает».

«Пишем тебе письмо вместе с сыном. И все же я свое обещание выполнила, подарила тебе сына. Все ужасно довольны, только имя никому из родичей, кроме кума, не нравится. Но я думаю, что для нас лучшего имени не должно быть, не так ли, родной? Антон не пойму на кого похож, волосы черные, брови светлые, нос вроде похож на твой, но почему-то курносый, глаза синие. Да сейчас трудно разобрать что-либо, они все на одно лицо похожи.

Томошечек, перед тем как отправиться в больницу, я получила письмо — в прокуратуре РСФСР дела пока еще нет.

Будем верить, что мы все же в этом году будем вместе. Я задумала, что если у нас родится сын, то мы обязательно в этом году будем вместе. Я верю, я знаю, что наш папка скоро приедет к нам.

Ты знаешь, Тошка, сейчас для меня Антон — это весь мир. Закрою на минутку

глаза, а он передо мною. А когда плачет, ну душа с телом расстается, не могу смотреть, наверное, все матери одинаковое чувство испытывают к своим детям».

«Здравствуй, наш дорогой папка Тошка!

Ты прости нас за то, что мы не болтаем с тобой эти дни. У нас три дня шли дожди. Погода была отвратительная, а такие малыши, как Антон, очень чувствительны к капризам погоды и сами капризничают в такую погоду. Он не давал все эти дни даже вздохнуть, хорошо хоть тетка Любка пришла, с ним немного понянчилась. А то кричи караул и только.

Баба Нина наша болеет, очень слабо себя чувствует. А сколько же ей можно, ведь кругом одна, и в саду, и дома, и кругом сама, да еще Антон просится плясать, тоже нужно.

Да, нашего Антона узаконили, выдали свидетельство о рождении, все честь по чести, так что ты законный папа, а мне даже в паспорт вписали сына. Так что мы с тобой правдешные родители».

«В прошлом письме я выслала тебе 13 фотографий, там сын и некоторые «штатские» из нашей многочисленной родни. Думаю, что ты долго будешь любоваться на свое создание, нет, что ни говори, а парень у нас — все, что любишь. Именно о таком малыше я очень долго мечтала.

Сын наш последние дни что-то хандрит, видно, на зубки. Все кусает, злится, хнычет, тянет в рот все что под руки попадет. А дядька Генка в восторге оттого, что племянник голубятником растет. Как только вынесу во двор, скажу «гули, гули», а сынок поднимает голову кверху, смотрит на крышу и себе: «гу-гу-гу...»

А н а т о л и й — Ж е н е

Родная моя, ну как наш малыш? Надеюсь, что он чувствует себя хорошо, ведь ты же дюже вумная у меня девчонка. Рыжик, роднулечка, я завтра допишу это письмо, а то уже отбой, а с этим у нас в этом учреждении дюже строго, так что извини. Спокойной ночи, роднулечка, целую вас с Антоном крепко-крепко, ваш Толька.

Доброе утро, Рыженька, вчера я не успел дописать свое послание, вернее свой разговор с тобой, и вот сейчас решил докончить. Настроение неважное: тоска, а тут еще эта неизвестность сводит с ума. Адвокат не идет, или новости неважные, или он в отъезде. Сейчас по радио передают концерт итальянского оперного певца — Марио дель Монако или что-то в этом роде. Отличный голос, но и это не радует, ведь тебя нет рядом. Да, наломал я дров, и обидно то, что осудили-то неверно: ведь не я, в конце концов, искал этого. Короче, скоро узнаем точно, что там они решат. Все-таки существует у меня уверенность в том, что они должны разобраться. Рыжик, сегодня среда и ты, наверное, дома! Интересно, что ты делаешь!

Рыжик, родная моя жenuлька!

Каждое твое письмо заряжает меня бодростью и верой во все самое хорошее, что у нас должно быть. Вот сейчас все уже спят, а я нет, я нарочно дождался, чтобы все улеглись, и вот остался с тобой вдвоем. Роднулечка, очень соскучился по своему Рыжику. Я уже больше месяца не получаю от тебя писем, а ведь ты же знаешь, что неизвестность — это очень неприятная штука, тем более в этих idiotских условиях. А тут еще, как назло, перестали всех водить на работу. Вот и приходится или читать всякую ерунду, или залазить в учебники. Но в учебники почему-то трудно: не могу сосредоточиться и не могу себя заставить думать в этом направлении. Все время передо мною вопрос, как же все это могло произойти и как я не смог себя удержать. Все думаю и думаю.

Как себя ведет наш малыш? Рыженька, родная, радость моя и надежда. Пиши мне, пожалуйста, обо всем: о здоровье, о настроении, о школе и всех новостях.

Ты просила мой дневник. Вот пока странички из него.

Из дневниковых записей А. Перова

Важно понять то, что юноши часто совершают преступления совсем не потому, что им необходимы средства на развлечения, — нет! Лично я знаю из опыта, что в

большинстве случаев преступность среди несовершеннолетних возникает на почве какой-то необыкновенной романтики и в погоне за тем, чтобы тебя никто не мог упрекнуть в трусости. А ведь это самая больная сторона у любого мальчишки. К тому же в 15—16 и даже 17 лет еще далеко не каждый из подростков может отличить наказуемый поступок от ненаказуемого, а это очень важно в решении вопроса о преступлении, тем более если преступник — хулиган. Другое дело воровство, но и здесь нужно усмотреть первопричину, толкнувшую его на то или иное действие.

Почти всегда, совершая свое первое преступление, мальчишка не успевает полностью осмыслить то, что он совершает. И самое опасное время — это первые сутки, даже часы после проступка, именно это время, когда юноша начинает понимать то, что он совершил. В этот момент в человеке происходит ожесточенная борьба, происходит борьба совести с тем другим чувством, которое с тою же силой старается перебороть совесть и оправдать любыми доводами совершенное. И горе тому, у кого переберет это второе чувство, с того времени — дня или часа — он может на долгие годы, а может, и навсегда свернуть с дороги честного человека.

Я знаю, что даже взрослый, вполне оформившийся человек, несознательно совершив плохой поступок и осознав это, после совершенного старается найти себе оправдание и часто находит, хотя из-за этого ему приходится идти на сделку с собственной совестью. Правда, в душе он понимает, что происходит самообман, но надежда на то, что никто не узнает об этом, губит человека. И вот в это время, время борьбы хорошего с плохим, и нужно помочь парню: помочь ему перебороть то плохое, что без посторонней помощи очень часто побеждает. Важное значение в этой работе имеет то, что человек, поставленный на эту должность, должен быть и чутким и безупречно честным в своих словах. Ибо подростки очень болезненно переносят обман.

И другое также важно: совсем не обязательно осудить к заключению человека, совершившего впервые то или иное преступление, потому что отбывание меры наказания в малолетней колонии, в частности, может принести совершенно не те результаты. В большинстве случаев происходит совершенно обратное: мальчишка, если он до отбытия первого срока представляет заключение чем-то неясным и страшным, познакомившись с колонией, да еще с детской, и если этот срок непродолжителен, то по отбытии он перестает бояться. Он убеждается, что особенно страшного в колонии ничего нет. Зато он, вернувшись из заключения, на «своей улице» становится для многих «героем», а став таковым и познав ту примитивную известность, он может, иногда даже не желая этого, вернуться на преступный путь, да еще и с собой увлечь других, не испытывавших подобного «посвящения» ребят. Мне кажется, именно в этом направлении нужно работать нашим юристам: как, каким наказанием нужно ограничиться, чтобы не перегнуть и не сломать то, что еще можно поправить, не причиняя травмы юноше. Лично я думаю, что в данном случае нужно использовать опыт замечательного педагога Макаренко. Ведь он оправдал себя и доказал многим неверующим свое превосходство. Но если все же явится необходимость отправить мальчишку в Д. Т. К., то прежде нужно обязательно предварительно установить не только степень его виновности в преступлении, а также личность и степень испорченности, или, если желаете, зараженности. А установив все это, совсем не обязательно содержать его в тюрьме.

Нужно, чтобы юноша не знал, что такое тюрьма, потому что в тюрьме, встретившись с другими, более испорченными ребятами, он получит от них нежелательные навыки, которые надолго задержат его исправление. К тому же многим для того, чтобы они выздоровели навсегда, совершенно не нужно заключение и приговор с судебным заседанием. Достаточно под любым предлогом провести подростка через тюремный двор или даже тюремный корпус, чтобы он просто увидел то, что может его ожидать, и я уверен, что для большинства этого будет вполне достаточно. Я имею в виду впервые оступившихся ребят, чтобы он не пожелал больше никогда вернуться в это учреждение, которое он, по его понятиям, чудом избежал. Это одно из средств борьбы с первичной преступностью.

А если говорить о предупреждении, то нужно рассматривать другой фактор, а именно: нужно суметь сделать так, чтобы у любого подростка был интересно заполнен его досуг. Тогда ему не нужно будет самому искать ту «романтику», которая может

довести его до серьезного «заболевания». Ведь если проанализировать все те причины, которые повели ребят по преступной тропке, то можно легко убедиться, что в большинстве случаев, я имею в виду настоящее время, это то, что у него было очень много свободного времени и очень мало интересных и полезных дел, которыми можно было бы заполнить это время. Ведь если говорить о воспитании человека и о том, чтобы избавиться от преступности среди несовершеннолетних, то разве можно говорить о цене в деньгах, которые можно использовать в этих целях. Ведь в нашей стране самое дорогое богатство — это люди, и для того, чтобы они росли полезными для государства и народа, мне кажется, можно держать специальных физруков или массовиков, которые помогли бы организовать подросткам полезное и обязательно интересное времяпрепровождение.

* * *

«Родной мой, милый мой Тошка, говоришь, что будешь доказывать истину любыми путями. Я понимаю тебя лучше, чем кто-либо.

Ты говоришь, что можешь писать куда угодно, только не на помилование. А я думаю, что только этот путь я бы избрала, если бы знать, что он принесет положительный результат.

Подожди, подожди возмущаться, Тошка. Ты не хочешь признать себя виновным? Ты не желаешь унижаться, но ведь я и не заставляю тебя брать вину на себя.

Не думай, что я сошла с ума или мне надоело ждать, не нужно, Тошка. Мною движет одно желание вырвать тебя из этого грязного болота, и как можно скорее. Если бы ты был виновен на самом деле, я бы не предлагала тебе этот путь, ибо я бы знала — что заработал, то и получи. Но в том-то и дело, что ты невиновен, а поэтому ты должен быть с нами, а как этого добиться, вернее, каким путем? Я считаю, что лучше всего коротким путем.

И пожалуйста, оставь свои мальчишеские вымыслы. Ты просто иногда забываешь, что ты уже отец и муж, а это тебя обязывает ко многому, а именно — думать о нас.

Ты привык к опеке, к тому, что твой Рыжик часть тебя и в нужный момент она всегда нажмет кнопку. Но не стало Рыжика — и отказали тормоза.

Об одном прошу, пойми меня, Тошка, правильно и не дуй губы. Ведь я твоя жена, твой друг, твои глаза, кто же, кроме меня, скажет тебе правду? У нас есть сын, сын, который растет, и мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы сын не узнал этой грязи и чувствовал постоянно, что у него есть отец и мать. А отец не имеет права строить себе удел, он должен, обязан вернуться как можно скорее к нам.

Вот теперь и подумай над моим предложением, писать на помилование или нет».

«Рыженька, я тебя очень прошу, берегите себя, ведь вы у меня то самое святое, ради чего человек борется. Вот сегодня 30 декабря, я вспоминаю 64 год и все то, что принесло нам это число. А завтра исполнится ровно два года, как мы узаконили наши отношения. Я помню, как 31-го мы решили только вдвоем встретить Новый год. Мы никуда не пошли, хотя нас и приглашали, нам вдвоем было гораздо лучше, чем в любой компании, правда, я хотел сходить, и то только потому, чтобы все увидели мою самую лучшую женульку. А позже к нам пришли наши друзья: Гриша и Дима. Правда, Дима в конечном итоге оказался подлецом, но тогда-то мы этого не знали. А вот Гриша — это да. Это самый замечательный парень. Впрочем, ты это знаешь и сама не хуже меня. Мы тогда были самыми счастливыми на земле. И вот прошло два долгих года, и сколько изменилось за это время. Мы так долго в разлуке. Гриши нет, но у нас есть Тошка. И мы по-прежнему любим друг друга. Правда, мы не вместе, но настоящая любовь не боится разлук и расстояний, и от всего этого любовь, если она настоящая, становится крепче и верней.

Родная, ты спрашиваешь о контрольной. А ведь я ее тебе отослал, и оценовал, по моему, вовремя, а если и опоздал, то ненамного, правда, решал я ее не один, но тем не менее она должна быть уже у тебя, если ты ее не получила, то я пришлю еще раз. У меня она записана в тетрадке, а с этой, право, даже не знаю, что и делать. У нас сейчас в камере, где я живу, почти все новые люди и все какие-то бешеные, целые вечера творится черт знает что. Я вот это письмо пишу на работе. Сейчас же наши «товарищи» вновь нагрузили на меня это бригадирство, и пришлось взяться.

Крепко целую бесчисленно раз, всегда с вами всеми папка-Тошка.
Привет родичам. Жду обещанные фото».

«Здравствуйте, дорогой мой Рыжик и наш маленький Тошка!»

Рыжик, роднулечка, ты знаешь, наконец-то мне прислали все твои письма, которые, если судить по штемпелям, умудрились несколько раз пересечь не такую уж малую нашу страну и все же хотя и с таким опозданием, но попали ко мне, а вместе с ними ко мне добрались и мои старые очки. Родная моя, перечитывая все то, что ты написала мне тогда, я как бы вновь пережил все то, что произошло тогда. Ты знаешь, я чертовски расстроился и все же, несмотря на это, помню добром тех немногих наших друзей, которые в трудное время не покинули тебя в одиночестве. Тошка».

«Толюшок мой, милый, родной мой, не сердись на меня за столь сумбурное письмо, но ведь ты же знаешь, что нелегко мне без тебя, знаешь и то, что я не могу людям прямо смотреть в глаза потому, что приехала в родной город одна, потому что не смогла уберечь тебя от этого случая. А Антон каждый день требует отца, у меня уже сил нет поднимать его, он становится с каждым днем все тяжелее и тяжелее, ему нужно часто бывать на воздухе, а он меня с ног валит».

«Родной мой, милый наш папка Тошка, говоришь, что тебе сейчас очень, очень плохо? Да ведь мы прекрасно чувствуем это, но не знаем, как тебе помочь. Ведь нам без тебя не лучше. Мне до того опостытели эти бесконечные расспросы многочисленных знакомых — где наш папка и скоро ли он приедет. А ехидные рожи бывших поклонников, когда-то отвергнутых: дескать, известно, где берутся дети, у которых нет отцов! Не будешь же всем объяснять, кто ты и где ты. А теперь приходится и отговариваться тем, что наш папка скоро приедет. Тут уж одна соседка злословила, что была такой девушкой порядочной и вдруг сына родила, а мужа все не видно, да и есть ли он, тоже неизвестно.

Меня особенно не трогают эти склоки, но где-то в глубине души копаются червячок, так и подтачивает и задевает за живое, за что я так жестоко наказана, за что отняли у меня мужа и отца у ребенка? Иду на работу и обратно и через некоторые промежутки пути оглядываюсь или всматриваюсь пристально вперед, словно ты можешь каждую секунду неожиданно появиться и тихо позвать: «Рыжик!» Если бы знали, если бы могли понять, каких людей они разлучили и за какую провинность, они бы не сделали этого или поскорее исправили свою ошибку».

«Сейчас очень поздно, но я решила не откладывать наш разговор на завтрашний день, ибо когда начинается день, я не успеваю следить за временем, все дела и дела, а там и время бежать в институт, а потом ванны Антошке, затем колыбельные песни ему же, потом стирка многочисленных рубашонок, распашонок, ползунков и т. д. И только в 12 ночи или позже я свободна, и то относительно, ведь сынуля чувствует, что мама еще не спит, и настоятельно требует, чтобы я скорее легла рядом с ним».

«Антошка наш говорит: «Баба, дядя, мама». Пока на этом запас слов его ограничивается. Но в этом возрасте у детей часто появляется желание высказаться, они говорят все, на что способен их непослушный язык, а потом забывают эти слова, появляются новые, и к году они собирают все вместе и начинают строить «громкую речь».

27 ноября мы отмечали у нас дома 35-летие Женьки Камышева. У них жилплощадь не позволяет. Собрались все родичи и некоторые друзья, и центром всего вечера был Антошка. Весь вечер мы с сыном плясали, ведь маме больше никто не может составить пару в чарльстоне, кроме сына, дядя Геня танцует твист, а маме это не подходит, вот мы с ним и выписывали кренделя и вспоминали нашего папу, был бы он, мы бы показали класс.

На работе у меня все хорошо, полное взаимопонимание. Преподавательский состав хороший, дружный. Правда, один колдун, преподаватель философия, какие-то дешевые номера придумывает по отношению ко мне, решил околдовать, ибо я ставлю шпильки ему в колеса, но у него ничего не получается. И он стал предметом шуток среди преподавательского состава института.

В нашем институте есть отделение «Промышленное и гражданское строительство». Если бы было все в порядке, я бы смогла помочь тебе во многом. Сейчас первый насущный наш вопрос с тобой — свобода во что бы то ни стало. Потом все остальное».

«А у нас появился первый зуб! Ты думаешь, что это так просто и что в этом нет ничего особенного? А вот и нет! Во-первых, он страшно липкий элемент во рту, и нам никак невдомек, с какой стати он появился, да еще уселся где — на самом видном месте, внизу. Малыш постоянно его пробует языком, видно, всеми силами старается его вытолкнуть вон, а он ни в какую не поддается, и в результате этого поединка у Антошки так комично оттопыривается нижняя губа, что главное событие в доме — это Антошкин зуб, ибо без смеха на него никто не может смотреть».

Что нового слышно у тебя, не получил ли чего из Москвы? Как дела на работе? У меня пока никаких новостей нет, все по-старому, работа, Антошка и книги. Ну вот на сегодня и все новости, до свидания, наш дорогой папка, если бы ты знал, как ты нам сейчас нужен. Целуем крепко».

«Сегодня я получила все твои письма, которые ты послал из Якутска. Родной мой, вот ты в каждом письме уговариваешь меня не тосковать так сильно. а сам... ведь в каждом твоим слове столько тоски и страданий, что я не могу без слез читать твои письма».

Читая твое последнее письмо, я и плакала и злилась на тебя. Как ты мог так подумать хотя бы на секунду? Ведь ты прекрасно знаешь своего Рыжика, знаешь то, что меня нельзя сломить и переубедить в чем-то, если я твердо убеждена. А в том, что я твоя, а ты мой, в этом нет никаких сомнений и не может быть, и у нас есть наш малыш. Да, какая чушь, какие могут быть муки для меня, ведь я люблю, люблю и еще раз люблю тебя и горжусь тобой. Ясно? И будем мы вместе не через пять лет, а максимум через пять месяцев, если ты ничего не натворишь, но верь, я этого не допускаю, потому что мы нужны друг другу и, следовательно, должны быть только вместе, и выбрось, пожалуйста, дурь из своей непутевой головы, это мой приказ. Ясно?»

«Мы думаем, что ты догадался, в какой день мы говорим с тобой».

Вот именно, в наш юбилейный день. Вот он уже подходит к концу, и мы желаем рассказать тебе, как мы его провели».

Проснулись мы, как всегда, в 6.30, собрались, нарядились, сын облачился в свой черный фрак, торжество ведь у нас сегодня, ну и мама соответственно, правда, мама немного по-домашнему, фартук обязательно, мне хотелось быть такой, какой я была в тот день. Впервые я надела белые туфли, твой подарок в день рождения, ведь я считаю, что мы сегодня все вместе отмечаем этот день».

Потом мы гуляли с Антошкой в лесу, а погода сегодня точно такая же, как три года назад. День очень теплый и солнечный, все сопутствует нам, даже природа говорит о том, что мы созданы друг для друга, и поэтому наша жизнь должна быть солнечной и веселой».

Правда, сейчас не особенно весело получается, но все еще впереди, и мы все же будем жить очень дружно, и не раз еще будут завидовать нам многие».

Ведь на самом деле, Тошка, нам есть чему позавидовать, ведь не каждому удастся встретить на своем пути своего человека, а мы нашли друг друга, у нас есть отличный мальчишка, наш Антошка, он единогласно признан в поселке самым симпатичным парнем, такими бывают только дети любви, и наш Антошка — доказательство нашей любви, прямое и безоговорочное».

Извини, Тошка, пришлось прервать наш разговор, сын потребовал».

...Вспоминаю наш день три года назад и то, как он навеки стал нашим днем. Как я не находила себе места после того, как ты ушел, как мне казалось, что ты будешь после всего, что было, презирать меня, и успокоилась лишь после того, как только получила твою весточку».

С того дня ты стал неотъемлемой частью меня самой, а я переступила самый опасный рубеж, с которого я стала принадлежать не только себе, а и тебе. И вот сейчас я

моем сознании никак не укладывается то, как могут выходить по несколько раз замуж или, еще хуже, каждый день принадлежать разным мужчинам. Неужели это все так просто? Мне кажется, можно отдать себя всю только одному человеку, только один должен все знать тайны о тебе, только тогда жизнь будет иметь свой смысл. Вот ведь наша мама так до сих пор не может понять, как можно принадлежать не одному, а нескольким. Видимо, подобные вещи и до меня не дойдут».

Шли месяцы. Время от времени Анатолий не выдерживал, и в его письмах прорывались отчаяние, тоска, горечь по утраченным надеждам.

«Здравствуйте, дорогие мои Рыжик и наш маленький сынок Тошка!

Да, родная моя женулька, видно, красивые истории со счастливым концом можно встретить только в сентиментальных книжонках, рассчитанных на глуповатого читателя. Но как только дело начинает касаться людей, то этот розовый туман улетучивается, как утренний сон. Рыжик, роднулечка, даже не знаю, что тебе и посоветовать, но скажу одно: чувствую, что тебе в данное время много тяжелей, чем мне, а вместе с вами и мне становится просто невыносимо. Поверь, если бы я мог предвидеть, что все произойдет так, я бы, наверно, ни за что не ответила на то письмо, которое ты написала мне тогда — пять лет назад. Я не привык, чтобы из-за меня мучались такие замечательные люди, как ты. Не обижайся, Рыженька, но, видно, меня кто-то проклял в детстве, и с тех пор как бы я ни старался, как бы я ни стремился к светлому человеческому счастью, оно только на короткий миг посветит мне, как солнечный луч в грозу, и опять скроется за тучу. Ты отлично знаешь, что я никогда не был суеверным, но в последнее время я начинаю убеждаться, что, по-видимому, мой удел влачить подобную жизнь всегда. Я никого не убил, ни у кого не отнял жизни, не совершил чего бы то ни было непоправимого, так за что же у меня отнимают жизнь? Я своим трудом и поведением долгие годы доказывал, что и я имею право на небольшое человеческое счастье. Я набрался смелости и сил поврать с тем, что было у меня в прошлом, хотя в те годы это было почти самоубийством. Но тогда мне поверили и помогли, а вот теперь, когда с последнего суда прошло пятнадцать лет, когда я стал совершенно иным человеком, когда о прошлом не могло быть и речи, мне напомнили это прошлое. Поверь, вся моя сила терпения кончилась, и теперь только ты и наш маленький Тошка заставляют меня бороться и терпеть, терпеть и доказывать, ибо я всегда помню, что принадлежу больше вам, мои дорогие, чем себе. Рыжик! Ну ответь мне, почему в нашей жизни все идет таким образом? Неужели я хуже других, неужели нам действительно суждено прожить еще и эти годы в разлуке? Мне кажется, что если случится так, то я не вынесу подобного. Ибо это будет слишком тяжело, ведь вместе с годами пропадают и наши мечты, а жизнь без мечты — это ничто. Впрочем, роднулечка, извини меня, я совершенно расклеился.

Крепко вас с Антошкой обнимаю и целую бесчисленно раз, всегда ваш и с вами папка Тошка».

Встревоженная душевным надломом любимого, боясь потерять его, Женя принимает решение: ехать. Надо ехать, чтоб он увидел Антошку. Сын сделает то, что она уже не в силах.

Ох, как непросто осуществить задуманное. Тогда, в первый раз, она отставала перед родными, близкими, друзьями свое право выбирать себе суженого, даже если этот суженый не внушает никому, кроме нее, доверия и живет за тридевять земель. Теперь на руках у нее был грудной ребенок, дорогой человек для ее родных. «Не жалеешь себя, пожалей дитя...» Укоры и ласки, уговоры и гнев — ничто не помогало.

«Итак, решено, мы едем к тебе. Послезавтра будут взяты билеты на 11 августа. Москву мы пока минуем, а у тебя посоветуемся, что делать, может быть, я и вернусь в Москву самолетом. Так что жди, батько, нас в гости. Не веришь? А помнишь, 1964 год нам принес встречу тоже в августе, а потом наша встреча нам принесла много счастья. На сей раз мы привезем тебе вдвое больше счастья, ведь мы едем

даюем, сын и я. Ну что, здорово? Только ты не волнуйся заранее, что нам не дадут личного свидания. Я постараюсь, все будет хорошо. У меня очень много веских причин».

— Вспомните, Женя, как встретились вы тогда?

Она молча смотрит на мужа. Долго-долго. Он не отводит от нее глаз, и этот безмолвный разговор двух помогает им восстановить все как было.

Темный ветреный вечер. Лес. Незнакомая для Жени пустынная местность. Пронизывающий холод и одна тревожная мысль: не простудить бы Антошку.

— Неужели даже тогда не шевельнулось в душе сомнение, не напрасны ли жертвы?..

Женя покачивает рыжей головой и смотрит на меня с недоумением и укором.

— Никогда — ни в те минуты, ни позже. Никогда не было жертвенности. Была любовь, вера... Прижимаю Антошку, разговариваю с ним. Только бы не сбиться с пути, не застудить его. От одного предчувствия — скоро, скоро увижу — силы прибавлялись.

Парадоксально, почти неправдоподобно, но и в той трагической ситуации близкая встреча с любимым наполняла ее таким предощущением счастья, что будь дорога во много крат длиннее и труднее, она все равно одолела бы ее, как одолевала все преграды за долгие годы своей нелегкой любви.

Но когда она, полуживая от пережитого, стояла с ребенком на руках перед конвоиром и слушала, оглохшая от горя, его непреклонное «не положено», «не разрешено», «не имею права», ей на мгновение показалось, что это все — конец.

Что помогло? Слова ли, которые произносила Женя, умоляя только об одном: «Пусть отец возьмет на руки Антошку — это надо, это необходимо, даже самый строгий начальник, будь он здесь, разрешил бы...» — или ее глаза, в которых жила душа этой маленькой отважной женщины, наделенной великим талантом — любить (тогда, при первой нашей встрече, я поверила глазам), но, поколебавшись, конвоир махнул рукой и отвернулся. Дальше все произошло, как задумала Женя: Антошка благополучно перебрался на руки к отцу. А когда она увидела побледневшее лицо мужа, ей захотелось закричать от радости: теперь она уверовала — Антошка и впрямь сделал то, что уже порой бессильна была сделать она.

«Я довольна тем, что произошло твое знакомство с сыном, что ты сам ощутил его на своих руках, и теперь вы оба можете думать друг о друге, а ты как о реальном, живом Антошке».

Сегодня целый день твердит «папа, папа!» и зовет меня папой, видимо, он еще и еще хочет к тебе. Ну ничего, я все же верю, что мы скоро, очень скоро будем все вместе. Слышишь, роднулка мой? Мы очень скоро будем вместе, обязательно будем. Я смогу каждую минуту, каждый час, каждый день целовать своего Тошку большого, родного, дорогого моего Тошку.

Сегодняшнюю ночь ты мне снился с Антошкой на руках, и так легко и хорошо у меня на душе было, что проснулась я с очень хорошим настроением. Родной ты мой, сколько хотелось сказать, и была возможность, а я так и не успела всего сказать. Да, собственно, ты все сам знаешь, что люблю я тебя больше жизни, знаешь, что дороже тебя и Антошки у меня никого нет, и доказывать эту аксиому нет смысла, ибо это наша семейная аксиома.

Вот сейчас Антошка возится с автомобилем, у него что-то не получается, и он ревет, словно молоденький бычок».

«Рыжики, мои самые дорогие человечки!

Не знаю, как и с чего начинать это письмо. Родные, после того как мы расстались, я все еще не могу прийти в себя. Как будто вместе с вами у меня отобрали и саму жизнь. Я не могу ни с кем ни о чем говорить. Я постоянно слышу твой голос, вижу твои глаза и чувствую всю тяжесть и боль нашей разлуки. И все же нужно терпеть. Да, роднулечка, видно, только теперь дошло до меня, что значит быть отцом, иметь сына и суметь вырастить его из такого малыша. Я понял, что такие

встречи не проходят без следа. Они забирают очень многое, но и многое дают нам. Конечно, расставаться трудно, и все же я счастлив, что видел вас, слышал ваши голоса и чувствовал, что мы все очень-очень нужны друг другу.

Рыжик, моя любимая и хорошая жenuлька, всегда верь и знай, что только вы нужны мне, что только с вами я смогу забыть все те обиды, что нанесены мне.

Да, ты права, мы еще будем счастливы. Пусть нам нелегко приходится сейчас, но зато у нас есть то, чего нет у многих,— у нас есть наша любовь, и она поможет пережить все эти невзгоды. А наш малыш— это залог нашего чувства и залог всей нашей будущей жизни. Основное, во всем, прошу тебя, береги здоровье. Береги Антошку. И всегда помни, что жизнь и будущее всех нас зависит только от тебя одной. А для этого постарайся быть здоровой. Я знаю, что одной тебе приходится очень нелегко. Но наша любовь пусть будет тебе помощницей во всем. Ведь впереди осталось меньше. А может быть, нам и улыбнется счастье раньше. Все, что будет зависеть от меня, я выполню. Я обещаю, что обо мне ты больше никогда не услышишь плохого. Впрочем, тебе же говорили, что я успокоился и изменился. Вот таким я и останусь».

«Толик!

Вот уже неделя, как я в Москве. Была у адвоката. Этот человек произвел на меня довольно-таки приятное впечатление, ему около 60 лет, а может быть, и больше. Он с большим вниманием выслушал меня и посоветовал избрать из всех намеченных мною инстанций редакцию «Литературной газеты», и если там ничего не получится, то обратиться с помилованием, но изменить смысл жалобы, вернее просьбы, т. е. отбросить все обиды, а основной упор делать на все твои положительные качества и семейные обстоятельства.

Я послушала его и отправилась по его совету в «Литературную газету». Меня внимательно выслушали, и я поведала В. Ф. всю твою судьбу, наше знакомство, нашу дружбу и любовь, короче, я ей рассказала все как могла, ибо была очень взволнована, наверное, глупо выглядела, но тем не менее ее взволновала наша беда, и она приняла такое решение: я ей должна все, что рассказала, запечатлеть на бумаге, приложить к этому письму все документы, которые есть у меня на руках, мои письма к тебе, они у меня хранятся. Это те еще мои письма, которые я писала тебе в Неру, и твои письма ко мне, которые я сочту нужным ей послать. Поэтому я спешу попасть скорее домой, т. к. она просила это сделать в кратчайший срок. Она с этими материалами обратится в Президиум Верховного Суда СССР.

Правда, она заранее не уверяет нас, что все может получиться так, как мы этого желаем, но обещает сделать все, что будет в силах редакции. После этого я говорила с адвокатом, и он сказал, что это уже успех с моей стороны.

Как видишь, все идет к лучшему, будем верить в то, что мы все же победим, что мы скоро будем вместе. Представляешь, Тошка, все вместе. Я твердо верю, что это произойдет, скоро произойдет, наша любовь настолько безгранична и чиста, что она победит все и пройдет все преграды. Роднулька наш, умоляю тебя, верь в это же, в трудные минуты вспоминай нас, говори с нами, зови своих Рыжиков на помощь, мы всегда рядом с тобой, ведь без тебя для нас жизнь теряет всякий смысл.

Так будем же верить в нашу скорую встречу и всеми силами приближать ее. А ты постарайся, умоляю, прошу тебя, сдерживать себя в критических моментах, чтобы о тебе не могли написать руководители ничего плохого в нужный момент».

«Сегодня я получила письмо от Валентины Филипповны и спешу как можно быстрее сообщить тебе. Я послала тебе сегодня телеграмму, надеюсь, что тебе ее вручат, и все же я высылаю все то, что мне прислала В. Ф.

Знаешь, Тошка, боюсь заранее радоваться, но сердце меня не слушает и готово вырваться на волю и показать всем людям, как оно может биться от радости. И все же я думаю, что это уже почти решенный вопрос, раз дело решено свыше, то я думаю, что Якутия не может не согласиться.

Толюшок, милый, если это решение придет тебе раньше, чем мне, то не поленись дать телеграмму. Все же я хотела бы тебя встретить у самолета сама. Теперь

я жду тебя со дня на день и думаю, что предчувствие нашей скорой встречи меня не обманет на сей раз. Может быть, у тебя не будет денег на дорогу или чтобы прилично одеться, то дай мне телеграмму, я телеграфом вышлю деньги, куда ты напишешь».

* * *

Наконец!

«Редакции «Литературной газеты»
Заведующей отделом коммунистического воспитания...
тов. Елисейевой В. Ф.

...В дополнение к нашему письму от 26 ноября 1968 года сообщаем, что дело по обвинению Перова А. А. рассмотрено Президиумом Верховного Суда Якутской АССР, постановлением которого протест Председателя Верховного Суда РСФСР удовлетворен...

Председатель Судебной Коллегии по уголовным делам
Верховного Суда СССР — Г. Анашкин».

* * *

Вскоре состоялась моя встреча с Анатолием, с которой я начала рассказ. Как сложилась дальше судьба Жени и Толи? Вот еще два ее письма.

«Дорогая Валентина Филипповна!

Оправдываться не буду, просто все объясню по порядку, думаю, что Вы меня поймете и простите мне мое молчание. Приехав домой, мы с Толей занялись усиленной подготовкой к вступительным экзаменам в институт. В нашем распоряжении было 2 недели, а наук, вернее забытых тем по математике и физике, прилично. Я превратилась в домашнего репетитора, результаты оказались хорошими, все экзамены Толя выдержал только на «хорошо» и в результате поступил в институт. У нас здесь общетехнический факультет Коммунарского горно-металлургического института. Толя поступил на строительный факультет.

И вот тут-то и случилась беда. Сразу после сдачи последнего экзамена он стал плохо видеть, почему-то все ему стало представляться в двойном изображении. Пришлось побывать у многочисленных врачей и у нас и в Ростове. 3 месяца его лечили, правда амбулаторно, и все это время он все же посещал институт, где слушал, где одним глазом смотрел, а дома я вслух читала ему учебники. Врачи установили, что эта оказия с глазами произошла на нервной почве. Вероятно, он изрядно волновался во время экзаменов. Вот это и была основная причина моего молчания. Мне не хотелось жаловаться Вам, я хотела чем-либо порадовать Вас, а радовать было нечем. 1 ноября у нас родился второй сын, назвали мы его Владимиром.

Сейчас у нас все хорошо, сыновья растут, папа работает в строительном управлении монтажником, а вечером учится в институте, я пока что в отпуске, живем у моей мамы. Так что, дорогая Валентина Филипповна, теперь я Вас могу порадовать, я знаю, что Вам будет приятно услышать, что Ваша вера в человека приносит людям счастье».

«Дорогая Валентина Филипповна!

Получила Ваше письмо. Честно говоря, оно меня заставило кое над чем задуматься. Вы говорите: «Вера в человека — огромная сила». Да, Вы правы, это очень огромная сила, но как же иначе? Ведь жить без веры в человека, без веры во что-то светлое невозможно. Иначе человек, мне кажется, превращается во что-то низменное, одним словом, в подонка. Ведь в каждом человеке от природы закладывается много хорошего, это опять-таки мое личное мнение, и вот если бы люди почаще задумывались над тем, как дать дорогу большинству хорошего и минимуму плохого, жизнь бы на земле была намного прекрасней, чем она есть. Самое важное — в трудное для человека время суметь не посочувствовать, а понять его и поддержать. Мне

кажется, я излишне расфилософовалась, но за годы жизни на Севере передо мной прошло немало искалеченных судеб, некоторым мне удалось помочь найти правильный путь и свою дорогу в жизни, некоторые прошли мимо, которых я так и не смогла понять, хотя и упорно старалась, видимо «ржавчина» глубоко пустила свои корни, и таких я не смогла спасти. Мне сейчас пишут многие бывшие мои ученики или просто знакомые, у которых я осталась в памяти.

Не обижайтесь, пожалуйста, за стиль и небрежность, сын время от времени отзывает, папу с работы заждался, у него что-то с машиной не ладится, папа может помочь, а я нет, вот он меня и терзает, где же его папа. А переписывать я, пожалуй, не буду. А то обязательно порву. У меня не совсем хорошая привычка писать сразу и не перечитывать, иначе мне все покажется ужасно плохо.

На этом до свидания, крепко жмем Вашу руку, а лично я не против поцеловать Вас, как мать. Перовы».

* * *

Мы трое (ребята Перовых Антошка и Володя на даче) сидим у меня, пьем чай, и нет конца нашему разговору. Я радуюсь хорошим новостям — Толя с Женей получили трехкомнатную квартиру, ребята («Мои ушастики и глазастики») здоровы, в меру озорничают, Толя работает в строительном управлении, Женя в школе...

Мы ничего не говорим о письмах, но все трое заняты одной мыслью.

Я гадаю про себя: захотят ли Толя и Женя сейчас, не умозрительно, а когда прочли документальную повесть о себе, о своей любви, дать согласие на опубликование ее в журнале?.. По смущенным лицам, репликам Жени и Толи догадываюсь о внутренней борьбе, происходящей сейчас и в их душах,— многое полузабытое ожило в памяти, взволновало, и так естественны сомнения, охватившие их: а стоит ли ворошить бывшее?.. Но угадываю и другую мысль: если кому-то это принесет пользу — значит, надо, надо печатать.

Но мне не хочется ни в чем убеждать их, доказывать, как важно рассказать читателям об их нелегкой жизни, о битве за счастье, о победе. Пусть решают сами.

При прощании прошу:

— Ничего не говорите сейчас. Возвращайтесь домой и думайте. Никакой поспешности.

Женя и Толя уехали, а я в сотый раз прикидываю, и так и эдак взвешивая все за и против, просматривая их сквозь Гиппократову тезу «не навреди».

Вспоминаю: что же приковало меня на долгие годы к двум дотоле неизвестным и ставшим для меня дорогими и близкими людям, что поразило в судьбе Анатолия? Она отнюдь не представлялась мне неким счастливым исключением. Скорее другое: его история в какой-то степени отражает биографии людей, с которыми сталкивала меня журналистская профессия, борьба за становление оступившихся. Были, разумеется, на этих путях-дорогах и горестные ошибки, обманутые надежды, напрасные хлопоты и разочарования. Но чаще одерживала победу вера в человека. Находясь порой, как и Анатолий, долгие годы вдали от нормальной жизни, люди не теряли надежды, не теряли уверенности.

Не будь этого, разве смог бы Анатолий, оказавшись в заключении полуграмотным пареньком, окончить среднюю школу, получить специальность, высшее образование, обрести жизнь, любовь, семью?

И все же не стану лукавить: судьба Анатолия и Жени приковывает к себе внимание не столько схожестью с другими подобными жизненными ситуациями, сколько чертами неповторимости, несовпадения.

Прошел месяц после отъезда Перовых. Я получила долгожданное письмо от Жени:

«Валентина Филипповна, здравствуйте!

Сразу же приношу массу извинений за задержку. Посылаю Вам еще несколько писем Толи. Мы отбирали их с той целью, чтобы они могли Вам в какой-то мере лучше представить события. (Я включила их в рукопись.— В. Е.) Сложила по порядку, это письма из серии июль 1965 года — январь 1969 г. Я думаю, что Вы сами смо-

жете решать, какие из них надо включить, а какие использовать для авторских комментариев. Не хотелось бы, чтобы эта повесть в связи с добавлениями «утяжелела». Но в том виде, в котором она есть сейчас, она представляет, на наш взгляд, интерес. Правда, нам трудно быть объективными, ибо для нас все ясно и понятно, а вот для других может быть не все понятно.

За эту неделю мы забрали сыновей с дачи, и вот сегодня я взялась за послание к Вам. Да, взялась писать, а писать-то, собственно, нечего. Все эти дни я мысленно говорила с Вами. Мне стыдно, милая Валентина Филипповна, за свое поведение — я так взволновалась, окунувшись в былое, что вела себя как-то глупо. Виной тому мое «раздвоение». С одной стороны, я не хочу быть узнанной, а с другой — ни за что не хочу ничего менять. Мысли не допускаю, чтоб Толя превратился, допустим, в Виктора. Так что имена наши Вам придется оставить без изменения³. На мой взгляд, другие имена не будут так выражать нас самих, как настоящие. Будем надеяться, что умные люди нас поймут правильно, а на... скажем, «других» мы рассчитывать не будем. Не так ли, наш милый друг? Если будет свободная минутка, черкните, пожалуйста, как Ваше здоровье, что Вы думаете об этой серии писем, будем верить, что к концу этого года Вы закончите свою работу, если я не ошиблась, то ее должны включить в план. Вот было бы здорово, если бы Вы приехали к нам к Новому году! Я так хочу видеть Вас в нашем доме, опять слышать и видеть Вас, что этой мечтой я буду жить вплоть до нашей новой встречи. На этом до свидания, обнимаем и целуем, все Ваши Перовы».

³ Я изменила только фамилию Жени и Толи. — В. Е.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. МИХАЙЛОВ



МАСТЕР

Ранняя весна.

Зелень кругом изумрудная, свежая; пыль еще не успела ее тронуть. Крошечные зеленые листочки на белых березах так блестят, словно рука невидимого живописца покрыла их лаком. На ветках сирени заметны темные завязи цветов. Ближний косогор, где лучи солнца греют особенно сильно, сплошь усеян желтяками. Небо словно промытое — безоблачное, синее. Без умолку заливаются яблочки.

В ту весну мы встретились с Самуилом Яковлевичем на даче, в Мамонтовке, под Москвой. Вышли на нагретый солнцем пригорок. Отсюда была видна узенькая, извилистая, одетая в невысокий кустарник речка Уча. На другом ее берегу тянулись сизые подмосковные дали, расчерченные линиями высоковольтных передач.

Маршак приехал в отличном настроении. Все его радовало — и такой яркий весенний день, и эта первая зелень, и уцелевший в тени под старой сосной крошечный сугробик потемневшего ноздреватого снега.

— Давайте читать стихи о весне, — предложил Самуил Яковлевич и оглядел всех задорным взглядом.

Он снял старую серую шляпу с помятыми полями, поправил воротничок белой рубашки и глуховатым голосом начал читать Пушкина, Фета, Тютчева, Баратынского — все наизусть. Был он тогда, как говорится, в возрасте, но весь светился радостью, восторгом — в нем господствовало ощущение весны, радости жизни, какое свойственно молодому человеку, полному оптимизма и надежд.

О поэтах, поэзии Маршак мог говорить часами. В такие моменты его охватывало волнение, он начинал гулко и долго кашлять, задыхался, но как только приступ освобождал его из плена, он продолжал свои рассуждения.

Это было в 1948 году.

В хороший летний день выехали мы однажды на автомашинах в Ясную Поляну. С нами был Николай Павлович Пузин — внучатый племянник Фета, прекрасный знаток Ясной Поляны, страстный почитатель Л. Н. Толстого. При участии Софьи Львовны, внучки великого писателя, стали припоминать историю Ясной Поляны.

Дважды — в 1914 и 1916 годах — Софья Андреевна Толстая обращалась с письмами на высочайшее имя, в которых просила сохранить для русского народа Ясную Поляну. На одном из писем Николай II наложил резолюцию: «Нахожу покупку имения гр. Толстых государством недопустимой». Время подтвердило, сколь невежественным было это мнение его императорского величества.

В 1918 году Советское государство оказало Ясной Поляне полную поддержку. А в следующем году Софью Андреевну посетил Михаил Иванович Калинин.

— В семье Толстых, — грассируя и улыбаясь, рассказывал Николай Павлович, — это произвело огромное впечатление.

В июне 1921 года был издан декрет, которым Ясная Поляна объявлялась народным достоянием.

Николай Павлович рассказывал, что история с обращением С. А. Толстой к императору вызвала в то время много толков; общественное мнение было взбудоражено.

Уже после смерти С. Я. Маршака его сын И. С. Маршак нашел в архивах стихи, посвященные этому событию. Высмеивая невежественное отношение правящих кругов к Л. Толстому, поэт писал:

Нам литература
Без того расходец,
Строгая цензура,
Дорогой народец.

Вернусь к поездке.

Самуил Яковлевич вспоминает свое первое соприкосновение с Ясной Поляной. Сохранилось несколько снимков, на которых Маршак сфотографирован с В. В. Стасовым. Владимир Васильевич ценил талант своего любимца и всячески помогал ему. Отправившись однажды в Ясную Поляну, он захватил с собой фотоснимки. Показывая их Л. Н. Толстому, Стасов сказал: «Лев Николаевич, благословите этого мальчика. Я в него верю, это моя надежда». Снимок Толстому понравился, но почему-то он заметил: «Не верю я в этих вундеркиндов».

— Узнав об этом,— рассказывал Маршак,— я долго обижался на Толстого. Теперь мне самому смешно, как долго я обижался.

Потом Маршак заговорил о поэзии.

— Я думаю, что наша молодежь не оценивает в полной степени такого поэта, как Некрасов. Выучить наизусть его стихи про мужичка с ноготок или отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» не значит понять, представить себе место Некрасова в литературе, его роль в истории народа, развитии общества. Напомню такой исторический факт. На похоронах Некрасова выступил Достоевский. Имя Некрасова он назвал рядом с именами Пушкина и Лермонтова. И в этот момент закричали молодые голоса: «Нет, выше!» Понятно, что такое восприятие происходило в конкретной исторической обстановке, отражало борьбу, которая кипела вокруг имени Некрасова, его истинное народное признание. Учитель-словесник должен обладать способностью помочь ученикам воссоздать эту среду, ввести их в атмосферу времени. Тогда имя Некрасова обретет плоть и кровь, он и сегодня заговорит в классе как живой.

Мы остановились на ночлег в Ясной Поляне, о чем любезно позаботился Николай Павлович. Был и самовар, и горячий вареный картофель, обжигающий рот. Но самое главное — был духовный пир.

Я давно заметил: когда собиралась хорошая компания, внимательные собеседники, Маршак становился искрометным, удивительно ярким рассказчиком. И даже когда болел, он оставался искрометным. Такая это была клокущая, творческая натура.

Заговорили про Фета. Он жил в тех же краях — на хуторе Степановка, в Мценском уезде, в Ртищевской Воробьевке Щигровского уезда, и дружил с Толстыми. Похоронили его в селе Клейменове, в двадцати пяти верстах от Орла. Николай Павлович с горечью поведал о том, что склеп, где похоронен поэт, разрушается, требует ремонта.

Маршак стал читать стихи. С восторгом читал Самуил Яковлевич нежную лирику Фета:

Две капли брызнули в стекло.
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

— Вы чувствуете, какая здесь острота, свежесть восприятия природы, как нежно воспевает поэт весну!

И вдруг — неожиданно — резкий, иной поворот суждения:

— Язык Фета — это не язык народа. Он отсекает из своих стихов все, что считает житейским, грубым. Его мир, его стихия — нежность, любовь и, конечно, природа, ведь Фет так и называл себя — природы праздный соглядатай... Мы можем прекрасно объяснять ученикам истинный демократизм поэзии народной, сопоставляя ее с поэзией замкнутой, избегающей вторжения в реальную жизнь людей. Сравните, пожалуйста, такие строки:

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать...

...Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванёчка, знаешь ли ты?

И другие строки:

И, серебром облиты лунным,
Деревья мимо нас летят,
Под нами с грохотом чугунным
Мосты мгновенные гремят.

И как цветы волшебной сказки,
Полны сердечного огня,
Твои агатовые глазки
С улыбкой радости и ласки
Порою смотрят на меня.

Вторые строки,— комментирует Маршак,— написаны рукой Фета, о котором так хорошо сейчас рассказывал нам Николай Павлович.

Он обводит нас взглядом победителя: ему удалось легко, без назидания показать гражданственность поэзии Некрасова — подлинного выразителя дум, жизни народа, и далекую от этой жизни поэзию Фета. Для нас ясно, какой водораздел лежит между поэзией Некрасова и поэзией Фета, но эта очевидность особенно ощутима сейчас, в таком именно сопоставлении.

Маршак обладал феноменальной памятью. И этой лекцией, экспромтом прочитанной нам, он как бы подтверждал, что литература для него — воздух, без которого он не может жить.

Утром следующего дня возникла тема И. С. Тургенева. Перед поездкой в Ясную Поляну нам удалось побывать в Спасском-Лутовинове, где жил великий писатель. Николай Павлович хорошо знает эти края. Для него истинное счастье провести свой отпуск в тургеневских местах, полюбоваться на Бежин луг, посидеть под дубом, сохранившимся с тех, тургеневских времен.

— Лев Толстой очень ценил Тургенева, его изумительный язык,— говорит Маршак.— Лев Толстой писал уже стареющему, больному Тургеневу: в вас, как в бутылке, самое лучшее еще осталось. Это, по-моему, надо понимать так: Иван Сергеевич, как часто бывает с крупными писателями, духовно оставался молодым. Яркое восприятие жизни с годами у него не менялось, хотя в письмах иногда и жаловался он на свои болезни. А вообще-то Тургенев оказывал глубокое влияние на литературный процесс, под воздействием его таланта формировались в Европе крупные писатели. Наша молодежь,— загорается Маршак,— обязана знать духовные богатства народа. Без знания прошлого нельзя понять настоящее.

Маршак жил всеми интересами литературы.

В среде литераторов и учителей — это было накануне войны — основательно раскритиковали хрестоматию для школьников «Родная речь».

— Черт знает что такое! — бушевал Маршак, листая страницы книги.— Вместо сахара мы подсовываем детям сахарин, сбываем какой-то залежалый товарец. Таким способом мы навсегда отобьем у детей охоту читать художественную литературу.

— Вы, так сказать, правильно возмущаетесь,— говорил присутствовавший при разговоре Александр Александрович Фадеев, прибавляя свое любимое «так сказать».— Будет еще лучше,— продолжал он,— если вы делом поможете исправить эту нашу, так сказать, общую беду.

Александр Александрович убедил Маршака, и тот со свойственным ему рвением взялся за составление хрестоматии. Он встречался с литераторами, звонил К. Чуковскому, А. Твардовскому, Л. Кассилю, А. Барто, листал сотни страниц

сборников, намечал десятки вариантов одной и той же темы. Это был большой, азартный труд, жаль, что война помешала довести эту работу до конца.

В Центральном Комитете комсомола мы обсуждали дела будущего пионерского лета. В ходе бесед появилась идея: составить и опубликовать в качестве рекомендаций списки художественной литературы для чтения. От этой общей идеи пошли дальше: списки решили составить с учетом возраста учащихся, то есть для первых — четвертых, пятых — седьмых классов; условились и о том, что списки не должны быть громоздкими, должны быть посильными для среднего читателя.

Маршак занимался этими списками так, словно и он был комсомольцем. Он беспокоился, не забыли ли мы такую-то книжку, не стоит ли в списках указывать год издания и название издательства, чтобы легче было искать книгу, не включаем ли мы такую книгу, которую трудно будет найти, и т. д. и т. п.

Когда работа была завершена, списки опубликовали. По прошествии нескольких лет мне приходилось видеть эти списки и в школах, и в пионерских лагерях, и в семьях — они сослужили добрую службу.

Все, что касалось литературы для детей, вызывало у Маршака интерес, и этому делу он отдавал себя целиком. Здесь для него не существовало маленьких вопросов — ко всему он относился с глубочайшим вниманием, в каждое дело, как говорят, вкладывал душу.

Начало рабочего дня, звонит телефон. Голос Самуила Яковлевича:

— Не посмотрите ли вы свежий номер «Мурзилки»? Разве можно так печатать журнал для детей?! Ведь это мазня, способная только оттолкнуть ребенка: краски слились, зеленый цвет стал синим. Голубчик, помогите.

В другой раз:

— Пожалуйста, обратите внимание — вот как надо писать для детей. Сейчас я вам прочту стихи, написанные поэтессой Артюховой:

Сан-Франциско далеко.
Если ехать низко.
Если ехать высоко,
Сан-Франциско близко.

Заметили, как это написано — кратко, просто, выразительно!

Или:

— Нет, если мы будем так небрежно писать, то хороший вкус у детей не выработаем. Можно сказать — кровь с молоком, но нельзя сказать — молоко с кровью. Будет грубо, нелепо, неверно. Между тем автор пишет по такому правилу, а его печатают. Где же редактор?

Много воды утекло с тех пор, когда мы часто и подолгу беседовали с Маршаком. Вновь обдумывая эти беседы, еще острее чувствуешь все значение литературы в воспитании и образовании подрастающих поколений, роль школы, учителя в этом сложнейшем процессе, на всю жизнь определяющем отношении человека к книге. Конечно, нужны и сочинения и заучивания наизусть. Но все это должно быть подчинено главному — выработке глубокой любви к художественной литературе, особенно в ее высших образцах. Школа не в состоянии ознакомить своих питомцев со всем книжным богатством, накопленным человечеством. Самая лучшая программа не может вобрать в себя все эти духовные ценности. Где же выход? В том, чтобы учитель выработал у своих питомцев твердое убеждение — без книг жить невозможно, литературу надо читать в течение всей жизни.

Увидев однажды ночью на моем столе пачку газет, отложенных к просмотру, Самуил Яковлевич заметил:

— Мне кажется, что каждый из нас должен завершать день чтением Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Чехова. В некоторых цехах полагается на вредных работах давать молоко. Для нас художественная литература, как молоко во вредном цехе, — способ бороться против газетных штампов, против вульгаризации языка.

Тема литературного языка, воспитания у будущих поколений хорошего вкуса, умения отличать литературу от псевдолитературы была одной из самых боевых для Маршака.

— Мы не можем формировать вкус детей на произведениях, подобных повестям Лидии Чарской,— сердито говорил Самуил Яковлевич.— Мы должны создать свою, новую литературу высоких чувств и больших мыслей, по-настоящему художественную. Слово — строительный материал литературы.

— Впечатление такое,— говорил он про произведение одного литератора,— что на страницах его книги много слов-безработных. Так писать нельзя, произведение становится водянистым. Фраза должна быть крепкой, мускулистой.

Вновь возмущался:

— Автор не понимает, что в его словаре множество штампов. Некоторые слова словно стертая монета — не различишь, где орел, где решка. Писатель должен быть краснодеревцем. Его дело — отбирать материал самый добротный, чтобы он служил много лет.

Маршак мечтал о журнале для учителей-словесников, который помогал бы им вести преподавание в том смысле, чтобы уроки литературы целиком поглощали бы внимание учащихся, чтобы они уносили из школы глубокое понимание литературы как выразителя народной жизни, чувство любви к лучшим образцам литературного творчества.

— Самуил Яковлевич,— сказал я,— вы хорошо рассуждаете о литературе, литературном языке. Но в шутку сказать, пока вы вроде акына — вас слышат только те, перед кем вы поете. А может быть, надо, чтобы вы собрали аудиторию многочисленную?

Александр Александрович Фадеев поддержал такую постановку вопроса.

— Я об этом уже думаю,— выслушав, ответил Маршак.

16 июня 1962 года он подарил мне свою новую книгу «Воспитание словом». В ней Самуил Яковлевич собрал и систематизировал статьи, заметки, воспоминания.

Книга открывалась статьей о произведениях, которые бесконечно любил и назизусть знал Маршак. Статья называлась «Заметки о сказках Пушкина».

Незачем пересказывать книгу, к тому же это и невозможно. Читать ее — значит погружаться в удивительный мир художественного творчества и открывать для себя нечто новое.

В 30-х годах Самуил Яковлевич жил в Ленинграде. Он создал там замечательную книжную редакцию, участвовал в работе детских журналов «Еж» и «ЧиЖ». Метод работы журнальных коллективов был особым. Этот метод включал в себя обязательно дискуссии, экскурсии «в литературу», чтение стихов любимых поэтов, ночные прогулки по Ленинграду — опять-таки ради рассуждений о литературе, литературном творчестве.

Вспоминая в Москве те времена, Маршак говорил:

— По-моему, редколлегии детских журналов — в данном случае речь идет о них — не должны формироваться по принципу представительства. Прежде всего в них должны быть те, кто любит и знает литературу, умеет выдумывать, предлагать, творить.

Мысль его сводилась к тому, что редколлегия — это не группа лиц, собирающихся время от времени на заседания, а живой творческий коллектив, где рождаются замыслы, планы, идет работа над рукописью.

— У журнала должен быть свой адрес, он не может обращаться на деревню дедушке. Надо ясно представлять своих читателей, их вкусы, запросы, строить работу так, чтобы читатель шел за журналом. Худо, если журнал, приспособившись к малоподготовленному читателю, идет у него на поводу. В детских журналах нельзя сюсюкать. С детьми надо говорить серьезно, фальшь они улавливают моментально.

Сформулировав тезис «большая литература для маленьких», Маршак ясно представлял, что один человек, даже талантливый, не в состоянии создать такую новую по духу, по всем устремлениям литературу.

Маршак — духовный отец, наставник многих писателей, поэтов. Он щедро делился с ними своими знаниями, опытом, мастерством.

— В детские годы мне выпало огромное счастье,— рассказывал Самуил Яковлевич,— меня увидел Владимир Васильевич Стасов. Кому был нужен мальчишка из захудалого городка, больной и тифозный? Но Стасов дал мне поддержку матери-

альную и духовную. Он перевел меня в петербургскую гимназию. У него я встретил прекрасных людей, цвет русской культуры — Шаляпина, Репина, Глазунова. Владимир Васильевич показал меня Алексею Максимовичу.

Самуил Яковлевич любил рассказывать о первой встрече со знаменитым критиком:

— Я вошел в комнату и увидел, как мне показалось, старика огромного роста, с длинной бородой, одетого в русскую рубашку, подпоясанную мягким поясом. Владимир Васильевич взглянул на меня равнодушно, предложил сесть. Я стал читать стихи. Стасов слушал молча, полузакрыв глаза; мне показалось, что стихи не произвели на него впечатления. Но в какой-то момент он вдруг оживился, радостно улыбнулся. Когда чтение кончилось, он обнял меня. Я был растроган до слез.

...Это было в 1904 году. К Стасову однажды приехали И. Репин, Ф. Шаляпин, М. Горький. Накануне Владимир Васильевич попросил Маршака написать в честь гостей шуточные стихи. Маршак исполнил просьбу.

— Неожиданно Стасов узнал, что придет и Глазунов,— рассказывал Самуил Яковлевич.— Как же быть? Ведь нельзя обойти приветствием одного из гостей, Стасов не мог этого допустить. «Сам,— сказал он мне,— надо дополнить текст».

Вот эта шуточная былина-приветствие в том виде, как читал ее Маршак гостям.

Трем гостям со четвертым

Как в большом селе—славном Парголове,
В той ли деревне Старожиловке
У старого боярина Володимира
Растворились ворота тесовые
Перед гостями перед великими...
Гой вы, гости, гости славные,
Мы давно о вас вести слышали!
То не бор шумит и не гром гремит
В бурю грозную, в полночь темную.
Это голос Федора Великого—
Славного богатыря Ивановича.
Горы с трепетом содрожаются,
Темны лесушки приклоняются,
И что есть людей, все мертвы лежат.
Так запой же нам мощным голосом,
Загреми, как гром,—мы послушаем,
Задрожим, как лист в бурю по ветру,
Припадем к земле и поклонимся
Первому богатырю—Илье Репину,
Еще второму—Максиму Горькому,
Третьему богатырю—Федору Великому.

Слава!

Уж кончали мы песню звонкую,
Песню звонкую—богатырскую,
Увидали: пыль будто столб летит,
Быстрый конь бежит, и земля дрожит,—
Это мчится он с гулким топотом,
Это брат меньшей, богатырь большой
Александр свет Константинович!

Слава!

Удивительно, какой обширной была переписка восьмидесятилетнего Стасова с юным Маршаком. Маршака поражало то, что ему, гимназисту, Стасов писал о больших проблемах. В начале века, когда буржуазные писаки поносили М. Горького, отрицали его талант, Стасов со свойственным ему темпераментом выступил в защиту пролетарского писателя. Об этом он сообщал Маршаку в одном из писем: «А когда я указывал, что он настоящий Байрон наших последних годов, то только мне и раздалось в ответ что хохот и визг. А правду-то сказал все-таки я».

— Стасов меня учил отношению к жизни, литературе, творческому труду,— вспоминал Самуил Яковлевич.— Однажды он прислал мне письмо, словно напутствие или завещание, это было летом девятьсот второго года. Владимир Васильевич хотел, чтобы я искал в жизни правду. Риторика не нужна, фейерверки тоже не нужны. Избегать надо и праздных слов и праздных картин. И еще важно, писал Ста-

сов, чтобы в случае успеха не сойти с хорошей дороги, не поддаваться соблазну, мшуре.

Слова учителя глубоко запали в душу ученика. Мне приходилось слышать, как, беседуя с литературной молодежью, Маршак предупреждал ее от поспешности, советовал трезво оценивать первые успехи, необычайно бережно обращаться со словом.

То, что делал Стасов, оставило, как мы видим, глубокий след в сознании Маршака. Чуть ли не с детских лет он начал усваивать простую и великую истину — надо жить для людей, в поисках счастья для них ты обретишь и свое личное счастье, свою судьбу.

Опыт Стасова учил Маршака и тому, что подлинное служение литературе, искусству требует от человека полной и безоговорочной отдачи.

Большая литература для маленьких.

Не одно поколение советских детей читает замечательные произведения Бориса Житкова. А ведь открыл его в бытность свою в Ленинграде С. Я. Маршак. В 20-х годах читатели уже знали такие его произведения, как «Река в упряжке» — про Волховстрой, «Морские истории», «Паровозы», «Про слона». Самуил Яковлевич убедил М. М. Пришвина написать «Рассказы егеря Михал Михалыча». Наверно, мало кто знает, что Н. С. Тихонов, отложив работу над стихами, в те годы писал для детей книги «Военные кони», «От моря до моря», «Вамбери».

Впрочем, роль Маршака как собирателя сил детской литературы известна. Возможно, что тема становления советской детской литературы заслуживает особого исследования, с точки зрения изучения опыта, путей ее развития это могло бы вызвать интерес в братских социалистических странах; это же могло сослужить хорошую службу странам, вставшим на путь самостоятельного развития.

Энтузиасты создания советской детской литературы были озабочены и тем, чтобы появились книги познавательные, знакомящие юное поколение с социалистическим переустройством страны. К таким произведениям относятся «Рассказ о великом плане» М. Ильина, «Про эту книгу» Житкова, «Фабрика точности» Меркурьевой.

В 1936 году М. Ильин — брат Маршака — в соавторстве с Е. Сегал начал работать над повестью о том, как появился человек, как он учился работать и думать: как он овладел железом и огнем, как добивался власти над природой, как он познавал и перестраивал мир. Идею такой книги подсказал А. М. Горький, он же советовал, как начать книгу.

— Представьте себе бесконечное пространство,— говорил Алексей Максимович.— Где-то в глубине гигантской туманности загорается Солнце. От него отделяется планеты. На одной маленькой планетке материя оживает, начинает сознавать себя. Появляется человек.

Первая книга была издана в 1940 году. В ней шла речь о первобытном человеке. Во второй книге предполагалось рассказать историю человека и человеческой мысли от древности до начала современной науки, до микроскопа и телескопа.

В Детгизе проекты М. Ильина вызвали дискуссию. Нельзя считать, что дискуссия не имела под собой почвы. Как осилить огромный материал? Удастся ли сложные и трудные проблемы изложить так, чтобы они были ясны и понятны юному читателю?

Вслушав соображения Ильина, я решил поговорить с Маршаком.

— Я знаю об этой идее. Здесь есть риск,— рассуждал Самуил Яковлевич.— Нельзя утверждать, что они сразу построят такой корабль, который пойдет в большое плавание и выдержит бури. Но,— озорно улыбнулся Маршак,— без права на риск мы многого, наверное, не узнали бы и до сих пор.

Авторы взялись за свой тяжелый труд. Сколько раз им пришлось перекарать главы, сколько исписанных страниц летело в корзину, знают только они. Когда рукопись была готова и они стали читать ее в ЦК комсомола, можно было тогда удивляться терпению и упорству авторов. Конечно, были поправки, просьбы подматывать над некоторыми страницами, но главное было сделано. Маршак, слушая дискуссию, избегал крайних положительных оценок. Он считал, что в создании образцов познавательной литературы многое еще не открыто, что этот жанр очень важен, если учитывать, что близится эпоха научно-технического прогресса.

В конце 1946 года вторая-третья книга «Как человек стал великаном» вышла из печати. Авторы посвятили ее Алексею Максимовичу Горькому, нет необходимости объяснять причины посвящения.

«Мы похищаем нашего героя на середине пути»,— писали М. Ильин и Е. Сегал в заключении. И далее:

«Из тысяч нитей выткало время повесть о человеке. У каждой нити свой цвет. Каждый народ вплел свою прихотливую линию в общий узор мировой культуры. А все вместе составило многоцветную ткань.

Мы прерываем наш рассказ. Ткань не снята со станка, не закончена. Неустанно творит природа, и бесконечен труд человека.

Мы надеемся еще вернуться к нашему герою, чтобы вместе с ним пройти через века к великому рубежу социалистической революции, чтобы увидеть великана за работой перестройки мира».

М. Ильин и Е. Сегал хотели довести повествование до нашего времени и даже заглянуть в будущее. К великому сожалению, этого не произошло. М. Ильин временно скончался. Памятью о нем остались эти книги — плод десятилетней работы.

В рассуждениях о пропаганде науки среди учащихся мы, работники ЦК комсомола, пришли к идее Ломоносовских чтений. Замысел был таков. Выдающиеся ученые страны ежегодно проводят для учащихся цикл лекций по наиболее актуальным проблемам современной науки, связывая их с творческим наследием «первого русского университета», как был назван М. В. Ломоносов.

Чтения состоялись. Честь их открытия ЦК ВЛКСМ предоставил тогдашнему президенту Академии наук СССР Сергею Ивановичу Вавилову. Ученый с мировым именем, первый председатель Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, он с большой ответственностью подошел к выполнению поручения. Сергей Иванович составил полный текст лекции, рассчитанной примерно на полтора часа, и привез рукопись в ЦК комсомола.

— Давайте почитаем вместе, чтобы удачней найти подход к юношеской аудитории,— сказал он.

Подход Вавилова оказался точным. Лекция прошла с большим успехом. Текст ее после прочтения в Политехническом музее был напечатан в журнале «Коммунист». Так было положено начало циклу. Прочитанные лекции выпускались в издательстве «Молодая гвардия» отдельными брошюрами и отправлялись на места.

В организации Ломоносовских чтений решающее слово принадлежало С. И. Вавилову. Внес лепту и Маршак: он рассказал нам о том, как в Англии проводили Фарадеевские чтения, и этот опыт пригодился.

Мы мечтали о том, чтобы для Ломоносовских чтений подготавливались специальные выставки, снимались кинофильмы, готовились рекомендательные списки литературы. К нашему огорчению, такую программу полностью выполнить не удалось.

В стремлении следить за книгами я пользовался услугами букинистов. И вот мне попала в руки «Детская энциклопедия» в десяти томах, изданная в 1914 году И. Д. Сытиным. Книги были большого формата, напечатанные крупным и ясным шрифтом, на хорошей бумаге, с множеством черно-белых иллюстраций и цветных клеек. По тем временам издание находилось на достаточно высоком уровне.

Энциклопедия строилась не по словнику, а по статьям; авторы статей не указывались. В каждом томе было как бы несколько глав, например, таких: что окружает нас; великие люди и их творения; страны и народы; природа; вещество; сведения из истории; сведения из физиологии и т. д.

Добротные тома в сером переплете производили хорошее впечатление. Изучив находку, после советов с товарищами я направился в Центральный Комитет партии. «Детская энциклопедия» и здесь вызвала интерес. Предложение о том, чтобы затеять подобное издание, было поддержано.

Оказалось, что Маршак помнил сытинское издание.

— Если не ошибаюсь,— говорил он,— Иван Дмитриевич Сытин шел от зарубежных образцов. Он сумел приспособить их к русскому читателю, и предприятие оказалось успешным. Если удастся создать новый, советский образец, будет прекрасно.

Решено было строить наше советское издание также по статейному методу. Естественно, что уровень нового издания должен был полностью отвечать современному уровню науки в нашей стране. К составлению энциклопедии, работе над ней были привлечены самые лучшие силы. Детские писатели, в том числе С. Я. Маршак, работали над конспектом издания. По поручению издательства Маршак дал проект вступительной статьи к томам энциклопедии.

Что же сказать дальше?

Нынешнее третье издание «Детской энциклопедии» выходит в десяти томах, тиражом 500 тысяч экземпляров. Оно заслужило общее признание и в нашей стране и за рубежом.

Очередной телефонный звонок:

— Мне сказали, что вчера вы были у Надежды Алексеевны. Видели ли вы у нее Чухновского? Вот кого надо заставить писать — у него могла бы получиться превосходная книга.

Надежда Алексеевна Пешкова — жена Максима, сына Алексея Максимовича. У нее постоянно бывал кто-нибудь из представителей художественной, научной интеллигенции. Она встречала гостей с искренним радушием и непосредственностью. Все в ее доме чувствовали себя легко и непринужденно, господствовала дружеская атмосфера. Как правило, велись интересные, содержательные беседы.

Борис Григорьевич Чухновский — знаменитый полярный летчик. Худошавый, в форме пилота морской авиации, он всегда держался как бы в тени, не был словоохотлив, о своих приключениях в Арктике рассказывал скупко. Между тем запаса впечатлений у него хватило бы даже на несколько книг.

Маршаку не пришлось работать с рукописями Б. Чухновского. Но взятая им от А. М. Горького идея о том, чтобы привлекать к литературному делу бывалых людей, дала свои плоды.

Громадное впечатление оказали на Маршака такие исторические события, как эпопея «Челюскина», подвиг отважных исследователей И. Папанина, П. Ширшова, Э. Кренкеля, Е. Федорова. Много лет спустя он возвращался к этим событиям, мечтал о том, чтобы появились новые увлекательные книги, написанные бывальыми людьми.

— Совсе не обязательно писать за бывалого человека. Вообще говоря, существует множество способов создания книг, в этом меня убеждает конкретный опыт. Один человек прекрасный рассказчик. Надо записать его устную речь, потом продолжить работу с редактором. Другой нуждается в том, чтобы помочь ему отыскать занимательный сюжет. Третьему из обилия тем, какими он владеет, надо помочь избрать ту, которая и важна для читателя и близка автору.

Так говорил Маршак, опираясь на свой опыт литератора, редактора, организатора, искателя новых сил для детской литературы.

Если бы попробовать составить перечень способов воздействия Маршака на дело выискивания новых авторов, создания новых книг, то, пожалуй, такой перечень занял бы не одну страницу.

Часто случалось, что воздействие Маршака оказывалось непосредственным. Услышав от крупного физика-теоретика М. П. Бронштейна увлекательный рассказ об истории открытия гелия, Самуил Яковлевич убедил ученого взяться за рукопись. Так появилась очень хорошая книга «Солнечное вещество» с предисловием Ландау.

Маршак был связан со всей советской литературой и оказал благотворное влияние на творчество многих поэтов и писателей.

Теперь то, что Александр Гвардовский — великий поэт, стало общеизвестно, хотя, возможно, словосочетание «великий поэт» для некоторых и сейчас еще непривычно, может быть, даже настораживает.

Маршак воздавал должное Гвардовскому много лет назад. Он искренне любил его, гордился им, радовался за его творчество. Однажды он сказал так:

— Я думаю, что сегодня Гвардовский — самый крупный наш поэт. Поразительно, как он владеет стихом — рифмой, ритмом, размером, как тонко чувствует слово, как умеет находить точные сравнения.

По поводу поездки А. Твардовского в Сибирь на строительство Братской ГЭС он заметил:

— Твардовский не комнатный человек. Ему нужен простор, он должен видеть страну от края до края. Поехал в Сибирь — и подарил нам такую чудесную поэму, где вся страна, все в движении. И такие там современные люди — именно пятидесятых — шестидесятых годов. Твардовский — поэт крупных масштабов, он хочет создавать большие полотна народной жизни. Вспомните его «Страну Муравию». Между этой поэмой и поэмой «Василий Теркин» — безусловная связь.

Еще Маршак рассуждал так:

— Поэт, прозаик должны быть взрослыми — сейчас я объясню свою мысль. Вам это, возможно, покажется странным, но взрослых поэтов не так-то много. Пушкин был безусловно взрослее Баратынского, Дельвига; Чехов взрослее, чем Бунин. Твардовский — взрослый, зрелый поэт, несравненно более взрослый и более зрелый, чем многие другие.

В 1947 году Центральный Комитет комсомола вместе с Союзом писателей решил созвать Всесоюзное совещание молодых поэтов, писателей, драматургов. В литературу входили новые силы. Непосредственные участники Великой Отечественной войны, молодые литераторы обладали бесценным запасом личных впечатлений. Надо было помочь им выплавлять эти впечатления в художественных произведениях.

Самуил Яковлевич воспринял созыв совещания как свое родное дело.

— Хорошо, что участники совещания будут разделены на маленькие группы, — одобрил он. — Главное в работе писателя — его рукопись, его литературный труд. Мне кажется, что беда нашего Союза писателей именно в том, что недостает времени для работы над рукописью — читать, обсуждать, консультировать. Естественно, что такую работу должны прежде всего выполнять редколлегии журналов и редакции в издательствах. Но Союз должен давать им пример, толкать их в этом направлении. Я не верю в то, что могут быть готовые рецепты, как надо писать стихи или прозу. Живое общение литераторов, товарищеские дискуссии совершенно необходимы, они сильнее любых пособий. Совещание молодых потому и полезно, что служит формой общения, помогает находить смену нам, старикам.

Маршак не щадил себя и не жалел времени для молодежи. Образно говоря, творческие семинары Маршака продолжались весь год. Многие писатели обязаны ему, мудрому наставнику, учителю.

Книги Самуила Яковлевича по проблемам литературы, посвященные разбору литературного творчества, полны тонких наблюдений, глубокого анализа. Мастерству А. Твардовского он посвятил самостоятельную работу «Ради жизни на земле». Читатель не пожалеет, если прочтет здесь выписку из книги С. Маршака, тем более что эта книга стала библиографической редкостью.

«Мы часто ропщем на свою литературу. Подводя итоги месяца или года, мы неизменно требуем от нее чего-то большего и лучшего.

А между тем, внимательно оглядев русскую поэзию революционных лет с первых ее дней до нынешних, убеждаешься, что мы и одного дня не прожили без больших поэтов, чьи имена могут быть отмечены время.

За последние три десятилетия четко определился поэтический путь нашего современника — Александра Твардовского. Его лирические стихи и поэмы — «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги» — были событиями в литературе этих лет и не утратили с годами ни остроты, ни свежести.

Таково начало книги С. Маршака; оно, как и вся книга, написано по принципу «словам тесно, мыслям просторно».

Сразу, вопреки брюзжанию скептиков — принципиальная постановка вопроса о том, сколь богато наше время произведениями больших поэтов.

Сразу — смелое утверждение об огромном таланте А. Твардовского. Время показало, насколько прав был С. Я. Маршак, утверждая, что годы не властны над величиим и силой поэзии автора «Василия Теркина». Такая поэма, справедливо писал Маршак, могла родиться только в годы великого народного бедствия, обнажившего жизнь до самого ее основания. Сила ее в той предельной, как дыхание, простоте, с

какой только и можно говорить в суровую пору о несокрушимой радости жизни, о любви.

Поэт написал о поэте. Поэтический талант Маршака, его дар исследователя литературы, его радость и гордость за отечественную поэзию, его блестящее знание слова, его любовь к Твардовскому — все слилось воедино на страницах этой книги. Ее читаешь с глубоким интересом, поражаясь тому, как тонко анализирует Маршак поэтические строки, как часто он обращается к лучшим страницам отечественной поэзии, в стремлении подтвердить свою мысль, помочь читателю, ввести его в прекрасный, благородный мир искусства.

Эту книгу я получил от Самуила Яковлевича в начале 1962 года в Индонезии, где занимал пост советского посла. В стране тропиков рассказ об Александре Твардовском был особенно дорог — ведь это был рассказ о родине, о Советской стране.

Великая Отечественная война застала Маршака в Москве. Его первые стихи на военную тему написаны 22 июня и опубликованы 24 июня. Это прекрасно характеризует Самуила Яковлевича — для него, истинного гуманиста, ненавидящего все отвратительное, попирающее достоинство человека, такое поведение закономерно. Оно вытекало из всей сути его творчества, творческих принципов.

Под одним из первых военных плакатов были такие строки С. Я. Маршака:

Ты каждый раз, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война.

Только истинный поэт в немногих словах мог выразить главную мысль — самую главную для каждого, кто хотел выполнить свой нравственный, патриотический долг.

На протяжении всей войны против гитлеровцев Маршак сражался как солдат. Он писал стихи, пьесы, сценарии, выступал по радио, ездил в коллективы — и даже в такое невероятно трудное время находил силы для того, чтобы заниматься переводами, подготовкой новых книг.

Он вошел в содружество с Кукрыниксами. С. Я. Маршак, М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов жили в одном доме № 14/16 по улице Чкалова. Встретившись с художниками, Самуил Яковлевич предложил попробовать объединить стихи и рисунок, для того чтобы агитация стала еще более активной. Так родилось их содружество. Помню, что мастерская художников в то время приобрела военный вид. На стенах — вышедшие «Окна ТАСС». На полу, на столе — плакаты, находящиеся в производстве. Много фотографий фашистских головорезов Гитлера, Геббельса, Геринга — плакат должен быть правдивым, Кукрыниксы, сатирически перерабатывая образы своих персонажей, не допускали дешевого сочинительства.

Зимой 1976 года мы вновь просматривали эти работы военных лет на выставке в Доме ученых и поражались мастерству художников, их лаконизму, ясности, снайперской точности. Это и есть искусство настоящего плаката — ведь плакат должен укладываться в сознание зрителя мгновенно. Такому, восприятно помогали стихи Маршака. Он работал над ними упорно, добиваясь предельной точности.

В поздний зимний час раздавался телефонный звонок. Сразу можно было узнать прерываемый частым кашлем глухой голос Маршака:

— Только что слушал по радио военную сводку. Хотите, прочту стихи?

Утром следующего дня стихи уже были напечатаны в «Правде».

Известно, что Маршак был необычайно требователен к своему литературному творчеству. Сочиняя четверостишие к плакату, он мог перечеркнуть десятки страниц.

Самуил Яковлевич внимательно прислушивался к замечаниям и предложениям. Но бывало и так, что он становился рассерженным и со всей решительностью отстаивал ту или другую поэтическую строчку. Это отнюдь не было проявлением нетерпимого отношения к иному мнению. Каждая строка была выношена, выстрадана поэтом, рождалась в муках. Именно поэтому она была дорога Маршаку, он верил в нее и отстаивал ее горячо и азартно:

— Поэт не флюгер, он не может поворачиваться по любому дуновению ветра. Литературная работа, может быть, самая тяжелая, и здесь нужна твердость, стойкость. Вы, голубчик, не обижайтесь, первую поправку я принимаю, спасибо, а со второй согласиться не могу, хотя подумаю, может быть, найду что-то лучшее.

В конце 1941 года Самуил Яковлевич написал сценарий «Юный Фриц». Он хотел в сатирической форме показать, каким путем формировались гитлеровские головорезы, как Гитлер превратил молодых людей в человеконенавистников, лишенных чести, совести. Сценарий был принят, его ставил режиссер Г. М. Козинцев. Студия «Мосфильм» в то время была эвакуирована в Алма-Ату. Это затрудняло работу, много времени уходило на переписку, согласования и т. д.

Верный принципу быть требовательным к себе, Самуил Яковлевич и после того, как сценарий был принят, продолжал над ним работать. В один из вечеров мы обсуждали с ним текст. Речь шла о том, чтобы внести в сцены обучения Фрица больше сарказма, опустить его хождения в Бельгии, а сцену, когда Фриц попадает в плен к советским солдатам, переработать.

Маршак настойчиво трудился над текстом, терпеливо ожидал приема в Комитете по делам кино. Скоро его стало охватывать раздражение. С одной стороны, стремление всячески улучшить сценарий, с другой — бесконечные откладывания встреч, ожидания, обещания.

Раздосадованный и обиженный Самуил Яковлевич во время одного опять безрезультатного посещения Комитета по делам кино попросил у секретарши настольный перекидной календарь и написал на листке:

У вас, товарищ Большанов,
Не так уж много Маршанов.

Однажды воздушная тревога застала Самуила Яковлевича в Центральном Комитете комсомола на Маросейке (теперь это улица Богдана Хмельницкого).

— У вас есть убежище? — спросил Маршак.

— Конечно, есть, даже два: одно в подвале здания, другое в метро, на площади Дзержинского.

— Куда же вы пойдете?

— Не знаю, очень надоедают эти хождения, и работе они мешают. Некоторые из нас вообще никуда не ходят, а предпочитают продолжать работу.

— Тогда и я останусь с вами, — оживился Маршак.

— Нет уж, дорогой Самуил Яковлевич, за вас нам ответ держать. Придется идти в убежище — выбирайте, в какое?

Решили пойти в метро, чтобы одновременно использовать возможность посмотреть быт москвичей в часы воздушных тревог.

Картина была обычной. Приспособившись к воздушным тревогам, москвичи брали с собой постельные принадлежности, термосы, чайники, пищу. В вечернее и ночное время детей сразу укладывали спать или на топчанах, заботливо приготовленных комсомолками, или в вагонах, а чаще всего на полу станции. Среди взрослых находились энтузиасты игры в шахматы. Окруженные больельщиками, они сражались, забыв о тревоге. Любители чтения выбирали места поудобней и погружались в книги, журналы, газеты.

В описываемую ночь тревога затянулась, сигнал отбоя прозвучал лишь под утро. Маршак, серый от бессонной ночи, с пухлым портфелем, шел, как мне казалось, еле переставляя ноги, опираясь на трость. В одном месте людей было особенно много. Самуил Яковлевич присосанился, выпрямился.

— Может быть, мне стихи почитать? Может быть, это ободрит людей?

Но в тот же момент движение ускорилося, люди потянулись со спящими детьми на руках, с различной поклажей. Читать стихи не пришлось, но меня вновь поразила Самуил Яковлевич своей неиссякаемой добротой, готовностью прийти на помощь.

У него был постоянный интерес к людям, к их жизни, делам. Мыслью о людях он начинал и заканчивал свой день.

— Голубчик, скажите вашим помощникам, пусть они предупреждают меня о всех интересных встречах в Центральном Комитете комсомола.

И вот одна из таких встреч, в ней участвуют партизаны, прибывшие в Москву из районов, временно оккупированных гитлеровцами, молодые воины — пехотинцы, летчики, танкисты. Зал заседания выглядит празднично — длинные столы, накрытые белыми скатертями, на столах бутерброды, натуральный сладкий чай — по военным временам редкость.

Творчество Маршака военных дней аудитории было хорошо знакомо. В конце 1941 года ЦК ВЛКСМ затеял выпуск библиотечки для районов, пострадавших от гитлеровской оккупации. В серию вошли публицистика и очерки Ем. Ярославского, Б. Горбатова «О жизни и смерти», П. Лидова «Таня», Н. Чекалиной «Мой сын», сборник песен и другие книги. Отдельной книжечкой были изданы карикатуры Кукрыниксов с текстом С. Маршака. Книжечка открывалась авторским посвящением: «Бесстрашным партизанам, сражающимся с немецкими захватчиками за освобождение родной земли — наш братский привет. Кукрыниксы, С. Маршак».

Вот первое четверостишие:

Днем фашист сказал крестьянам:
— Шапку с головы долой!
Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.

Последняя страница — рисунок Кукрыниксов: силуэты Суворова, Чапаева, советские воины, идущие в атаку. Под рисунком стихи:

Бьемся мы здорово,
Рубим отчаянно,
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

В письмах из партизанских отрядов, которые приходили в ЦК ВЛКСМ, комсомольские активисты сообщали, что библиотечка принята на вооружение.

На комсомольских встречах Самуил Яковлевич знакомился с героями своих будущих произведений. Большое впечатление произвел на него рассказ летчицы Будановой, особенно эпизоды воздушных боев над Сталинградом.

Екатерина Ивановна Буданова — комсомолка, бывшая пионервожатая, москвичка. Окончив летную школу, она стала летчиком-истребителем. В воздушных боях сбивала 20 самолетов врага.

— Чудесная девушка, — с восторгом говорил Маршак. — Поразительно, как она может воплощать в себе дух воина. Буду обязательно писать о ней.

Так появилась поэма «Катя Буданова». Жаль, что это произведение не вошло в посмертное собрание сочинений поэта.

Слушая рассказы о событиях на фронтах, о поездках в воинские части, Маршак настойчиво просил помочь ему выехать в действующую армию. Мы считали, что такая поездка будет для него трудной. Самуил Яковлевич много работал, не отдыхал и часто жаловался на усталость, недомогание.

Наконец представился случай и для поездки. Мы отправились в танковый корпус генерал-майора Андрея Лаврентьевича Гетмана.

...Танковый корпус расположился за Малоярославцем. Мы выехали из Москвы задолго до рассвета, а попали к танкистам во второй половине дня. Дорога оказалась очень трудной, разбитой, с множеством объездов из-за частых бомбежек. Где-то пришлось ехать через заболоченный лесок. Весенние воды еще не сошли, дорогу развезло, и пришлось соорудить деревянный настил. Машина шла по бревнам, словно по клавишам огромного инструмента. Бревна прыгали, поднимались то одним, то другим концом, пели, бормотали, грохотали.

Танкисты знали Самуила Яковлевича и по-дружески встречали его. Каждый экипаж выстроился около своего танка. Когда Маршак подходил, ему отдавали честь. Кар-

тина была по военному времени непривычной: среди танкистов, одетых в комбинезоны, шлемы, что придавало им суровый вид,— фигура Маршака в тяжелом пальто, потертой шляпе.

Растроганный Самуил Яковлевич, не чувствуя усталости, читал стихи. Установилась дружеская атмосфера, и один из бойцов, застенчивый молодой человек, сказал:

— Товарищ Маршак, у нас некоторые бойцы тоже стихи пишут.

По просьбе Маршака солдат прочитал и свои стихи.

До Москвы добирались всю ночь. Маршак устал, но спать в машине не мог и нам не давал сомкнуть глаз. Человек больших эмоций, он снова возвращался к тому, что увидел. Не было предела его восхищению смелостью танкистов.

Здесь надо отметить интересную и важную подробность. Танковому корпусу под командованием Гетмана были вручены переходящее Красное знамя МК и МГК ВЛКСМ и вымпел ЦК ВЛКСМ; вымпел передавался лучшему экипажу, отличившемуся в боях. Когда закончилась война, командование корпуса по прибытии в Москву вручило знамя Московскому обкому комсомола. Танкисты сдержали свое обещание, говорили войны, донесли знамя до Берлина. Теперь мы просим присуждать его той школе, которая в учебном году добьется лучших результатов...

В июне 1942 года я получил от Маршака письмо. Среди других дел, в частности о журнале для учащихся спецшкол, об отражении в наиболее популярных детских и юношеских журналах Англии и Америки борьбы нашего народа с фашизмом, он писал и о работе с детьми.

Война принесла детям неслыханные страдания, сделала тысячи детей сиротами. Множество детей теряли родителей. Появилась беспризорность. На станциях железных дорог можно было видеть детей и подростков, одетых в тряпье, с перепачканными угольной пылью лицами. Даниловский детский приемник в Москве постоянно был переполнен. Отмечалась детская преступность. «Надо о них позаботиться,— писал Маршак.— Может быть, пойти на создание колоний типа макаренковских».

Ленинский комсомол бросил клич: забота о детях — кровное дело комсомола. Комсомольские организации участвовали в создании новых учреждений для эвакуируемых детей. Комсомол держал под контролем детские дома, добиваясь их хорошего снабжения продуктами, топливом, одеждой. Силами комсомола был создан фонд помощи детям, об этом стоит сказать подробнее.

В начале 1942 года «Комсомольская правда» опубликовала письмо офицера военно-воздушных сил Тихоокеанского флота П. С. Безносикова. Он писал, что решил выделить из своего жалованья средства и на них лично воспитать одного ребенка, осиротевшего в ходе этой жестокой войны. Предложение офицера П. С. Безносикова перекликалось с запиской С. Я. Маршака.

Центральный Комитет комсомола поддержал благородную идею. В Госбанке открыли счет № 160180 — фонд помощи детям. На этот счет перечисляли средства, заработанные на комсомольских воскресниках, полученные за сбор металлолома, дикорастущих лекарственных растений; на этот счет поступали и средства из личных сбережений.

Денег поступало немало. Сотни тысяч детей фронтовиков получали стипендии. Множеству семей оказывалась единовременная помощь. За счет фонда помощи детям комсомол открыл новые детские здравницы. Правда, они не могли целиком вобрать в себя опыт колоний Макаренко: сюда поступали малолетние, как правило, ослабленные, истощенные дети, нуждающиеся в лечении, заботливом уходе.

Всеми делами помощи детям занималась комиссия, созданная при ЦК ВЛКСМ. Вместе с комсомольскими работниками в нее входили представители интеллигенции, в частности нарком просвещения В. П. Потемкин, академик Н. В. Цицин, общественный деятель О. Э. Чкалова. Участвовал в работе комиссии и С. Я. Маршак. Иногда он приходил до заседания комиссии, чтобы успеть о чем-либо поговорить, почитать новые стихи. Для страницы «Комсомольской правды», посвященной заботе о детях, Самуил Яковлевич написал стихотворение «Одна семья»:

Друг другу стали мы родней,
 Чем были мы когда-то,
 И много тысяч матерей
 У каждого солдата.
 Его жена, и сын, и дочь
 Не будут одиноки,
 В беде сумеет им помочь
 И близкий, и далекий.
 От Приамурья до Хибин
 Все города и села
 Подхватят с гордостью почин
 Родного комсомола.

Очень верно сказал он о том, какую поддержку находил почин комсомола. Об этом же писала мне в недавнем письме О. Э. Чкалова. По поручению комиссии она была в Омске и других городах, чтобы помогать в устройстве детей.

Много мог бы рассказать Николай Васильевич Цицин, бессменный председатель комиссии по сбору лекарственных дикорастущих растений. Всякое дело надо организовывать. Для этого нужны были пропаганда, агитация и, конечно, работа организаторов. И на эту тему Маршак, желая помочь энтузиастам сбора лекарственных растений, тоже писал стихи.

Хорошо, когда человек талантлив, но Маршак был и талантлив, и умен, и образован. Если вспомнить к тому же такие черты его характера, как силу воли, трудолюбие, работоспособность, то станет еще более очевидно, что речь идет об интеллекте исключительном. Не помню, в какой книге я прочел о том, что Маршак за три месяца изучил английский язык. Но я сказал бы об этом так: Маршак изучал английский язык всю жизнь. Это было связано с его работой переводчика. А труд переводчика он понимал как невероятно ответственный.

— У меня нет возражений по поводу того, что мы употребляем слово «перевод», — рассуждал он, — и все-таки в этом слове есть что-то от техники. Мы говорим «перевел стрелку часов», это мой слух не режет. Но когда мы говорим «он перевел стихи», такое выражение воспринимается мной как шероховатое. Сейчас я вам объясню. У меня спрашивают: «Почему вы перевели эти стихи?» Я отвечаю: «Потому что я их люблю, потому что они отвечают моему существу, моим настроениям». Это не механическая работа, а настоящее творчество; для меня перевод, повторяю, художественное творчество, требующее интуиции, воображения, душевных сил — словом, всего того, что требует от меня работа над собственным стихом.

Впервые Маршак поехал в Англию в 1912 году.

— Я глубоко убежден, — рассказывал Самуил Яковлевич, — что для той категории работников, которые должны знать язык в совершенстве, обязательно нужны поездки в страну на длительный срок.

И снова поучительный рассказ.

Маршак путешествовал по Англии один, останавливаясь на ночлег в деревнях, маленьких провинциальных городах: так он изучал язык, историю страны, нравы, обычаи народа.

— Со мной, конечно, случались курьезы, — смеялся Самуил Яковлевич. — Считая себя знающим язык, я спросил однажды у полисмана: «What is time (сколько времени)?» Он посмотрел на меня вопросительно-удивленно и ответил: «Это очень серьезный философский вопрос». А все дело в том, что я пропустил артикль the и мой вопрос прозвучал так: что есть время?

Маршак поступил в Лондонский университет на отделение филологии. Он с особым рвением изучал английские и шотландские народные баллады. Здесь он впервые прикоснулся к строкам Р. Бёрнса и В. Блейка.

День суматошный, вторая его половина не предвещает облегчения. Нашлась пауза между окончанием первой части дня и началом второй, которая закончится глубокой ночью. Теперь можно позволить себе час духовного отдыха. Самуил Яковлевич хочет познакомить со стихами Роберта Бёрнса.

Чай налит, в комнате тишина.

Кто честной бедности своей
 Стыдится и все прочее,
 Тот самый жалкий из людей,
 Трусливый раб и прочее.
 При всем при том,
 При всем при том,
 Пускай бедны мы с вами,
 Богатство —
 Штамп на золотом,
 А золотой —
 Мы сами!

Маршак читает с увлечением, он словно клеймит тех, у кого нет ни ума, ни чести. Он заканчивает чтение, сжав левую руку в кулак и размахивая ею в такт стихам:

Настанет день, и час пробьет,
 Когда уму и чести
 На всей земле придет черед
 Стоять на первом месте.
 При всем при том,
 При всем при том,
 Могу вам предсказать я,
 Что будет день,
 Когда кругом
 Все люди станут братья!

А потом шли любовные стихи о Дженни, «замочившей все юбочки, идя через рожь», Макферсоне — воплощении отваги, непримиримости и бесстрашия, Финдлее — лихом парне, готовом на все ради пылкой любви. Стихи «Финдлей» Самуил Яковлевич читал на два голоса. Женщина вопрошала притворно-строго. Финдлей отвечал ей решительно, и его слова Маршак читал с лихостью, повышал голос, приосанивался.

Когда приходила усталость, Самуил Яковлевич принимался за эпиграммы.

А вот еще один такой вечер. Зима. С Беговой улицы в квартиру лишь изредка доносится звук проходящего трамвая. Давно остыл чай, в столовой накурено, но никто этого не замечает.

— Хотите, прочитаю еще один перевод? Я его только что закончил.

На соседнем стуле около Маршака его потерянный портфель. Из вороха списков он достает тот, который ему теперь нужен.

Зову я смерть. Мне видеть неverteж
 Достоинство, что просит подавня,
 Над простотой глумящуюся ложь,
 Ничтожество в роскошном одеянье,
 И совершенству ложный приговор,
 И девственность, поруганную грубо,
 И неуместной почести позор,
 И мощь в плену у немощи беззубой,
 И прямоту, что глупостью слывет,
 И глупость в маске мудреца, пророка,
 И вдохновения зажатый рот,
 И праведность на службе у порока.
 Все мерзостно, что вижу я вокруг...
 Но как тебя покинуть, милый друг!

Чтение окончено, в столовой полная тишина. Это оттого, что слушатели покорены глубиной мыслей, чеканностью стиха. Маршак чувствует настроение людей. Грозные складки на его лице исчезают, глаза улыбаются — он понимает, что достиг своего.

Пройдет время, выйдет книга переводов, и многие будут потрясены этим шестьдесят шестым сонетом Шекспира. Его будут считать знаменитым среди самых знаменитых.

Снова поиски в потертом портфеле, снова лист бумаги, поднесенный близко к толстым очкам, снова глуховатый голос поэта:

Увы, мой стих не блещет ярюзной,
 Разнообразьем перемен неожиданных.

Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?

Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова,
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.

Все это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу.

Все то же солнце ходит надо мной.
Но и оно не блещет новизной.

Мы выходим из подъезда глубокой ночью. Улица безлюдна, по проезжей части гуляет метель. Лишь теперь, в этот поздний час, заметно, что Самуил Яковлевич устал. Одетый в тяжелую шубу, он с трудом словно впихивает себя в машину.

— До свидания, милый,— слышится его голос.

В темноте отчетливо видно, как светится в кабине папирса: Маршак снова закурил.

Дома я достаю с верхней книжной полки пятитомное издание произведений Шекспира. Немало лет этим томам, украшенным виньетками и заставками, напечатанным на плотной бумаге, с рисунками лучших английских художников. Выпущенное в 1904 году издательством Брокгауза — Ефрона, это собрание по своему времени считалось одним из лучших.

С опозданием, конечно, но лучше поздно, чем никогда, из очерка С. А. Венгерова узнаю «биографию» сонетов. В 1609 году у издателя Торпа оказался полный список сонетов, ходивших в литературных кругах Англии. Он выпустил их в надежде на хорошую прибыль. Его расчеты не оправдались: сонеты не вызвали интереса. Следующее их издание появилось почти тридцать лет спустя, в 1640 году. Затем сонеты настолько забыли, что даже Стивенс, знаменитый комментатор Шекспира, издатель его классического собрания в 1773 году, не пожелал их напечатать.

Положение изменилось с начала XIX века. Во многом это определялось восторженной оценкой сонетов В. Вордсвортом. Сонеты он назвал «ключом, которым Шекспир отпер свое сердце».

Прекрасным знатоком Шекспира в нашей стране был профессор М. М. Морозов. Маршак и Морозов относились друг к другу с большим уважением и любовью. Особенно часто им приходилось встречаться, когда они готовили для Театра имени Моссовета перевод «Виндзорских насмешниц».

В своих лекциях М. М. Морозов — он был прекрасно эрудирован и лекции читал блестяще — подчеркивал, что именно переводы Маршака вызвали широкий интерес читателей поэзии к сонетам Шекспира. «Мы видим шекспировские сонеты как бы сквозь прозрачный кристалл, — говорил Морозов, — сохранив глубину подлинника, Маршак придал переводам ясность, доступность. Переводы, таким образом, стали фактом русской поэзии».

Гёте писал, что есть два принципа перевода. Один требует «переселения» иностранного автора к нам — так, чтобы мы могли видеть в нем соотечественника. Другой принцип, наоборот, предъявляет к нам требование самим отправиться к чужеземцу, приспособляться к его условиям жизни, складу его языка.

Маршак сумел «переселить» великого поэта и драматурга к нам и сделал это так, что В. Шекспир с его сонетами стал как бы нашим соотечественником. А в конечном счете это и есть мировая литература, которая принадлежит всему человечеству и не знает ни границ, ни возраста. У нее свой счет времени, своя жизнь.

Мне уже приходилось в свое время напоминать о том, что С. Я. Маршак, по словам А. А. Фадеева, в нашей поэзии идет по пушкинской линии. Александр Александрович подчеркивал это свое утверждение. Такое направление ко многому обязывает. И в искусстве перевода, если брать его именно как искусство, пушкинское

начало требует творческого отношения. Дух творчества в искусстве перевода отмечал еще В. Г. Белинский.

«От подражания происходит только мертвый список, рабская копия, которые лишь по наружности сходны со своим образцом, но в сущности не имеют ничего с ним общего... Творчество в духе известной поэзии, жизнью которой проникнулся поэт, есть уже не список, не копия, но свободное воспроизведение (reproduction), соперничество с образцом. Для доказательства достаточно указать на «Торжество Победителей» и «Жалобы Цереры» — пьесы Шиллера, так превосходно переданные по-русски Жуковским».

Думаю, читатель убедился в том, как по-русски передает поэтов других народов С. Я. Маршак.

Если не ошибаюсь, в 1956 году мне пришлось быть в очередной поездке в Англию; поездка посвящалась советско-английским культурным связям. Вновь мы любовались сокровищами Бриганского музея, с интересом наблюдали многолюдные митинги в Гайд-парке, посещали рабочие кварталы.

Во время встреч затрагивались вопросы искусства, литературы. Конечно, мы в таких случаях не могли забыть имя Роберта Бёрнса, тем более что были под властью переводов С. Я. Маршака. (Здесь уместно заметить, что Р. Бёрнса начали переводить у нас с начала прошлого столетия; в столетнюю годовщину смерти поэта (1896) появилась в продаже небольшая книжечка. Переводами Бёрнса занимались И. Козлов, В. Курочкин, М. Михайлов, Д. Минаев. И. С. Тургенев и Н. А. Некрасов намеревались перевести Р. Бёрнса, но своего намерения не выполнили.)

Однажды мы, сопровождаемые англичанами, были в старейшем и лучшем драматическом театре Олд Вик. Заговорили о литературе; мы стали восторгаться Бёрнсом.

— Какой же это поэт! — вдруг возмущенно воскликнул один из англичан и от волнения сдернул свои очки.

При всем уважении к хозяевам мы не могли согласиться с ними: спор разгорался.

— Мужик, да к тому же шотландец, не может быть поэтом! — шумел англичанин в очках на длинном, как у Буратино, носу.

— Уж не в этом ли театре, услышав гимн «Боже, храни короля», Бёрнс крикнул: «Лучше сыграйте песню Французской революции!», — с некоторой долей ехидства сказал кто-то из нас.

— Спать можно сказать что угодно, — неуклюже пытался парировать англичанин.

..Если взять с полки том воспоминаний Поля Лафарга о Марксе и Энгельсе, то можно прочитать, кто были любимыми поэтами Маркса: «Данте и Бёрнс были его любимейшими поэтами. Ему доставляло большое удовольствие, когда его дочери читали вслух сатиры или пели романсы шотландского поэта Бёрнса».

Маршак открыл для советского читателя Бёрнса как бы вновь. Закономерностью в этом случае было то, что наша литература в своем неуклонном поступательном развитии поднялась настолько, что для советского читателя стали возможны новые открытия в мировой литературе.

Еще совсем недавно появление новых переводов В. Шекспира, Р. Бёрнса, В. Блейка было событием литературной жизни. Теперь эти переводы прочно вошли в отечественную литературу и стали ее неотъемлемой частью.

Читатель знает выражение Маршака «многопольное хозяйство». Прибегая к образным суждениям, Самуил Яковлевич рассуждал так: надо на одной грядке проводить посев, на второй прополку, на третьей подкормку, на четвертой снимать урожай. А когда урожай будет снят, надо добытое просушить, очистить от сорняков и только после этого пускать в дело. Еще он говорил: переводы надо копить, а не фабриковать. Нельзя сфабриковать том переводов, так же как нельзя поручить писателю написать собрание сочинений.

У меня хранится тонкая книжечка малого формата с дарственной надписью сына поэта И. С. Маршака. «Вам, — пишет он, — давно слышавшему многие из этих стихов от моего отца, — с добрыми пожеланиями». Томик этот — «Избранное» Вильяма Блейка в переводах С. Маршака.

О том, как в полном смысле слова копились Маршаком эти переводы, можно судить по таким данным. Два цикла его переводов — всего 14 стихотворений — впервые были опубликованы в журнале «Северные записки» в 1915—1916 годах. Он начал рабо-

тать над ними в 1913—1914 годах и уже в то время предполагал подготовить книгу избранных стихотворений В. Блейка.

Судьба распорядилась по-другому.

В течение пятидесяти лет Маршак многократно возвращался к стихам любимого поэта, пополнял предполагаемую книгу новыми переводами и совершенствовал то, что было подготовлено им ранее. При жизни он не сумел исполнить свой план. Книга увидела свет лишь после смерти С. Я. Маршака. В нее вошли лирика, «пророческие книги», афоризмы.

Блейк пленил Маршака талантом, глубоко демократическими тенденциями, ненавистью к любым проявлениям зла. Самуил Яковлевич был глубоко убежден в том, что советского читателя надо познакомить с Блейком.

— Вы увидите, как будет вознесен этот поэт,— говорил Маршак.— Его полюбят и оценят не потому, что он будет как бы вновь открыт — переводов Блейка у нас почти нет,— а потому, что он близок нам по своему духу, образу мыслей.

Маршак как бы предугадал события. В 1957 году Международный Совет Мира вынес постановление о том, чтобы отметить двухсотлетие со дня рождения В. Блейка.

Начав постигать искусство перевода в молодые годы, Самуил Яковлевич посвятил ему полвека жизни. После смерти Маршака издательство «Прогресс» выпустило в серии «Мастера поэтического перевода» книгу его переводов. В нее вошли стихи 23 поэтов, множество баллад и песен из английской и шотландской народной поэзии, стихи для детей, эпиграммы. Среди авторов — В. Шекспир, Д. Донн, Д. Мильтон, В. Блейк, Р. Бёрнс, В. Вордсворт, Д. Г. Байрон, П. Б. Шелли, Д. Китс, Г. Гейне, Ш. Петефи, а в собрании сочинений С. Маршака представлены переводы более 70 поэтов. Лишь страстная одержимость, увлеченность могли привести Маршака к такому долгому и нелегкому труду.

— Вот чего стоят восемь строк,— сказал он однажды, поднимая над столом ворох исписанных листов.

Но кроме одержимости нужна была общая высокая культура, знание литературы. Мировая сокровищница поэзии — это множество гениальных имен. Только наследие В. Шекспира — необъятный мир страстей, человеческих переживаний, гениальных строк, способных с неослабевающей силой волновать человечество на протяжении столетий.

Что отобрать из накопленного духовного наследия? В какой взаимосвязи показать творчество того или другого поэта? Маршак брал на себя лишь ту задачу, которая была для него посильна. Мне представляется, что его творческая лаборатория убедительно подтверждает слова В. Белинского о том, как надо изучать поэта, его личность.

Вот что писал наш великий критик:

«Во-первых, не всякий, кто пишет стихи, выражает свою личность: выражает ее тот, кто родился поэтом; во-вторых, не всякая личность, но только замечательная стоит изучения; в-третьих, не всякий человек есть личность, но многие люди по своей безличности походят на плохо оттиснутую гравюру, в которой, как ни бейся, не отличишь дерева от копны сена, лошади от дома, а деревянного чурбана от человека. Природа ли производит, или воспитание и жизнь делают их такими — это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы нас, если б мы вздумали об этом рассуждать; нам довольно только сказать, что есть на свете безличные личности, что их, к несчастью, гораздо больше, чем личных, и чем личность поэта глубже и сильнее, тем он более поэт».

Маршак звал только к высшим образцам поэзии. Он переводил только тех поэтов, которые родились поэтами, которые выдержали проверку временем, полностью сохранив жизненность, красоту и силу своего творчества. Он переводил строки тех поэтов, которые несли человечеству высшую правду — она доступна только истинно великому искусству.

Дом № 14/16 стоит на улице Чкалова, неподалеку от Курского вокзала. Эта улица — часть кольцевой магистрали, одной из самых загруженных в городе. Потоки автомобилей, среди которых множество грузовых — для них проезд через центр закрыт, — движутся в несколько рядов. В часы пик очереди около светофоров растягиваются чуть ли не на километр. В воздухе стоит неумолчный гул моторов.

Дом № 14/16 — обычный, многоэтажный, каких в городе много. Если пройти через узкий, заставленный легковыми машинами двор и в конце его повернуть направо, то мы очутимся перед подъездом № 13. Теперь надо подняться на третий этаж. Здесь в квартире № 113 жил Самуил Яковлевич. Здесь рождались стихи мастера, и отсюда они, словно птицы, выпускаемые рукой волшебника, разлетались по стране и пересекали границы.

Весь кабинет Маршака занят книгами. На самом почетном месте произведения А. С. Пушкина, издания поэта начиная с прижизненных. Рядом книги М. Ю. Лермонтова издания 1842 года. Здесь же прекрасный подбор лучших образцов русской поэзии.

Были и другие, дорогие для хозяина реликвии: в письменном столе хранились книги с автографами В. В. Стасова, А. М. Горького, В. В. Маяковского, А. Н. Толстого. Таких книг с дарственными подписями около четырех тысяч. Только от А. Твардовского Маршак получил 40 книг с дарственными подписями.

Самостоятельное собрание — шедевры западноевропейской литературы. Здесь есть своя достопримечательность — издание сочинений Ч. Диккенса 1846 года, одетое в сафьяновый переплет. Таким подарком была отмечена англичанами работа С. Я. Маршака по переводу на русский язык лучших образцов английской поэзии.

Стол Маршака всегда был завален рукописями, гранками, очередной версткой, книгами. Так было не только в рабочем кабинете. Если Маршак оказывался в подмосковном санатории, то и там стол приобретал такой же вид.

По своим делам Самуил Яковлевич ездил со старым, потрепанным портфелем. Только он мог знать, как ему удавалось выуживать из вороха бумаг стихи, которые он хотел прочитать, или рукопись молодого писателя, или очередные письма по какому-либо важным с его точки зрения вопросам. Усаживаясь на стул, Маршак закуривал папиросу, брал на колени портфель, открывал его и начинал копаться в бумагах.

— Куда-то листок запропастился, — приговаривал он, перебирая содержимое, пока наконец не находил то, что было нужно.

Если поиски книги или рукописи происходили дома, то нередко они сопровождались баталиями с секретаршей Розалией Ивановной.

— Розалия Ивановна, это же черт знает что такое! — гневался Маршак. — Ведь вчера эти страницы были здесь, на подоконнике. Куда вы их засунули?

— Никаких страниц я не трогала, — парировала Розалия Ивановна.

Сухонькая, седая, она бесшумно двигалась по квартире, суетясь и поправляя очки. Она давала «отпор» поэту, обвиняя его в том, что у него самого нет порядка, что так работать невозможно. Одновременно Розалия Ивановна успевала подходить к телефону, исчерпывающе объяснять, когда будет отправлена такая-то верстка, когда были посланы стихи, почему Маршак не может выступить по радио.

Неорганизованность Маршака была кажущейся. В нем жил дух дисциплины, трудолюбия. И как человек творческого ума, он, естественно, не мог и не умел подшивать бумажки к делу. Порядок и организованность в натуре Маршака проявляли себя по-своему. Определение своей работы как многопольного хозяйства было у него очень удачным.

В этих записках ничего не сказано о Маршаке как драматурге, а ведь если бы он не написал ничего, кроме пьес, его можно было бы только за эту работу признать литератором первой руки: не зря его пьесы ставили самые лучшие театры. В МХАТе пьесе «Двенадцать месяцев» готовили под руководством одного из наиболее талантливых учеников К. С. Станиславского — М. Н. Кедрова. «Умные вещи» ставил Малый театр. В пьесе «Горя бояться, счастья не видать», сочной, яркой, полной мудрого народного юмора, показанной Театром имени Е. Вахтангова, роль царя играл Р. Н. Симонов. Мы были на премьере вместе с Самуилом Яковлевичем, и он от души радовался мастерству, с каким играли актеры.

И в то же время, верный своему принципу, он искал новые возможности для лучшего сценического воплощения. «Двенадцать месяцев» были с восторгом приняты в Японии. Маршак показывал очень удачное издание на японском, которое ему прислали с благодарственным письмом, а он все еще беспокоился, так ли играют в МХАТе такую-то реплика, не надо ли чуточку изменить декорацию, поправить свет

для сцены в лесу и т. д. Каждое представление он переживал так, словно видел его впервые.

Принято считать, что Маршак отличался рассеянностью, не был достаточно собран. Это, на мой взгляд, верно лишь отчасти, применительно к его быту. Маршак, уходя, забывал палку или галоши, случалось, забывал даже портфель. Возможно, что и свой быт он не умел устроить должным образом. Его дача в Болшеве была очень неудобной, сырой. Взамен он ничего не сумел найти и, уже будучи тяжело больным, продолжал жить в Москве.

Неорганизованность покидала Маршака тогда, когда дело касалось общих интересов, необходимости сделать доброе дело для людей. Я и раньше знал об огромной переписке Самуила Яковлевича. Но изумили итоговые данные. Даже по неполным подсчетам оказалось, что в эпистолярном архиве Маршака 20 тысяч писем! Последнее письмо, ответ ученикам белгородской школы № 16, было написано в Кунцевской больнице за день до смерти Маршака, 3 июля. Ученики писали Маршаку о том, что их товарищ, подвергая себя опасности, вытащил из ямы с варом увязшую девочку. Вот какой ответ под диктовку Маршака был послан школьникам:

«Дорогие ребята.

Ваше письмо получено во время тяжелой болезни Самуила Яковлевича. Сейчас он находится в больнице.

Он был рад хорошим вестям от вас и обещал написать, когда немного поправится.

Самуил Яковлевич просит передать привет вам всем, вашей учительнице Софье Ивановне, а маленького героя Володю просит крепко обнять и расцеловать».

Первые сохранившиеся письма Самуила Маршака «милому дорогому дедушке» относятся к 1902 году, они шли из глухой провинции, каким был в ту пору Острогожск, к В. В. Стасову, сыгравшему такую большую роль в судьбе поэта.

Огромная связь времен, событий! Через жизнь и деятельность Маршака мы связываемся с далекой-далекой эпохой.

В 1975 году было опубликовано два неизвестных письма В. В. Стасова. Одно из них, от 4 января 1903 года, адресовано видному скульптору И. Я. Гинцбургу. Описывая очередной дружеский музыкально-художественный вечер в своем доме, Владимир Васильевич подробно рассказывает о Маршаке: «Я поставил его перед средним окном зала, дал ему в руки стул для прочной и надежной позиции, и он пошел, пошел, пошел прямо вскачь с места... Повально вся наша компания (Кюи, Глазунов, Лядов, оба Blumenфельда и т. д. и т. д.) была им просто поражена! С ним стали все сразу обращаться как с настоящим большим поэтом, а не с маленьким мальчишкой. Одна из капитальнейших и удивительнейших его вещей — это «Франческа да Римини», стихотворение, которое он написал по моему указанию и просьбе на другой день после концерта в Дворянском собрании, где играли эту чудную, едва ли не гениальную фантазию для оркестра Чайковского. Я его взял в тот день с собою в концерт, и он так способен понимать верно талантливую музыку, отличать ее от всякой другой, посредственной или плохой, что пришел в неописанное восхищение! Видя это, я и попросил написать свои впечатления в стихах. Это было недавно. И он сделал то, что все мы были поражены, даже Кюи, который очень мало склонен хвалить кого другого, да еще относительно того, что касается музыки! Да, этот мальчишка, если проживет и не собьется с рельса, будет что-то крупное!!!» О многом говорит это письмо, потому и не хотелось скупиться, урезать выдержку. Оно напоминает о том, как надо выискивать талант. Оно учит тому, как надо отшлифовать талант, воспитывать истинный вкус на высших художественных образцах.

Мы видели, как юный Маршак вырабатывал, я бы сказал, беспощадную требовательность к себе, как далек был от самоуспокоения, самолюбования. Литература была для него святая святых, профессия литератора — ответственнейшей. Поэтому исключались какие бы то ни было скидки, компромиссы. Для того чтобы занимать такую позицию, нужно было еще одно условие — сила воли, твердость характера. Он писал:

Да будет мягким сердце, твердой — воля!
Пусть этот нестареющий наказ

Напутетвием послужит наждой школе,
Любой семье и каждому из нас.

Вся деятельность Маршака подтверждает, что он строго следовал этому принципу.

Между тем внешний облик Самуила Яковлевича никак не выдавал в нем человека сильной воли. Грузный, с тяжелой походкой, часто рассеянный, деликатный в обращении — таким его видели окружающие. Кукрыниксы показывали мне дружеский шарж на Маршака: с листа смотрел улыбающийся широким ртом добродушный человек.

Могучий характер Маршака, его способность противостоять самым суровым житейским бурям, проявлял себя неоднократно: он пережил не одну трагедию. Скончалась его жена Софья Михайловна. Это была невероятно тяжелая потеря для Маршака, связанного со своим верным другом чувством глубокой любви и нежности. В феврале 1946 года от туберкулеза легких скончался младший сын Самуила Яковлевича Яков. Он учился в Институте химического машиностроения.

Похоронив сына, Самуил Яковлевич через несколько дней зашел ко мне. Ему было так тяжело, что он просил ничего не говорить о Яше. После смерти Маршака в рукописях были найдены стихи, по которым можно представить, что творилось в душе отца:

Чистой и ясной свечи не гаси,
Милого, юного сына спаси.
Ты поддержи над свечою ладонь,
Чтобы не гас его тихий огонь.
Вот он стоит одиноко пред тобой
С двадцатилетней своею судьбой.
Ты оживи его бедную грудь,
Дай ему завтра свободно вздохнуть.

Судьба не щадила Маршака. В ноябре 1953 года скончался его брат И. Я. Маршак (М. Ильин).

С годами Самуил Яковлевич чувствовал себя все хуже. Теперь он уже не был грузный. Болезнь пожирала его, он худел с каждым днем. Костюм висел на нем, словно с чужого плеча. Ворот рубашки стал непомерно широк. И прекрасная маршаковская улыбка все реже вспыхивала за стеклами очков.

Физический недуг с каждым годом сужал возможности Маршака, отсекал от него многие человеческие радости. И опять проявлялась сила воли Маршака. Никто никогда не видел его в состоянии угнетения, отчаяния. В этом больном, израненном житейским горем теле жил сильный дух. После смерти Самуила Яковлевича нашли неопубликованные стихи. В бессонные ночи он жил воспоминаниями о любимых людях, как бы снова встречался с ними. Бумаге поэт доверял свои строки:

Я еду в машине. Бензиновая гарь
Сменяется свежей прохладой.
Гляжу мимоходом на бледный фонарь —
Последний фонарь за оградой.
Стоит он в углу и не ведает сам,
Как мне огонек его дорог.
Высокий фонарь сторожит по ночам
Покрытый цветами пригорок.
В углу за оградой — убогий ночлег
Жены моей, сына и брата,
И падает свет фонаря, точно снег,
На плющ и на камень щербатый.
В столицу бессонную путь мой лежит.
Фонарь за домами затерян.
Но знаю: он вечный покой сторожит,
Всю ночь неотлучен и верен.

В последний раз я увиделся с Маршаком в декабре 1963 года в его квартире. Снова он был плох. Но не болезнь была темой разговора. Ему хотелось рассказать, что он готовит предисловие для выходящей в Англии книги стихов А. Твардовского; что

Расул Гамзатов снова порадовал прекрасными стихами; что молодые-то у нас талантливы, но только им надо больше знать, учиться, а не скакать на одной ножке; что есть поэты, которые любят кокетничать, хотя поэзии кокетство противопоказано.

— Теперь,— говорил он,— надо только работать и работать. И самое главное — чтобы не было новой грозы. Надо собирать всю интеллигенцию мира. Когда были Максим Горький, Ромен Роллан, Анри Барбюс, порой кажется, что было легче работать. Но сейчас сил еще больше, коллективный разум литераторов могуч... Хорошо бы побывать в Узбекистане, Таджикистане, еще раз взглянуть на Англию. И было бы чертовски здорово забраться даже в Юго-Восточную Азию, например в Индонезию. Как вы думаете, это возможно?

— Конечно, возможно, дорогой Самуил Яковлевич.

В добром взгляде мастера нет и тени сомнения. Он верит в то, что путь его длинен.

Я слушал Маршака весь вечер.

Невероятно длинна и удивительно прекрасна дорога, которую он прошел. И если бы представить себе всех, кого он встречал на этой дороге, все страны, в которых он искал драгоценные жемчужины — слова, чтобы отдать их людям, если бы представить всех, у кого он учился, кого он учил, если бы собрать всех героев его произведений — картина получилась бы грандиозная.

Было поздно, когда я вышел на Садовое кольцо. Город замирал, в окнах гас свет, и даже около Курского вокзала, где обычно всегда особенно оживленно, движение стихало. В свете фонарей кружил серебристый снег.

Наступала та кратковременная, казалось бы, минутная пауза, после которой Садовое кольцо вновь оживает, предвещая наступление нового дня.

Так не хотелось думать, что приходят к человеку тот последний миг, когда свет потухает навечно и все погружается во мрак — и нет уже блеска ума, памяти, накопившей вороха знаний, нет таланта, который приводил людей в восторг и нес им свет и радость.

Вот еще стихи, которые были опубликованы после смерти Самуила Яковлевича:

Исчезнет мир в тот самый час,
Когда исчезну я,
Как он угас для ваших глаз,
Ушедшие друзья.

Не станет солнца и луны,
Поблекнут все цветы.
Не будет даже тишины,
Не станет темноты.

Нет, будет мир существовать,
И пусть меня в нем нет,
Но я успел весь мир обнять,
Все миллионы лет.

Я думал, чувствовал, я жил.
И все, что мог, постиг
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг.

Мир продолжает существовать — и этому миру продолжает светить добрая звезда Маршака.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ

★

ГЕРОЙ И ТРУД

Литература социалистического реализма обостренно чутка к духу и пафосу новаторства. Одно из выражений этого — ее стремление как можно глубже раскрыть облик новатора производства, героя с коммунистическими чертами характера. Его активность и инициатива — отражение зрелых социалистических отношений, показатель высоты сознания, одухотворенности.

Л. И. Брежнев на XXV съезде партии высоко оценил достижения советской литературы и искусства в постановке и решении ими производственной темы: «Ныне эта тема обрела подлинно художественную форму. Вместе с литературными или сценическими героями мы переживаем, волнуемся за успех сталеваров или директора текстильной фабрики, инженера или партийного работника». В своих выступлениях Л. И. Брежнев неоднократно указывал на диалектическую связь роста сознания, активности масс и успехов коммунистического строительства.

Главная заслуга советской литературы заключается в том, что она раскрыла созидательную, гуманистическую сущность социалистического труда. Можно было бы назвать немало произведений, где убедительно оказано формирование новой личности в процессе коммунистического труда. Этот труд открывает широчайший простор для проявления и развития творческих возможностей. Внутренним пафосом таких произведений становится убежденность в верности енинского высказывания о том, что коммунистическое отношение к труду есть основной критерий высоты сознания и нравственной убежденности советского человека.

Следует сказать, что произведения на острые темы производства, с деятельными, весьма сложными героями вызывают большой интерес у читателя. Судя по библиотечным сведениям, среди произведений В. Кожевникова на тему труда большой популярностью пользуется, к примеру, роман «В полдень на солнечной стороне». И это не случайно. В романе писателю удалось слить острые сюжетные положения, охватывающие самые различные стороны жизни главного героя (военной, личной, производственной), в единое целенаправленное эпическое действие. На передний план, естественно, вышли наиболее драматические ситуации, в которых рельефно проявляются грани характера незаурядного героя — подлинно личности, способной во имя великой цели совершить подвиг. Писатель показал нам человека, чьи воля, сознание находятся в гармоническом единстве с волей самой истории. Этим согласием объективного «необходимо!» и личного «хочу! должен!» определяется поведение Петухова и на фронте (в невероятно сложных условиях) и в повседневном созидательном труде, где тоже требуется полная самоотдача и самоотверженность.

Творчество В. Кожевникова отмечено приверженностью автора к теме созидательного труда, к цельным, мужественным характерам. И в повести «Знакомьтесь, Балуев», и в «Петре Рябинкине», и в «Особом подразделении» В. Кожевников стремился выдвинуть на первый план главную фигуру истории — человека активного социального действия: передового рабочего, инженера, руководителя большого производственного коллектива. Обычно это люди со сложной биографией, прошедшие такую суровую жизненную школу, «огненную купель», как

война. И не оскудела их душа, не очерствело сердце! В новых условиях, в условиях мирного созидательного труда, они снова оказываются на передовых рубежах. Коммунистическое отношение к труду, к людям — естественное их состояние, ведущий жизненный принцип. Не случайно они пользуются большим влиянием в коллективе. Степана Букова из повести «Особое подразделение» автор имел все основания отнести к числу тех людей, которые светят нам при любых поворотах обстоятельств как маяки.

Важной стороной романа В. Кожевникова «В полдень на солнечной стороне» является показ могучей воспитательной силы созидательного труда на заводе. Сквозная линия характеристики героя может быть обозначена как линия взятых, преодоленных им рубежей. При этом, с одной стороны, наглядно обнаруживает себя сила характера Петухова: оказавшись после войны на заводе в качестве ученика токаря, герой не пасует перед трудностями, он овладевает токарным мастерством, становится знатным человеком на заводе; с другой стороны, пристальное внимание к процессу роста героя позволяет автору показать, что сами обстоятельства на заводе способствуют проявлению лучших черт характера. Петухов каждой клеткой души впитывает в себя рабочую этику, проникается духом трудовой солидарности, входя частицей в общую массу. Но при этом не теряет личной своей неповторимости. Напротив, именно в рабочем коллективе Петухов совершенствуется как личность с новыми, коммунистическими чертами характера. Он встает в ряд тех, о ком директор скажет: «Все вы народ штучный, экзemplяры...» Писатель стремится нарисовать яркие, своеобразные типы, показать, как завод формирует людей внутренне содержательных, «штучных», подлинных мастеров своего дела, которые действительно незаменимы на работе. Таковы и вездливый, ершистый старик Золотухин, наставник Петухова, и рационализатор Зубриков, мастер на все руки и максималист в понимании рабочей чести и трудового долга.

Созданные советскими писателями, в том числе и В. Кожевниковым, типы рабочих убедительно доказывают, что социалистический труд способствует выявлению скрытых резервов личности, обогащает ее духовно. Здесь сказывается важная традиция советской литературы, для которой процесс социалистического производства есть и про-

цесс формирования, нравственного обогащения личности.

В нашей критике достаточно убедительно показано, что В. Кожевников хочет понять современную рабочую психологию в прямой связи с процессами социалистического производства, активное участие в котором называется на росте, духовном укрупнении человеческой личности.

Действительно, в лице Петухова (как и ранее в лице Букова и Рябкина) нам представлен укрупненный характер героя, который формируется в процессе труда и особенно ярко проявляет себя в решении важнейших общественных и производственных задач (в частности, в борьбе за высокие качественные показатели), и, следуя внутренней логике своего характера, при этом в полном согласии с логикой объективных обстоятельств, Петухов становится передовиком производства, а затем организатором (парторгом цеха, а позднее директором мебельной фабрики). В. Кожевников не боится показывать его идеальным в личных отношениях — скажем, в проявлении глубоких чувств к жене Соне. Не боится то и дело подчеркивать его бескомпромиссность в борьбе с недостатками. Жаль, что иногда при этом В. Кожевников впадает в риторичность. Но в целом характер Петухова подчинен собственной, внутренней логике, образ этот в своих основополагающих чертах и гранях отражает подлинно коммунистическую этику рабочего класса.

Ставя в центр внимания дела и характер новатора производства, советские писатели стремятся показать его активность в решении действительно крупных, актуальных для нашего времени проблем. Но, увы, далеко не все авторы, обращаясь к производственной теме, достигают психологической глубины в характеристике героев, раскрытии богатства их духовного мира. Чисто производственная сторона конфликтов выглядит в ряде случаев более содержательной, чем внутренний мир героев. Иногда производственная сфера и личная жизнь персонажа выступают как два непересекающихся ряда. Хотя на самом деле мы знаем, что как раз для периода зрелых социалистических отношений характерна особенно тесная связь, взаимопроникновение и единство личных и общих интересов, делового, «профессионального» мышления всей духовной сферы героя. Мир эмоций реального героя наших дней в личных отношениях так же богат, как и в производ-

ственной сфере. И наоборот. В этом проявляется одна из важнейших особенностей формирования новой личности с коммунистическими чертами характера на современном этапе.

И сегодня в литературе на производственную тему заметными явлениями остаются такие произведения, как «Битва в пути» Г. Николаевой или «Иду на грозу» Д. Градина. Принципиальные конфликты и проблемы, составлявшие их основу, при всех коррективах, внесенных временем, сохраняют свою актуальность и ныне. И не случайно, когда в критике заходит речь о типе современного новатора производства, всплывают неизменно имена Бахирева и Сергея Крылова.

«Новатор» — понятие емкое, оно может объединить весьма широкий круг передовых людей нашего общества (независимо от сферы применения знаний, энергии, воли, духовной активности). Например, Крылов — больше ученый, чем производственник. Но его объединяет с производственником Бахиревым высота понимания гражданского и морального долга.

По многим произведениям современной советской литературы знакома нам характерная жизненная ситуация: новатор производства, опираясь на поддержку партийной организации и передовой части коллектива, смело выступает против косных навыков и привычек, за прогрессивное решение насущных производственных проблем. Он застрельщик, новатор. Пафосом таких произведений становится утверждение коммунистического отношения к труду, высокого гражданского сознания героя, роли коллектива в нашей жизни.

Есть существенное сходство самих сюжетных ситуаций в романе М. Колесникова «Изотопы для Алтунина» и в романах В. Попова «Обретешь в бою», «И это называется будни...». Правда, конкретная сфера приложения сил, знаний, организаторского таланта и воли у кузнеца Алтунина и сталевара Рудаева разная. Но общественные идеалы и цели у них общие. Принципы, которыми они руководствуются, и методы работы, несмотря на различие сфер производства, оказываются тоже общими. На первый план в этих книгах выходит проблема взаимоотношения новатора с коллективом, одна из центральных в наши дни. От сознательного действия, активности каждого из нас зависит сплоченность и моральная сила, энергия всего общества. От высоты сознания и активно-

сти каждого рабочего, инженера, начальника цеха, директора завода зависит рост производительности труда в стране (главного показателя наших достижений), успешность решения важных задач коммунистического строительства.

М. Колесников и В. Попов, выявив через динамику сюжета животрепещущую проблему наших дней, заметив явление, характерное для современности, стремятся обрисовать коллектив, где каждый работник своеобразен как личность, то есть пытаются найти пластические средства для создания индивидуализированных характеров. Их усилия, разумеется, принесут плоды. Но все же углубление в индивидуальный мир героя не везде удается писателям. Критик В. Озеров верно заметил, что «романы Попова понесли немалый художественный урон из-за обилия сухих, психологически невыразительных описаний», а их герой «бледнее, чем в жизни». Это тем более горчительно, что мы имеем дело с писателем, которому присущ неизменный и острый интерес к таким актуальным темам, как организующая роль новаторов производства, рост активности масс, высокая сознательность коллектива в решении задач, выдвигаемых временем. Собственно, весь повествовательный строй романов В. Попова, а также и М. Колесникова подчинен развитию именно этих тем, важность которых трудно преувеличить.

Гребенщиков в романе В. Попова «Обретешь в бою» отличается силой волевого напора, умением подчинить себе людей, уверенно командовать ими (а попутно «подать себя»). Он похож на Вальгана. Рудаев, другой командир производства, превосходит Гребенщикова не только профессионально, но и духовно; он лучше владеет тем, что можно назвать культурой коммунистического труда. Это очень емкое понятие. В него входят не только острота социального мышления, но и эрудиция, сумма специальных знаний. Рудаев совмещает в себе свойства высокообразованного специалиста и передового организатора производства. Но этого мало. Культура коммунистического труда (если иметь в виду труд руководителя, возглавляющего большой или малый коллектив) включает в себя не только навыки организации производства согласно последнему слову техники (такими навыками в совершенстве владеет Рудаев, сменивший Гребенщикова на посту начальника цеха), но и умение создать здоровую моральную ат-

мосферу на своем участке работы. Снова сошлюсь на мнение В. Озерова, правильно подчеркивающего, что «именно в среде рабочего класса с наибольшей силой проявляются социалистические нравственные отношения... коммунисты твердо следуют принципу: «через себя» — «для всех», они берут на себя ответственность «за состояние души человека», им важно так организовать работу, чтобы она будила мысль, взывала к активности...». Культура коммунистического труда вбирает в себя такие начала, как коммунистическая нравственность и — я бы даже сказал шире — коммунистическая духовность. То и другое находит свое непосредственное, деловое выражение в коллективной сплоченности, взаимовыручке, взаимоподдержке и одновременно принципиальности, требовательности, нелицеприятной критике и самокритике — в общем, в том, что характеризует высокую сознательность и активность коллективов коммунистического труда на передовых производствах.

В романах В. Попова немало остро подмеченных черт и тенденций нашего времени. Недаром многосерийный телефильм «Обретешь в бою» вызвал широкий отклик зрителей. Вспомним: Рудаев проявляет подлинную принципиальность, идет на острый конфликт, когда того требуют интересы производства. Он смело выступает против Гребенщикова, не понимающего все значение технического новшества (речь идет о переводе доменных печей на новый режим). Но ведь это только одна сторона дела, можно сказать, чисто производственная. Важно, что в ходе конфликта крупно встает проблема стиля руководства, взаимоотношений руководителя с коллективом. Трудно представить себе современного командира производства, который не понимал бы роли коллектива, активности масс. Есть такое «понимание» и у Гребенщикова, но руководствоваться им он явно не спешит, предпочитая действовать «волевыми» методами. В противоположность Гребенщикову Рудаев стремится поощрить инициативу, способствовать созданию такой атмосферы, когда каждый рабочий, инженер, специалист чувствовал бы себя хозяином производства, отвечал и за свой участок работы и за все производство в целом. На первый взгляд ситуация азбучно ясная — опираться на коллектив, и все пойдет гладко. В действительности же сколько личных страстей, противоборствующих мнений вспы-

хивает каждый раз, когда решается производственный вопрос, затрагивающий интересы каждого работника! К чести Рудаева, он это понимает и старается разрешить все возникающие сложности при поддержке и прямом участии коллектива. Передовые рабочие и инженеры его поддерживают.

К сожалению, в романе работа Рудаева в качестве начальника цеха показана художественно слабее, чем работа в должности инженера. Здесь как раз непосредственное живое изображение порой подменяется описательностью. Возьмем, к примеру, такую ситуацию. Дабы способствовать росту активности членов трудового коллектива, начальник цеха Рудаев решил создать технический совет. Дело нужно. Легко представить, как много возможностей скрывает в себе эта ситуация. В частности, возможность выпукло и ярко показать живую борьбу мнений, столкновение человеческих характеров, показать, как крепнет, утверждается коммунистический стиль работы. Вместо этого читаем: организация технического совета «окончательно расположила к нему людей. Они перестали чувствовать себя покорными исполнителями чужих замыслов. (Сказано не очень точно: даже при Гребенщикове у многих не было столь тягостного самочувствия, да ведь и роль «покорных исполнителей» противоречила бы социалистическим формам организации труда.— В. Н.) Еще бы! Сами выражают свою волю, сами проводят в жизнь свои решения, сами обсуждают и утверждают инструкции. Эта попытка начальника опереться на опыт и технические возможности коллектива стала быстро принести свои плоды. Она будила мысль, взывала к активности».

Повторяю: очень важные черты современной организации социалистического производства подметил В. Попов. Но подмена живописания прямыми авторскими аттестациями (как видим из приведенного примера) ослабляет действенность таких вот страниц романа.

Не менее актуальные проблемы поднимает и М. Колесников в своих романах «Изотопы для Алтунина» и «Алтунин принимает решение». Вообще М. Колесников зарекомендовал себя в литературе как писатель, смело берущийся за исследование новых, подлинно современных процессов. Его повесть «Право выбора» была по достоинству оценена критикой. Вот и теперь мы читаем у М. Колесникова о том, как складываются новые формы труда в кузнечном цехе, пере-

шедшем на новое оборудование. В центре нашего внимания новатор производства Алтунин.

Автор стремится воссоздать образ передового рабочего Алтунина в развитии, показать широту его мысли, социальную активность. Напомню: в первом романе, «Изотопы для Алтунина», Алтунин — рабочий, внимательно и упорно изучающий новую технику. Он становится во главе бригады кузнецов, борется за прогрессивные технические методы. Во втором романе, «Алтунин принимает решение», мы видим героя уже в качестве инженера (он заочно окончил институт, стал заместителем начальника цеха). Алтунин, утверждая научную организацию работы цеха, доказывает: настало время комплексного решения всех производственных проблем, ритмичной работы всех подразделений предприятия!

М. Колесникову удалось передать живую атмосферу производственных будней, динамизм процессов, происходящих сегодня в сфере индустриального труда. В центр выдвигается важнейший вопрос — об активности трудового коллектива, о чувстве ответственности каждого рабочего за общее состояние дел на предприятии. М. Колесников отстаивает нераздельность производственных и нравственных критериев. Это принципиальная точка зрения, дающая писателю меру отсчета в оценке и освещении конкретных поступков, совершаемых героями, их помыслов и взаимоотношений.

В произведениях нашей литературы, в самом их нравственном климате находит отражение душевный подъем, та радость творчества, которую испытывает человек, успешно решающий вместе с коллективом трудовые задачи. И читая, например, историю прораба Кузьмина, центрального героя повести Д. Гранина «Однофамилец», мы глубоко сознаем неизбежность принятого им решения — ничего не менять в своей сложившейся судьбе, оставаться и дальше рядовым производственным, невзирая на заманчивую возможность заняться чистой наукой. Производство для Кузьмина — часть его души, центр, вокруг которого складывается его гражданская и личная биография. Изменить делу, с которым сросся душой, равносильно измене самому себе — таково ощущение Кузьмина...

Глубокую верность избранному труду-творчеству хранит и герой М. Колесникова Алтунин. В первом романе он предстает человеком, который не только борется за про-

грессивные технические решения, но и понимает, как важно в бригаде создать новую психологическую обстановку — внедрить в обиход, укрепить начала той высокой коммунистической духовности, которая превратила бы бригаду в крепко сплоченный, монолитный коллектив высокосознательных рабочих. Спор Алтунина со Скатерщиковым, считающим, что достаточно выполнять технические нормы «без всякой там ставки на энтузиазм и повышенную сознательность», носит принципиальный характер. Алтунин возражает Скатерщикову: «Деловой человек без энтузиазма и повышенной сознательности — это ж, если хочешь знать, просто холодный ремесленник. Это человек с рыбьими глазами: ему все равно, в каком пруду плавать, лишь бы корм был». Алтунин борется за то, чтобы бригада стала коммунистической, чтобы надежность ее работы определялась не только профессионализмом, крепкой дисциплиной, но и чувством ответственности каждого за общее дело, высотой сознания. Только тогда производство станет и школой высокой нравственности. И Алтунин стремится к этому.

Во втором романе, «Алтунин принимает решение», нравственная энергия героя проявляется особенно наглядно. Критик М. Синельников считает, что второй роман автора более цельное, художественно выверенное произведение. Алтунин резче обнаруживает себя в производственной сфере, где он выступает как новатор производства и организатор. «За поведением Алтунина, за бурной, «взрывной» его деятельностью интересно следить. Мысль вчерашнего рабочего и нынешнего инженера идет все дальше, все глубже», — справедливо пишет М. Синельников («Литературное обозрение», 1976, № 7, стр. 34). Ставя вопрос о ритмичности и эффективности производства, Алтунин выдвигает важнейшие проблемы машиностроительной промышленности (и ищет пути их решения). И он не одинок, этот Алтунин. На тех же прогрессивных позициях стоят секретарь парткома Олег Букреев, главный инженер Лядов, многие рабочие. Образы тех, кто стоит поперек пути новому, — и Пудалова, цехового экономиста, и начальника инструментального цеха Силантьева, во всем руководящегося сугубо местническими соображениями (а подчас и соображениями приятельства: «Он кого угодно может облагодетельствовать»), — нарисованы в романе М. Колесникова выразительными штрихами. В столк-

новении с этими персонажами выявляется превосходство Алтунина — подлинного новатора, заботящегося прежде всего о деле, торжестве нового стиля работы.

Отличительная черта творческой позиции М. Колесникова — поэтизация активности передовика-новатора. Вторгаясь в сферу современных производственных отношений, писатель раскрывает интенсивность социального и нравственного бытия тех, кто стоит на передовых рубежах и самоотверженно, с полной отдачей сил трудится, борется за новое. Роман проникнут пафосом утверждения социальной активности героя.

Для меня несомненна плодотворность творческих исканий М. Колесникова не только в постановке острых проблем, но и в самой попытке раскрыть психологический мир героев в действии.

II

Жизнь ставит перед советскими писателями сложнейшую задачу — найти новым явлениям адекватную форму, добиться гармонической цельности, художественного синтеза в изображении двух практически нерасторжимых сфер — сферы открытого социального действия героя и сферы внутренней, интимно-духовной.

О том, как много значит глубокий психологический анализ в разработке производственной тематики, свидетельствует, например, роман латвийского писателя В. Лама «Итог всей жизни». По моему мнению, достоинство этого произведения, значение художественного поиска советского писателя до сих пор не оценено по-настоящему в нашей критике. Возникает необходимость сказать об этом романе подробней.

«Итог всей жизни» не претендует на глобальные обобщения. Но как часто бывает в настоящем искусстве, за сюжетом вроде бы локальным встает очень многое. Роман В. Лама несет в себе важные тенденции современной литературы.

В центре действия два героя, два электросварщика — пожилой рабочий Эбар и молодой парень, его подручный Арий. Сама специфика труда (сварка труб в котельных) во многом определяет характер взаимоотношений между героями. У В. Лама мы не найдем большого рабочего коллектива, как в романах В. Попова и М. Колесникова, К тому же у Эбара особенно сложная су-

дья: он вынес на своих плечах тяжелое бремя эксплуатации в условиях буржуазной Латвии. Образ Эбара вбирает в себя прошлое и характеризует настоящее. В. Лама очень точен в обрисовке обстоятельств. Так, мы во всех деталях узнаем быт, обстановку жизни Эбара, характерную для рабочих слоев Риги (а значит, и Латвии). Главное внимание писатель обращает на раскрытие того нового, что отразилось в миропонимании и поведении героев, которые и в личной и в общественной сфере остаются сами собой, живут наполненной жизнью. Мир Эбара отнюдь не замкнут стенами его домика, квартиры или котельной, где он работает, интересы героя не сводятся к вопросу о зарботке (хотя он и не прочь получить левый заказ). Эбар увлечен техникой, следит за новейшими достижениями, остро интересуется политическими событиями.

Вот образчик внутреннего монолога Эбара (он работает в опустевшем санатории, в котельной, где все трубы проржавели, их надо заменить; Эбар заправил сварочный аппарат, и в его голове проносятся мысли): «Орбита первого спутника опоясала Землю, первый человек полетел в космос, первый человек облетел Луну, появился электронный мозг, идеи Ле-Корбюзье облеклись в бетон новых городов, появился и исчез снежный человек, вновь начало являться чудовище озера Лох-Нес, ученые открыли, что часть может быть больше целого, и этим поколебали еще один принцип физики... а Индрик Эбар по утрам заправляет сварочный аппарат и сваривает, сваривает... День за днем. Дни так и мелькали, устремляясь все вперед и вперед. Гнал их вперед пар, дизельное горючее, газ, бензин, электричество, атомное ядро; дни промелькнули и растаяли, как тени машин-исполинов. Прозрачный корабль. А Эбар трещит в нем своим автогеном — иногда электродами — и сваривает длинный шов день за днем...»

Из этого внутреннего монолога, окрашенного, конечно, авторским отношением, мы видим, что огромный переменчивый мир современности постоянно тревожит чувство и мысль рабочего, что круг интересов героя достаточно широк, хотя Эбар и работает в одиночку, не окружен большим коллективом. За локальными событиями у В. Лама атмосфера современности ощущается тем более, что автор точен в своих психологических наблюдениях, достоверен в определении мотивов, которыми продикто-

ваны поступки героев. Многозначна та коллизия, в которую включены пожилой, опытный рабочий Эбар и молодой рабочий Арий. Воспитательная сила жизненного примера — вот что определяет внутреннее движение коллизии, да, пожалуй, и всего сюжета романа. При этом писатель отнюдь не впадает в дидактизм. Он воспроизводит труды и дни героев с большой жизненной достоверностью, показывая их бытовое и производственное окружение, условия работы, характер взаимоотношений, строй чувств и мыслей. И в то же время в фокусе оказываются особо важные моменты их жизни.

Эбар как личность наиболее полно открывается читателю, когда обстоятельства подвергли испытанию глубину его человечности, прочность его представления о своем нравственном долге перед другими. Он оказывает поддержку оставшемуся без крова Арию, помогает ему овладеть профессией, обрести твердую почву под ногами. И в этом особенно отчетливо обнаружил себя богатство души Эбара, накопленное им за годы трудовой жизни.

Арий предстает перед нами в поворотный момент своей жизни. Он только что окончил военную службу. Специальности не имеет. Перспективы неясные. В прошлом у него ошибки: «...все искал то, что молодые вечно ищут, где жизнь разлюли-малина, да так и не нашел. А тут еще перед самой армией неприятности были, по дураости... Не осудили... Только шуму много было...» И вот встреча с Эбаром, его простое, доброе отношение («Этим летом он приютил меня, когда я прыгал по улицам, как замерзший воробей» — признание Ария). И эта непоказная рабочая поддержка Эбара производит на Ария огромное впечатление. Он приобщается к труду, овладевает профессией сварщика, проникается верой в себя. В его душе происходит перелом, возникает чувство собственного достоинства, уверенности, что он сможет жить по-новому. Он рвет со старыми друзьями, живущими по неписаному кодексу мещан и хапуг, разырывающими из себя этаких «рыцарей машинного века». Арий теперь думает о них с презрением. Их идеал — «этилированный бензин, гладкий асфальт, вопли радиоприемника, ослепляющие лучи фар, мелованная бумага иллюстрированных журналов с волнительными цветными снимками: голое тело современно — а кто же не хочет быть современным?! — в накрашенных губах сигареты, секс на всю катушку; вприпрыжку за

ненасытной, непрестанной жадой наслаждаться, скорей, скорей!.. Все эти машины, бары, коктейли, хиппи, шейк, библейские бороды, мини-юбки, мини-нравы, школьники, которые знают все, старики, которые осуждают все, алкоголь, героин, кофеин, кофемания, наслаждениемания — мир крутится на оси наслаждения, все хотят жить, жить, жить. И жить понимается как наслаждаться...» Здесь в думах Ария отмечены с язвительной остротой характерные признаки тех, к кому имеет прямое отношение точное слово потребитель.

Встретив Ренату (она инженер на предприятии пищевой промышленности), женщину, которая несколько свысока относится к рабочему парню, Арий, обычно молчаливый, произносит целый монолог в защиту своего рабочего достоинства. Ему ясно, какую огромную роль играет в жизни созидательный труд. Идеалом для него является Эбар, мастер — золотые руки, знаток техники, человек широкой души. Он высказывает совершенно верный нравственный принцип, который глубоко осознал опять же не без помощи Эбара, — принцип объективной полезности: «Меня злит, когда про человека по шаблону думают, а не берут в расчет, насколько он обществу полезен». Верить: перед Арием открываются поистине новые жизненные перспективы.

Значение Эбара в жизни Ария и составляет главную движущую пружину в развитии сюжета «Итога всей жизни». Точность обрисовки ситуаций, взаимоотношений между центральными персонажами в романе В. Лама такова, что перед читателем встают два реально вылепленных художественных типа, воплощающих в себе (в диалектическом взаимодействии) два периода в жизни рабочего класса Латвии. Для Эбара, прошедшего суровую школу, Арий — продолжатель его дела, воспитанник. И недаром он так ревниво относится к самостоятельным шагам своего подопечного. Эбару важно быть уверенным, что тот не свернет с выбранного пути и достигнет большего, чем сумел достичь он сам: ведь молодость Эбара пришлась на очень трудное время. Ретроспективные картины, которыми проследено повествование В. Лама, воспоминания Эбара о своей неудачной любви и трудной жизни в прошлом, позволяют видеть движение времени, резче высвечивают типические стороны истории Эбара. И вместе с тем вся сюжетная ситуация романа отчетливо развернута в завтрашний день. Нравственный

опыт Эбара (жизнь его обрывается трагически: он умирает от разрыва сердца во время работы) получает развитие в делах и устремлениях Ария. Роман В. Лама художественно отражает тот огромный сдвиг, который произошел в жизни рабочего класса Латвии за годы советской власти. Тональность произведения определяется новым миропредставлением рабочего Ария, уверовавшего в свои силы, в свое будущее: «Мой город вокруг меня будет. Шумный, расплазующийся вширь и ввысь. И я в этом городе буду... Ну, конечно, не такой я уже буду. Теперь во всех газетах про научно-техническую революцию пишут. Не может быть, чтобы от этого и моя жизнь не изменилась. Эбар все такими вещами интересовался. Может, получи он образование, из него бы ученый вышел...»

Внутренний монолог Ария в финале романа наполнен большим содержанием и отражает основную идею произведения: «Наверное, можно и без профессорства-лауреатства счастливым быть. Только надо, чтобы человек из скорлупки вылез, близким ближнему своему стал. Вот с этого и начинается любовь, тепло человеческое...»

Достоверность повествования у В. Лама такова, что мы постоянно ощущаем скрытые токи нравственной жизни рабочего парня Ария, приобщаемся к процессу вызревания в его сознании коммунистических убеждений, новых принципов жизни.

Идея романа, звучащая отчетливо в финале,— родился новый человек — подготовлен всем ходом сюжета, отражающим характерные процессы нашей жизни.

III

Забота об общем деле — главный критерий коммунистического отношения к труду и одна из важнейших граней коммунистического сознания, а значит, и поведения личности в коллективе. Не пресловутое «право выбора» (в экзистенциалистском его значении), а высота понимания общественного долга — вот что характерно для человека с коммунистическим убеждением. И не только одного человека, а целого коллектива, как это показано, например, в фильме «Премия», поставленном по пьесе А. Гельмана.

Драматургия «Премии» остроконфликтна. Бригада Потапова, состоящая в основном из комсомольцев, отказывается от ежеквартальной премии. Этот факт бросает неожиданный свет на деловую практику строй-

треста № 101, систему планирования, методы организации труда, понимание своего служебного и гражданского долга многими работниками, начиная от директора треста Батарцева и кончая рядовым экономистом Милениной. Центром действия становится заседание парткома, на котором обнаруживают себя все «тайны» стройки, позиции работников, их характеры, их отношение к делу. Производственный конфликт обретает глубоко нравственный смысл.

На глазах зрителя происходит расследование чрезвычайного случая — отказа бригады от премии. Но почему идет на конфликт с начальством бригадир Потапов? В исполнении замечательного актера Евгения Леонова этот герой внешне неприметен и уж во всяком случае мало напоминает традиционного «экранного» героя. Правда, неприметность эта обманчива: достаточно вспомнить лукавую усмешку мешковатого бригадира, свидетельствующую о его незаурядном уме. Потапов нетороплив, спокоен, уверен в своей правоте, отлично владеет собой не в пример, допустим, горячему максималисту Виктору Лагутину из пьесы Г. Бокарева «Сталевары». Он веско, с цифрами в руках отстаивает позицию бригады:

«Значит, так. Поскольку план нам скостили неправильно, моя бригада предлагает поставить вопрос перед главком, чтобы перевыполнение плана нам зачerkнули! И восстановили тот старый план, который мы могли выполнить, но не выполнили. Чтоб было все по правде. Второе. Поскольку премия липовая, моя бригада предлагает всю премию вернуть обратно в госбанк! Все тридцать семь тыщ! Это чужие деньги, это не наши деньги. И надо их вернуть!»

Позиция Потапова вызывает резкое противодействие руководителей треста. Против Потапова выступает управляющий Батарцев; начальник планового отдела Шатунов видит в словах и действиях Потапова злонамеренность и высказывает подозрение, что бригадир действует по чьей-то подсказке: «За ним кто-то стоит...». Но в том-то и дело, что Потапов действует по своей совести.

Для поэтики фильма «Премия» характерен полемический отказ от традиционно «импозантного» героя-«новатора». Авторы фильма стремятся в обычных житейских ситуациях, в поведении рядовых тружеников выявить высокую меру гражданственности, бескомпромиссность в развернувшемся конфликте. И не случайно выбор актера Евгения Леонова как исполнителя роли Потапова.

Он уже не молод, этот Потапов. Его облик далек от расхожих кинозлатонов «героического». Силу убежденности, бескомпромиссность своего героя Леонов трактует как сокрытый двигатель его поступков, отнюдь не меняющий рядового облика Потапова.

Потапов обаятелен, вызывает симпатию зрителя. Он мыслит широко, к делу подходит по-государственному. Ему не страшны никакие насочки шатуновых — он парирует их без труда. Это хозяин положения, главная фигура не только на стройке, но и в жизни. В «Премии» разворачивается конфликт действительно нового, передового (позиция Потапова и его комсомольцев) с субъективизмом, неразберихой и неорганизованностью, ставшими стилем работы руководителей стройтреста.

Благодаря ловкости Шатунова отстающий трест числится на бумаге в передовых. В разгар конфликта Шатунов даже подчеркивает свои заслуги и дальновидность: если бы не он и не его ловкое манипулирование цифрами, то руководству треста давно пришлось бы держать ответ. Он всех иж спас! Вот этой административной активности в фильме противостоит настоящая, я сказал бы, коммунистическая в своей сущности активность Потапова. Она отражает заинтересованность сознательной части масс в организации дела, подъеме его на уровень новейших требований. Слова Потапова, сказанные на парткоме: «У нас в бригаде... на днях произошла научно-техническая революция!» — приобретает обобщенный смысл. Бригада Потапова предлагает реальные методы, как покончить с простоями техники, нехваткой материала, показухой, то есть недостатками, коренящимися в самом стиле руководства трестом, системе планирования и т. п. Спор о премии приобретает в высшей степени принципиальный характер. Вот почему Л. И. Брежнев на XXV съезде, отмечая достижения советской литературы и искусства в художественном воплощении производственной темы, указал на общественное звучание поднимаемых писателями и художниками проблем: «И даже такой, казалось бы, частный случай, как вопрос о премии для бригады строителей, приобретает широкое общественное звучание...»

Единство личного и общественного интереса, то есть коммунистический в своей основе принцип, и определяет высокую социалистическую нравственность передового рабочего Потапова, не позволяющую ему мириться с недостатками, обманывать себя,

обманывать государство, получить премию, когда на самом деле необходимо принимать экстренные меры, менять систему работы на строительстве комбината.

Драматический накал в фильме «Премия» создается столкновением нового, передового со старым и косным, обнаружением наступательной энергии, нравственного превосходства этого нового над старым. В нашей критике уже отмечалось, что фильм «Премия» оказался актуальным, своевременным как по поэтике, так и по открытой и смелой постановке острых проблем. Фильм «Премия» отражает те глубинные, позитивные изменения, которые так интенсивно происходят в нашем обществе в последнее время, — решительное изживание фактов бесхозяйственности, борьба с показухой, делчеством, культом «цифровых показателей».

Фильм строится как острая дискуссия, столкновение мнений по коренным вопросам нашей жизни. И зрителю из самой логики конфликта становится ясно, что за новое надо бороться, выступать открыто, смело, веря в правоту своего дела. Это подчеркнуто в «Премии» неожиданным поворотом драматургической коллизии. Окажется, в то время как в парткоме обсуждался вопрос, выяснялись причины того, почему бригада Потапова отказалась от премии, семь человек из бригады пошли в кассу и получили деньги. Этот факт остро драматичен, доводит коллизию до высокого напряжения. Казалось бы, противники Потапова должны торжествовать. Но дело принимает иной оборот. Принципиальный, вдумчивый парторг стройки Солфмахин, как и полагается партийному работнику, делает из поступка семерых верный вывод. Он использует его как аргумент, доказывающий, какой нравственный урон приносит практика компромиссов и культ «цифровых показателей», как важно быть на высоте коммунистических принципов, считаться с реальными фактами: «Мы умеем и любим подниматься на трибуну и говорить красивые слова о рабочем классе!.. А когда он сюда пришел, этот хозяин, к нам, когда он нам выложил все, что у него наболело, мы его не узнали!.. А вы знаете... почему эти семь человек получили сейчас премию? Потому что они не верят! Не верят, что Потапов чего-нибудь добьется, что можно что-нибудь изменить на этой стройке! Так неужели мы сейчас подтвердим это? Во имя чего мы так поступим? Во имя чего мы по-

губим в людях самое важное — веру в то, что ты не пешка в жизни, что ты можешь что-то изменить, переиначить, сделать лучше? Мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии треста номер сто один. Такой партии нет! Мы работаем в этом тресте. Но работаем для страны...»

Вот этой мажорно-драматической нотой и заканчивается фильм, вызвавший широкий общественный резонанс.

* * *

Мы можем с уверенностью сказать, что новые процессы, происходящие в главной, определяющей сфере нашей жизни — социализации материально-технической базы коммунизма, — требуют от художников интенсивного поиска новых форм обобщения характерных явлений. Речь идет о важнейшей творческой задаче — создании художе-

ственных типов, ярких образов героев наших дней. Великий Горький еще в 30-х годах говорил: «Есть люди, у которых классовое, революционное самосознание уже переросло в эмоцию, в несокрушимую волю, стало таким же инстинктом, как голод и любовь...»

Нет надобности умалять достижения современной советской литературы в раскрытии духовного мира нашего современника. Они общеизвестны. Но творчество — живой процесс. Действительность находится в бурном изменении. Успевают ли за этими изменениями наше искусство? Не всегда и не во всем. И поныне, в частности, звучат актуально слова Горького, сказанные в 1934 году: «Наш реальный, живой герой, человек, творящий социалистическую культуру, много выше, крупнее героев наших повестей и романов. В литературе его следует изображать еще более крупным и ярким, это не только требование жизни, но и социалистического реализма».



В. КАВЕРИН



РАССКАЗЫ ШУКШИНА

1

Парень, задумавший жениться, бродит ночами по деревне с гармошкой и не дает людям спать. Любовь! Председатель сердится на него, грозит исключить из колхоза. Вся деревня уговаривает девку, она ломается — и председатель в конце концов привыкает к гармошке. Не спится, думается, вспоминается. Жизнь проходит перед глазами, и становится ясно, что у него никогда не было времени подумать о ней. Что такое любовь? Он будит старуху: «Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу... У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь? Не важно». Старуха изумлена. «А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?.. Коровенку выгони завтра в стадо, я забыла сказать...»

И председатель начинает замечать, что он даже ждет парня с его певичей «гармозой». Он беспокоится, когда его долго нет. «И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает».

Не хватает того, что волей-неволей вторгается в ежедневную, повторяющуюся жизнь. Того, что заставляет вспоминать счастливо-трагические минуты, когда тринадцатилетним мальчиком он летел на коне в черную ночь, надеясь спасти умирающего младшего брата.

И снова он будит старуху: «Слышь-ка... Проснись... Ты смерти страшися?»

Но вот приходит ночь, когда умоляет гармонь. Парень женился. «Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Конеч. Бросил якорь». И председатель начинает тосковать. Бессонница мучает его. Он лежит с открытыми глазами, и «как-то совсем ничего не приходит в голову. Опять

наваливаются колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями».

Он выходит на крыльцо, садится на приступку, курит. «Светло было в деревне. И ужасающе тихо».

Не просто «тихо», а «ужасающе тихо». Одно слово бросает обратный свет на историю обыкновенного человека.

2

В этом рассказе — одна из любимых тем Шукшина. Тема памяти, то «забытое-незабытое», которое идет вровень с человеческой жизнью и вдруг просыпается от какого-то неведомого чудного звона. Неведомого и чудного, хотя что может быть проще «гармозы» упрямого парня или (в рассказе «Одни») шестирублевой балалайки, на которой играет шорник Антип: «Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное».

Самое главное всегда остается неразгаданным, даже если ключ к нему ищет автор.

В автобиографическом рассказе «Дядя Ермолай» почти нет того, что принято называть содержанием. Два мальчика солгали старику бригадиру, что они провели ночь на току, охраняя зерно, и он никак не может понять, за чем они ему солгали. Он сам был на току, он сердится, сперва грозит, потом убеждает, почти умоляет. Ничего не произошло, все в полном порядке на току — и все-таки он не в силах примириться с бессмысленной бесполезностью лжи. Скрывая от мальчиков слезы, он плачет наконец — и перед глазами читателя встает

Правдолюбец, а ничтожная история, о которой рассказал Шукшин, начинает казаться значительной, глубокой. И снова бьют часы памяти — рассказ кончается некрологом. «Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай ...вич»... Стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею... что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Видел же я потом других людей... Свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только, когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

3

В самом деле — кто прав? Как понимать свою жизнь, в чем ее смысл?

В поисках ответа на этот вопрос на первое место среди героев Шукшина выходят чудаки — один из рассказов так и называется — «Чудик».

Всегда можно сказать, кого из своих героев любит писатель, с кем он близок, дружен, кем любит и от кого далек. Шукшин любит «чудаков» и знает, прекрасно знает, за что он их любит. За то, что на вопрос «как жить?» каждый из них отвечает по-своему. Не следует понимать этот «ответ» в буквальном смысле слова. Чтобы развернуть его (или хотя бы приоткрыть), нужны события, в которых открывается «чудак». События могут быть ничтожными, это ничего не меняет.

«Сашку Ермолаева обидели. Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно переносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь». Так начинается рассказ «Обида», в котором Сашка Ермолаев, пришедший в продовольственный магазин, не может простить незаслуженную обиду — его приняли за другого и обругали Исусиком, да еще в присутствии маленькой дочки. Ссора разгорается, один за другим в нее вмешиваются посторонние лица. Уже никто не помнит причину, из-за которой она началась. «Стенка» выстраивается против человека, который говорит

правду и которому не верят. И приметив в этой «стенке» покупателя в плаще, пославшего ему в спину оскорбительное замечание, Сашка, вернувшись домой, начинает думать о нем: «Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно... Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил?» И он решает пойти к нему и узнать, как он жил.

Конечно, надо быть «чудаком», чтобы не догадаться, как он будет встречен. Покупатель в плаще спускает его с лестницы, и если бы не жена «чудака», хорошо знающая характер мужа, история закончилась бы убийством.

Итак, событие, хотя бы самое незначительное, — и характер. Но иногда для того, чтобы высветился во всех своих особенностях характер, не нужны и события. Сидят старик и восьмиклассник, его квартирант, разговаривают о боге, о долголетию, об академике Павлове — и перед вами не только два характера, но два поколения. Автор как бы остается в стороне. Но все тот же вопрос «как жить?» глухо откликается в глубине маленького рассказа («Космос, нервная система и шмат сала»).

4

Впрочем, вопрос о чудаках сложнее. И если всмотреться в эту галерею, может быть, и отыщется ключ к естественной, полной внутреннего значения жизни.

«Просто я жил и не понимал, что это прекрасно — жить. Ну, что-то такое делал... Очень любил искусство. Много суетился. Теперь спокоен... Ну, мало ли на свете чудаков, странных людей», — говорит Саня Неверов, которого деревенские бабы боятся, потому что он «как-то мудрено говорит про жизнь, про смерть». Не только боятся, но жалуются председателю колхоза и считают, что Саню надо выселить из деревни. Но мужики подолгу разговаривают с Саней. Пьют, но немного. Им важно его появление в деревне, они догадываются, что он знает и чувствует нечто важное, далекое от повседневной жизни. И хотя сам Саня не может ясно рассказать, почему так уж «прекрасно — жить», они невольно тянутся к нему, чувствуя его светлое бескорыстие, легкость души. «Если бы все начать сначала!.. Я объяснил бы, я теперь знаю: человек — это... нечаянная, прекрасная, мучи-

тельная попытка природы осознать самое себя».

Счастье жизни господствует в душе этого странного человека, и когда приходит смерть, он разговаривает с ней, доказывая всю бессмысленность ее появления. «Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помню... Кому же это надо? Ну, ведь глупо же, глупо!.. Она же — дура. Колесо какое-то...»

Он умирает, мужики сажают у его могилы березку. Она прижилась. «И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множеством мелких зеленых ладоней — точно силилась что-то сказать. И не могла».

5

Но вот перед нами другой чудак, чем-то напоминающий Саню, потому что и он ни на кого не похож. Это великий специалист по банному делу Алеша Бесконвойный. Прозвище дано за «редкую в наши дни безответственность, неуправляемость». Впрочем, безответственность заключается лишь в том, что он не работает два дня в неделю — субботу и воскресенье, приравнивая сельскую работу к заводской. А «неуправляемость» — неточное слово для этого убежденного оптимиста, который устраивает себе банный день для того, чтобы убедиться в том, что жизнь прекрасна. «Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал стучаться покой в душе — стал любить...»

И банный день (который Шукшин рисует с такой этнографической точностью, что весь рассказ можно назвать «энциклопедией бани») нужен Алеше, чтобы со всей полнотой почувствовать эту любовь. Казалось бы, трудно поставить рядом такие далекие понятия, как любовь к человечеству и баня, однако они сопоставлены — и убедительно, без напряжения.

Кто из писателей не знает, какие усилия, какой труд нужен, чтобы написать счастливого человека. Шукшин, казалось бы, легко справляется с этой сложной задачей. Она была под силу Чехову — как не вспомнить счастливец из его «Степи», который беспомощен перед силой охватившего его чувства и готов поделиться им с первым встречным? Но это бессознательный, зажмуривший глаза счастливец, которого ждет моло-

дая жена. А герой Шукшина — отец пятерых детей — спокойно и трезво «вдумывается в жизнь»: «Что в ней за тайна, надо ее жалеть или можно помирать спокойно?»

Можно ли отнести Алешу Бесконвойного к «чужакам»? В самом деле, что странного в том, что он отвоевал себе один день, чтобы попариться и подумать? Можно, если понимать это слово как синоним человека, свободного от машинальности, неразличимости, однообразия. В том-то и сила, что обыкновенному человеку, нечужаку, необходимо искусство, наука, наконец, любимое дело, для того чтобы оценить счастье существования. А Алеше Бесконвойному не надо почти ничего. Просто баня.

6

Легко увлечься этой темой и попытаться доказать, что у Шукшина почти все герои — чужаки или по меньшей мере люди, расположенные к «отклонениям». И в самом деле: есть у него и Психопат, библиотекарь с внешностью Дон Кихота, который ходит по деревням, скупает старые книги и бесплатно раздает новые. Есть Моня Квасов, который с помощью велосипедного колеса изобретает вечный двигатель, а когда оказывается, что колесо не крутится, стремится убедить себя — и не только себя, — что оно все-таки крутится. И кончается эта история, как ни странно, тем, что хотя затея терпит полную неудачу, Квасов все-таки счастлив. В самом деле, как не быть счастливым, если наступает утро, мычат коровы, собираясь в стадо, переговариваются люди... «Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит, недосытаемое, неистощимое, вечное». И глядя на этот «двигатель», до которого еще не додумался никто на земле, Моня весело приветствует человечество: «Люди, милые люди... Здравствуйте!»

Наконец, есть у Шукшина философствующий и даже пытающийся последовательно изложить свою философию чудак. В рассказе «Штрихи к портрету» главы называются «О государстве», «О смысле жизни», «О проблеме свободного времени».

Н. Н. Князев, мастер, который ремонтирует телевизоры, пишет трактат всеобъемлющего значения. Потрясенный идеей некоей схемы, он пытается подчинить ей все, что происходит вокруг. Однако этот «пророк бюрократизма» мечтает о порядочности, о честности, о трудолюбии. И при всей

невнятности его философии ей нельзя отказать в здравом смысле. Вот что он пишет на первой странице своего дневника. «Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал спрашивать себя: «А что было бы, если бы, как муравьи, несли максимум государству!» Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... «Боже мой.— подумал я,— что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до Луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего бытия и поведения». Это скучный чудака. Но в самой тупости его преувеличений чувствуется трагическая (или трагикомическая?) доля неудачника, столкнувшегося с одиночеством и непониманием.

7

Отклонения, неожиданности, переломы судьбы не упали с неба в творчестве Шукшина. Он упрямо вглядывался в эти переломы — тогда-то и вставала перед ним во всей полноте обыкновенная жизнь. Так, в душе Степана Воеводина («Степка») происходит почти неразличимая, незаметно подкрадывающаяся перемена, перед которой оказываются беспомощными все силы души. После пяти лет заключения он возвращается домой, и не только родные, вся деревня радостно встречает его. Теперь все будет хорошо, да и в тюрьме — он сидел за драку — был «не шибко тяжело», а в целом даже недурно. Кино смотрел он два раза в неделю, кормили прилично, приезжали артисты и даже фокусник, охрана нестрогая. Он немного привирает, но только потому, что очень уж весело на душе. Он счастлив, что его возвращение позволило землякам «собраться вместе, поговорить, посмеяться». И праздник разворачивается вовсю, бабы идут в круг, пляшет даже немая сестра, которая так любит его, что даже крестики на стене ставила — сколько дней осталось.

Есть в прозе Шукшина воображаемое осуществление мечты: если

нельзя сделать так, чтобы она воплотилась, пусть будет так, чтобы она как бы воплотилась, как бы стала действительностью, желанной, естественной и необходимой. Это детская черта. Мне кажется, она характерна для всей деятельности Шукшина — сценариста, актера, режиссера...

И возвращенье Степана и праздник — трагическое недоразумение, бессмыслица, нелепость. На самом деле он убежал из заключения за три месяца до окончания срока. Почему? Этот вопрос с изумлением задает ему участковый, потом милиционер, потом немая сестра — мычаньем, полным нечеловеческой муки. В их лице обыкновенная жизнь спрашивает его: почему? Ведь теперь он получит еще два года. «Соскучился...» — отвечает Степан. — Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?»

8

Читали ли вы «Русских лгунов» Писемского? Давно забыты «Мещане», «Масоны», никто не читает «Взбаламученное море». Но откройте серию очерков «Русские лгуны» — и вы не оторветесь от книги до последней страницы. Критика встретила очерки враждебно, Писемского упрекали в упадке таланта. Между тем он придавал им большое значение. «Лгуны времен Екатерины глгали совсем по другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны», — писал он в предисловии.

Некоторые из очерков не только в полной мере оправдывают эту мысль, но и независимо от нее представляют собой шедевры русской прозы. Таковы «Друг царствующего дома», «Блестящий лгун», «Кавалер ордена пур-ле-мерит». Любопытно, что Писемского совершенно не интересует корыстная, практическая ложь. Он пишет о художниках лжи, о вдохновенных вралях, которые искренне верят тому, что они говорят, и готовы доказать свои слова на деле. «Во лжи, как и во всяком другом творчестве, есть своего рода опьянение, нега, сладострастие; а то откуда же она берет этот огонь, который зажигает у человека глаза,

щеки, поднимает его грудь, делает голос более звучным?»

Именно такого лгуна изобразил Шукшин в рассказе «Миль пардон, мадам!». Но не глазами наблюдателя, оценивающего героя со стороны (как это делает Писемский), а изнутри, как необъяснимое, но вдохновенное призвание.

Бронька Пупков, опытный и бывалый человек, уходит с приезжими городскими охотниками в лес на три-четыре дня, на неделю. Он любит рассказывать им истории, и есть среди них одна особенная, которую он приурочивает к отвалному дню.

Он готовится к ней задолго, он с великим нетерпением ждет возможности рассказать ее, потому что в самой этой истории есть нечто великое, поднимающее душу, поражающее самое смелое воображение.

Прежде чем начать свой рассказ, он требует от слушателей «честного партийного слова» — надо свято хранить тайну, имеющую государственное значение. Покушение на Гитлера! Но не то, когда «его свои же генералы хотели кокнуть». Другое. То, которое совершил Бронька. Ему не верят, удивленно переглядываются, молчат. Молчит и он — торжественно и грустно.

И вот начинается рассказ, похожий на запутанный сон, полный неясностей и противоречий. Но Бронька «исполняет» его с такой силой, с таким истинным, поэтическим восторгом, что ни прервать, ни уличить его невозможно. «Ну, вызывает наконец генерал: «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, говорит... Только не промахнись!..

Глаза у Броньки сухо горят... Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен...»

Это — поэзия лжи. Перед нами поэт, импровизатор! Какие уж там нелепости, неясности, противоречия? Он летит как на крыльях, он твердо, незыблемо верит, что все, что он рассказывает, правда.

«— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал!

...Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну.

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять — в ушки. Я делаю рукой: «Хайль,

Гитлер». В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру... И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти...»

Он молчит, он готов заплакать, завывать. Он плачет, он не в силах справиться с охватившим его волнением. Он видит перед собой улыбающегося Гитлера, который принимает его за своего разведчика, — Бронька успел предупредить слушателей, что он был «похож на того гада, как две капли воды». Он стреляет.

«Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся...»

Рассказ окончен, и возвращение к действительности ошеломляет Броньку. Он разбит, уничтожен. Жена стыдит его, доказывая, что его засудят за «искажение истории». Его вызывают в сельсовет, упрощают, наконец угрожают. Все напрасно. У него нет жизни без этой истории...

Это и есть то самое как бы Степки Воеводица, которое заставило его, приговоренного к пяти годам заключения, бежать за три месяца до окончания срока.

9

Я не отношу Шукшина к «крестьянской» прозе, потому что не понимаю этого тематического определения. Оно проникло в нашу критику под влиянием издательских планов. В самом деле, можно ли назвать «крестьянскими» «Поликушку» или «Власть тьмы»?

Проза Шукшина тем и хороша, что город и деревня остро и оригинально перепутаны в ней. Городские или даже газетные выражения в разговорах колхозников встречаются на каждом шагу, и это производит впечатление свежести и правдивости, потому что в наши дни на таком языке говорит страна.

10

Не пропуская ни одного произведения Шукшина, я, к сожалению, почти не встречался с ним и не знал его лично. Он прислал мне с сердечной надписью свою кни-

гу «Характеры», я отдал ему романом «Перед зеркалом», который ценю больше других. Мы познакомились за столом президиума на каком-то вечере в ЦДЛ и обменялись несколькими словами.

Хотя я не веду дневник, однако, вернувшись домой, все же записал несколько строк, связанных с этой встречей. Шукшин был похож на свои книги. Казалось, он только что оторвался от захвативших его размышлений, а может быть, и не оторвался, продолжает думать вопреки тому, что происходит вокруг. Доброе лицо его дышало простотой, серьезностью и пониманием. Он как бы существовал сперва для других, а уже потом для себя. О всеобщей любви к нему хорошо написал в стихотворении «Смерть Шукшина» Андрей Вознесенский:

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила страна мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик.

так же зябла, подняв воротник.
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

11

«Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость — сестра таланта... любовные объяснения, измены жен и мужей, вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны, — писал Чехов старшему брату 11 апреля 1889 года. — Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать».

Здесь каждое слово ведет к прозе Шукшина. Он писал короткие рассказы о мелочах, не заслуживающих на первый взгляд никакого внимания. Он отменил подробности в портретном изображении героя. Жизнь состоит из мимолетностей, случайностей, обрывающихся впечатлений. Он остановил мимолетность и сумел придать ей характер явления. Он не зализывал, не шлифовал и был неуклюж и дерзок. Его искренность была трогательной, воинствующей и нежной. Мы потеряли писателя, успевшего занять свое место в литературе. Это удастся немногим.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Евгений Осетров. Народная библиотека. — М. Эпштейн. От слова к жизни.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Плюц. «Минувшее меня объемлет живо...»

Литература и искусство

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

«Роман-газета». 1927—1977.

Выразительные строфы, метафоры, изречения.

Герои, становящиеся близко-родными, запоминающиеся сюжеты, аллегории и мысли, мысли, мысли.

Только ли этим входит творение поэта, прозаика, публициста, философа в наше сознание? Когда я вспоминаю, например, читанное-перечитанное в детстве, отрочестве, юности, то вместе с Дон Кихотом, Томом Сойером, Савельичем, Петей Ростовым, бабушкой горьковского «Детства», Павлом Корчагиным, Джеком Восьмеркиным, паскалевским «мыслящим тростником» в памяти одновременно всплывают и издания: иллюстрации, заголовки, шрифты, титульные листы. От сладостных часов, проведенных за чтением, неотделим образ Книги — он навсегда поселится в душе. Я долго, например, не мог привыкнуть, что Гаргантюа и Пантагрюэль могут быть иными, чем их изобразил Гюстав Доре, а настоящим Гулливером считал такого, каким он предстал передо мной в иллюстрациях Ж. Гранаилля в издании некогда популярной «Academia».

Но все, даже самые красивые, книги (вроде появившихся в 30-х годах сказок Перро!) отступают на второй план перед напечатанными на сероватой бумаге, но поступавшими регулярно, увлекательными и такими злободневными выпусками «Роман-газеты».

При скромности провинциального житья-бытья 30-х годов дешевизна — будем прямо говорить — была немаловажным обстоятельством. Сколько радости принесли с собой эти широкие по формату выпуски, составившие мало-помалу заметную библиотеку!

Украшенные портретами авторов, они явились для меня буквально окном в мир. Можно без преувеличения сказать, что «Роман-газета» воспитала, вывела в люди не одно поколение читателей. Она принесла в первые же годы существования миллионам читателей такие произведения, как «Дело Артамоновых», «Детство» и «Мой университет» Горького, «Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича... Книги эти издавались и раньше, но достать их в сибирской или алтайской глуши было невозможно. «Роман-газета» принесла замечательные творения во все концы и уголки земли нашей. Какой, помнится, неожиданной радостью явилось появление поэмы Николая Асеева «Маяковский начинается». «Роман-газета» обычно стихов не печатала — а тут какой подарок судьбы! Сразу хотелось декламировать вслух: «Вы Хлебникова видели лишь на гравюре. Вы ищите слов в нем и чувств посвежей. А я гулял с ним по этой буре — из войн, революций, стихов и чужей». Теперь, спустя десятилетия, я куда более сдержанно отношусь к мемуарному

стихотворству Николая Асеева, изложившего биографию Маяковского в поэме, но тогда! В шестнадцать мальчишеских лет мир и стихи воспринимаешь восторженно. Именно с «Роман-газетой» пришел ко мне Новиков-Прибой с его морской стихией, острыми морскими словечками, подводниками и ералашным рейсом...

Обращусь к другому времени. В начале 70-х годов мне дважды довелось побывать в гостях у старшего своего друга Бориса Ручьева, чья жизнь была неотрывна от Магнитки. Поэт познакомил меня с тогдашним директором прославленного Магнитогорского металлургического комбината Александром Филатовым. Руководитель крупнейшего в мире предприятия черной металлургии (напомню: каждый второй снаряд и каждый наш третий танк в минувшей войне — сталь Магнитки) оказался интереснейшим, самобытнейшим человеком. Он пришел подростком к Магнит-горе, был разнорабочим, жил, как и все, в брезентовой палатке и в бараке, рос вместе с комбинатом, работал и учился, стал знатоком огненного дела, снискал всевозможные награды и звания. Директором он был отличным — знал работу в каждом цехе до мелочей и чуть не каждого магнитогорца по имени-отчеству. Несмотря на динамичную деловитость и постоянную занятость, любил почитать. Он рассказал мне, как начались в юности его книжные увлечения. В тридцать пятом году случайно попалась на глаза «Роман-газета» с названием, которое заинтересовало рабочего парня, — «Как закалялась сталь». Не выходил из барака, покамест не прочел всю книгу от доски до доски. С этого, вспоминал Филатов, началось его сознательно-углубленное отношение к жизни, а Павел Корчагин стал любимым героем молодости, которому он во всем, даже в мелочах, хотел подражать. И навсегда, добавил прославленный металлург, полюбил «Роман-газету».

Можно, не впадая в гиперболизм, сказать, что «Роман-газета» строила Магнитку, плавала вместе с челюскинцами, корчевала на берегах Амура вековую тайгу... Ни одно продолжающееся издание, ни одна серия книг не имела такого глубокого проникновения в рабочую и крестьянскую толщу, как «Роман-газета». И пожалуй, даже не было журнала, который мог бы с ней соперничать. Все существующие или когда-либо существовавшие литературные периодические печатные органы далеко уступают ей по тиражу, а следовательно, и по популярности.

Но дело не только в количестве книг. «Роман-газета» взяла на себя обязанности «Журнала журналов» — было некогда такое издание. Не так-то уж и много у нас читателей, которые имеют возможность постоянно следить за периодикой; есть, конечно, любители печатного слова, которые, живя в селении на берегу Белого моря, читают «Сибирские огни». Но деревенскому учителю, участковому врачу, инженеру, слесарю-книголюбу куда удобнее получать по подписке лучшие из новинок домой или брать их в библиотеке выпусками «Роман-газеты», чем собирать журнальные номера, отыскивать отдельные книги. В этом неоспоримое преимущество «Роман-газеты». Поэтому даже такие книжные серии, имеющие устойчивый и обширный круг постоянных читателей, как «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) и «Библиотека поэта», любимые, тщательно собираемые, и по возрасту, и по тиражу младшие братья «Роман-газеты». Удача заключалась в том, что была найдена быстрая и доходчивая форма, позволявшая многим знакомиться с художественными новинками.

Когда-нибудь будет написана увлекательная история жизни этой народной библиотеки, ее влияния на читателя. Она еще ждет своего пытливого летописца, а лишь перелистаю отдельные страницы издания, которому ныне полвека, а число выпущенных названий перевалило за восьмью сотню!

Изначальная страница связана с издательством «Московский рабочий», которое в 1928 году приступило по инициативе Максима Горького к осуществлению широкой программы издания книг для народа. Счастливым, повторяю, была найдена возможность сделать книгу всем доступной, летучей, дешевой, оперативной. В обращении к читателям «Московский рабочий» ссылался на пожелание, высказанное Владимиром Ильичем Лениным в статье «О работе Наркомпроса»: «Если французские буржуа еще до войны научились... издавать романы для народа не по 3 1/2 франка в виде барской книжечки, а по 10 сантимов (т. е. в 35 раз дешевле...) в виде пролетарской газеты, то почему бы нам — на втором шаге от капитализма к коммунизму — не научиться поступать таким же образом?»¹. Выпуском дешевой художественной газеты и воплощалось в жизнь ленинское указание.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 331—332.

Три главенствующих положения было взято за основу «Роман-газеты» — общедоступность, тщательный художественный выбор, дешевизна. Появление первых выпусков приветствовала «тысячная конференция красных путиловцев». В письме к читателям издательство отметило «Роман-газету» как большое культурное начинание: «Это массовое (тираж 150 000) дешевое издание является одним из могучих факторов культурной революции. Сравним пару цифр: средний тираж книг художественных произведений — 5 тысяч экземпляров. Художественное произведение должно было бы выдержать 30 изданий в течение двух недель, чтобы достичь тиража «Роман-газеты». В течение месяца «Роман-газета» обслуживает 300 тысяч читателей. Любая библиотека и даже библиотечная сеть целого города может порадоваться подобным цифрам». Издание сразу после появления в свет восторженно характеризовали как «исключительно полезное» Александр Серафимович, Александр Фадеев, Феоктист Березовский, Николай Ляшко, Владимир Бахметьев...

В числе первых полученных подписчиками «Роман-газеты» были произведения Бехера, Горького, Барбюса, Фурманова, Новикова-Прибоя, Федора Панферова... Когда просматриваешь каталоги «Роман-газеты» за полвека, то видишь, какие авторы и книги выходили «на первую линию». Не все, разумеется, выдержало жесткое испытание временем, не всегда отбор носил вполне удачный характер, но несомненно одно: списки книг, издававшихся крупными тиражами, говорят и о степени известности автора, и о его признании читателем, и о роли его творчества в литературной атмосфере времени.

Едва ли не с первых лет существования у «Роман-газеты» сложился свой круг авторов. Это произошло непринужденно. Издательские сотрудники внимательно следили за тем, какой отзвук в читательской среде получали выпускаемые произведения. Довольно часто публиковалась «Страничка читателя». В ней высказывались соображения о прочитанном, задавались вопросы авторам, велся спор. Возникал непрерывный диалог между теми, кто создает, и теми, кто воспринимает. В итоге эпистолярного разговора, носившего откровенно-доверительный характер, родилось (в духе тех лет!) движение «книжных корреспондентов». Их по тогдашнему обычаю сокращать слова именовали книжкорами. Книжные корреспонденты постоянно писали о прочитанном в издательство. Наиболее деятельные этим не ограничивались. Они читали вслух произведения в среде друзей по работе, спорили о книге, сообща вырабатывали мнение. Книжные корреспонденты «Роман-газеты» — дальние предтечи нынешних многочисленных книголюбских творческих объединений.

Отмечая годовщину издания, «Комсомольская правда» писала в августе 1928 года: «Наши издательства не научились снабжать массы дешевой и хорошей книжкой. За гривенник можно достать только халтуру и приключенческую дребедень. Нездоровая конкуренция мешает продвинуть по-настоящему в массы лучшие произведения мировой и русской художественной литературы. «Роман-газета» прорвала бюрократическую плотину, отделяющую писателя от читателя». Конечно, в этих словах немало запальчивости, но в одном газета была тогда несомненно права: через «Роман-газету» к читателю хлынули хорошие произведения, доступные читателю по цене, что также было немаловажно. Вспомним, что была пора, про которую Маяковский писал: «Освещаем, одеваем нищ и оголь...»

Примечательно, что первым любимцем «Роман-газеты» оказался тогда еще совсем молодой Михаил Шолохов. Годовщину существования редакция отметила сообщением, вызвавшим всеобщий интерес: «В очередном юбилейном номере выйдет новый роман Мих. Шолохова «Тихий Дон». Это первое большое произведение молодого писателя при своем появлении в свет было отмечено зорким глазом нашего старейшего пролетарского писателя — А. Серафимовича. Ниже мы даем выдержки из его статьи в «Правде», посвященной роману «Тихий Дон»...» И далее цитировались проникновенные слова Серафимовича, которыми он характеризовал юного — недавно перевалило за двадцать! — создателя эпопеи: «Вспомнил я синее-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Мих. Шолохова. Люди у него не нарисованные, не выписанные, это — не на бумаге... Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой хитровой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь. Какими дохлыми кажутся наши комнатные скучные словотворцы — будь им легка земля!» Александр Се-

рефимович в напечатанном отзыве говорил об острейшем социальном звучании романа, в котором классовый подход к событиям — в самой художественной ткани произведения.

Конечно, и до «Роман-газеты» имя Шолохова, названного Серафимовичем молодым степным орлом, уже грело по стране. Первая книга «Тихого Дона» сразу вошла в народный обиход после появления в печати. Нападки критиков, требовавших от писателя азбучных дидактических истин, не воспринимались всерьез теми, кто держал книгу в руках. Главные споры о «Тихом Доне» были еще впереди, они, как известно, связаны с четвертой, заключительной книгой романа. Вооружила же читателей (имя им легион) в двадцать восьмом году первой книгой «Тихого Дона» «Роман-газета». Уже одно это можно считать великой заслугой продолжающегося издания. С тех пор все, что выходило из-под пера Шолохова, «Роман-газета» быстро несла читателю. Мир шолоховских героев, ставший составной частью духовного мира каждого из нас, связан в читательском сознании с образом популярной народной библиотеки.

Внушительен список тех, кого напечатала «Роман-газета», — Максим Горький, Алексей Толстой, Александр Серафимович, Николай Островский, Леонид Леонов, Константин Федин, Федор Гладков, Алексей Новиков-Прибой, Дмитрий Фурманов, Леонид Соболев, Федор Панферов... Прогрессивные писатели зарубежных стран — Анри Барбюс, Иоганнес Бехер, Иван Ольбрахт, Анна Зегерс, Ярослав Гашек, Эптон Синклер, Юлиус Фучик, Михаил Садовяну, Назым Хикмет... Многие сделала «Роман-газета», перешедшая в начале 30-х годов в ведение издательства, называемого теперь «Художественная литература», и для популяризации лучшего из того, что создали писатели братских литератур нашей страны, пишущих, как мы знаем, свыше чем на 70 языках. Среди авторов мы видим Лео Киачели, Эльмара Грина, Олеса Гончара, Вилиса Лациса, Ивана Шамякина, Петруся Бровку, Аскада Мухтара, Юрия Рытхэу, Юхана Смуула, Михаила Стельмаха, Чингиза Айтматова, Юстинаса Марцинявичюса, Ювана Шесталова, Ивана Чендея, Берды Кербабая, Софрона Данилова... С годами число переводов неуклонно возрастает.

Художественная газета для всех порой выходила за свои пределы, обращаясь непосредственно к политической книге (Н. Круп-

ская), к документальным жанрам (записки Марины Расковой, Петра Вершигоры), к лирическим стихам (довольно редко).

Издание не нуждается в преувеличенных похвалах, ибо заслуги его очевидны. Было бы ошибкой не сказать о неудачах — на расстоянии десятков лет они видны особенно хорошо. Некоторые издательские просчеты — дань времени. Они, видимо, были даже и неизбежными. Так, в тридцать девятом году была издана малохудожественная утопия Николая Шпанова, рисующая будущую войну как молниеносное и сравнительно несложное действие «малой кровью, могучим ударом». Николай Вирга, напечатанный в тридцать шестом году блистательное «Одиночество», одно из сильнейших произведений тех лет и ныне не потерявшее художественного обаяния, через три года выпустил «Закономерность» — полудетективный роман с острым шпионским сюжетом, но лишенный общественно-эстетической убедительности, названный впоследствии критикой «закономерной неудачей». Начисто оказалась забытой вскоре после издания и такая вещь, как «Ромб» А. Карцева... Конечно, у каждого писателя своя издательская судьба, и естественно, что приход к читателю бывает разным, тут пути, наверное, неисповедимы...

Есть крупнейшие имена и творения, обойденные — незаслуженно — вниманием «Роман-газеты». Я, разумеется, говорю не о таких фигурах, как, скажем, Андрей Платонов или Михаил Булгаков, их признание пришло поздно, когда исследователи обратились к их литературному наследию. Не попал, к сожалению, в список авторов Вячеслав Шишков и его поистине народная «Угрюм-река»; не был напечатан и его непревзойденный исторический роман «Емельян Пугачев». Нет чудесной «Малахитовой шкатулки» Павла Бажова. А ведь «Роман-газета» печатала и исторические произведения, и творения, написанные по фольклорным мотивам. Невозможно забыть появившегося в сороковом году «Возмутителя спокойствия» Леонида Соловьева — остроумнейшую и жизнелюбивую повесть-сказание о неумирающем эпическом народном герое Востока Ходже Насреддине. Писатель наделил давнего персонажа восточных притч, анекдотов и просто забавных историй психологическим многоцветием, напоминающим затейливые орнаментальные ковры. Книга пользовалась поразительным читательским успехом.

Удач у «Роман-газеты» было, разумеется,

куда больше, чем пропусков и срывов, поэтому мне и не хочется говорить о последних. Все мы давно знаем, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Жизнь несла бурные волны, и последней предвоенной книжкой сороковых годов оказалось документальное повествование о Валерии Чкалове. В огненном сорок втором в свет появилось три названия — «Полководец Кутузов» М. Брагина, «Падение Парижа» И. Эренбурга и «Дмитрий Донской» С. Бородина. Последовал трехлетний перерыв, вызванный нехваткой бумаги. Серия была возобновлена в первом послевоенном году, появление привычных книг было большой радостью для читателей, возвратившихся к мирному труду.

Достаточно перечислить напечатанное в первом послевоенном пятилетии, чтобы увидеть, какой выразительнейшей художественной летописью стала «Роман-газета». Среди книг тех лет «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Василий Теркин» Александра Твардовского, «Первые радости» Константина Федина, «Дни и ночи» Константина Симонова, «Люди с чистой совестью» Петра Вершигоры, «Слово перед казнью» Юлиуса Фучика, «Чайка» Николая Бирюкова, «Белая береза» Михаила Бубеннова, «Подпольный обком действует» Алексея Федорова, «Злата Прага» Олеся Гончара, «Весна на Одере» Эммануила Казакевича...

Я, верно, не ошибусь, если скажу, что современная большая проза в лучших образцах (хотя дело не обошлось и без пропусков) прошла через страницы «Роман-газеты». Разнообразные произведения убедительно говорят художественным языком о том, как жил и творил народ, каковы были его думы, чувства, помыслы, его радости, горести и надежды, свершения и взлеты на большом историческом пути. Назову без особого выбора произведения, которые привлекали в разные годы читательское внимание, — «Районные будни» В. Овечкина, «Владимирские проселки» В. Солоухина, «Братья и сестры» Ф. Абрамова, «Ледовая книга» Ю. Смуула, «Дневные звезды» О. Бертольд. В свет выходили произведения Георгия Маркова, Константина Симонова, Александра Чаковского, Валентина Катаева, Василия Смирнова, Михаила Алексева, Владимира Чивилихина, Сергея Сартакова, Дмитрия Зорина, Ефима Пермитина, Ивана Акулова, Андрея Блинова, Семена Бабаевского, Петра Проскурина, Анатолия Калинина, Владимира Богомолова, Ивана Шамякина и, нако-

нец, в самые последние годы — «Рассказы» Василия Шукшина, «Берег» Юрия Бондарева, «Сороковой бор» Юрия Грибова, роман «Царь-рыба» Виктора Астафьева, повести Валентина Распутина...

Некоторые творения получили большую читательскую жизнь только благодаря «Роман-газете». Алексей Шубин, талантливейший прозаик, живший в Воронеже, долгие годы оставался явлением областного масштаба. Когда же «Непоседы» появились на страницах народной библиотеки, веселые литературные герои Шубина быстро нашли путь к множеству людских сердец. И теперь, спустя много лет после смерти автора, путешествуют по стране вместе с молодыми читателями персонажи «Непосед». Алексей Шубин отлично видел красоту простого человека, и его повесть убедительно подтверждает мысль, высказанную однажды Леонидом Леоновым: «Происходит великое смещение понятий... Все самое необыкновенное совершается обыкновенными людьми, а то, что раньше казалось обыкновенным — стремление к тихому благополучию, мещанство, себялюбие, — сейчас кажется необыкновенным, уродливым, позорным и отмирающим».

Через «Роман-газету» пришла к читателю цепочка новелл-очерков Сергея Крутилина, остающаяся до сих пор лучшей книгой прозаика. Все мы любим и высоко ценим очерки Анатолия Калинина, посвященные Михаилу Александровичу Шолохову. Они нередко в последние годы появляются на страницах центральных газет. Но в полном объеме работу писателя мы смогли оценить только тогда, когда «Роман-газета» напечатала «Время Тихого Дона», — эстетическое своеобразие книги А. Калинина предстало перед нами во всей глубине и красоте.

По-прежнему продолжает «Роман-газета» публикацию переводных произведений. Тут и повести и романы писателей братских социалистических стран, прогрессивных прозаиков Европы, Америки, Азии, Австралии. Часть тиража издания из года в год выписывается зарубежными читателями, библиотеками, культурными обществами, университетами. В своем воскресном приложении газета «Нью-Йорк таймс» однажды напечатала: «„Роман-газета“ — уникально русское, единственное в мире издание, выходящее миллионными тиражами».

Как бы ни привлекало нас существующее издание, мы не можем не мечтать, не ду-

мать о его будущности. Говорят, что новое — хорошо забытое старое. Были времена, когда народная библиотека выпускала книги не только наших современников, но и отечественных и зарубежных классиков. Пришло время подумать о возвращении к этому полезному опыту в связи с большими литературными юбилеями и различными всенародными торжествами. Почему бы «Роман-газете» не печатать и хорошо написанные, увлекательные, нужные и полезные работы критиков и литературоведов? Их труды теперь пользуются повышенным спросом, и заказы на специальные издания порой превышают даже заказы на стихи. Все это возможно осуществить только при условии увеличения периодичности выпусков. Будем мечтать о том, что романная газета станет еженедельником. Или, во

всяком случае, следует увеличить число выпусков в год.

Как ни привыкли мы к традиционному облику «Роман-газеты», надо искать и новые пути оформления книг. Быть может, даже целесообразно провести на эту тему дискуссию, пригласив принять в ней участие читателей, библиотекарей, художников, издателей — словом, всех, кто заинтересован в том, чтобы наше любимое детище появлялось на свет в современной одежде.

Полвека — немалый срок. С гордостью мы можем сказать, что «Роман-газета» не состарилась, она молода, как в те незабываемые годы, когда она впервые пришла к читателям.

Да будет всегда так.

Евгений ОСЕТРОВ.



ОТ СЛОВА К ЖИЗНИ

Контекст — 1972. Литературно-теоретические исследования. М. «Наука». 1973.

Редколлегия: А. С. Мясников, П. В. Палиевский, Я. Е. Эльсберг;

Контекст — 1973. 1974; Контекст — 1974. 1975. Редколлегия: Н. К. Гей, А. С. Мясников, П. В. Палиевский, Я. Е. Эльсберг.

Существуют разные типы научных изданий: одни тяготеют к фундаментальности, другие к оперативности. Новый литературно-теоретический сборник «Контекст» удачно сочетает оба качества, не впадая ни в тяжеловесный академизм, ни в легковесную популяризацию. Сама периодичность ежегодника указывает на промежуточное положение между монографией и журналом. Но перед нами не механическое сложение разных качеств, а нечто органическое — издание со своим кругозором и установкой. Если монография обычно подводит итог предыдущим научным изысканиям, а журнал активно участвует в текущей литературной жизни, то задача данного ежегодника — разработка новых идей, способных определять будущее науки и, возможно, литературы.

В переводе с латинского слово «контекст» означает «связь», «сцепление». Этим заглавием выражена основная цель сборника — исследовать литературу в тесной связи с мыслью и действительностью нашего времени. Как отмечено в редакционном вступлении к первому выпуску сборника, современное буржуазное литературоведение во многих своих направлениях «тяготеет к понятию «текст», стремится вычленив его, обособить, отделить и представить как един-

ственную реальность, достойную изучения». Но литература несводима к тексту — она включает и тот исторический, социальный, личностный контекст, который входит в слово полнотой его смысла. Художественное слово подобно живой личности: внешне оно ограничено чувственной оболочкой (тканью, «текстом»), но внутри полно бесконечного смысла, который постоянно стремится к воплощению бесконечности внешнего мира.

Глубокое теоретико-методологическое обоснование идея сборников получает в работах М. Б. Храпченко «Семиотика и художественное творчество» («Контекст — 1972»), «Литература и моделирование действительности» («Контекст — 1973»), «Внутренние свойства и функция литературных произведений» («Контекст — 1974»), А. Ф. Лосева — «Логика символа», в статьях А. С. Мясникова, Н. К. Гей и некоторых других. Роль контекста в литературе своеобразно раскрыта в статье М. М. Бахтина «К методологии литературоведения» («Контекст — 1974»).

Литературное произведение не представляет собой обособленную и готовую реальность, как вещь: внутри него живет личность, всегда способная к саморазвитию. Для этого она нуждается в другом — в читателе, который помогает писателю перешагнуть текст-вещь и выйти в контекст-общение.

М. М. Бахтин предлагает строго разграничить познание вещи и познание личности. «Их необходимо охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для другого... может быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел — мысль о личности в присутствии самой личности, вопрошание, диалог... Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить (здесь сохраняется всегда дистанция), — ядро, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие: открываясь для другого, оно всегда остается и для себя».

Отсюда следует сделать вывод, что в литературоведении методика и этика не расходятся между собой по разным уровням профессиональной деятельности, как в естественных науках и технических дисциплинах, где методика касается работы с вещами, а этика — отношений с людьми (товарищами, сотрудниками). Перед читателем и критиком предстает одухотворенная и очеловеченная вещь, проникнутая доброй волей своего создателя и потому увлекающая в нравственную заботу: этого требует «мысль о личности в присутствии самой личности». В мир вымысла личность является безо всяких стеснений и ограничений, налагаемых внешней действительностью, «средой». Но именно поэтому этика не упраздняется в царстве эстетики, а, напротив, бесконечно раздвигает свои границы, впуская всецело ответственную и свободную личность — художника, которому творческая свобода позволяет взять на себя высшую меру нравственной ответственности. Соответственно и критик не может ответить на такое «самооткровение личности» ничем иным как полным изначальным доверием. Эстетика в этом смысле есть предельно расширенная и до конца утвержденная в своем праве этика: прекрасная вещь есть свидетельство о свободном человеке, ее творящем.

Но для чего нужно познавать плоды творчества? С этой постановкой вопроса мы встречаемся в статьях Д. С. Лихачева, М. М. Бахтина, А. С. Мясникова, В. В. Кожина. Такое переключение акцента закономерно: «Много говоря о методах изучения литературных произведений, мы почти не ставим вопроса о том, зачем, с какой целью следует их изучать» (В. В. Кожин, «Контекст — 1973»).

Если сравнить литературоведение с таки-

ми науками, как физика или химия, политэкономия или социология, то его существование может показаться малооправданным. Все перечисленные науки изучают свой предмет ради его изменения и использования. Поэтому каждая из них имеет свое дополнение в виде инструментально-машинной техники, хозяйственной и общественной политики, которые практически преобразуют то, что науки познают. Ясно, что литературоведение не может и не хочет заниматься «переделкой» литературы. Для чего же изучать ее? Естественно предположить, что не сама литература при этом изменяется, а те, для кого она создается. Цель литературоведческого познания — преобразование читающего человечества. Суть в том, что естественные и некоторые общественные науки исследуют реальный мир, который еще нуждается в преобразовании для удовлетворения человеческой потребности в совершенстве. В искусстве же и литературе мир предстает уже человечески преобразованным, в нем царят чувство и вымысел, реальные вещи испытаны идеальной мерой. Эстетические дисциплины изучают художественную гармонию, которая требует не дальнейшего совершенствования, а воплощения в действительности, и критика должна указать пути для преобразования жизни на началах подлинной гуманности, смысла и красоты. Художественная критика — это прежде всего критика действительности от имени искусства, утверждение в ней того, что обращено в будущее, — попытка внести творческий дух и совершенный строй в окружающий мир и тем самым ускорить исполнение того высокого приговора, который искусство выносит над действительностью.

Много места занимают в сборниках размышления о сущности и своеобразии искусства вообще и художественного слова в частности. Этому посвящена весьма интересная публикация из архивов философа П. А. Флоренского «Строение слова». Следуя давней, от Гумбольдта и Поттебни идущей традиции разграничения внешней и внутренней формы слова, его звуковой оболочки и смыслового ядра, Флоренский причисляет первую к общенародному бытованию слова, второе — к индивидуальному его употреблению, главное же — раскрывает переход между ними.

Важно отметить, что в слове говорящий не только присоединяется к «соборному единству» (Флоренский подчеркивает этот

момент в соответствии с традициями русского народнического сознания), но и совершает нечто противоположное: «похищает» слово из народной сокровищницы, для того чтобы придать ему единственный, небывалый и неповторимый смысл, отвечающий его личной потребности самовыражения. «Если нельзя говорить языком с в о и м, а не народа, то нельзя также говорить от народа, а не от себя: с в о е ъмы высказываем о б щ и м языком».

Соотношение общего и своего постоянно меняется в речи — от фразеологических штампов до индивидуальных неологизмов. Меняется оно и в художественной словесности, которая исторически движется от фольклора (свое растворяется в общем) к литературе (общее претворяется в свое). Для литературоведения это разграничение особенно важно, поскольку указывает на область приложимости тех или иных методов познания, которые существенно определяются предметами познания. Одно дело набор устойчивых формул-мотивов, образующих фольклорное произведение, как элементы образуют структуру; другое дело свободное смыслотворчество, отнимающее у элементов свойство повторяемости, у структуры — свойство замкнутости и производящее всякий раз переворот в культурной иерархии значений и ценностей. Споры о структурализме, которые напряженно велись нашей наукой на протяжении более чем десятилетия, часто оказывались бесплодными именно по причине своей беспочвенности, беспредметности: о каком предмете идет речь — о фольклоре или литературе, об этнографии или истории? Такую уточненную постановку вопроса содержит статья Е. М. Мелетинского «Структурная типология и фольклор» («Контекст — 1973»). Ясно, что структурная методика исследования приложима в первую очередь к древним культурам, замкнутым в себе, неподвижным, безразличным к времени и личности. Своею условностью и упорядоченностью они противостоят природной стихии, из которой только начал выделяться человек, и одновременно повторяют ее своею несвободой, принудительностью в отношении к человеку. Структурность этническая и фольклорная — признак нераскрепощенности творческого духа в эпоху, когда статика преобладает над динамикой, индивидуальность целиком включена в ритуал, воспроизводящий безличные природные циклы. Кроме того, структурность — при-

знак удаленности исследователя от своего предмета, который представляется ему законченным и неподвижным, отпавшим от всякой субъективности, — воистину объектом, подлежащим расчленению, как мертвое тело. Современный исследователь архаических культур ощущает их настолько чуждыми себе, что может относиться к ним как к структурным образованиям, вещественным остаткам давно отшумевшей и отблеставшей жизни, с которой он не связан никакой непрерывностью общения, соучастия, сотворчества. Поэтому убедителен вывод Е. М. Мелетинского: «Архаические культуры (а этнология обычно имеет дело с такими) действительно более проницаемы для структурализма в силу устойчивости их структур...»

О недостаточности и односторонности структурной методики в применении к живой культуре, участниками которой мы являемся и ценности которой разделяем, говорится в работах М. Б. Храпченко, Н. И. Балашова, Ю. Я. Барабаша и других авторов. В основе структурализма угадывается нетерпеливое стремление всюду обнаружить порядок как данность, как уже достигнутую связь, взаимообусловленность и взаимоуспокоенность всех элементов. Но при этом гармония, присущая искусству, незаметно упрощается и подменяется стереотипом, трафаретом, штампом. Порядок может быть повышением или понижением значимой сложности бытия, собиранием целого или рассеянием его на части. Структурализм слишком часто соотносит себя с порядком второго, низшего типа, актуальным, ставшим, а не потенциальным, становящимся. Следует различать порядок полноты, достижимый лишь как всесторонний охват и творческое преображение вселенной и потому данный лишь в усилии, искании, и порядок простоты, исключающий все сложное, противоречивое, личностное и данный как вещь в ее определенности и ограниченности. Гармония есть творческий порядок, ищущий все принять и охватить, — энергия, а не субстанция искусства; понятая как наличная вещь, а не конечная цель, гармония выражается в штампе. Неправда и неполнота структурализма в том, что он овеществляет и обедняет гармонию. Конечно, художественное произведение тем и отличается от текучей действительности, что придает ей определенную форму, структуру. Но чтобы эта форма не сузилась до формулы, нужно постоянное

ее наполнение и испытание временем, обстоятельствами, всем движением жизни. Структура должна быть разомкнута в историю, принимать в себя ее поток и придавать ему твердость и совершенство кристалла. Истинная гармония утверждает себя в мире, а не обособляет себя от мира. Художественное совершенство не есть нечто замкнутое и самодостаточное, а историческая подвижность, изменчивость не есть нечто безблагодатное, как предполагает структурализм. В то же время эмпиризм и эволюционизм, признающие только все временное, проходящее и не желающие знать вечных целей, совершенных форм творчества, поощряют хаос и бессмыслицу, враждебные искусству. Необходимо гибкое и разностороннее сочетание всех методов познания искусства, позволяющих раскрыть его как единство исторического свершения и эстетического совершенства. Гармония в отрыве от жизни есть мертвый штамп, реальность в отрыве от смысла есть пустой факт. Штамп и факт — конечные продукты распада жизнетворческого единства, свидетельства омертвления и опустошения искусства и жизни в их взаимной обособленности и розни.

Вообще соотношение литературы и действительности — одна из главных тем всех трех сборников, ей посвящены статьи М. Б. Храпченко, М. М. Бахтина, Н. К. Гея, В. В. Кожина, публикации Антонио Грамши, Н. К. Рериха и других. Основное и общее в этих работах — выступление против двух крайних толкований литературы: как зеркально-послушного, мертвого отражения жизни и как прихотливо-своевольного, суетного ее переименования.

Обратимся к художественному слову: его отличие от обыкновенного, разговорного состоит в несводимости к какой-то конкретной житейской реалии или ситуации. Но отсюда не следует, как утверждают формалисты, что художественное слово означает лишь само себя и что у него нет никакого призвания в жизни, что оно самоцельно и самоценно. Художественное слово тоже есть дело. Литературное произведение не имеет бытового контекста, ограниченного пространством, временем, кругом знакомых лиц, оно существует как бы вообще, не здесь и не сейчас. Как претворить в жизнь то содержание, которое заключено в «Пророке» Пушкина, или в «Шинели» Гоголя, или хотя бы только в словах Акакия Акакиевича:

«Зачем вы меня обижаете?». Нет соизмеримого им факта, только постоянно растущее чувство боли за человека, которое постепенно делает мир человечнее. Художественное слово устремлено за пределы текста для переделки действительности, но его смысл не исчерпывается никакими реальными контекстами, оно все обращено к той дальней жизни (всегда отстающей за видимый горизонт), где добро, истина, красота уже восторжествовали и воцарились навеки. Вероятно, само ощущение художественности в какой-то мере связано с сознанием окончательной невоплотимости того или иного образа в текущей действительности: всегда от искусства сохраняется некий не растворимый во времени и действии духовный остаток. Вот что делает таким трудным и не всегда и для всех доступным переход в мир искусства; тут расстаешься с исполнимыми задачами и вступаешь в область вечного призвания и вечной неисполнимости, которая отдается в душе одновременно радостью от величия предстоящего труда и грустью от невозможности завершить его. Дело, которого требует искусство, самое трудное, долгое и значительное.

В нашем литературоведении отношение литературы к жизни долгое время мыслилось двояко: зависимость, подчиненность или самостоятельность, обособленность. Эти крайности сталкивались между собой, но в обеих утрачивалось изначальное понимание слова как дела. Делом способно стать только свободное, но не праздное слово. Ответительная правота формальной теории была в утверждении, что художественная речь отличается от разговорной речи, не прямо отсылает к действительности, а обладает собственной упорядоченностью и внутренней свободой. Однако из этого делался ложный вывод о праздности, «самовитости» художественного слова, которое будто бы не заинтересовано в действительности и только отталкивается от нее способом остранения. На самом деле свобода художественного слова от житейских реалий ведет к его наибольшей действительности относительно жизненной реальности в целом. Нельзя преобразжать жизнь, будучи скованным ею. В сборниках «Контекст» намечается плодотворное понимание отношения литературы к действительности не как зависимости или самостоятельности, а как действительности, целенаправленности, свободной ответственности. Такое понимание противостоит формализму, отводившему искус-

ство от жизни, но вместе с ним превосходит наивно-реалистическую и вульгарно-социологическую точки зрения на искусство, сводившие его к предмету отражения или среде происхождения. Искусство связано с действительностью, но творчески, действительно, не вопреки своей свободе и своеобразию, а вследствие их. Искусство не повторяет действительности и не чуждается ее, а воздействует на нее; отражает и остраивает лишь в той мере, в какой достраивает и преобразует.

Но и у преображения есть своя мера. Искусству в современных условиях грозит опасность стать слишком искусственным, оторваться от природы. Не случайно в сборниках много внимания уделено проблеме «культура и природа» (статьи Л. Н. Новиченко, Я. Е. Эльсберга, «Записи о творчестве» Михаила Пришвина). Искусство, с одной стороны, это творческое преобразование природного материала (звуков, красок и т. д.), с другой — обнаружение всего самого естественного в культуре, проверка ее на такую же пригодность для человека, как для губ — вода, для глаз — луч, для легких — воздух. Без чувства чего-то изначального, безусловного, бесценного невозможно никакое истинное творчество, которое тоже ведь вдохновляется безусловным и бесценным. Это прекрасно понимал Пришвин, названный одной из его современниц «бесчеловечным писателем» — настолько центральна в его произведениях природа, которую обычно принято относить на человеческую периферию. В его «Записях о творчестве» (отрывках из дневника, опубликованных в «Контексте — 1974») есть воспоминание о писателе Ремизове, который однажды сказал: «Вы говорите о жизни, но ведь там нет ничего, все мы делаем». «Помню, каким ужасом повеяло мне от этих слов и как смутно стало на душе и даже злобно к кому-то», — замечает Пришвин. Действительно, представление о мире как о пустоте, в которой есть только человек-делатель, страшно своей выморочностью, безысходностью. Без отношения к кому-то иному он теряет смысл своего существования. Смысл есть категория взаимности — направленности и отдачи.

Однако в наше время распространилась и обратная крайность — бегство из культуры в природу, осуждение делателя и прославление дикаря. В основном это объясняется чрезмерно умозрительным и искусственным характером самой культуры, порождаю-

щей собственное отрицание. Проповедники приобщения к природе, начиная с Руссо, — люди наиболее утонченной культуры. Но нельзя искать спасения от крайности в другой крайности — спасает приятие, а не отказ. Самый решительный разрыв с культурой в наше время не приводит к природе, а оставляет в промежуточном состоянии цивилизованного варварства, или так называемой контркультуры. Природа уже безвозвратно втянута в созидательные дела человечества, и срыть культурный покров с земли значит ранить и уродовать землю. Контркультура — это контрприрода, наиболее чуждая плодородию и саморазрушительная часть культуры. Пришвин мудро восстает против «естественного человека», видя в нем что-то противоестественное и противочеловечное. «Тут слабость, гниение силы величается, опираясь на силы естества... И я думаю, все эти «побеги в природу» означают смирение паче гордости. Надо смириться до того, чтобы взять на себя и силу знания, и силу искусства, и только переключить их движение от разрушительного на созидательное».

В культуре природа перерастает себя, не изменяя себя, и доказательство этому — искусство, направляющее поток явлений в русло ценностей. В традициях русской литературы не восхищаются отдельно экзотической природой или экзальтированным разумом, а раскрывают их в простоте общежития и родства: «Так связан, съединен от века союзом кровного родства разумный гений человека с творящей силой естества». Эхо тютчевских строк отдается впоследствии в стихах Заболоцкого («И запела печальная тварь славословье уму»), М. Рылского (о разуме, «что стал природе другом навсегда») — эти примеры, взятые из статей «Контекста», свидетельствуют о точном поиске, направленном на преодоление традиционной антитезы «культура и природа».

Особенно важно для литературы отношение к таким реальностям, как история и нация. На страницах «Контекста» этот вопрос обсуждается в связи с национальным своеобразием исторических путей русской литературы. В статье В. В. Кожина «О принципах построения истории литературы (Методологические заметки)» («Контекст — 1972») оспаривается традиционная научная и учебная схема, согласно которой русская литература XVIII — XIX веков повторяет этапы развития западноевропейской, точнее, французской литературы: классицизм (Ло-

моносов) — просветительство (Новиков) — сентиментализм (Карамзин) — романтизм (Жуковский) — критический реализм (от зрелого Пушкина до Чехова). Против этой схемы В. В. Кожин выдвигает гораздо более естественное, хотя и несколько упрощенное объяснение истории русской литературы: Пушкин — это отечественный Ренессанс, подготовленный освоением передового европейского опыта (Ломоносов — Жуковский) и раскрывший возможности национального духа и языка, утвердивший гармоническое отношение личности и мира; Гоголь — поздний, усталый, мрачный Ренессанс, переходящий в барокко. Что касается русского Просвещения, то оно развивается во второй трети XIX, а не XVIII века — в деятельности революционных демократов, которые «решали в России задачи, подобные тем, которые решали во Франции такие просветители, как, скажем, Руссо или Дидро». Русский романтизм — это славянофильство, почвенничество и народничество, с которыми были связаны Тютчев, Достоевский, Глеб Успенский и т. д.

Такая концепция стройна, изящна, но все-таки одномерна: сохраняет прямое подобие (вплоть до отдельных писателей) русской литературы с западноевропейской, в основном французской, задачи и роли которой будто бы решались и распределялись и у нас, только в более поздние и сжатые сроки. Но в культуре нет ни одной количественной характеристики, которая не была бы качественной, тут между ними нет разрыва и скачка. По отношению к западноевропейской литературе XIV—XIX веков русская литература XIX века не боковая параллель, а обнимающая перспектива.

Оппоненты упрекали В. В. Кожина в том, что он не учитывает реалистический характер творчества Гоголя, но точно так же при этом не учитываются элементы средневекового, ренессансного, барочного, просветительского миросозерцания в творчестве Достоевского и Толстого. Суть в том, что русская литература по крайней мере двумерна, одной своей стороной она обращена к Ренессансу с его апологией человека, другой стороной она принадлежит XIX веку с его критикой действительности. В русской литературе нельзя категорически разграничивать позитивные и критические, идеальные и реальные начала, в ней совершаются те пределы, между которыми в западноевропейской литературе пролегают

века. Быть может, лучше всех общую задачу русской литературы выразил Достоевский: «при полном реализме найти в человеке человека», то есть исходить из наличного, порабощенного, овеществленного состояния человека (слово «реализм» буквально и означает учение о вещах, познание вещей), но раскрывать в нем истинно человеческую возможность возрождения, восхождения к чему-то высшему. В сравнении с этим даже гуманизм европейского Ренессанса, опиравшийся на суверенную индивидуальность, кажется слишком ограниченным, не охватывающим всех измерений человека. Русская литература и хронологически и психологически гораздо ближе, чем западноевропейская, к доренессансной словесности с ее житийно-нравоучительным складом, задающим высшую, идеальную меру человеческого поведения как служения и самоотверженности. В то же время русская литература XIX века близка следующему веку с его попыткой дать социальное решение этическим проблемам. Герой мучится и болеет о народе, порой даже опускается до уровня массы — лишь бы слиться с нею; нравственный вопрос тут становится общественным вопросом. Пафос русской литературы — социально-этический: общее и личное, действительное и духовное соединяются, чтобы одно возвысилось, другое укоренилось.

Содержание трех выпусков «Контекста» весьма разнообразно, в них помещены 32 статьи и 5 публикации 26 авторов. Причем это разнообразие не противостоит единству идеи, но естественно из нее вытекает, обнаруживая ее емкость. Идея «Контекста» столь же многосторонняя и открытая, как и сам литературный контекст, вмещающий все многообразие жизни. Темы и аспекты здесь неисчерпаемы, ибо произведение не замкнуто в себе, текст живет в обмене с контекстом, как организм — со средой, без которой он бы задохнулся и зачах. Культура и природа, история и нация, общество и мораль — вот те реальности, на которые воздействует литература и от которых она получает подтверждение собственной реальности.

Существенно, наконец, что в сборниках «Контекст»¹ советское литературоведение

¹ Когда эта статья была уже набрана, вышел очередной выпуск ежегодника «Контекст—1975». В нем, в частности, опубликована статья М. Б. Храпченко, охватывающая широкий круг актуальных проблем систем-

обнаруживает свою методологическую зрелость, которая позволяет брать предмет в его целостности, в соотносительности и дополнительности художественных и жизненных начал. При этом как бы сами отпадают крайности, которые незрелому сознанию кажутся единственно возможными и взаимосключающими: жизнь или искусство, поступок или слово, правда или красота и т. д. Задача не только в том, чтобы увидеть и показать единое, но и в том, чтобы сохранить все различия, не дать единству превра-

титься в мертвое тождество, а различиям — в мертвую противоположность. Важно понять, почему связь литературы с реальностью не отнимает у них самостоятельности, но прибавляет обоем ценности, почему контраст нужен гармонии, а особенность укрепляет общность. Исследование литературного текста в его реальном контексте — многообещающее направление нашей науки, ведущее в долгий и трудный путь от слова к жизни.

М. ЭПШТЕЙН.



Политика и наука

«МИНУВШЕЕ МЕНЯ ОБЪЕМЛЕТ ЖИВО...»

Л. Грачев. Дорога от Волхова. «Дружба народов», 1974, № 3; 1975, № 6; 1976, № № 8—9.

«В стихах Некрасова есть такие мудрые строчки: «Когда зима нам кудри убежит, приходит нам нежданная забота свести итог»...— сказал автор, объясняя цель своего литературного труда.— Не о себе думал я, принимаясь за мемуары. Хотелось поразмышлять о моем поколении. Рассказать о судьбах тех подростков и юношей, которые пришли на смену участникам Октября. Это им довелось восстанавливать народное хозяйство, создавать колхозы, развивать стахановское движение, выполнять планы первых пятилеток. Это прежде всего им довелось выносить на своих плечах главную тяжесть Великой Отечественной войны».

Начало записок отдано воспоминаниям о босоном, полуголодном детстве. И все же поре прекрасной, благословенной, когда мальчишеская отвага кипит и плещет через край. Не всякий взрослый отважится нырять под плоты. А мальчишка смело кидается под надвигающиеся бревна. Нет, не ради похвалы перед сверстниками, не ради пустой бравады: ему хочется испытать себя, проверить свою волю, бесстрашие.

ного анализа литературы, статьи К. М. Долгова — о связях философии Канта и современной буржуазной эстетики, В. В. Кожина — о методологических вопросах построения истории русской литературы и другие исследования. Как видим, в новом сборнике продолжено исследование насущных современных теоретико-литературных проблем, но о нем речь еще впереди, несомненно, что книга, содержащая столь интересные материалы, требует особого, детального рассмотрения.

Вольготно жилось летом ребятам. Ужение рыбы, гребля против речной волны, походы за лесными ягодами... Хорошо!

Хуже бывало зимой. Стукнет приятель в окошко:

— Выходи на салазках кататься!

А выйти не в чем. Ни обуви, ни одежды теплой нет. В семье Грачевых десятеро ребят мал мала меньше. Отец гнул спину на фарфоровой фабрике миллионера Кузнецова. Рабочий день тянулся с шести утра до восьми вечера. А заработок — пять-шесть рублей в месяц. Мыслимо ли прокормить и одеть такое семейство?!

Жили Грачевы в тесной лачужке фабричного поселка на берегу Волхова. Того самого седого Волхова, по которому пролегал путь «из варяг в греки», где ходили корабли новгородского гостя Садко да верткие суденышки удалых ушкуйников. Величественная река в окружении дремучих лесов, непроходимые болота, бездонная голубая чаша неба... Легенды и бывальщины об этих сказочных краях формировали духовный мир мальчика, влияли на характер, глубоко отчеканились в душе.

Начальные уроки природоведения Леонид Грачев получил от отца. «Мне казалось,— вспоминает автор,— что к деревьям, кустам, цветам отец отнесится, как к людям, и даже может поговорить с ними. Не на всяком месте в лесу он разрешил мне присесть отдохнуть. Он точно знал, что лес любит, а чего не любит».

Первые навыки общественной жизни тоже были преподаны отцом, человеком са-

мобытным, недоужинным. В дни революции отец возглавлял фабричный комитет. Под его влиянием Леонид одним из первых среди подростков поселка стал комсомольцем. А среди комсомольцев одним из первых вступил в ряды коммунистов.

С чувством искренней благодарности рассказывает автор о фабричном коллективе, научившем его глубоко ценить и уважать труд. Среди наставников своих Л. Грачев выделяет Михаила Павловича Ушарнова, участника баррикадных боев на Красной Пресне, члена партии с 1905 года. «Два года моей работы с М. П. Ушарновым,— пишет он,— были одними из самых счастливых в моей жизни, потому что я каждый день мог видеть этого замечательного человека и учиться у него... В своей памяти я навсегда сохранил образ этого большевика-ленинца, к помощи и совету которого мысленно обращался я не раз в тяжелые минуты жизни».

Л. Грачеву не было и двадцати шести, когда он стал директором Окуловского бумажного комбината. Одновременно работал и учился. Окончил рабфак, Лесотехническую академию в Ленинграде. Некоторое время управлял трестом Севзаплес. Затем стал первым заместителем наркома целлюлозно-бумажной промышленности — отрасли народного хозяйства, которая у нас, по существу, возникла только после революции. Промышленности, казалось бы, скромной по сравнению, скажем, с металлургией или машиностроением, но самым непосредственным образом влияющей на уровень культуры народа.

Когда-то «на заре туманной юности» Л. Грачев начал свой трудовой путь от Волхова. Теперь боевой путь снова привел его к этой знаменитой реке. В трудную пору, когда враг оказался у стен города Ленина, Леонид Павлович надел военную форму и встал в ряды защитников Ленинграда. Был начальником тыла 4-й армии, а позже — заместителем командующего Волховским фронтом по тылу.

Волховский фронт!.. Левым концом упирался он в Ильмень-озеро у Новгорода, правым — в Ладогу западнее Кабоны, небольшого рабочего поселка, где начиналась бессмертная ледовая «Дорога жизни». Леса и перелески. Реки и речки. Озера и бесконечные озерца. И болота, болота... Топкие, не замерзающие даже зимой. Воевать на Волхове было неизмеримо тяжело. Но не легче было снабжать войска всем необходимым.

Страницы воспоминаний, рассказывающие о боевых действиях Волховского фронта, продолжавшихся 795 дней, представляют особый интерес. Пожалуй, нет произведения в нашей мемуарной литературе, где бы так полно освещалась работа службы тыла войск, ведущих боевые действия в лесисто-болотистой местности.

Главное, что может обеспечить мобильность, свободу и быстроту маневра, а следовательно, и успешный исход сражений, — дороги. А дорог-то как раз и не было. Только кое-где пролегли узенькие бревенчатые настилы, метко окрещенные бойцами едрено-палочными. Пропускная способность их была ничтожной, и двигаться по ним можно было в основном со скоростью пешехода. То и дело возникали пробки. Сотни машин, танков, орудий и другой техники скапливалось в одном месте, представляя собой отличную мишень для фашистской авиации. Командующий фронтом генерал К. А. Мерецков, человек уравновешенный и невозмутимо-спокойный, всякий раз возбуждался, когда речь шла о дорогах. При первом же знакомстве со своим заместителем по тылу он откровенно сказал:

— До тех пор, пока дело с дорогами будет оставаться таким, как сейчас, трудно предпринимать серьезные операции.

Хотя слова командующего произносились отнюдь не повелительно, они были восприняты как боевой приказ.

В результате героических усилий строителей для нужд армий фронта было в самые сжатые сроки проложено более тысячи ста километров различных дорог с деревянным покрытием. По направлению к передовой вскоре протянулась разветвленная сеть брусково-колейных, пластино-колейных, дощато-колейных дорог, косых и поперечных настилов. В различных местах создавались площадки для разъездов и обгона, облегчающие маневр автомобильного и гужевого транспорта.

Александр Гитович в одном из стихотворений воспел подвиг скромных строителей фронтовых дорог:

На запад взгляни и на север взгляни —
Волото, болото, болото.
Кто ночи и дни выкорчевывал пни,
Тот знает, что значит работа.

Пойми, чтобы помнить всегда и везде:
Как надо верить в победу,
Чтоб месяц работать по пояс в воде.
Не жалуясь даже соседу.

Бойцы верили в победу, и это удесят�еряло их силы. Льет дождь, метет пурга, трещит мороз, но ни на минуту не прекращается работа. А тут еще неприятельские орудия лупят. Или налетят из-за тучи пикировщики, разбомбят сотворенное нечеловеческими усилиями. Нередко после них дорожники недосчитывались своих товарищей.

Едва отгонят стервятников, строители снова принимаются за дело. И бегут, бегут по настилам машины, тащатся непритязательные лошадки, налегая на хомуты. Везут, везут на передовую снаряды и гречневую кашу.

Яркие цифры приводит в своих воспоминаниях Л. Грачев. Например, только в 1942 году на Волховском фронте было перевезено 783 252 тонны грузов. Шоферы проявляли чудеса самоотверженности, выносливости и мужества. Даже будучи ранеными, не выпускали из рук баранку. Трудились без сна и отдыха по несколько суток.

Круг обязанностей начальника тыла, естественно, не ограничивался устройством дорог и организацией перевозок. Надо было заботиться и о запасах оружия, патронов, продовольствия, обмундирования. Чтобы была хорошо налажена медико-санитарная служба. Чтобы бойцу было где помыться, сменить белье. Чтобы был у него табачок в кисете. Чтобы полевая почта доставляла письма из разных краев... Всех «чтобы» и не перечтешь. Главную свою задачу, как пишет автор, служба тыла видела в том, чтобы «создать бойцу на передовой обстановку уверенности, не нервировать его беспорядками, в том числе и в бытовом обслуживании, чтобы мог солдат сосредоточить все внимание на единственной и главной цели — уничтожить противника».

Л. Грачев рассказывает и о широком размахе хозяйственной деятельности. На фронте выбывают из строя не только люди, но и машины. Автомобильный парк войск сильно сократился, однако это не отразилось на количестве перевозок. Авторемонтники в полевых условиях стали изготавливать запасные части более двухсот наименований, в том числе и такие сложные детали, как шестерни, поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца. Фронтовые рационализаторы и изобретатели наладили производство походных бань, утепленных саней для

перевозки раненых, хлебопекарен, буржуек для блиндажей и медицинских палаток, светильников, блиндажной мебели... В дело шли бросовые материалы — обломки самолетов, консервные банки, куски жести и проволоки, ружейные и орудийные гильзы.

Везде соблюдалась строжайшая экономия и бережливость. В 1942 году, например, было сэкономлено 5694 тонны горюче-смазочных материалов, или по ценам тех лет более 4,5 миллиона рублей. В том же году заготовка сена в прифронтной полосе составляла более 60 тысяч тонн. Конское поголовье было обеспечено кормами, на перевозку которых потребовалось бы 15 тысяч железнодорожных вагонов.

Для улучшения питания бойцов организовывался лов рыбы в местных реках и озерах. Были созданы пункты по откорму свиней, фермы молочного скота. На пустующих пахотных землях выращивали картофель и капусту, сеяли хлеб. Приводили в порядок брошенные сады, собирали дикорастущие ягоды и грибы...

12 января 1943 года началась историческая операция «Искра», в результате которой войска Волховского и Ленинградского фронтов объединенными усилиями прорвали кольцо блокады города-героя. «В ночь на 6 февраля 1943 года, — пишет автор, — мы с Т. Ф. Штыковым стояли у платформы станции Назия, наблюдая за погрузкой 800 тонн сливочного масла, которое должен был отвезти в Ленинград первый после прорыва блокады поезд. Настроение было отличное: мы уже знали, что на Военном совете Волховского фронта маршал Г. К. Жуков, подводя итоги боев... сказал:

— К службе тыла никаких претензий нет».

Что ж, подобной оценкой, высказанной выдающимся полководцем, справедливо можно гордиться.

Читая «Дорогу от Волхова», прослеживая страницу за страницей прожитое автором, невольно думаешь о преемственности поколений, на которой зиждется диалектическое развитие истории человечества. Автор прошел завидную школу жизни. Учился у старых большевиков, перенимал опыт кадровых военных. Теперь молодежи есть чему поучиться у него.

А. ПЛЮЩ.



КОРОТКО О КНИГАХ



БЫСТРИНА. Рассказы писателей о друзьях-динамовцах. Составители: Лев Давыдов, Борис Костюковский. М. «Московский рабочий». 1976. 295 стр.

Быстрина — самое кипучее, самое бурное место потока. Его стрежень, высшая степень силы течения, его апогей.

«Быстрина» — так называется книга очерков писателей о своих друзьях, рабочих московского завода «Динамо» имени С. М. Кирова, о лучших из них, тех, кто своим характером и трудом ломает непокорное, бушующее течение реки жизни.

«У этой книги необычная биография, — писал в послесловии ныне покойный С. С. Смирнов. — Она рождена движением, которое возникло в разгар девятой пятилетки.

Московские писатели заключили договор о содружестве с пятью крупнейшими предприятиями столицы, в том числе и с заводом «Динамо»...

«Быстрина» — одна из первых литературных ласточек в том большом и плодотворном начинании, которое получило название содружества московских писателей с заводами...» И далее: «Такой книгой был бы доволен Алексей Максимович Горький. Ведь он в свое время мечтал о таких коллективных произведениях, посвященных рабочим людям наших крупнейших заводов».

Шестьдесят из семидесяти пяти прожитых на земле лет отдал заводу герой очерка Всеволода Привальского «Чья это улица, чей это дом...» Григорий Алексеевич Моргунов. Он хранит в памяти приезд Владимира Ильича Ленина на завод осенним вечером 7 ноября 1921 года, его выступление перед рабочими. И, прочитав этот очерк, убеждаешься: живы на «Динамо» славные традиции, ибо традиции здесь не только воспоминания ветеранов о памятных датах, связанных с заводом, не только праздники, чествования старой рабочей гвардии. Традиции на «Динамо» — это прежде всего сами люди, которые и есть память и история нашего государства и завода. Согретые живым человеческим теплом, теплом души, традиции эти передаются по наследству: товарищам по цеху, членам семьи. И вовсе не случайно старший брат зачастую приводит на завод младшего, сыновья становятся — станок к

станку — рядом со своими отцами (Сергей Болдырев, «Отцовский завод»).

Борис Алексеевич Коротков (очерк Юрия Карагача «Эффект Короткова») хорошо известен на «Динамо». Он прекрасный рабочий, всегда выполняет полторы-две нормы. Его рационализаторские предложения приносят заводу значительную экономию. Из чего складывается авторитет Бориса Алексеевича? Из любви к профессии, высокого чувства ответственности, бескорыстия? Да, конечно. Но еще из понимания большого нравственного значения этих починов, того, что автор называет «эффектом Короткова». Если ты знаешь что-то и умеешь делать лучше других, если разглядел что-то вдаль, за горизонтом, не стой на месте, иди вперед, прокладывай дорогу вслед идущим. Именно в этом и состоит «эффект Короткова», моральный эффект добрых дел, начинаний и свершений.

Авторы «Быстрины», показавшие в своих очерках «жизнь настоящую заводскую, трудную трудовую жизнь без прикрас», немало внимания уделяют и тому, как происходит процесс вживания молодежи в коллектив, нередко трудный и болезненный процесс становления молодого рабочего. Бригадир Сергей Иванович Бухаленко (Николай Тюрин, «Общий котел»), вспоминая минувшее и глядя на окружающую его молодую поросль динамовцев, спрашивает себя: «А эти смогли бы?..» И отвечает: «Да, смогли бы. Иначе и нам воевать не стоило». Невольно приходят на память слова Леонида Ильича Брежнева, сказанные им на встрече с рабочими ЗИЛа: «Мы всегда... верили, что наши дети и внуки будут лучше нас, образованнее, культурнее. И сегодня мы с гордостью говорим, что советская молодежь, идя дорогой отцов, не просто повторяет, а продолжает ее, прокладывает путь дальше, в будущее».

Книга прочитана. Книга о людях, которых слушается станок, о тех, у кого, как сказал поэт Осип Кольчев, «есть вторые руки, сердце есть второе, чтоб ими делать тысячи волшебств...».

Сколько может сделать человек за свою короткую жизнь? Что под силу обыкновенным человеческим рукам? Таким, например, как чуткие руки героини очерка Александра Борцаговского «Шурка...» Алексан-

дра... Александра Ивановна...» стерженщицы Александры Ивановны Петровичевой, женщины, прожившей, казалось бы, незаметную жизнь, в которой не было крутых изломов, крупных событий. «Я не бойко считаю,— пишет А. Борщаговский,— и мне трудно исчислить, сколько же песка приняли из неубывающих запасов землеприготовителей за пять с лишним тысяч рабочих дней руки Александры Петровичевой. Но если нагрузить этим песком железнодорожные платформы, мы долго стояли бы на переезде в почтительном молчании, пропуская состав».

Г. Степанянц.



ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ. Дойду до горизонта. Новые стихи и поэмы. Перевод с казахского В. С. Савельева. Алма-Ата. «Жазушы». 1976. 286 стр.

Бурное, стремительное течение мыслей и чувств всегда отличало подлинно высокую казахскую поэзию. Недаром этимологической основой имени «акын» служит слово «агылу» — поток, половодье. Джубан Мулдагалиев по праву наделен в Казахстане титулом акына. В последнем сборнике его стихов и поэм «Дойду до горизонта» талант поэта предстает в новом, обогащенном качестве.

В романтическом, приподнятом тоне пишет поэт о своем времени, передает наполненность его нравственного пульса, стремится уловить нарождающиеся черты будущего. Остро ошутими художественная неповторимость, жизнеутверждающий пафос творчества Д. Мулдагалиева в поэмах «Орлиная степь» и «Сель», составляющих фундамент сборника и в жанровом отношении близких к типу романтической баллады. Каждая из этих поэм — многокрасочная ораторская речь, страстный клич степняка, воинственный призыв к немедленному действию, бескомпромиссная проповедь добра и осуждение всего того, что мешает жить и трудиться, пестовать счастливый мир; это воистину акынская речь перед народом на празднике или перед боем, наполненная мощными пластическими образами, свободной ораторской интонацией, высокой гражданской убежденностью в победе светлых начал.

Даже в ритмике стиха ошутимо, как нераздельны гражданский и поэтический темперамент автора, с какой энергией он проповедует самые заветные свои идеалы.

Д. Мулдагалиев — глубоко интернациональный поэт и в то же время сын своей земли, своего народа. Герой «Орлиной степи» Тынбай — обобщенный образ целинника. Тынбай в переводе на русский язык и есть целинник. Поэт чувствует, что с героем его связывает и кровное и духовное родство. Вглядевшись в Тынбая как бы сквозь дымку прошлого, поэт уточняет:

Судьба хлестала плетью по спине,
Но вспоминаю прошлое без страха:

Любовь свела с людьми, любовь во мне
Смешала с кровью русской кровь казаха.

Баллада «Сель» посвящена недавним дням борьбы алмаатинцев со стихией, когда горный грязевой поток грозил стереть с лица земли столицу Казахстана. На пути опасности стали советские труженики, руководимые людьми особой строгой стати, железной воли и чистой совести — коммунистами. Описывая сопротивление со стихией, акын Джубан непосредственно обращается к своим слушателям, что отвечает жанровой традиции народного сказания, славящего победу человека над силами зла, над враждебной стихией.

Богатство народного языка, стилистические приемы фольклора живут в поэзии акына Джубана отзвуком сказочно широкого певучего степного простора. Но, остро чувствуя глубину исторического опыта своей земли, поэт никогда не впадает в старомодность, он говорит голосом своего времени, беря на вооружение многие приемы, особенности поэтики сегодняшних мастеров стиха, в частности русского. Красота и безыскусственность его песен идут от настоящего мастерства, под которым мы понимаем не только профессиональное умение, а прежде всего и главным образом полноту чувств, зрелость мысли, твердую убежденность передового советского художника, утверждающего правду нового мира.

Евней Букетов,
Сергей Никитин.



ВЛАДИМИР САВЧЕНКО. Тайна клеенчатой тетради. Повесть о Николае Клеточникове. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1976. 373 стр.

Николай Клеточников — одна из самых загадочных и легендарных фигур «Народной воли». Благонадежный чиновник III отделения, полное доверие начальства, допущен ко всем секретам сыска, поощрения, награды, даже орден Станислава за усердие. А за всем этим — тайные посещения нелегальной квартиры, полицейские деньги идут на нужды организации, феноменальная память скрупулезно фиксирует в особой клеенчатой тетради точнейшие данные о сотнях агентов и провокаторов, о готовящихся обысках и сценариях охоты на революционеров. В течение двух лет своей службы тайный «ангел-хранитель» народовольцев обеспечивает своей партии паразитическую, фантастическую неуловимость, приводящую правительство в почти мистический ужас. А потом чистая случайность — и провал, и спокойное мужество на суде и следствии, и смертный приговор, замененный вечным заточением, и через несколько лет, в июле 1883 года, сломленный физически, но не духовно, Николай Клеточников умирает в каземате Петропавловской крепости...

Если вся история «Народной воли» — готовый роман, то подвиг Клеточникова —

готовый сюжет для одной из самых захватывающих его глав.

Владимир Савченко, автор повести о Николае Клеточникове, не спешит, однако, воспользоваться этим сюжетом. Не отвлекаясь на соблазны героического детектива, он излагает его сжато и лаконично в последней части книги. Писателя влечет не столько легенда, сколько загадка. А она была.

Клеточников пришел в революцию не так, как большинство его сподвижников. Когда он предложил свою жизнь народникам, он был уже зрелым человеком. До этого был университет, ишутинский кружок (из которого вышел знаменитый Каракозов), затем внезапный отъезд в провинцию, который трудно объяснить лишь неожиданно вспыхнувшей болезнью и который был связан, по-видимому, с разочарованием в этом первом юношеском опыте радикализма. Затем спокойная и незаметная служба в земстве, никакой крамолы, напротив — убеждения, как он сам показывает впоследствии на процессе, самые благонамеренные, даже консервативные. И только через десять лет снова Петербург и вступление на путь отчаянной, вплоть до террора, борьбы с самодержавием. Более чем очевидно: не импульсивный романтический порыв, но обдуманное, выношенное решение, итог долгого опыта исканий.

Свою концепцию и разгадку личности героя В. Савченко ставит в контекст с теми более общими духовными исканиями, которые были связаны прежде всего с глубинным кризисом религиозного мировоззрения, охватившим русское общество уже к середине века, исканий, нашедших столь драматическое свое выражение в художественном и духовном опыте Достоевского и Толстого.

В. Савченко заставляет своего героя пройти через весь сложный лабиринт сомнений и разочарований, связанных с решением глобальных мировоззренческих задач, — от первых сомнений в оправданности альтруизма, через последующий запрет для себя (пока такого оправдания не найдено) не только революционной, но и вообще всякой гражданской активности и, наконец, даже и через выработку для себя некой особой, как он сам ее называет, «системы ответственного и последовательного эгоизма». И лишь проведя своего героя через опыт жизни по этой системе и заставив его убедиться в ее выморочности, В. Савченко позволяет ему обрести в этом крахе духовную опору для своего возвращения в революцию. Так за героическим драматизмом событий возникает драма идей, а подвиг героя становится итогом героических усилий его духа и мысли, совершивших свой крестный путь искания Истины.

Интересный замысел. И, пожалуй, он еще более удался бы В. Савченко, если бы в его Клеточникове, наделенном в соответствии с задачей сильной рефлексивной способностью, было бы все же чуть меньше этого рассудочного элемента и чуть больше психологической пластичности. Путь героя от

мысли к действию выглядит сейчас несколько спрямленным, а увлечение автора всеми подробностями его интеллектуальной логики делает иные страницы книги похожими на трактаты. Но, с другой стороны, в этом есть, может быть, и свой смысл, свой особый «эффект присутствия» автора в герое, ибо искания и сомнения Клеточникова настолько ему важны, что это ощущается даже и в некоторой мучительности, в избыточной страстности тех усилий, с которыми он упорно и в разных ракурсах «прокручивает» мысль героя, выстраивающую свое «оправдание добра»...

Книга В. Савченко — первое его значительное писательское выступление, и тем отраднее, что он показал себя в ней сложившимся, зрелым прозаиком, вполне владеющим тайнами избранного им жанра. Это интересная, серьезная повесть, продолжающая лучшие традиции серии «Пламенные революционеры», и она свидетельствует о возросшем содержательном уровне той нашей исторической прозы, которая обращена к легендам и загадкам революционного прошлого. Она вновь напоминает нам ту простую, но фундаментальную истину, что всякое действительно сознательное гражданское действие должно быть следствием и зеркалом той или иной исходной философско-нравственной установки и только через нее может быть правильно понято и оценено.

Нина Девисова.



А. УРСУЛ, Ю. ШКОЛЕНКО. Человек и космос. («Философская библиотечка для юношества») М. Политиздат. 1976. 136 стр.

Сначала человек построил корабли и стал мореплавателем. И только потом родились бесчисленные рассказы о странствиях и открытиях. Действительные путешествия древности просвечивают сквозь гексаметры гомеровского эпоса об Одиссее, который «многих людей города посетил и обычаи видел».

Космическая эра началась иначе. Вначале появились воображаемые космические одиссеи. Первые путешествия в космос человек совершил силою своей мечты. Мечтатели сочиняли сказки, писали книги, поражая воображение самыми удивительными проектами, но прошли века, прежде чем реалисты смогли взяться за осуществление этих фантазий.

Человек, органически сочетающий в себе качества мечтателя и ученого-новатора, научно обосновал применение ракет для полетов в космос и создал основы космонавтики. Два направления взаимодействия человека и космоса рассматриваются в книжке А. Урсула и Ю. Школенко: влияние космоса на человеческую деятельность на Земле и бросок во Вселенную — освоение космоса человеком. Читателю предстоит познакомиться с новым для него поворотом космической темы — ее философскими аспектами.

Космос — арена прежде всего практической деятельности человека. Не случайно первые шаги в нем сделаны исследователями. Космические факторы, силы и процессы в последние годы оказывают возрастающее влияние на различные области знания. Открылись новые подходы и возможности в метеорологии, навигации, картографии, в изучении строения Земли и распределения полезных ископаемых, в получении данных о состоянии окружающей среды. Философы стали называть эти явления научного прогресса космизацией науки. Космизация проникает и в сферу производства. Перечисление областей знания и практической деятельности, на которые космическая эра наложила свой отпечаток, занимает в книге значительное место. Но перед нами нечто большее, чем просто перечень: совокупность данных, лежащая в основании мысли авторов о том, что, бесконечно раздвинув наши горизонты, выход в космос повлек за собой и космизацию общественного сознания.

Исследование и использование космоса для блага человека, по существу, проблема международная. Успешное осуществление программы «Союз» — «Аполлон» поэтому с полным основанием можно считать прообразом будущего интернационального сотрудничества в этой области. Открывается, пишут А. Урсул и Ю. Школенко, перспектива для эффективного международного сотрудничества и в других сферах человеческой деятельности, создаются объективные предпосылки и для прогрессивных социальных решений.

Выходя в космос, человек начинает испытывать повышенное чувство ответственности по отношению к своей «космической колыбели» — Земле. Космизация захватила также и этику. Ознакомив читателя с некоторыми идеями западной «космической этики», А. Урсул и Ю. Школенко намечают единственно верный подход к нравственно-мировоззренческим проблемам космической практики: взаимодействие человека и космоса становится моральным фактором потому, что в нем опосредованно проявляются отношения между людьми. В космической деятельности людей морально то, что обеспечивает прогрессивное развитие человека и человечества.

Попытки философского осмысления космической эры вновь обнаруживают полнейшую несостоятельность буржуазного мировоззрения. Эпоха космоса ничуть не изменила основное содержание буржуазной философии. Идеалисты снова и снова продолжают твердить, апеллируя к бесконечности Вселенной, что познать законы общества нельзя и любая философия истории якобы рухнет перед «космическим абсолютом». Встречаются и утописты, которые пытаются отвлечь людей от социальных и материальных трудностей и противоречий современного капиталистического общества туманными обещаниями найти где-то в космосе «решение человеческой судьбы». Варианты этой «космической фи-

лософии» различны, но суть одна: модернизированный идеализм и апология капиталистического строя. Научная разработка проблем отношения человека к космосу, подчеркивают А. Урсул и Ю. Школенко, возможна только на основе диалектического материализма.

Заслугой авторов является то, что они побуждают читателя к размышлениям о социальных аспектах космонавтики. Научно-техническая мощь, необходимая для осуществления межзвездных контактов, говорят они, недостижима при такой организации общества, где есть место социальному антагонизму и частнобуржуазным отношениям. «Мы убеждены в том, что система «человечество — Земля — Вселенная» будет представлять собой одно из конкретных выражений и условий будущей единой коммунистической формации на нашей планете».

Летчик-космонавт В. Севастьянов, написавший предисловие к рецензируемой книге, выражает надежду, что она «поможет формированию «космического» стиля мышления, без которого невозможно освоение Вселенной, мышления, которое органически входит в мировоззрение строителя коммунистического общества».

Небольшая, но содержательная книга А. Урсул и Ю. Школенко по праву займет важное место в космической библиотеке широкого круга читателей.

В. Фальский.



С. П. ТРАПЕЗНИКОВ. Интеллектуальный потенциал коммунизма. М. Политиздат. 1976. 94 стр.

Небольшая по объему, но весьма емкая по содержанию рецензируемая книга примечательна во многих отношениях. Она актуальна, затрагивает многие важнейшие проблемы современного общественного развития, коммунистического строительства.

Первая глава — «Коммунизм — это победная поступь марксизма-ленинизма» — раскрывает основную суть научного коммунизма как наиболее передовой революционной теории, вечно живой, движущейся и развивающейся, чуждой замкнутости, сектантства, доктринерства. Ее характерная особенность: неразрывная связь с материальной и духовной жизнью общества, с борьбой трудящихся масс — неиссякаемыми источниками творческого обогащения марксистско-ленинского учения. Став могучей интеллектуальной силой современности, коммунистическое мировоззрение заслужило широчайшее признание, оказывает плодотворное воздействие на процессы общественного развития всех континентов.

Приведенные автором факты неопровержимо подтверждают решающую роль народных масс в революции, необоримую силу пролетариата, становящегося, по выражению В. И. Ленина, «интеллектуальным

и моральным двигателем»¹ неизбежного торжества социализма. За прошедшие десятилетия потерпели полный крах пророчества врагов советской власти о неизбежности поражения нового строя, у которого якобы нет и не будет духовных сил для управления. Напротив, только революция смогла разбудить, раскрепостить безграничные творческие возможности и инициативу, таящиеся в гуще народных масс. «Поистине марксисты-ленинцы,— подчеркивает автор,— это подлинные прометеи нашей эпохи, которые впервые зажгли на планете лучезарный свет социализма, преобразовали старую и убогую Россию, создали самый передовой общественный строй на земле».

Страницы книги описывают титаническую деятельность Коммунистической партии, замечательная особенность которой состоит в том, что она «не только научно сознает то, что делает, но и делает то, что научно сознает». Характеризуя сущность построенного в нашей стране зрелого, развитого социализма, автор особо выделяет историческое значение решений XXV съезда КПСС, экономической стратегии и социальной программы десятой пятилетки — пятилетки эффективности и качества, неуклонного подъема материального и культурного уровня жизни народа.

Большое внимание в книге уделяется вопросам социалистической системы образования и роли науки в строительстве коммунизма. Эти области деятельности не только наглядно демонстрируют достигнутый высочайший уровень интеллектуального потенциала страны, но и представляют собой могучие, незаменимые рычаги его роста, умножения.

В этой связи излагаются ленинские принципы строительства советской школы, единой, трудовой, политехнической, где ликвидированы буржуазно-помещичья кастовость, привилегии одних национальностей за счет других. Это школа, освободившаяся от индивидуализма и мешанства, мистицизма и богословия, строящаяся на основе наиболее передового научного мировоззрения. Она широко открыла двери для детей трудящихся всех национальностей, формирует у них чувство коллективизма, дружбы, товарищества. Образование в нашей стране стало общенародным достоянием.

Успехи культурной революции, новой системы образования огромны. Об этом свидетельствуют многие данные, приведенные в книге. У нас ликвидирована вековая неграмотность населения, достигавшая в старой России 72 процентов; всеми видами обучения ныне охвачено 90 миллионов человек — более трети населения страны; в народном хозяйстве занято почти 23 миллиона специалистов с высшим и средним образованием; завершается переход ко всеобщему среднему образованию молодежи. По предмету «народное образование»,

как образно сказал Л. И. Брежнев, самый строгий учитель — история — поставила нам самый высокий балл.

Рассматривая проблемы развития науки в СССР, автор отмечает глубокие изменения ее положения и роли при социализме. Коренное преимущество советской науки — в ее неразрывной слитности с построением коммунизма. И фундаментальные и прикладные науки, каждая из которых имеет свои специфические особенности, тесно связаны между собой, служат делу научно-технического прогресса. В органическом соединении достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства, соединении науки и производства — залог дальнейших успехов коммунистического строительства.

Заканчивая книгу, автор пишет: «Интеллектуальный потенциал советского общества — неоценимое духовное богатство нашей партии и народа. Неустанно наращивая этот могущественный потенциал, всемерно развивая экономику, науку, культуру, народное образование, КПСС еще выше поднимает роль идейного оружия в борьбе за торжество идеалов коммунизма. Как прав был В. И. Ленин, когда говорил: „А дорога наша — верная, ибо это — дорога, к которой рано или поздно неминуемо придут и остальные страны!“².

В. Замковой,
доктор философских наук.



О. СТЕПАНОВА. 4 июля 1776. М. «Молодая гвардия». 1976. 190 стр.

Истоки войны за независимость США и ее результаты, ход этой войны внимательно исследуются в книге, цель которой — выяснить «обстоятельства, при которых родилась новая страна, которые определили дальнейший путь ее развития, чем она была при создании и о каком будущем для Америки хлопотали ее отцы-основатели», говоря словами предисловия автора. Соотнесение с настоящим осуществляется историком не прямолинейно, но достаточно ясно. Однако актуальность книги еще и в другом: события двухвековой давности и их различные истолкования вызывают сегодня в Америке жгучий интерес как в академической среде, так и у самой широкой общественности, причем идейная борьба вокруг наследия и принципов Декларации независимости с годами, похоже, лишь усиливается.

О. Степанова раскрывает историческую и классовую ограниченность этого знаменитого документа и созданного на его основе государства, вместе с тем она показывает, что же именно сделало день 4 июля 1776 года знаменательной вехой в истории. Но все-таки книга привлекает

¹ В. И. Ленин и. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 73.

² Там же, т. 44, стр. 312.

внимание не только этим анализом, но в не меньшей степени путем, каким автор приходит к конечным выводам своего исследования, — методом научного творчества.

Если коротко, то речь идет о литературно-публицистической направленности ее труда. Жанр популярного исторического исследования, обладающего признаками художественности в подаче материала, завоевывает сейчас повсеместное признание. Но жанр этот создается не без борьбы. Юмор, парадоксальность изложения и ирония, использование многозначных деталей, даже жесткость подчас, идущая от увлеченности и полемического задора, — все эти качества почему-то нередко принято считать признаками плохого вкуса, «низшим» уровнем по отношению к олимпийскому и бесстрастному. Словом, забудь о Плутархе, об уроках великих историков, пользовавшихся средствами из арсенала искусства, пиши обкатанно и скучно.

С этой скукой и спорит О. Степанова, доказывая, что в истории все перемешано — трагическое и комическое, великое и смешное, накал высоких страстей и обыденное, суетное; лишь сплав такого рода делает эту науку «человечной» и увлекательной. Ведь полифония великих исторических событий включает в себя не только голоса великих, но и крики перепуганных обывателей (типа некоего Д. Наррингтона, жаловавшегося властям после знаменитой битвы при Конкорде и Лексингтоне, что солдаты короля у него украли три зеркала, дюжину тарелок, бритвы, новый садовый фартук, носовые платки и маятник от почти новых часов).

Любителя простейших схем озадачит, когда он узнает, что фермеры в преобладающей своей массе отнюдь не горели желанием умирать в боях с англичанами, что они часто дезертировали или, по крайней мере, бросали воинскую службу, как только истекал срок их контракта, но зато с охотой старались нажиться на поставках армии; что героизм военно-морского флота на поверку оказывался большей частью удачливым каперством, захватом чужих судов в целях собственного обогащения. Редкую скупость и нерешительность проявлял конгресс, призванный печься о спасении нации, а пока войны генерала Вашингтона умирали от голода и холода, гражданское

население не только не бедствовало, но обогащалось...

Автор спорит, в частности, с тем одномерным и идеализированным портретом Джорджа Вашингтона, который создала официальная историография в США. И вместе с тем О. Степанова показывает мучительные испытания полководца, руки которого в первые трудные годы войны были связаны не только отсутствием средств на создание армии, но и полномочий, безвластием в вопросах ее набора, производства офицеров и установления им жалованья и т. д. Или такая характерная черточка: Джордж Вашингтон отказался от всякого вознаграждения за свой полководческий труд. Но он же в соответствии с договоренностью потом составил подробнейший реестр своих личных затрат, не забыв никаких мелочей вплоть до приобретенных пуговиц, дабы вернуть все неукоснительно и точно. Какой характернейший штрих для этого человека, для его класса и эпохи!

Историками по-разному оценивалась роль Франции, главного союзника восставших колонистов: не желая делить лавры победителей и замкнувшись в своем изоляционизме, американцы чуть не два века упорно отрицали, что беспрецедентные по тем временам затраты этой державы сыграли важнейшую роль в конечном исходе борьбы. Но беспристрастной ли оказалась происшедшая потом переоценка? Мудрость «отцов-основателей», сумевших «добиться победы в той войне чужими руками с минимальными издержками для себя», превозносится ныне потому, что в этом видится полезная модель и для наших дней. Этот урок — в создании военных союзов и игре на розни великих держав, приверженности политике, получившей название «баланс сил».

Свежесть и новизна книги в том, что на многие хрестоматийные истины, устоявшиеся оценки и суждения в ней брошен острый, скептический взгляд. В обиход науки введено множество новых материалов, аргументов; с последними можно поспорить не соглашаться, но пройти мимо них нельзя. Что же до широкого читателя, то он получил хороший образец одновременно и научного и литературного творчества.

В. Война.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. 208 стр. Цена 29 к.

Ленин в Октябрьские дни 1917 года. В сборник включены воспоминания А. М. Коллонтай, А. С. Бубнова, И. Ф. Еремеева и А. В. Луначарского. 22 стр. Цена 4 к.

Ю. Жуков. Тридцать бесед с телезрителями (1972—1976). 383 стр. Цена 66 к.

Е. Кокшарова. Ленин в Совнаркоме в 1917 году. 23 стр. Цена 4 к.

Н. С. Патолитчев. Испытание на зрелость. Воспоминания. 287 стр. Цена 1 р. 52 к.

В. Сиворцов. Вторая весна Вьетнама. 175 стр. Цена 34 к.

В. Чертихин. У истоков религии. 96 стр. Цена 15 к.

Г. Чичерин. Ленин и внешняя политика. 16 стр. Цена 4 к.

А. Шотман. Ленин в подполье. Июль—октябрь 1917 г. 22 стр. Цена 4 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книга 1. 320 стр. Цена 71 к.

Г. Бакланов. Друзья. Роман. 271 стр. Цена 42 к.

М. Борисова. Равновесие. Стихи. 78 стр. Цена 27 к.

Н. Верещагин. Роднички. Сентиментальная повесть. 207 стр. Цена 26 к.

С. Воронин. Камень Марии. Повести и рассказы. 240 стр. Цена 47 к.

Л. Иванов. Новые времена — новые заботы. Очерки. 327 стр. Цена 66 к.

П. Сажин. Севастопольская хроника. Повесть. 542 стр. Цена 98 к.

Э. Салениек. Второе пальто.— Не бросайся в огонь. Романы. Перевод с латышского. 480 стр. Цена 1 р. 16 к.

И. Шамякин. Торговка и поэт. Повести. Перевод с белорусского. 335 стр. Цена 71 к.

С. Щипачев. Синева России. Новые стихи. 103 стр. Цена 40 к.

С. Юрьенен. По пути к дому. Повесть и рассказы. 174 стр. Цена 27 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Анкорд. Стихи украинских поэтов. Перевод с украинского. 270 стр. Цена 49 к.

Г. Х. Андерсен. Сказки и истории. В двух томах. Перевод с датского. Том. 1. 583 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Аррайс. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик. Сатирические сказки. Перевод с испанского. 173 стр. Цена 54 к.

П. Беспощадный. Стихи. («Библиотека советской поэзии») 190 стр. Цена 56 к.

В. Борхерт. Избранное. Перевод с немецкого. 302 стр. Цена 67 к.

Ю. Друнина. Избранное. Стихи. 1942—1976. 397 стр. Цена 1 р. 41 к.

Ф. Мистраль. Мирей. Поэма. Перевод с тровансальского. 364 стр. Цена 2 р. 95 к.

А. Недогоонов. Избранное. Стихи и поэмы. 318 стр. Цена 43 к.

А. Сент-Экзюпери. Планета людей.— Вонный летчик.— Письмо заложнику. Перевод с французского. 366 стр. Цена 43 к.

Тин Сан. Нас не сломить. Роман. Рассказы. Перевод с бирманского. 223 стр. Цена 72 к.

Утро моего народа. Современная алжирская поэзия. Перевод с французского. 175 стр. Цена 68 к.

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! Роман. Рассказы. Перевод с английского. 382 стр. Цена 1 р. 36 к.

Л. Эмон. Мария Шапделен. Повесть о французской Канаде. Перевод с французского. 143 стр. Цена 25 к.

«СОВРЕМЕННОИ»

Ю. Айдаш. Круг жизни. Стихи. Перевод с чувашского. («Новинки «Современника») 77 стр. Цена 18 к.

С. Баруэдин. Книга стихотворений. («Новинки «Современника») 238 стр. Цена 62 к.

А. Бобров. Дань. Стихи. («Новинки «Современника») 95 стр. Цена 36 к.

В. Богданов. Возраст. Стихи и поэма. 142 стр. Цена 57 к.

О. Власенко. Крылья крепнут в полете. Роман. Предисловие Н. Тихонова. («Новинки «Современника») 413 стр. Цена 70 к.

А. Иванов. Тени исчезают в полдень. Роман. 719 стр. Цена 1 р. 54 к.

В. Стариков. Время бросать камни. Повесть. («Новинки «Современника») 272 стр. Цена 1 р. 14 к.

М. Тихомиров. Генерал Лукач. Роман. 335 стр. Цена 1 р. 42 к.

В. Шамшури. Светлояр. Стихи. («Первая книга в столице») 78 стр. Цена 31 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

БАМ: проблемы, перспективы. Сборник. Составитель А. Деревянко. 174 стр. Цена 62 к.

Ю. Дмитриев и Я. Мушин. За одно его дыхание. Документальные очерки о революционерах и латышских стрелках. 128 стр. Цена 41 к.

И. Ефремов. Таис Афинская. Исторический роман. 512 стр. Цена 2 р. 11 к.

Записки М. Н. Волконской. Предисловие М. Сергеева. 95 стр. Цена 14 к.

Икары и Дедалы. Сборник стихов. 191 стр. Цена 52 к.

Р. Подольный. Вокруг света в сорок тысяч лет. («Бригантина») 286 стр. Цена 81 к.

Р. Сарби. Розы в росе. Стихи. Перевод с чувашского. («Молодые голоса») 32 стр. Цена 13 к.

В. Яранцев. Двери своего дома. Роман. 239 стр. Цена 77 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Алексеев. Октябрь шагает по стране. Рассказы. 92 стр. Цена 1 р. 8 к.

Г. Державин. Водопад. Избранные стихотворения. Составление и предисловие К. Орешина. 144 стр. Цена 29 к.

М. Ефетов. Граната в ушанке. Последний снаряд. Повести. 238 стр. Цена 67 к.

Е. Коковин. Динь-Даг. Две повести и рассказы. Предисловие Л. Кассиля. 175 стр. Цена 52 к.

А. Кузнецова. Земной поклон. Повесть. 175 стр. Цена 48 к.
С. Снегов. Посол без верительных грамот. Научно-фантастические рассказы и повесть. 383 стр. Цена 76 к.
Ю. Топин. Нынче все наоборот. Повесть. 110 стр. Цена 31 к.
З. Шишова. Путешествие в страну Офир. Роман. 255 стр. Цена 68 к.

ВОЕНИЗДАТ

Т. Виноградов. Дорогое — навсегда. («Рассказы о фронтовики. 1941—1945») 143 стр. Цена 20 к.

«ПРОГРЕСС»

Д. Адамсон. Африка глазами Джой Адамсон. Перевод с английского. 132 стр. Цена 1 р. 9 к.
Э. Альбрехт. Критика современной лингвистической философии. Перевод с немецкого. («Критика буржуазной идеологии и ревизионизма») 160 стр. Цена 35 к.
Из современной английской поэзии. Перевод с английского. («Из национальной поэзии») 365 стр. Цена 1 р. 13 к.
Э. Киннуэн. Воробьиная поляна. Роман. Перевод с финского. 332 стр. Цена 61 к.
А. Наковски. Мир вечером, мир утром. Роман. Перевод с болгарского. 208 стр. Цена 59 к.
Париж. Иллюстрированный сборник. Перевод с французского. 223 стр. Цена 2 р. 29 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Авдеенко. Граница Из пограничного дневника писателя. 284 стр. Цена 60 к.
А. Жигулин. Горячая береста. Стихи. 301 стр. Цена 94 к.
В. Шишов и А. Лукин. Беспокойное наследство. Приключенческая повесть. 237 стр. Цена 79 к.
С. Наровчатов. Василий Буслаев. Поэма. 79 стр. Цена 33 к.
Н. Равич. Портреты современников. Рассказы и воспоминания. 192 стр. Цена 38 к.
Ю. Яковлев. У человека должна быть собака. Рассказы. 151 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ИСКУССТВО»

Б. Алперс. Театральные очерки. В 2-х тт.

Т. 2. Театральные премьеры и дискуссии. 519 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Вальехо. Пьесы. Перевод с испанского. Составление и предисловие Л. Синявской. 840 стр. Цена 2 р. 7 к.
История русского драматического театра. В 7-ми тт. Т. 1. От истоков до конца XVIII века. 485 стр. Цена 2 р. 55 к.

«НАУКА»

Американская литература и общественно-политическая борьба. 60-е — начало 70-х годов XX века. Коллектив авторов. 237 стр. Цена 1 р. 1 к.

Карьера доктора Фануса. Рассказы современных египетских писателей. Перевод с арабского. Составители О. Фролова и А. Пайкова. Предисловие О. Фроловой. 135 стр. Цена 68 к.

Н. Никулин. Вьетнамская литература. От средних веков к новому времени. X—XIX вв. 344 стр. Цена 2 р. 3 к.

Ю. Тынянов. Поэтика. — История литературы. — Кино. Предисловие В. Каверина. 574 стр. Цена 3 р. 25 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Астафьев. Повести. — Рассказы. — Заметки. Пермь. Книжное издательство. 463 стр. Цена 1 р. 97 к.

П. Бугаенко. Константин Федин и Саратовская земля. Саратов. Приволжское книжное издательство. 71 стр. Цена 37 к.

А. Григулис. Андрей Упит. Историко-литературный очерк. Рига. «Лиезма». 123 стр. Цена 34 к.

И. Дементьев. Замужество Татьяны Беловой. Роман. — Какого цвета небо. Повесть. Лениздат. 384 стр. Цена 1 р. 41 к.

Б. Кундабаев. Путь театра. Алма-Ата. «Жалын». 263 стр. Цена 1 р. 8 к.

И. Сафразбенян. Ованес Туманян и мировая литература. Ереван. Издательство Академии наук Армянской ССР. 267 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Турнов. На тысячу ладов. Заметки литературного «болельщика». Таллин. «Ээсги раамат». 183 стр. Цена 52 к.

Г. Чиковани. Собрание сочинений. В 2-х тт. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». Том I. Рассказы. — Роман. 518 стр. Цена 1 р. 7 к. Том II. Рассказы. — Очерки. — Литературные заметки. 472 стр. Цена 99 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
 Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
 Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 18/III 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/IV 1977 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}, 28,7 уч.изд. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 09760. Тираж 180.000 экз. Зак. 933.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02243

Цена 70 коп.

70636